

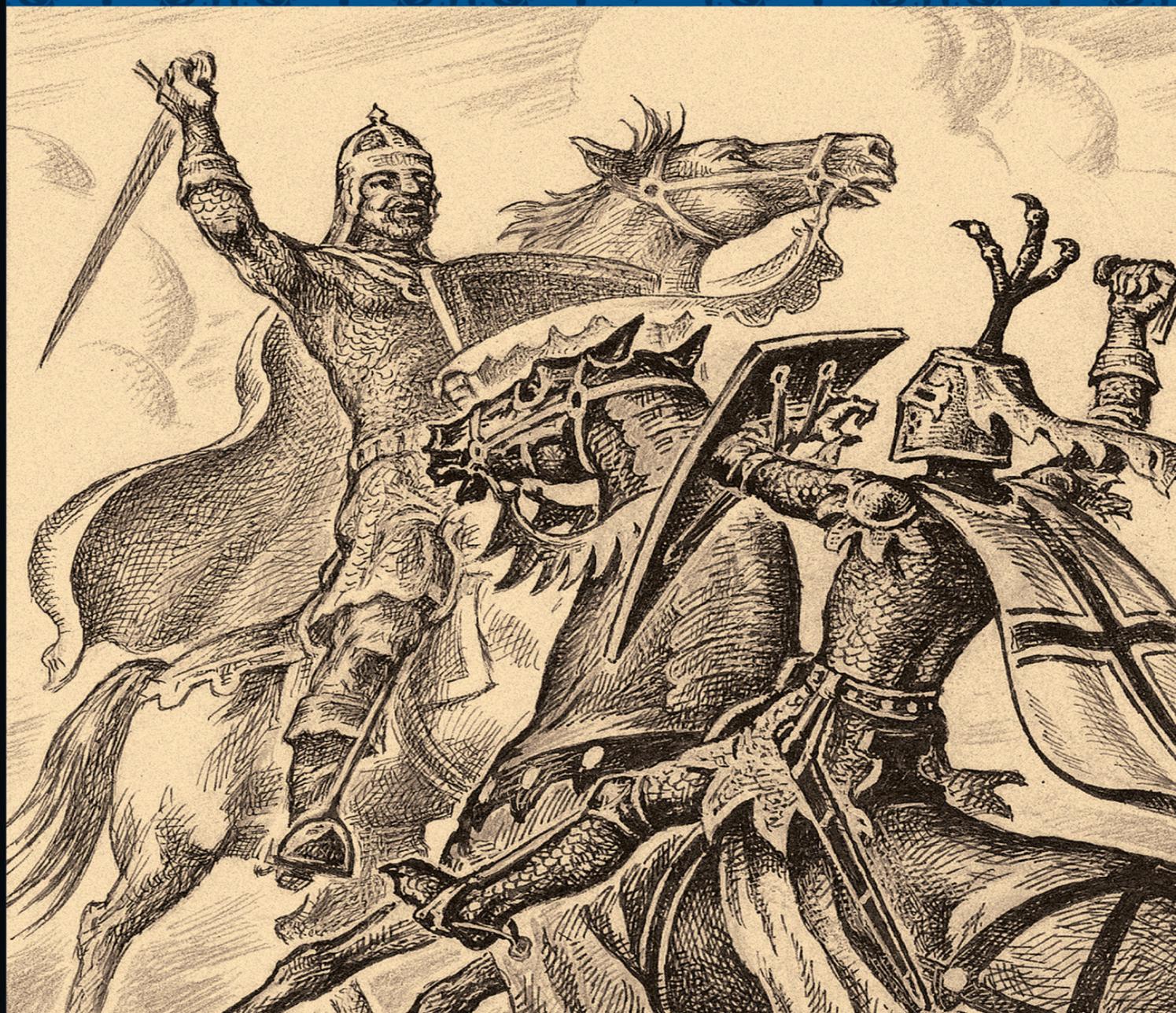


ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ



Юзеф КРАШЕВСКИЙ

# КУНИГАС



## Annotation

В эту книгу вошли два романа Юзефа Игнация Крашевского, одного из классиков польской литературы.

Роман «Маслав» рассказывает о событиях 1030-х годов, когда после смерти короля Мешко II в Древнепольском государстве началась смута. Сын покойного короля, Казимир, позднее прозванный Восстановителем, возвращается в разоренную страну, чтобы навести в ней порядок, но не Казимир является главным героем повествования. На первое место выходит противостояние между верными воинами покойного Мешко и бывшим королевским виночерпием Маславом, который, желая стать новым королем, захватывает поместья и крепости, но лишь одна не хочет ему покориться — Ольшовский замок.

Главной темой романа «Кунигас» стала борьба жителей Великого княжества Литовского с рыцарями Тевтонского ордена. Основой сюжета послужило реальное событие — оборона литовской крепости Пиленай от тевтонцев в 1336 году, когда жители предпочли покончить жизнь самоубийством, но не сдаться, а в центре повествования — судьба юноши-литвина. Являясь сыном пиленского кунигаса (князя), в раннем детстве он оказался в плену у крестоносцев, но вернулся на родину...

- 
- [Юзеф Крашевский](#)
    - 
    - 
    - [Об авторе](#)
    - [Маслав](#)
      - [Часть первая](#)
        - [I](#)
        - [II](#)
        - [III](#)
        - [IV](#)
        - [V](#)
        - [VI](#)

- [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [Часть вторая](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [IV](#)
    - [V](#)
    - [VI](#)
- [Кунигас](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
  - [XI](#)
  - [XII](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)

- [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
-

# Юзеф Крашевский

## Кунигас. Маслав

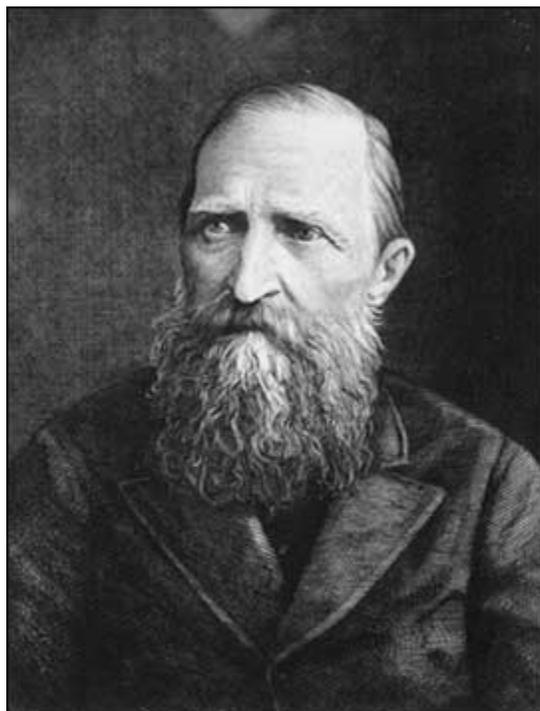
### Сборник

Józef Ignacy Kraszewski  
Kunigas: powieść z podań litewskich  
Masław

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

\* \* \*



Юзеф Крашевский (1812–1887)

## Об авторе

Юзеф Игнацы Крашевский, выдающийся польский писатель, публицист, издатель, историк, политик, общественный деятель, родился 28 июля 1812 г. в Варшаве в дворянской семье. Интересно, что своих родителей Ю. Крашевский выведет героями своих произведений. Отец его, хорунжий Ян Крашевский, появляется в «Повести без названия» (1855), а мать, в девичестве Зофья Мальска, — в «Записках неизвестного» (1846). Юзеф был старшим из пяти детей, а младший, Каетан, тоже стал писателем.

Учился Юзеф в различных городках Подлясской земли и в 1829 г. поступил на медицинский факультет Виленского университета. Правда, учебе он предпочел литературные увлечения; его стихи печатались даже в петербургских изданиях. В декабре 1830 г., в самом начале польско-литовского восстания против царизма, Ю. Крашевский был арестован в числе группы революционно настроенных студентов. Заступничество тетки способствовало освобождению юноши под гласный полицейский надзор. Годичное пребывание в тюрьме повлияло на политические взгляды Юзефа: он стал критически относиться к вооруженной борьбе — скорее сочувствовал, но считал неэффективным средством национально-освободительного движения.

Некоторое время Крашевский жил в Вильне (современный Вильнюс), изучал историю города, что получило отражение в ряде повестей, а также в четырехтомной истории Вильны. Одновременно он занялся популяризацией истории, издавая документы и дневники. В 1838 г. Юзеф женился и поселился на Волыни вместе с женой, Зофьей Вороничувной. Супруги сменили несколько местечек в районе Луцка, долго жили в Житомире, где Юзеф Игнацы занимал последовательно несколько должностей: был куратором польских школ, директором театра, директором Дворянского клуба и пр. Супруги много путешествовали: по России, Бельгии, Франции, Италии. Однако главным для Ю. Крашевского оставались литература и издательское дело. Потом семья переселяется в Варшаву, но с началом нового восстания против царизма покидает пределы царства Польского и поселяется в австрийской Галиции. Юзеф пишет несколько повестей

на повстанческую тематику, что окончательно закрывает Крашевскому дорогу на родину. Писатель живет во Львове и Кракове, занимается несколькими неудачными издательскими проектами, потом переезжает в Берлин, где его в 1883 г. арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу Франции. Престарелый пан Юзеф снова оказывается в тюрьме, откуда его выпустили в 1885 г. под залог по причине болезни легких. Крашевский уехал в Швейцарию, потом в Сан-Ремо, вернулся в горную республику и в 1887 г. умер в Женеве.

За свою долгую жизнь Ю. И. Крашевский написал и издал 600 поэтических и прозаических томов, не считая журнальных и газетных статей и объемистой частной корреспонденции. Писателя называют автором наибольшего количества книг в польской литературе. Он написал 232 романа, в том числе 88 исторических, представляющих наибольший интерес для современного читателя. Среди последних выделяются два цикла: «Саксонская трилогия» (1873–1875) и 29 романов из «Истории Польши», выходявших с 1876 по 1889 год. В наследии Ю. Крашевского выделяются также исторические труды (например, трехтомная «Польша во времена трех разделов»), путевые дневники, книги по искусству. Известен был Крашевский также как живописец и график.

*Анатолий Москвин*

### ***Избранная библиография Юзефа Крашевского***

С престола в монастырь (Lubonie, 1876)  
Королевские сыновья (Królewscy synowie, 1877)  
Борьба за Краков. При короле Локотке (Kraków za Łoktka, 1880)  
Король холопов (Król chłopów, 1881)  
Белый князь (Biały książę, 1882)  
Две королевы (Dwie królowe, 1884)  
Инфанта (Infantka, 1884)  
Изгой (Vanita, 1885)

«Саксонская трилогия»:  
Графиня Козель (Hrabina Cosel, 1873)

Граф Брюль (Brühl, 1874)

Из Семилетней войны (Z siedmioletniej wojny, 1875)

**Маслав**

## Часть первая

### I

Был печальный осенний вечер; солнце, закрытое тучами, из-за которых кое-где проскальзывали слабые лучи, склонялось к закату. Весь небосклон заслоняли серые разорванные облака, сливавшиеся на горизонте в одну темную одноцветную завесу.

В воздухе можно было различить глазами ветер, срывавшийся из-за туч на землю и пролетающий над верхушками деревьев, сгибая их, обламывая ветви и снова улетающая куда-то ввысь.

Земля, облаченная в траурные одежды, лишённая зелени, казалась умершей или уснувшей, а быстро пролетающие над ней странно разорванные, причудливо очерченные облака, то расплывавшиеся, то сталкивавшиеся вместе, то и дело меняли краски, то румянясь, как бы от гнева, то становясь синими от злости. Там, где под ними угадывалось солнце, они горели желтоватым пламенем, а в местах их разрыва небо светилось зеленоватыми огнями. Серые тучи, казалось, спешили на восток, чтобы там собраться вместе, как войско в бою, и двинуться вперед одной черной массой.

Но и внизу пейзаж не представлял приятного зрелища. Низкая болотистая долина была окружена черными стенами лесов. Кое-где виднелись одинокие деревья, наполовину высохшие или обгорелые, как бы в отчаянии поднимавшие кверху обнаженные ветви. Осенние ветры сорвали с них последние пожелтевшие листья.

Среди болота вилась дорога, на которой остались еще свежие следы страшного и еще недавнего прошлого, которые не успели еще смыться водой, высохнуть или зарости травой.

По этой дороге можно было угадать, что делалось здесь вчера, а может быть, еще и сегодня. Пронеслась по ней страшная буря: она была вытоптана и убита, как будто по ней прошло множество народа и целые стада животных; взрыли ее колеса, изрезали острия пик; повсюду валялись деревья, части сломанных повозок, окровавленные куски материй, клочки одежды, обрывки веревок. Видно было, что здесь стоял огромный военный лагерь или прошла какая-то громадная

толпа людей. На скользкой почве кое-где отпечатались следы босых ног — детских рядом со стариковскими, человеческих рядом со звериными; а вот и человеческое тело: оно упало и тащилось по земле, оставляя за собой черные пятна застывшей крови.

То были, по-видимому, страшные следы войны, несущей с собою смерть и опустошение.

На изъезженной дороге птицы питались остатками пищи: клевали рассыпавшееся зерно и, может быть, пили пролившуюся кровь.

Вдали, на холме, виднелись обгоревшие стены, а ниже, в долине, одиноко торчали черные балки, и разрушенные постройки указывали на остатки человеческого поселения, в котором сейчас не было ни одной души.

Над всей этой пустынной местностью господствовало глухое молчание, и только ветер, пролетая, приносил откуда-то отголоски жалобного собачьего воя. Стая ворон и воронов носилась в воздухе, то припадая к земле, то с шумом и громким карканьем устремляясь вверх и кружась над опустошенной долиной. Теперь птицы были здесь хозяевами, а лесные звери все смелее выходили из леса, собираясь заменить здесь человека. С жалобными криками летали над болотом встревоженные чайки. Старая жизнь кончилась здесь, начиналась новая.

Вглядевшись внимательнее в то место, где, судя по уцелевшим частям стен, должно было находиться человеческое жилье, можно было различить еще едва заметные струйки дыма, поднимавшегося над пожарищем: напрасно стремясь взлететь кверху, они, поднявшись немного, тяжело опускались вниз и расстилались по земле. В воздухе стоял запах обгоревшего человеческого тела.

На тропинке, ведущей к ближайшему лесному участку, показался всадник на коне. Он медленно выехал из-за деревьев, остановился и долго-долго приглядывался и внимательно прислушивался, прежде чем решил ехать дальше.

Взгляд его блуждал по окрестностям, где не было ни одной живой души, не слышно голоса, не видно даже тени человека.

Этот всадник с темной, растрепанной бородой, мужчина средних лет, имел такой вид, как будто он только что вырвался с поля битвы: он был весь избит и окровавлен. Панцирь его был весь исцарапан ударами вражеского оружия, одежда на нем была изорвана, и во многих местах

виднелось израненное и покрытое кровью тело. На непослушных темных кудрях едва держались остатки поломанного шлема, за поясом виднелась рукоятка разбитого меча; в одной руке он держал кусок сломанного копья; его броня и видневшаяся из-под нее одежда были в нескольких местах пропитаны, как будто ржавчиной покрыты, засохшей кровью.

Его конь был также избит и изранен и ступал медленно, прихрамывая и опустив голову, а если останавливался, то сейчас же принимался искать под ногами засохшую траву, а в канавах воду.

Однако, несмотря на теперешний печальный вид, можно было легко отгадать, что его всадник и его конь знали лучшие времена. Черты лица бедного беглеца дышали благородством и гордостью, а затуманенный взгляд изобличал не женственную печаль, а мужественное рыцарское страдание. И разорванная одежда, и вооружение были когда-то дорогими и красивыми.

Осмотрев окрестность, он со вздохом сошел с коня, потрепал бедное животное по шее, взял в руку узду и, опираясь на пику, медленно пошел по направлению к пожарищу. Раненный в ногу, в грудь и в голову, он шел не спеша и часто останавливался для отдыха. Иногда казалось, что он зашатается и упадет, что сил его не хватит на то, чтобы спасти жалкую жизнь; опершись на коня, он стоял некоторое время неподвижно, тяжело дыша, и, отдохнув, снова с усилием тащился вперед. Конь, также прихрамывая и едва двигаясь, послушно шел или, вернее, позволял вести себя, пощипывая с голоду кое-где уцелевшую траву, встречавшуюся на дороге.

Так понемногу приближались конь и всадник к холму, где на отгороженном валом пространстве торчали остатки почерневших стен.

Страшное нечеловеческое опустошение бурей пронеслось здесь, оставив после себя только кучу углей да груды развалин. Кое-где на окопах торчали обгорелые поломанные рогатки; ворота, также обгоревшие и сломанные, лежали в грязи на земле.

Незнакомец медленно прошел внутрь окопов. Должно быть, он хорошо знал это место, взглядом он искал среди развалин что-нибудь, что напомнило бы ему памятное прошлое.

В огороженном валами пространстве не уцелело ни одного строения, только кое-где торчали еще обломки толстых каменных стен, устоявших среди разгрома. Но тут же рядом вся земля была изрыта,

как будто в ней искали что-то. Черепки разбитой посуды, колеса, бревна, старая лежалая солома, изгрызенные белые кости покрывали почти все пространство. В стороне лежала конская падаль, полусъеденная вороньем, с обнажившимися ребрами. Перепуганные птицы взлетели было кверху с неистовым карканьем, но тотчас же снова опустились на свою добычу.

Войдя внутрь окопов, незнакомец пасмурным взглядом окинул лежавшее перед ним пространство и, оставив коня у входа, начал медленно пробираться среди обломков утвари и развалин строений к самому замку, внимательно приглядываясь и как бы ища каких-нибудь следов, по которым можно было бы установить историю этого разрушения. Но если и были следы, то их засыпали развалины, стерли обломки. Может быть, он надеялся найти трупы, но и их не было видно.

Несколько раз, приглядываясь к лежавшим на земле предметам, он поднимал какую-нибудь тряпку, обгоревший лоскут одежды и с гневом и отвращением отбрасывал его от себя. Обойдя одну груду развалин, он подошел к самой стене замка, но и здесь были тот же беспорядок и опустошение. Только у самой стены осыпавшаяся земля как будто приоткрыла пещеру, в глубине которой не было ничего видно.

Из темной бездны кое-где только торчали концы сломанных бревен. Незнакомец, прикрыв глаза рукой, наклонился с трудом и долго, нахмурившись, всматривался в глубину ямы.

Он уже собирался уйти с этого кладбища, когда чуткий слух его уловил среди глухой тишины какой-то слабый шум, словно отзвук человеческих шагов.

Он обернулся к выходу и прислушался.

Там никого не было видно, только конь торопливо подьедал найденную им на валах траву. Тогда он снова двинулся вперед, пробираясь среди бревен и обломков к тому месту, где были ворота замка, и в ту же минуту в них показалась человеческая фигура. Человек этот входил или, вернее, прокрадывался в ворота, но при виде коня остановился в испуге, оглядываясь по сторонам.

Рассмотрев издали вооруженного мужчину, шедшего к нему от развалин, он в первую минуту готов был обратиться в бегство, но,

взглянув еще раз на воина, всплеснул руками и, пробежав несколько шагов, упал перед ним на колени.

Это неожиданное среди руин появление вполне соответствовало всему окружающему: пожилой мужчина с обнаженной головой не имел на голом теле ничего, кроме старой, порванной сермяги, а под ней виднелись штаны из грубого полотна, подвязанные внизу к ногам тесемками. Желтое истощенное лицо с выцветшими глазами, обросшее волосами, делало его более похожим на мертвеца, вставшего из гроба, чем на живого человека. Упав на колени, он поднял руки кверху.

— Вы живы? — крикнул он.

Воин вместо ответа указал ему на свою разорванную броню, на израненное и искалеченное тело.

— Жив, — отвечал он беззвучно, — жив, но на что мне жизнь, когда все мои погибли, когда мне остались только могилы?..

И поглядел вокруг себя.

Человек, стоявший на коленях, встал и дрожащим хриплым голосом сказал:

— Я четвертый день скитаюсь по лесу, грызу траву, сосу листья, ем сухую кору и грибы, душа едва держится в теле.

— Благодарю Господа за то, — проворчал воин, — я сам не знаю, жив ли я и как жив?.. Да и на что теперь жизнь?

Человек, вставший с колен, молча подвинулся к воину и поцеловал ему руку. Так они стояли рядом не в силах вымолвить ни слова.

Потом он тихо спросил:

— Как же вы спаслись?

— Мы пытались под Шродой выдержать битву с чехами. Нас было немного, но все мужественные воины. Пали все, и меня тоже сочли за убитого, меня спасла ночь. Конь сначала ушел, потом вернулся к тому месту, где я лежал... Я почувал его дыхание над собой, когда открыл глаза. Я тоже скитался по лесам, питаюсь одной водой. А здесь — придется помирать! Да, помирать!

Он умолк и опустил голову.

— Где же люди? Почему нет трупов? Где же ваши гдечане? — спросил он потом.

— Когда пришли чехи, я был в лесу, — начал другой, — вернулся, чтобы увидеть пожарище, — незачем было возвращаться. Все население, несмотря на мольбы о пощаде, было выгнано и увезено, остались только мертвые. Город разграблен, дома ограблены.

Он бросил взгляд на долину, глубоко вздохнул и спросил несмело:

— А ваши? Ваши где, милостивый государь?

— У меня больше нет никого, — понуро отвечал первый.

И проговорив это, взял коня за узду и начал медленно пробираться к выходу из замка. Человек в серой сермяге шел за ним. У подножия замкового холма чернело огромное сплошное пожарище, на том месте, где прежде было большое селение.

Среди обгоревших развалин торчали кое-где журавли колодцев, остатки уцелевших от огня стен, столбы от ворот и колы от изгороди да высокие подпорки разрушенных строений.

В костеле уцелели только боковые стены, возведенные из гранита, крыша рухнула. Они подошли ближе и остановились у входа. В глубине алтаря валялась обгорелая костельная утварь, высокие деревянные подсвечники были сброшены с него. Вход в склеп, находившийся под зданием костела, был наполовину разрушен. Должно быть, и там искали сокровищ. Не пощадили никого. На одной стене висело только черное распятие, а на нем полуобнаженный Христос еще держался одной рукой. Птицы, приготавливающиеся к ночлегу, заслышав шум, встрепенулись, вспорхнули и принялись с криком кружиться над головами.

Последние лучи солнца, проглянув сквозь тучи, осветили эту картину опустошения желтовато-красным, похожим на зарево пожара, пламенем.

Двое мужчин с тревогой приглядывались к окружающему, всюду сохранились следы недавней жизни: около стен хат валялись домашняя посуда, разбитые ведра, брошенная пряжа, забытые детские колыбельки, камни от попорченных жерновов.

Воин и спасшийся бедняк в сермяге, постояв около костела, пошли дальше, по направлению к спаленной деревне.

Надвигалась ночь, надо было искать пристанища.

— Милостивый государь, владыка Лясота, — жалобно заговорил человек в сермяге, следуя за ним, — если бы хоть кусочек хлеба, я сразу набрался бы сил и устроил как-нибудь шалаш.

К седлу коня, которого вел Лясота, была привязана пустая сумка. Воин поискал в ней и достал кусок чего-то черного и заплесневевшего, разломал и дал просившему.

С невероятной торопливостью изголодавшийся человек схватил в обе руки пищу и с заблестевшими глазами начал грызть сухой хлеб с жадностью зверя, забыв обо всем на свете.

Лясота, не глядя на него, шел вперед, утомленные глаза его искали какого-нибудь убежища, но все хаты и все постройки из досок и тростника стали жертвой огня, от них остались только углы, которые легко могли упасть и не защищали даже от ветра.

Человек в сермяге съел свой хлеб до последней крошки и только тогда догнал воина. По дороге он заглядывал в колодцы, думая утолить жажду, но нечем было достать воду.

Наконец, Лясота нашел где-то с краю две уцелевшие стены под крышей; проведя коня в ближнюю отраду, он сам свалился на землю. Он уже и сюда шел так, как будто искал места, где можно было бы лечь и умереть, теперь он закрыл лицо обеими руками, прикрыл глаза и застыл в полной неподвижности.

Между тем сухой хлеб и немного воды оживили голодного, и он почувствовал себя подкрепленным и ободренным.

Это был один из обитателей разрушенного посада Гдеча, еще недавно принадлежащего к числу главнейших королевских владений, а теперь ограбленного нападшими на него чехами, которые увели с собой все население.

Человека этого звали Дембец.

У Лясоты были обширные владения под Шродой, поэтому он часто заезжал и в город, и в замок. Дембец, по профессии каретник, часто оказывал ему различные услуги; они уже давно знали друг друга. Важного магната и бедного ремесленника сравняла теперь общая беда. Замок Лясоты был также разорен, и он сам не знал, где преклонить голову. У Дембеца остались только обгоревшие развалины его хаты.

И теперь он направился к ней, с трудом пробираясь среди обломков разрушенных строений и, может быть, питая тайную надежду иметь что-нибудь уцелевшее от пожара. Дойдя до знакомого места, которое даже трудно было узнать теперь, он остановился, как вкопанный. На месте прежней хаты возвышалась большая куча углей.

Становилось все темнее. Дембец отер глаза, взобрался на груды развалин и стал медленно раскапывать кучу пепла и головешек поднятой на земле палкой. Под хатой был вырыт в земле прохладный погребок, в котором иногда кое-что прятали.

Ему пришло в голову, что там могли сохраниться припасы. Быть может, горсть муки, немножко круп, засохшего мяса или краюха заплесневевшего хлеба. Роясь палкой в куче, он действительно нащупал дверь погреба, уцелевшую от пожара, встал на колени и, очистив руками завалившую дверь землю и угли, начал с усилием открывать ее. Работа эта была тяжелая для его слабых сил; он прерывисто дышал, ложился на землю и снова вставал, пока наконец ему не удалось, подперев дверь колом, приподнять ее. Там, по-видимому, все оставалось нетронутым, никто не рассчитывал найти добычу в этой убогой хате. Голодный Дембец, спустившись вниз, не удержался от радостного крика, убедившись, что его кладовая цела.

С беспокойной торопливостью он принялся выбрасывать из нее все, что попадалось под руку, не гнушаясь и тем, к чему раньше отнесся бы с пренебрежением и что теперь он ценил дороже золота. Но скоро он выбрался из ямы, забрал всю скудную провизию, найденную в ней, и поспешил к тому, кто только что поделился с ним куском хлеба. Он нашел его лежащим у стены в полудремоте от истощения и полумертвого от голода.

Мрак все более сгущался.

— Милостивый пан, — промолвил Дембец, склонившись к нему, — у меня есть пища, я нашел ее в своем погребе. Должно быть, ее хотели там спрятать!.. Я сейчас разведу огонь, и мы будем есть, будем есть.

Он несколько раз повторил это слово, как будто в нем была надежда на спасение. Лясота медленно поднял голову.

— Огонь развести, — пробормотал он, — огонь! Чтобы нажить себе беду! Не смей и думать об этом.

— Никто не придет сюда на огонь, — вздохнул Дембец, — взгляните, дорогой мой пан, и там, и здесь еще тлеют угли, и поднимается красный дымок! Безбожные злодеи чехи ушли прочь, кругом пусто, надо спасать свою жизнь. Иначе мы умрем с голода. — Лясота снова закрыл лицо руками и не отвечал ничего. Его мучила

жажда еще сильнее, чем голод, а жажда эта происходила от голода и от лихорадки.

Не обращая внимания на запрещение, каретник принялся разводиться огонь. На пожарище нетрудно было раздобыть тлеющую головню. Из своей хаты он вынес какой-то горшок, найденный им в погребке. Он собирался уже приготовить ужин, когда Лясота попросил его достать воды.

И вот при помощи этого единственного, какой у них был, черепка и длинного шеста, найденного на пожарище, Дембец достал в колодце воды и принес ее Лясоте. Схватив горшок обеими руками, старик выпил всю воду до последней капли.

Каретник достал воды снова и принялся было за приготовление ужина, как вдруг порыв ветра принес с собой явственный звук топота конских копыт.

Забыв о своей слабости, Лясота сорвался с места, крича Дембецу, чтоб тот гасил огонь. Костер был тотчас же погашен.

Мрачное небо еще увеличивало густую тьму ночи. И только в том месте, где только что зашло солнце, небо еще светилось, и, всматриваясь в ту сторону, беглецы заметили на большой дороге, проходившей посредине селения, тени двух всадников, медленно подвигавшихся к ним.

В отблеске вечерней зари они казались двумя призраками, хотя издали невозможно было рассмотреть их.

Лясота и Дембец приглядывались с любопытством и беспокойством. Лясота скоро узнал в них таких же, как он сам, бездомных беглецов, вырвавшихся ночью из мест чешских погромов и побоищ.

Они были вооружены, потому что над головами их торчали острия копий, которые они держали в руках, и ехали на статных конях. Султаны шлемов развевались над их головами. Но разве можно было поручиться, что это не были чехи, искавшие добычи среди этого разгрома и опустошения?

Всадники остановились перед сожженным костелом... Ветер стих, и можно было различить отдельные слова, которыми они обменивались между собой.

— Собачьи дети!

— Звери дикие! Дьявольское племя!

После таких проклятий не оставалось сомнения в том, что это были свои. Лясота сложил руки у рта трубой и закричал им, напрягая силы.

При этом звуке всадники в первое мгновение повернули коней, собираясь обратиться в бегство, но потом остановились и стали приглядываться.

— Свои! — закричал Лясота. — Подъезжайте сюда к нам!

Дембец, который еще раньше Лясоты признал в них своих, встал с земли и поспешил к ним навстречу.

Вместе все как-то безопаснее.

При виде этой фигуры, выступившей из мрака, всадники остановились, собираясь защищаться или обратиться в бегство, но каретник приблизился к ним, узнал соседей и стал звать их по имени...

Это были два брата Доливы, соседи Лясоты по имению: Вшебор и Мшщуй.

Утомившись блуждать в лесу без пищи и питья после того, как владения их были преданы разгрому и огню, они теперь, узнав Дембеца, охотно сошли с коней и пошли за ним к тому месту, куда он их вел.

Обрадованный каретник шел вперед и кричал Лясоте:

— Это наши соседи из Доливян: Вшебор и Мшщуй.

Лясота с усилием приподнялся, опираясь на руку, а каретник опять принялся разводить огонь.

Никто не приветствовал друг друга, потому что не с чем было приветствовать. Разве со спасением жалкой жизни, с которой теперь не знали что делать. Шляхтичи обменялись только печальными взглядами.

Когда огонь разгорелся, младший из братьев Долив, рассмотрев порванную одежду с кровавыми пятнами на ней и исхудавшее лицо Лясоты, не мог удержаться от проклятий врагам.

— Вот до чего мы дожили! — крикнул он. — Вот что случилось с нашей землей! Будь проклят тот день и час, когда нами стали править Мешко и Рыкса!

Дембец взял их коней под уздцы и отвел их в соседнюю ограду, где они могли найти немного травы. Все сели на землю. И из всех уст по очереди полились жалобы на судьбу.

— Познань, — начал Мшщуй, — тоже вся разгромлена. Чего не успела увезти немка Рыкса, то забрали чехи. Она ушла к своим, к немцам, а за нею должен был идти и сын Казимир. Нет у нас князя, границы стоят без охраны, в стране — безначалие, бери всякий кто что хочет. Разорили чехи и Гнезно, ограбили костел, забрали все сокровища, а наших братьев погнали перед собой, как скот. Села выжжены, и куда ни взглянешь, пустыня!

— Погибло Болеславово королевство, — прибавил Вшебор, — перебито наше рыцарство; все с нами воюют, потому что у нас безначалие. Нет у нас головы!

— Только и остается нам умереть, чтобы не дожить до конца, — сказал Лясота.

— Чехи — чехами и немцы — немцами, — сказал Мшщуй, — но и наш собственный народ разоряет костелы, возвращается в язычество, наша жизнь висит на волоске! Ходят толпами и призывают по-старому Ладо, а если повстречают какого-нибудь магната, ругаются над ним и прибавают его к кресту.

— Что тут делать? Остается одно — умирать, — проговорил Лясота.

Но Мшщуй отрицательно покачал головой.

— У кого есть силы, пусть идет за Вислу к Маславу, там, говорят, еще спокойно, у него сила большая. Что делать? Присоединиться к сильным, а иначе погибнем все, — говорил Вшебор. — Мы вот тоже не знаем, идти ли к нему, чтобы спасти свою жизнь?

— К Маславу? — слабым голосом переспросил Лясота. — Что ты выдумал? Это человек бесчестный, беспокойный, он — причина всех наших бед.

Мшщуй пожал плечами.

— Да, это правда, но теперь для нас всякий хорош, кто поможет нам спастись.

— Лучше умереть! — пробурчал старик.

Так перебрасывались они отрывочными фразами, пока Дембец не прервал их беседы вопросом: не голоден ли кто-нибудь из них.

— А кто же теперь не голоден? — вскричал Мшщуй.

— Что у меня есть, тем я поделюсь и с вами, — сказал каретник. — Правда, всего понемногу, только бы голод заморить.

И с этими словами он начал раскладывать перед ними копченое мясо и крупу, спаренную в черепках посуды, найденной им на пожарище. Ужин был плохой, но проголодавшимся людям он показался вкуснейшей пищей на свете, и они были ему бесконечно благодарны.

— Пусть Бог тебе заплатит за нас, — говорили они ему.

— Заплатите лучше вы сами, — отвечал Дембец. — Вы здесь не останетесь, пойдете куда-нибудь дальше, возьмите и меня с собой, а то я здесь погибну. Вероятно, завтра перед рассветом вы двинетесь к лесу, позвольте же и мне пойти за вами. Я поделюсь с вами своими запасами.

— Кто же из нас может сказать, что будет завтра? — сказал Лясота.

— Надо идти в лес и за Вислу, — прибавил Мшщуй, — больше нечего нам делать. Маслав принимает всех.

— И не говорите мне этого, постыдитесь даже думать об этом! — прервал его старый Лясота. — Кто не знал Маслава, крестьянского сына при дворе Мешка? Неизвестно, откуда и как выскочил этот паршивец из хлева, лизал панам пятки, всячески угодничал и добился того, что стал подचाши́м<sup>[1]</sup>, а потом сохранил Мешку жизнь, королеву выгнали своими заговорами и государя своего Казимира тоже вынудили удалиться. Это все его штуки!

— Ну, конечно, его, — сказал Мшщуй, — я тоже его не люблю и не защищаю, знаю, что он собачий сын... А кто теперь власть имеет? У кого сила? Приходится или голову заложить, или идти к нему на службу.

— Да, что делать! — вмешался Дембец, стоявший поодаль от всех. — Приходится служить кому попало, хоть бы рыжему псу, только бы не оставаться без власти.

Все умолкли, опустив головы; Лясота, отдохнув немного и успокоившись, с усилием поднялся, чтобы осмотреть свое израненное тело и разорванную одежду. В нем виден был человек, много выстрадавший в жизни и научившийся спокойно переносить страдания: почти без стона, смело, спокойно он начал раздеваться, отдирая от тела пропитанную засохшей кровью одежду. Тогда из ран выступила свежая кровь, и он, разрывая на куски белье, стал прикладывать эти куски к израненному и исколотому телу. Все

смотрели на него с почтительным удивлением. Все-таки это было доказательством того, что он желал вернуться к жизни и искать какого-нибудь выхода. Все молча ждали, когда старик окончит свое дело: надо было сообща договориться, что делать дальше, где укрыться и куда направиться.

В то время во всей стране не осталось почти ни одного уголка, который бы не подвергся разбойничьему набегу чехов, поморов или пруссаков. Особенно тяжелым было положение богатых помещиков, духовенства и рыцарства, которые при Мешке Первом и Болеславе приняли христианство. Ни один костел, ни один монастырь не был пощажён грабителями, ни одно кладбище не избежало осквернения. Почти все капелланы пали от руки убийц, и великое дело обращения в христианство, совершенное при помощи христианских народов, было уничтожено. Это было отчасти на руку немцам, которые приобретали таким образом право обращения мечом, завоевания и захвата верховной власти над вновь отстроенным костелом.

Русь и венгры, со своей стороны, ждали только удобного момента, чтобы вырвать у Польши земли, завоеванные Болеславом. Чешский Бжезислав мечтал даже о завоевании всего Польского королевства и о присоединении его к своим владениям. И это великое дело он начал с ограбления Кракова, Гнезны и Познани и опустошения всех областей, которыми он хотел править.

Когда Лясота, перевязав свои раны, снова лег на землю, а Дембец уселся в сторонке, братья Доливы, переглянувшись между собой, продолжали прерванный разговор.

— Как же вы думаете? — заговорил Мшщуй. — Что нам делать? Говорите вы первый, мы хотим послушать старшего.

Лясота поднял голову, как бы для того, чтобы убедиться, что эта речь относилась к нему.

— Вы меня спрашиваете, — сказал он. — Да разве я сам знаю, что надо делать? Я знаю, чего не надо делать. Я не пойду за Вислу к Маславу, потому что стыд и срам — кланяться сыну батрака после того, как человек служил помазанным королям. Мы все держались всегда вместе с нашими государями: были верны вдове Мешка, потом сыну его, Казимиру... И теперь мы пойдем к тому, кто их от нас отнял? А если бы мы и пошли к нему, то разве для того, чтобы он снял с нас головы: ведь кормить нас он не будет.

Братья Доливы не возражали ему.

— Может быть, вы не знаете Маслава так, как я его знаю, — прибавил Лясота. — Я помню, как он рос при дворе и был сначала мальчишкой при псарне, потом носил полотенца и кувшины, приручал соколов, наливал мед и понемногу вкрадывался в доверие и милость, дошел постепенно до цепи на шее и рыцарского пояса, стал доверенным и советчиком. Но и этого было мало его ненасытному честолюбию. По смерти Мешка он задумал жениться на королеве и стать королем, а Казимира извести. Но мудрая государыня отвергла его и окружила себя своими. Тогда стал ее же ругать за то, что она не хочет думать о пользе страны и нас всех, и так ее преследовал, что она, забрав с собой все драгоценности, уехала к своим на Рейн. Остался Казимир, которого взял в свою опеку Маслав с намерением погубить его. И тот должен был бежать. Маслав легко от него отделался. А мы остались без государя и вместо него попали в лапы к волку. Страну нашу грабят и разоряют чужие люди. Ну, скажите, разве все это не его рук дело? Мы все отступились от изменника, а он тогда сделался язычником, чтобы расположить к себе чернь. И все язычники, сколько их там есть, пруссаки и поморы, все с ним. Что же мы там будем делать? Мы, крещенные и верующие в Иисуса Христа? Тела не спасем, а душу погубим.

Так говорил старик Лясота, а братья Доливы молчали.

— Да разве правда все, что говорят, — медленно заговорил наконец Мшщуй, — может ли быть, что он сделался язычником? Разве для видимости только, потому что я не верю, чтобы он им был взаправду.

Тут Дембец, сидевший поодаль, громко сказал:

— О, милостивый государь! Это всем видно, что он с язычниками заодно. Из земли вырыл старые жертвенники, везде расставил камни и столбы, как они стояли раньше, языческие обряды справляются по-прежнему среди бела дня, не скрываясь. Ни одному ксендзу не дают пощады, где только увидят, сейчас же расправляются. Маслав говорит, что с ксендзами пришла неволя.

— Да, дурной человек Маслав, — сказал Вшебор, — но как же спастись и где укрыться? В Чехии тоже ждут нас цепи и стрелы, Русь далеко, да и кто знает, как бы нас там приняли? А скитаться по лесам и умирать с голода — нет, лучше повеситься на первом суку.

Костер, около которого они сидели, погас; Дембец подбросил еще несколько головешек и снова развел его.

— Что делать? Что делать? — горестно повторили они.

— Маслава я знаю, — отозвался Мшщуй после некоторого молчания, — мы служили с ним вместе при дворе и были очень дружны. Это человек смелый до бешенства, дерзкий до безумия, ему мерещится корона, потому что еще смолоду ему предсказала какая-то гадалка, что он пойдет высоко. Правда и то, что он не пощадил бы никого из нас, если бы ему это понадобилось для чего-нибудь, но что пользы ему в нашей гибели?

Они еще разговаривали, когда во мраке послышался какой-то шелест. На три шага не было ничего видно; все в испуге вскочили и стали внимательно прислушиваться; один только Лясота остался неподвижен; сначала всем показалось, что это кони шарахнулись в сторону, увидав какого-нибудь зверя.

Но в это время ветер раздул пламя от костра, и оно осветило часть пожарища и какую-то фигуру.

Старый человек придерживался исхудавшей рукой за выступ уцелевшей стены, и достаточно было взглянуть на него, чтобы избавиться от всякого страха и узнать в нем несчастную жертву, скрывавшуюся где-то среди развалин и пришедшую на звук голосов.

Это был старик в потертой и загрязнившейся черной одежде, очень бледный и истощенный. Шея у него была длинная, худая, костистая, голова — коротко остриженная. Он горбился от старости, а страшная худоба едва позволяла ему держаться на ногах. Сухие губы его были раскрыты, глаза сохранили выражение испуга и недоумения, жизнь в нем едва теплилась.

Он поглядывал на сидевших, как бы отыскивая среди них знакомые лица, но, видно, язык не слушался его. Вдруг Мшщуй вскочил на ноги и подбежал к нему, крича:

— Это вы, отец Ян, это вы?

Старик качнул головой: голод и жажда лишили его сил и не позволили вымолвить ни слова; придерживаясь за выступ стены, он не решался приблизиться, чтобы не упасть, и дрожал всем телом. Долива, подбежав к нему, подал ему руку и повел к огню.

Это был известный всем настоятель городского костела. Он три дня скрывался в костельном склепе, питаясь крошками хлеба и утоляя

жажду водой, по каплям стекавшей со стен. Услышав голоса людей и узнав своих, он собрал последние силы и вышел из своего убежища, в котором готовился уже к смерти.

Из всего своего имущества он сохранил самое драгоценное — книжку с молитвами, которую держал в руках, прижимая к груди.

Дембец поспешил на помощь старику: его поместили около огня; каретник принес ему воды, а Лясота отдал ему свой зачерствевший хлеб. Со слезами на глазах отец Ян благодарил судьбу и их, но еще долго от него нельзя было добиться ничего, кроме отрывочных фраз. Ужас и боль не за себя, а за участь костела и своих овец лишили его голоса.

Но, отдохнув хорошенько и подкрепившись водой и пищей, он набрался сил и начал говорить, как будто в лихорадке, все повышая и повышая голос.

— Смотрел я на вашу гибель, — говорил он, — и, если бы прожил еще несколько веков, глаза мои никогда не забудут этого страшного зрелища! Как буря, налетели на нас грабители за грехи наши. Город не мог защищаться, со всех окрестностей сбегались люди в замок, рук было больше, чем надо, а оружия — мало, и больше всего — страха. Кроме нашего воеводы и жупана прибежали люди от Шроды, сбежалась шляхта из ближних поместий. Было так тесно, что нечем было дышать в окопах.

Я остался при костеле, мне нельзя было оставлять его. Я облачился в священнические одежды и взял в руки крест, ведь все же они были христиане, хоть и враги наши!

Никто и не думал сопротивляться, потому что некому было защитить нас, выслали навстречу к ним старшину Прокопа с просьбой о помиловании и с изъявлением покорности.

Но не помогли наши униженные мольбы. Весь народ был уведен в неволю, город — разрушен и разграблен. То был судный день гнева Господня. Меня на пороге костела чернь схватила за волосы, бросила на землю и топтала ногами.

Но воля Божья направила этих людей искать сокровищ в сакристии, а я успел в это время укрыться между гробницами за каменными плитами.

Разбойники пришли и туда, проходили около меня, чуть не задевали меня одеждой, а я каждую минуту ждал, что они схватят меня

и потянут на смерть, но Бог ослепил их. Они разбили гробы, вытащили оттуда трупы, а меня оставили. Я слышал, как над головой моей пылал костел, слышал, как падали бревна, как рухнула крыша, и обгоревшие части ее, провалившись в раскрытые двери склепа, упали почти у самых моих ног.

Я остался невредим! Для чего Богу угодно было продлить мою жизнь, я не знаю, — прибавил старец и, помолчав немного, продолжал: — Если для чего-нибудь была сохранена моя жизнь, то, верно, для того, чтобы я услышал ваш ропот и жалобы и принес вам утешение. С могилы, на которой я стою, глаза мои видят ясно. Не тревожьтесь о том, что крест упал и вернулось язычество, не думайте бить поклоны Маславу. Как проносятся вихрь и буря, так пройдет и гнев Божий: ветви обломаются, но стволы останутся целы и снова зазеленеют весной. Но плакать и роптать, ломать в отчаянии руки и падать на землю — не ваше дело, вам надо собираться вместе и защищаться. Плачут женщины, мужчины — борются. Бог поможет мужественным, если они вознесут к нему сердца. Разве уж погибло все наше рыцарство, что завоевывало земли с Болеславом?

Разве осталась только чернь, которая и тысячами не страшна, если одно сердце станет за тысячу?

Вы теперь все порознь идете, но если соберетесь вместе и возьмете в руки крест, — победа будет за вами. Напуганная чернь бросится в леса, а изменники понесут головы под меч и в петлю. Кланяться Маславу, — с жаром говорил старец, — это то же, что отречься от Бога и святого креста. Бог даст злым временное торжество, но не дает им власти. Ступайте, собирайтесь вместе, советуйтесь и выбирайте себе князя. С вами будет Бог.

Мне жаль костела, но глаза мои видят, как он скоро поднимется, как зазвучат в нем гимны в честь и славу Господа Бога! Не падайте духом, имейте веру в Бога! Бог вас спасет.

Говоря это, старец чувствовал все большую и большую слабость; дрожащею рукою он благословил на все четыре стороны слушателей, склонивших перед ним головы, и умолк, опускаясь на землю. Прибежал Дембец с охапкой соломы, которую он приготовил было для себя: на ней он уложил ослабевшего ксендза, который сложил руки на груди и сомкнул веки, как бы засыпая.

Все молчали; огонь потухал, и остальные тоже готовились ко сну.

Небо понемногу очищалось от туч; среди разорванных облаков мигали кое-где бледные звезды. Затихал ветер, и тишина, все реже прерываемая шумом в воздухе, распространялась над долиной, погруженной во мрак. И только узкая полоска неба еще светилась отблеском вечерней зари.

Вдохновенные слова старца оживили сердце надеждой; все думали о том, что предпринять завтра, и, хотя не высказывали вслух свои предположения, — мыслили все одинаково. Надо было искать своих и соединиться вместе, не теряя надежды на лучшее.

Новая тяжесть упала на трех всадников: им надо было забрать с собой ослабевшего старца, которого они не могли обречь на голодную смерть или на поругание врагам. Младшие еще могли идти пешком, но Дембец, который тоже собирался идти с ними, не мог ходить быстро, да и кони, ослабевшие от голодания, не годились для торопливой езды. Об этом думали все, не смея высказать своих мыслей, и, сидя у потухавшего огня, впадали понемногу в дремоту.

Отец Ян, утомившись, очевидно, заснул крепко — не слышно было даже дыхания.

Лясота тоже, видимо, не очень заботился о своей судьбе и равнодушно ждал, что будет дальше. Так прошла ночь.

Уже рассветало, когда братья Доливы начали совещаться между собой, в какую сторону направиться. Они уже не говорили о Маславе, но намеревались лесами пробраться к Висле, чтобы укрыться где-нибудь в Мазурской земле, потому что там чернь еще не поднялась.

День занимался, когда петухи, каким-то чудом уцелевшие на пожарище, прокричали приветствие утренней заре, объявляя опустевшей земле о начале нового дня. Услышав этот крик, все встрепенулись. Он так напомнил им лучшие времена в спокойных усадьбах! А единственный обитатель опустевшего поселения, не заботясь о том, что его окружало, испустил, может быть, в последний раз громкий крик — призывая к жизни смерть и пепел, и крик этот прозвучал в одно и то же время, как страшное издевательство и как напоминание. Объятые различными чувствами — одни тревогой, другие — бодростью, все начали подниматься с земли, словно пристыженные этим бдительным сторожем.

— И мы, пока живы, должны так созывать друг друга! — вскричал Лясота, силясь подняться.

— В дорогу!

## II

Тихая и спокойная ночь сменилась пасмурным утром, ветер, словно разбуженный, снова, как вчера, погнал облака. Сначала пронеслись маленькие румяные посланники зари, а за ними потянулась целая вереница серых, сливавшихся в огромные клубки, изрезанные по краям, и вот все небо затянулось как будто печальной полотняной пеленой, а по ней клубились и свивались все новые громады туч. Ветер принялся подметать и землю, опрокидывая кое-где обуглившиеся части строений; они падали на пепелище, а дым и смрад неслись вверх и распространялись далеко вокруг.

Холодный западный ветер принудил всех подняться с земли. Надо было позаботиться о более удобном убежище.

В этой гдецкой болотистой, отовсюду открытой низине, всякое нападение грозило опасностью; негде было укрыться, нельзя защищаться. Гораздо выгоднее было схорониться в ближних лесах.

Первыми встали братья Доливы, которым надо было попоить коней.

Дембец тоже приготавливался разложить костер, чтобы подкрепить теплой пищей хотя бы раненого Лясоту и заостеневшего от холода старца. Мшщуй, встав с места, хотел прикрыть своим плащом отца Яна, но, наклонившись над ним, заметил, что лицо его было мертвенно-бледно, и, приложив руку к его голове, убедился, что капеллан был мертв. Он, должно быть, умер спокойно, точно с молитвой на устах, руки его были сложены вместе на книжке, которую он вынес из костела. Эта книжка была единственным наследством, оставшимся после него.

Мшщуй не был ни удивлен, ни огорчен этой смертью: для отца Яна она была благодеянием, для путников освобождением от тяжести, с которой они не знали, как справиться. Переговорив с братом и убедившись окончательно, что отец Ян умер и совершенно заостенел, Мшщуй занялся прежде всего погребением старца. Нельзя же было оставить труп на съедение диким зверям и воронам; на общем совете решено было похоронить его в костельном склепе, из которого он вчера вышел к ним.

Дембец предлагал им свою помощь в этом богоугодном деле, но братья послали его присмотреть за конями, а сами, подняв труп за голову и ноги, в молчании отправились на рассвете к развалинам костела, находившегося неподалеку оттуда.

Здесь, как бы готовясь принять бранные останки капеллана, ждал его раскрытый дубовый гроб, из которого грабители вытащили мертвеца... В этот гроб братья благоговейно опустили отца Яна и прикрыли его на вечное отдохновение тяжелой крышкой. Потом, задвинув каменной плитой, закрывавшей раньше вход в гробницу, отверстие под землей, вернулись к сожженной хате. Лясота, давно уже проснувшийся, смотрел с каким-то каменным равнодушием на все, что происходило вокруг него; так смотрят люди, перенесшие большое горе: он не скорбел о чужой смерти и не побоялся бы своей собственной.

Дембец, стоя на коленях, варил что-то в горшке, кони были напоены, и хотя не нашли обильной пищи в наполовину выжженных оградах, все же выглядели бодрее, чем накануне.

Утро, сначала пасмурное, начинало светлеть, когда братья Доливы собрались двинуться в путь. Лясота еще лежал, подперев голову рукою.

— Отец, — обратился Мшщуй к старику, который, по-видимому, и не думал о путешествии, — нам надо ехать, и вы должны ехать с нами.

Лясота покачал головой.

— Дайте мне спокойно умереть, — произнес он едва слышным голосом. — К чему столько мучиться только для того, чтобы спасти жизнь, которая ни на что уж не нужна. Если бы я мог владеть руками!

— Но мы вас здесь не оставим! — вскричал Мшщуй.

— Ксендзу Господь закрыл глаза, Он поможет и мне умереть здесь, — сказал старик.

— Видно, Бог не хочет этого, если спас вам жизнь, — прибавил другой брат.

Доливы не захотели предоставить старика его участи и, почти силою подняв его, посадили на коня, у которого раны уже подсохли. Дембец деятельно помогал им. Все двинулись в путь, оставляя за собой сгоревший поселок, которому уж никогда, видно, не суждено было достигнуть прежнего богатства и значения. Проезжая мимо

селения, все еще раз оглянулись назад, созерцая странную картину разрушения.

Где-то был в то время ярким образом всей Польши, сожженной и разрушенной, разграбленной и пустой, а вдобавок не имевшей верховного вождя. И болело сердце у тех, кто видел ее еще недавно полной жизни и веселья, залитой шумной толпой, сновавшей по всем улицам, — с богатыми усадьбами, с костелами, в которых раздавались звуки гимнов. Теперь город молчал, как огромное кладбище, вороны носились над развалинами, ища недогнивших еще трупов, а обезумевшая чернь уничтожала все, что еще уцелело после погрома.

В мрачном молчании путники проехали мимо разрушенного замка и направились по дороге к лесу.

Окрестности были совершенно безлюдны, все, кому удалось спастись от чехов, скрывались в лесах. И наши путники почувствовали себя в сравнительной безопасности, когда очутились среди деревьев. Здесь нелегко было выбрать дорогу, хотя все хорошо знали местность. Самая большая тропинка была неудобна для беглецов, потому что на ней легко могли встретиться с вооруженными отрядами или с чехами, бродившими по всей стране.

Вооруженная чернь не давала пощады рыцарям, а чехи брали в неволю. Следовательно, они должны были свернуть с главной дороги и ехать прямо лесом, а Мшщуй, который любил охотиться, уверял, что он сумеет вывести всех к Висле, руководясь корою деревьев. Не было иного пути, как только ехать за Вислу, хотя в спокойствие, которое будто бы там царствовало, никто не верил, никто не мог поручиться за безопасность, а четверо беглецов, из которых один был беззащитен, а другой изранен и истощен голодом, не могли обороняться даже против небольшой кучки людей.

Вся пища, которую они имели, заключалась в мешке, который нес на плечах Дембец, а братья Доливы везли остатки в своих торбах, привешенных к седлам, а всего этого могло хватить ненадолго. Осталась только надежда на провидение.

В лесной чаще осень еще не произвела таких опустошений, как на опушке: здесь уцелело много листьев, травы и зелени, и ветер был не так силен. Проехав лесную опушку и вступив в чащу, путники поехали медленнее, внимательно прислушиваясь и чувствуя себя в безопасности. Впереди ехал Мшщуй, показывая дорогу, за его конем

шел Дембец, за ним, опустив поводья, похожий на живого мертвеца, тащился на коне Лясота, а Вшебор замыкал шествие.

Раза два или три у них из-под ног выскочил зверь, но никто не соблазнился им; гнаться за ним было невозможно, а бросить в него копьем — не попадешь. И только несколько часов спустя Мшщую удалось удачно попасть копьем в молоденькую серну, выбежавшую из лесу и в испуге остановившуюся перед ними, Дембец побежал за нею и догнал раненое животное. Это была хорошая добыча, и, добравшись до полянки, чтобы дать корм и отдых коням, они могли изжарить себе мяса, которого уже давно не ели.

В лесной чаще ничто не обнаруживало присутствия людей, всюду царило молчание, и хотя Мшщуй для безопасности прислушивался, лежа ухом к земле, он не слышал ничего, что могло бы пробудить опасение. Переждав, пока кони вволю наелись хорошей травы, напились воды из ручья и посвежели, путники двинулись дальше.

Дорога шла почти все время бором, самой его чащей, в том направлении, где, по уверениям Мшщуя, который уже высчитал дни и часы, когда они достигнут цели, протекала Висла. Никто не оспаривал его, потому что он лучше других знал эти места и имел вид человека, уверенного в себе.

Лясота был ко всему равнодушен, он послушно следовал за другими, ни о чем не спрашивая и почти не замечая окружающего. Делал то, что ему говорили, и, как бы лишившись собственной воли, позволял поить и кормить себя, но сам ничего не просил. Спутники его заботились о нем, не удивляясь его состоянию; они знали, что он потерял семью, и видели, что и в нем самом оставалось уже немного жизни.

День уже клонился к вечеру, когда Мшщуй, медленно ехавший впереди и зорко вглядывавшийся вдаль, чтобы вовремя заметить опасность, дал знак остальным, чтобы они остановились. Всадники сдержали коней и насторожились. Мшщуй, сойдя со своего коня, пошел, наклонившись, вперед, а потом пополз на животе.

Сквозь ветви деревьев, с которых уже облетела часть листьев, на лужайке, у подножия дуба, виднелось что-то, чего нельзя было хорошенько рассмотреть. Как будто белело платье, обнаруживавшее присутствие людей. Мшщуй тихонько подкрался к самому стволу старого дерева, но тут, огледевшись хорошенько, смело встал на ноги.

Ехавшие за ним догадались, что бояться нечего. Он кивнул и им, чтобы подъезжали ближе.

Зрелище, которое открылось перед ними, поразило всех, но возбудило в них не страх, а жалость. У подножия сидела с распущенными волосами прелестная девушка лет пятнадцати. Но этот свежий цветочек уже согнулся под дуновением какого-то резкого ветра; на бледном личике рисовалось глубокое страдание. Подняв глаза к небу, она сидела так, неподвижная, как статуя. Из голубых глаз медленно текли струйки слез, текли и засыхали на лице, и только две крупные, как жемчужины, слезы блестели, не высыхая. Руки ее были подложены под голову и опирались на дерево, а на коленях у нее лежала другая женщина, покрытая какой-то одеждой, так что головы ее не было видно, спящая, больная или просто усталая. Около двух женщин валялись на земле брошенные узелки, платья, корзина с пищей и мелкая утварь.

Они были одни — никого вблизи не было видно. Их одежда обнаруживала знатных женщин из рода жупанов или владык. На младшей верхняя одежда была обшита мехом, старшая была закрыта платьем из тяжелой драгоценной парчи. На шее девушки блестела золотая цепочка с украшениями, в ушах были серьги, а на белых руках, закинутых за голову, сверкали перстни.

Мшщуй, первый увидевший ее, стоял, как вкопанный. Он никогда в жизни не видел более красивой девушки; она казалась ему королевою или зачарованным лесным духом. А женщины точно окаменели: не видели и не слышали приближения людей и оставались по-прежнему неподвижными. Мшщуй догадался, что женщина, лежавшая на коленях у девушки, вероятно, спала, а та боялась малейшим движением нарушить ее сон.

И только тогда, когда кони подошли ближе и послышались их фырканье и топот копыт, девочка с криком рванулась с места и стала будить спавшую... С испуга потеряв всякую способность соображать, она не знала, что делать, потому что старшая женщина, проснувшись, не сразу пришла в себя.

Но когда она поднялась, то оказалась уже немолодой, но еще свежей и красивой женщиной, с прекрасными чертами лица, с черными бровями и глазами, смотревшими гордо и повелительно. Густые темные брови двумя полукруглыми дугами выделялись над

веками, прикрывавшими большие пламенные глаза. В них была тревога, но и гнев в то же время. Девушка, гораздо более испугавшаяся, старалась схватить ее за руку, увлечь за собой, но в это время показался Мшщуй и поспешил крикнуть им, что им нечего бояться.

При звуках этого голоса, убедившись, что это были свои, женщины, хотя еще не решались оторваться друг от друга, все же заметно успокоились. Старшая встала, гордо выпрямилась, прикрылась плащом, который закрывал ее во время сна, и принялась довольно смело приглядываться к Доливе. Младшая спряталась за ее спину и скорее инстинктивно, чем сознательно, стала собирать длинные пряди рассыпавшихся волос, покрывавших ее плечи, как бы золотистым плащом.

Мшщуй, которому часто приходилось бывать при княжеском дворе и в усадьбах окрестной шляхты, не мог припомнить, кто могли быть эти две женщины; между тем наружность их была такова, что их невозможно было забыть тому, кто хоть раз их видел. Расцветающая красота девушки невольно приковывала внимание и уже навек запечатлевалась в памяти. Но и старшая женщина была поразительно красива и интересна и выражением лица, и манерами, обличавшими в ней чужеземку. У нее и цвет лица был более смуглый, чем у польских женщин, а на верхней губе виднелся черный пушок. Крепкая, высокая, полная, она имела вид и манеры королевы, а взгляд ее обнаруживал привычку властвовать.

Хотя сама эта встреча в чаще леса и испуг младшей из женщин свидетельствовали о том, что они находились в отчаянном положении, одни, всеми покинутые и преследуемые дикой чернью, которая не щадила ни костелов, ни женщин, однако несмотря на это в выражении лица старшей не было заметно особенной тревоги. Только черные дугообразные брови сдвинулись над глазами, и две морщины прорезали лоб. Она долго приглядывалась к Мшщую, ожидая, чтобы он заговорил первый.

— Не бойтесь, милостивая пани, — сказал новоприбывший, — мы не разбойники, мы сами уходим от разбойников. Вот здесь нас двое братьев Долив, а это — Лясота из-под Шроды, а тот — служащий человек из замка. Мы едем из разоренного края, от Гдеча, где уж не осталось ни одной живой души.

Пока Мшщуй говорил это, женщина не спускала с него внимательного взгляда и потом с таким же вниманием стала присматриваться к подъехавшим спутникам Мшщуя; из-за ее плеча выглядывало встревоженное бледное личико девушки, кутавшейся в материнский плащ.

При виде этих одиноких, незащитных женщин в чаще леса все остановились, глядя на них с глубоким сожалением. Бороться со всякого рода несчастьями — мужское дело, но когда беспомощной и бессильной женщине приходится стать лицом к лицу с разнузданной чернью, когда гибнет девушка во цвете лет, тогда сжимается болью самое равнодушное сердце.

Объятые глубокой жалостью, подъехавшие мужчины молча смотрели на женщин: и даже Лясота, который вспомнил свою семью, шире раскрыл угасавшие глаза и задвигался на своем коне.

— Благодарение Всевышнему за то, что Он привел вас сюда, — заговорила старшая женщина, — благодарение Господу! Вот уже третий день как мы сидим здесь одни, плача и дрожа. Последний слуга, который был с нами, пошел разузнать, что делается в окрестностях, и еще не вернулся. На нашу усадьбу, Понец, напали жестокие полчища — целая масса людей... Мы с дочкой едва-едва успели спастись, захватив с собою старого слугу. Но и тот ушел и не вернулся, а нас здесь ждет голодная смерть или звериная пасть... Бог один ведает, что случилось с домом и с мужем!..

Прикрыла рукой глаза, из которых брызнули слезы, и умолкла.

Все спешили и приблизились к ним. Молодая девушка, все еще не отделившаяся от страха, пряталась за мать. Имя мужа этой женщины было известно рыцарям: сама она происходила из русских земель, родилась от матери-гречанки, а замуж вышла за могущественного владыку Леливу. Звали ее Мартой.

При Болеславе Великом, когда отношения с Русью были тесные и отличались большим дружелюбием, князья-жупаны часто женились на русинках, а иногда русины выбирали себе жен при дворе короля или в шляхетских усадьбах.

Никто из рыцарей не знал Марты Леливы и ее дочери и никогда в жизни не встречался с ними. Но мужа ее, Спицимира, или Спытека, как его называли, недавно поселившегося в усадьбе Понец, видали не раз и Лясота, и братья Доливы. Это был уже пожилой человек, рыцарь

в полном смысле этого слова, беззаветно храбрый, прославившийся своими смелыми походами. Страшно было даже подумать о том, что с ним могло случиться, но всем было одинаково ясно, что если в момент нападения он был дома, то скорее отдал бы жизнь, чем спасся бегством. Он мог устроить побег жены и дочери, но сам, наверное, выдержал нападение.

Но, не желая напрасными словами увеличивать горе женщины, никто не спрашивал о нем; она сама, ломая руки, начала рассказывать о нем, потому что, как все женщины, перенесшие тяжелое горе, она не могла уже больше сдерживаться и должна была говорить о себе.

— Бог один ведает, что случилось с моим любимым мужем, — говорила она. — Он хотел биться со своими людьми до последней крайности, но разве мыслимо, чтобы он мог хотя бы с боем прорваться сквозь ту толпу, что его окружила со всех сторон?

Тут обе женщины принялись плакать. Тогда Лясота, не проронивший до сих пор ни слова, подошел к ним и показал им свою растерзанную одежду и окровавленное тело, кое-как перевязанное тряпками, на которых проступали пятна крови.

— Теперь уже не надо роптать, а надо благодарить Бога тем, в ком еще есть кровь, — сказал он. — Мои все погибли. Я спасся только чудом. Кого Бог осиротил, тот должен покориться судьбе, оплакав погибших. Благодарите Бога, что вас не изрезала в куски чернь, которая озлилась на всех рыцарей, жупанов и владык и решила уничтожить наше племя во всех землях. Я знавал Спытека и думаю, что не посрамил себя и сражался до конца. Да и нам, мне и многим еще уцелевшим, немного уже осталось жить. Знаете ли вы, милостивая пани, что из тех панов, что укрылись в Гдече, не спаслась ни одна живая душа? Кто остался жив, того увели в неволю.

Женщины снова заплакали, громко причитая и ропща на судьбу, все остальные молчали, не было слов, которыми можно было бы утешить их. Между тем наступил вечер и решено было расположиться здесь на ночлег, чтобы не оставлять женщин одних, а те не могли двинуться дальше в ожидании слуг. Но кто знал, суждено ли им дожидаться их?

Хотя положение беглецов было настолько серьезно и опасно, что как будто и не время было думать о женской красоте и поддаваться ее обаянию, но братья Доливы, оба молодые, не женатые и горячие

сердцем, увидев дочку Спытека, сразу влюбились в нее и не могли налюбоваться ею.

Девушка, видя, как они следили за ней взглядами, пряталась за мать, но это плохо помогало, потому что братья под предлогом различных мелких услуг старались подойти к ним поближе, чтобы хоть посмотреть на нее и полюбоваться красотой. Правда, оба лагеря были на известном расстоянии один от другого, и женщины отошли в сторонку, но молодые люди без труда находили предлоги, чтобы подойти к ним.

Слуга Спытеков, которого она ждала с вестями от мужа, не возвращался; и становилось все более вероятным, что его или схватили где-нибудь по дороге, или он заблудился в лесу, или стал жертвой дикого зверя, хотя был очень толковый человек, чувствовавший себя в лесу, как дома.

Для Долива ясно было только то, что нельзя было оставить в таком состоянии этих несчастных женщин. У них не было лишних коней, и маленький их отряд, увеличенный ими, должен был еще медленнее продвигаться в сторону Вислы, и опасность этого путешествия еще усиливалась. Но никто не жаловался на это. Обоим братьям улыбалась совместная поездка с дочерью Спытека, в которую оба они сразу влюбились.

К ночи, когда возвращение слуги становилось все более сомнительным, начали советоваться о том, что делать утром, потому что недостаток в пище не позволял откладывать выступление в путь. Спыткова со слезами начала умолять не оставлять их на произвол судьбы. На это отозвался старый Лясота, снова обретший дар речи:

— Об этом никто не думает. Но и с нами вам не будет спокойнее и удобнее, потому что мы и сами не можем защитить себя и пробираемся крадучись, чтобы ни с кем не встречаться.

— А куда же вы направляетесь? — спросила Спыткова.

— Мы?.. Да к Висле, — отвечал старик. — Но одно дело — идти нам одним, а другое — брать с собою женщин. Доливы вели нас к Висле, где, говорят, еще спокойно на мазурских землях; там этот негодяй Маслав держит народ в железных руках. Но мы знать его не хотим и тем более не должны показывать ему женщин, потому что у него тоже нет ничего святого; он упился, как медом, своей силой. Вот мы и бредем на Вислу, а куда — Бог один ведает...

Долго никто не возражал ему.

— Эх! — отозвался наконец Мшщуй. — Не вечно же все будет так, как теперь. Все придет в порядок; наши соберутся вместе, а мы пока построим шалаши и переждем безвременье.

— А голод? — опустив голову, промолвил Лясота.

— Ну, этого нам нечего бояться, — улыбаясь, отвечали братья Доливы, — что-нибудь придумаем... В конце концов, что у нас осталось? Мы должны позаботиться о самих себе и спасти свою жизнь!

Старик ничего не отвечал на это, женщины перешептывались между собой, и, не придя ни к какому решению, все умолкли.

Была уже ночь, когда среди лесной тишины послышались звуки, перепугавшие всех, особенно женщин. Все явственно услышали шелест среди кустов. Мшщуй и Вшебор бросились к коням и оружию. Теперь уже можно было различить чьи-то шаги, а скоро из чащи леса показался, внимательно осматриваясь, человек, опирающийся на палку и имевший за поясом топор и дротик. Это и был слуга, посланный Спытковой на разведку о муже.

Женщины, узнав его, бросились к нему с вопросами, но, взглядевшись в него внимательнее, приостановились, выжидая.

Он шел или, вернее, брел, едва передвигая ноги от усталости, а по страшно исхудавшему и пасмурному лицу нетрудно было отгадать, что вести, принесенные им, никого не могли утешить.

Приблизившись к огню, он остановился, опираясь на посох и жалостливо поглядывая на свою госпожу, как бы приготавливая ее к тому, что ей не о чем было и спрашивать. И Спыткова не решалась спрашивать, предпочитая продлить минуты неизвестности, чем услышать известие, которое она угадывала сердцем. Тогда старый Собек, не выдержав взгляда своих господ, потерял все свое мужество и заплакал. Зловещее молчание — предвестник надвигающейся бури, воцарилось около костра. Первым заговорил Лясота:

— Спыткек погиб? А что случилось с усадьбой?

Собек, покрутив рукой в воздухе, указал ей на землю.

— Я смотрел издали, как дымилось наше гнездо, — сказал он, — его уж нет больше, и никого нет в нем, ничего не осталось... Раненый Жугва, дотащившийся с пожарища до лесу, где я и нашел его умирающим, сказал мне только то, что пан наш уложил целую гору

трупов, пока добрались до него, и погиб рыцарской смертью. Злодеи рассекли его на куски.

Женщины, услышав это, с громкими рыданиями упали на землю, но никто не посмел удерживать их от слез! А Собек, не прибавив больше ни слова, повалился тут же, где стоял, у огня, потому что ноги отнялись у него от изнеможения. Доливы и Лясота отошли в сторону, оставив плачущих оплакивать свое горе и печальную судьбу и советуясь между собой о том, что предпринять дальше.

Теперь их отряд увеличивался тремя пешими людьми, потому что и Собек ведь должен был присоединиться к ним. Братья согласились на том, чтобы посадить женщин на лошадей, а самим идти пешком. Лясоту нельзя было лишить его старой исхудавшей клячи, потому что он не мог идти. Но такой способ путешествия значительно усложнял дело.

Два брата отошли в сторону посоветоваться между собой, и хотя в решении своем оба были единодушны, но тем не менее поглядывали друг на друга так, как будто собирались кусаться, и взгляды, которыми они обменивались, были полны недоверия. А всему виной была девушка, на которую зарились оба, и потому пытливо заглядывали в глаза друг другу; Мшщуй подозревал Вшебора, а Вшебор — Мшщуй.

— Я дам моего коня девушке, — сказал Мшщуй, подбоченившись, — и сам пойду рядом с нею, чтобы он не испугался чего-нибудь и не споткнулся.

— Почему ты, а не я? — насмешливо заметил Вшебор. — Ведь и я это могу сделать.

— А почему же непременно тебе должна достаться девушка? — сердито оборвал другой.

Они обменялись неприязненными взглядами.

— Потому что девушка мне нравится! — засмеялся Вшебор.

— И мне тоже, — возразил Мшщуй.

— Ну и мне!

— И мне!

Они начали перебрасываться резкими словами, измеряя друг друга такими взглядами, как будто собирались вызвать на бой.

Ни один не желал уступить.

А так как оба были пылкого нрава и легко раздражались, то и теперь, казалось, готова была разразиться буря. Но, к счастью, им

стало стыдно перед людьми и перед самими собой.

— Ну, послушай, — сказал Вшебор, понизив голос, — не время нам драться из-за чужой девки, бросим все это. Прежде надо спасти ее и мать, а потом уж решать, чья она будет. Пусть Спыткова и дочка сами выберут себе коня, а мы оба пойдем за ними.

Мшщуй кивнул головой.

— Только ты не воображай, — прибавил он, — что я тебе так легко уступлю ее. Ты знаешь, что со мной шутки плохи.

— Да и со мной тоже... Мы знаем друг друга.

— Ну, разумеется... Да и нечего тут спорить. Никто не может взять девушку силой.

Вшебор презрительно усмехнулся.

— Почему? — спросил он. — Женщин чаще всего берут силой.

— Ну силой так силой, — пробормотал другой.

И снова чуть-чуть не поссорились. Еще хорошо, что вся их ссора происходила в стороне, так что никто не мог их подсмотреть и подслушать. Они замолчали на время, но, расходясь, затаили в душе гнев и неприязнь друг к другу.

Ночью надо было, кое-как сложив шалаши, затушить огонь, чтобы он не выдал их, а одному, по очереди, стоять на страже. По счастью, еще хмурое осеннее небо в тот день не разлилось дождем по земле.

С рассветом стали готовиться в путь. Вчерашнее соревнование началось снова, но без слов пока. Оба брата спешили подать коней женщинам, беспокоясь о том, какого выберет себе девушка. И, торопя друг друга, они обменивались горящими взглядами, и никто в этом споре не думал уступить другому.

Уж были связаны узлы и мешки, которые должен был захватить с собой Собек, мать и дочь оделись и ждали, когда все двинется в путь. В это время перед ними появились братья Доливы со своими конями. Марта Спыткова поблагодарила и выбрала себе коня Вшебора, потому что этот конь был крепче и сильнее, а она хотела посадить дочку позади себя, чтобы не расставаться с нею в пути, но тут вмешался Мшщуй и заявил, что кони их ослабели, а путь предвиделся долгий и нельзя было ехать вдвоем на одном коне.

Девушка стояла в нерешительности, не желая расставаться с матерью, да и матери не хотелось отпустить ее от себя. Они уже

готовы были идти пешком. Доливы все еще стояли перед ними, мешкать было невозможно.

— Милостивая пани, — сказал Мшщуй, — теперь некогда раздумывать. Садитесь вы на одну лошадь, а девушка — на другую, мы пойдем рядом с вами, и она будет у вас на глазах.

Но девушка жалась к матери, и Спыткова не могла решиться. Лясота, которому помогли сесть на коня, заметил:

— Что тут торговаться, когда надо спасать жизнь!

Тогда мать, обняв дочку и шепнув ей что-то на ухо, села на коня Вшебора, а Каю предоставила Мшщую, который бросил брату презрительный и насмешливый взгляд.

Девушку звали Катериной — по имени одной из наиболее уважаемых в то время святых.

Итак, с Божьей помощью, все двинулись в путь лесными тропинками — так что ехать приходилось гуськом, и девушка очутилась за матерью, но она так закуталась и закрылась, что Мшщуй не видел даже ее глаз.

Проходя мимо брата, Вшебор шепнул ему на ухо:

— Не надейся, что ты долго будешь наслаждаться с нею, я возьму ее потом себе.

— Ну, увидим, — сказал Мшщуй.

— Увидим...

— Посмотрим.

Маленький караван нарочно выбирал самые глухие тропинки, по которым не ступала еще нога человеческая. Лес тянулся непрерывно и, как льстил себя надеждой Долива, должен был вывести их к Висле; в то время вся страна представляла из себя одинокий огромный лес, только местами вырубленный и расчищенный.

Куда бы ни пошел человек — ближе или дальше, везде перед ним был лес, а если и попадались иногда поляна или луг, то за ней сразу же снова начинался бор. Так ехали они долго, но вдруг лес начал редеть с юга, и Мшщуй, забежав в испуге вперед, увидел перед собой широкую, плоскую, открытую со всех сторон равнину.

Правда, за этой равниной расстились густые леса, но так далеко, что при медленном передвижении потребовался бы целый день, чтобы доехать туда. Как раз в той стороне и должна была протекать та Висла, за которой они хотели укрыться. Надо было

хорошенько обдумать положение, чтобы не стоять долго на виду среди поредевшего леса.

Собек предложил, оставив узлы и мешки, тихонько подползти вперед, чтобы рассмотреть местность.

Дым, в различных местах поднимавшийся над землей, свидетельствовал о том, что долина эта не была совершенно опустошена.

Собек влез на дерево и увидел вдали сожженный замок, полуразрушенные стены костела, но, что хуже всего, ему показалось, что он видит огромный лагерь конных и пеших людей, несколько больших костров, около которых паслись стада, лежал рогатый скот и кони и возвышались кучи каких-то сваленных вместе предметов.

Он догадывался, что они, по несчастью, набрали на один из тех караванов, которые, переходя от селения к селению, грабили и разоряли усадьбы, замки, монастыри и костелы, равняя их с землей.

Была ли это окрестная чернь, пруссаки или Маславово войско — об этом трудно было догадаться, но для беглецов это было одинаково плохо.

Женщины встревожились и хотели было сейчас же возвращаться назад, в лесную чащу, хотя лагерь был расположен на большом расстоянии от того места, где они находились; все сошлось на том, чтобы взять влево и пробираться в ту сторону, где виднелись леса, и этими лесами обойти долину.

Собек, который был смелее других, советовал переждать в лесу, пока он проберется вперед и все разузнает.

Хотя Лясота отговаривал его от этого намерения и женщины боялись лишиться слуги, но для путешественников было очень полезно узнать, что делалось в той стороне, куда они направлялись.

Спор продолжался недолго; Собек был так уверен в себе и выражал такую готовность отправиться на разведку, что пришлось ему уступить. Человек бывалый, он знал, что и как ему надо говорить, кем прикинуться перед разными людьми, и надеялся, что в толпе черни никто не обратит на него внимания. Крестьянская одежда и простой говор давали ему возможность пробраться, не возбудив подозрения.

Лагерь был расположен на значительном расстоянии от опушки леса, и Собек должен был прокрадываться так, чтобы никто не заметил, что он вышел из лесу.

Долину пересекал ручей, по берегам которого росли густые вербы и лозняк. Собек до самого берега этого ручья полз по земле через весь луг.

Очутившись среди кустов и осторожно пробираясь среди них, он мог подойти к самому лагерю и, никем не замеченный, появился в нем, как будто шел от стада, пасшегося над водой.

С ловкостью дикого человека, которым так же, как зверем, руководил инстинкт и опыт, Собек вошел в лозняк. Издали только зоркий глаз охотника мог бы заметить слегка колыхавшиеся ветви там, где он, осторожно пробираясь, задевал их. Но он избегал и этого и, где только было можно, держался около самой воды.

Это осторожное передвижение над речонкой заняло у него довольно много времени; наконец он услышал ржание коней, рев скота и шум и говор людской толпы. Он был уже около самого обоза. Ловкий и смелый, Собек спрятал свой топор в лозах, а сам вышел из них, неся в руках пук наломанных ветвей; идя по дороге, он изгибал их и переплетал между собой.

Никто даже не оглянулся на него, и он, с лозами под мышкой, вошел в стадо рассыпавшихся по лугу коней.

Отсюда он уже хорошо разглядел, что перед ним было не войско, не чехи и не пруссаки, а просто толпа разнузданной черни, бродившей с кольями и дубинами от усадьбы к усадьбе.

Со смехом и криками они делили награбленную добычу.

В центре лагеря лежали связанные женщины и подростки, взятые в неволю.

Немного поодаль валялись выброшенные из лагеря трупы, а около них с ворчанием бегали собаки. Грабители не сооружали ни палаток, ни шалашей и спали под открытым небом на голой земле.

Повсюду виднелись громадные костры, а на них жарились бараны и зарезанный скот. Тут же стояли раскрытые бочки, из которых каждый черпал, сколько хотел. На земле кучами лежало награбленное в костелах и усадьбах богатство.

В различных местах лагеря возвышались изображения языческих богов. Старых было недостаточно, поэтому наделали новых, грубо и неумело вытесанных из дерева.

Раздались языческие вызывающие песни, толпа была пьяна, но пела с жаром.

Собек стоял так, среди стада коней, не зная, на что решиться; идти ли дальше или возвращаться, когда к нему подошел подвыпивший работник, который с бичом в руке присматривал за стадом, и стал внимательно присматриваться. Старик, нимало не перетрусив, продолжал плести ветви, в свою очередь, приглядываясь к нему.

— Плохой корм! — забормотал он, чтобы начать разговор.

— Да, для коней, — сказал Собек, — но для нас всего вдоволь. Что же ты голоден, что ли? — смеясь, прибавил он.

— Я-то нет, да мне скотину жаль.

— Э, что с нею станется! Ведь она нам даром досталась, ты сгонял ее по усадьбам, что ж за беда, если какая-нибудь и подохнет. Надо же и воронам чем-нибудь питаться, — спокойно говорил Собек.

— Ну, ну, — пробурчал работник, — пора бы уж бросить все это... В окрестностях не осталось ни одной усадьбы, ни одного монастыря или хоть костелишка, а я уж стосковался по хате.

— Что же ты в ней оставил? — спросил Собек. — Девку, что ли?

— Да, может, еще и не одну, — возразил работник. — Я не бобыль, могу их взять.

Он повернул голову по направлению к лагерю.

— Вон там их сколько! Как старшины повыберут себе, нам останутся только бабы!

— А вы вернетесь к своей, оно и лучше будет. Там никто ее, верно, не обидел, если все ушли, — говорил Собек.

— Да, да, — забормотал работник, — может быть, все, а может быть, и не все.

Он зевнул и одновременно вздохнул, а потом ни с того ни с сего так хлопнул бичом, что кони шарахнулись в сторону, а пастух рассмеялся.

— Ну, уж теперь, верно, вернемся, видно, дальше делать нечего, когда ничего уж не осталось, — заметил Собек. — И я уж скучаю без хаты.

— Да, как же, так тебе и вернулись! — сказал пастух. — Осталось еще Ольшово. Там в замке заперлись магнаты, а у них сокровища большие и девок тьма, и никак их не взять! Вот мы и должны выкурить барсуков из норы!

— Это что еще за Ольшово, я не слыхал? — возразил старик.

— Потому что ты старый и глухой! — смеялся пастух. — А где же ты был, когда мы туда ходили?

— Я? — сказал Собек. — Да я же пас коров, я ничего не знаю.

— Там они много наших положили, мы должны были уйти, но мы их возьмем!

Проговорив это, пастух принялся свистать и как будто потерял охоту к дальнейшему разговору.

Собек тоже никак не мог справиться со своей работой, лоза негнулась, а ломалась, и он, ругаясь и проклиная, заявил, что пойдет искать лучших прутьев. Никто не обращал на него внимания. Он снова пошел в кусты над речкой. Скрылся в них весь, постоял, прислушался, притаившись, нашел спрятанный топор, засунул его за пояс и, заметив, что пастух опять улегся на землю, пустился в обратный путь, с прежней осторожностью пробираясь между кустами по направлению к лесу.

Смелая вылазка окончилась благополучно, потому что никто не обратил на него внимания.

Все ускоряя шаги, он дошел так до лесной опушки и, выбравшись ползком из кустов, добежал, никем не замеченный, до чащи леса.

Здесь по следам конских копыт на влажной земле он добрался до того места, где с нетерпением ожидали его остальные путники, со страхом думая о том, удастся ли ему что-нибудь разузнать. Спыткова уверяла, что он такой опытный и ловкий человек, какого нет больше на свете, поэтому и покойный муж выбрал его в провожатые ей и дочери. Собек вернулся раньше даже, чем его ожидали. Завидев его издали, все окружили его с расспросами.

— Ну что же вы там видели? Что это за люди? — спросила Спыткова.

— Да все та же чернь, которая была и у нас в Понце, — сказал Собек. — Я не только видел их собственными глазами, но даже разговаривал с их пастухом. Пожалуй, скоро уж они, разделивши добычу, разбредутся по своим хатам, — для них уж ничего не осталось, кроме одного только Ольшовского замка. Там заперлись вельможные паны и убили у них немало людей; они думают взять их голодом, потому что иначе никак не могут.

— Ну, ну, — прервал его Лясота, — этого уж они не дождутся. В Ольшове сидит старый Белина, он уж ко всему ранее приготовился и

не дастся им в руки, хоть бы пришлось и год продержаться. Я Белину знаю. Люди смеялись над ним, что он, живя в безопасном месте, так всегда укреплялся, вооружался, окапывался и собирал запасы хлеба, как будто готовился к осаде. Видно, он один знал, что делал.

— При Болеславе все думали, что уж всякая опасность миновала; он один только не верил в обращение и пророчил, что когда-нибудь язычники разрушат костелы, а нас всех — христиан — вырежут.

— Он один только и знал и ведал, что должно было случиться, — со вздохом прибавил Лясота.

— А почему же бы нам, милостивый пан, — заговорил Собек, кланяясь ему в ноги, — вместо того, чтобы ехать за Вислу, до которой так трудно добраться, не направиться в Ольшовский замок? Я бы нашел туда дорогу!

Все помолчали.

— А ты разве хорошо знаешь дорогу? — спросил Лясота.

— Да уж провел бы вас, — поглаживая себя по голове и покачивая ею, отвечал старик.

— Да примут ли нас там? — прибавил старший Долива.

— Ну, как же они могут не принять? — возразил Лясота. — Мы с ними одного рода. Они — мне близкая родня. Белина никогда еще не отказывал в гостеприимстве христианину и рыцарю.

— Да ведь мы не съедим его! — прибавила Спыткова, которая схватилась за эту мысль, как за якорь спасения.

Не возражали и братья Доливы, да и никто не оспаривал этой счастливой мысли — все дело было только в том, каким способом и с какой стороны добраться до Белины. По словам Собека, до Ольшова было полтора или два дня дороги, и надо было подходить к замку осторожно, потому что хоть чернь и отступила от него, но кругом стояли часовые и стража и легко можно было попасть в их руки.

Мшщуй напомнил об этом, а Лясота одобрил план действий. По всей вероятности, чернь не отказалась от мысли овладеть Ольшовым и потому оставила там хоть небольшой отряд.

И на этот раз Собек с готовностью вызвался пойти на разведку. Этого человека — узнав его хорошенько, — невозможно было не полюбить: он никогда не обнаруживал утомления, вечно готов был услужить своим панам, ел мало и спал немного, спрошенный о совете, давал его охотно, но, если его не спрашивали, мог молчать хоть полдня

и никому не надоедал. Еще до наступления вечера путники ради безопасности углубились в лес, и Мшщуй тут же уступил Собеку свою роль провожатого.

Весь следующий день можно было употребить не спеша на переезд в Ольшовский замок. И женщины повеселели, ободренные надеждой очутиться вскоре среди своих и не ночевать под открытым небом в лесной чаще, где всегда можно было ожидать нападения Маславовых отрядов и пленения.

### III

До рассвета, в пасмурную погоду, пустились в путь. Еще ночью зачастил спокойный осенний дождь, похожий на густую мглу. По уверению Собека, такие дожди предвещали долгое ненастье. Лесные тропинки размокли и стали скользкими, промокли вскоре и путники, а женщины, хоть и кутались во что только могли, чтобы защититься от холода и сырости, продрогли и тоже вымокли.

Спыткова утешала себя разговором с провожатыми, но как только разговор смолкал, тяжелые мысли овладевали ею, и она с трудом удерживалась от слез.

Мшщуй и вчера, и сегодня старался не отлучаться от девушки, ведя под уздцы ее коня и отстраняя ветви, чтобы они не ударили ее. Но Кася избегала даже глядеть на него, а дождь позволял ей так кутаться, что даже глаз ее не было видно.

Старшая пани охотно разговаривала с шедшим около нее Вшебором, изливая на него свои бесконечные жалобы.

А так как тот, кто хочет приобрести расположение дочери, должен понравиться и матери, то Вшебор не тратил времени даром и то, что терял у дочери, старался выиграть у матери. И в душе своей посмеивался над Мшщуем. Мшщуй и без того был сильно не в духе; уже несколько раз на свои вопросы Касе он не дождался от нее ответа.

Девушка была скромна, боязлива и поразительно молчалива, как будто не сознавала своей молодости. Может быть, впрочем, так повлияли на нее душевная боль и испуг. Долива не мог допытаться от нее ни слова, если же она шептала что-то в ответ, то так быстро и тихо, что ничего нельзя было разобрать.

Зато мать говорила за двоих. Вшебор мог узнать от нее не только все, что ему было нужно, но и ненужное. Марта Спыткова рассказала ему про свою молодость, проведенную на Руси, про первое сватовство, свадьбу, отъезд в Польшу, про жизнь свою с мужем и все свои и его приключения до самых последних событий, и не раз, а несколько раз, все с новыми добавлениями, рассказала она ему всю историю своей жизни. При этом она то плакала, то смеялась, вспоминая что-нибудь веселое и забывая о печальном, потом опять плакала и опять смеялась, поблескивая черными глазами, как будто чувствуя себя молодой.

Рассказывала о себе, о муже, о всех своих поклонниках, которые готовы были влюбиться в нее, если бы только она позволила, и обо всем, что только приходило ей на память. Эти разговоры, видимо, были ей необходимы, потому что, если не было при ней Доливы, она подзывала Собека, обращалась к дочери и только на короткое время умолкала.

Этим способом она, вероятно, боролась со своим горем, потому что, как только она переставала говорить, слезы текли из ее глаз. Вшебор не давал ей длинных реплик, достаточно было одного слова, чтобы нескончаемая повесть потянулась снова.

За один день он так подружился с матерью Каси, как будто бы они уже давно были знакомы.

А так как в то время люди были искреннее, чем теперь, то он мог смело навести разговор на дочку и, осыпав ее похвалами, дал матери понять, что она ему очень приглянулась.

— Ну, да ведь она еще ребенок, совсем еще незрелая и слабая, — недовольно возразила Спыткова, — ее еще рано отдавать мужчине. Ей бы еще забавляться с голубями да песенки петь. Хозяину мало было бы от нее толку, какая она хозяйка! Да где там! Ей еще далеко до этого.

И она покачивала головой.

Вшебор не настаивал, может быть, даже радуясь в душе, что Спыткова не имела намерения поскорее сбыть дочку.

Положение Мшщуя было гораздо хуже — он прямо мучился.

Кася ему не отвечала, поэтому он сам, чтобы позабавить ее, рассказывал все, что приходило в голову. Иногда она приоткрывала лицо, чтобы взглянуть на мать или поправить платок, и тогда Мшщуем видел голубой глазок, часть белой шейки или румяной щечки, из-под платка выбивались колечки золотых волос, но она крепче куталась в

платок, а перед Мишцумом снова были только складки покрывала, по которому стекал дождь. И так печален был этот взгляд молоденькой, балованной девушки, столько было в нем еще неулегшегося страха и страдания!

Старый Лясота по-прежнему молчал всю дорогу. Дембец с Собеком, быстро подружившиеся между собой, шли впереди и тихонько разговаривали. Они сошлись так легко и так хорошо понимали друг друга, как будто долго ели похлебку из одной миски. Смелая вылазка Собека внушила Дембецу такое почтение к товарищу, что он стал относиться к нему, как к отцу или начальнику, и исполнял все его приказания. Собек зорко следил за тем, чтобы в пути не натолкнуться на людей и не встретиться с бродягами, поэтому он избегал лесных дорог, а шел прямо по лесу.

Все удивлялись его зоркости, тонкости слуха и остроте обоняния, позволявшим ему различать малейший свет, стук или запах. Если в воздухе чувствовался запах гари, то он уже наверное знал, где горит, — и далеко ли или близко, и что именно — дерево, мокрые листья или прогнившее дупло. Втягивая носом воздух, он узнавал, близко ли вода, нет ли где поля, и издали, по одному виду мог отличить лес от бора. Он первый замечал, если что-нибудь мелькало в чаще, и безошибочно узнавал, зверь это или птица, самый незначительный шум, незаметный для других, тотчас же улавливало его чуткое ухо. Иногда в кустах раздавался шелест или хлопанье птичьих крыльев, а он, не поднимая даже головы, определял, что перебежало через дорогу и что взлетело кверху. След на земле был для него как бы открытой книгой, в которой он спокойно читал. Он замечал все: и сломанную ветку, и брошенную подстилку, и луг, обьеденный скотом, и замутившуюся воду.

Благодаря этому у них всегда была пища: он указывал Доливам, где искать зверя и какого именно, а в речке сам, без всякого сачка, руками ловил рыбу. При всем своем спокойствии он никогда не оставался без дела: собирал по дороге грибы и ягоды, прислушивался, приглядывался и все это делал с таким видом, как будто это не стоило ему ни малейшего усилия.

А Доливы, положившись на его опытность, уже не вмешивались и не давали ему советов, а следовали его указаниям, потому что он никогда не ошибался.

Так они подвигались понемногу в глубь леса, но, несмотря на все предосторожности, все же несколько раз в продолжение дня испытали тревогу.

Посреди леса Собек почуял запах гари, но уверял, что костер, наверное, уже потух и остался только дым, кутившийся над отсыревшими головнями. Присматриваясь внимательнее, он заметил кучу наломанного и сложенного вместе хвороста, очевидно, приготовленного человеческой рукой для постройки шалаша. Осторожно приблизившись, они нашли спящего человека, который, внезапно пробудившись, сделал движение, чтобы вырваться и убежать. Но Дембец и Собек бросились на него и повалили его на землю, боясь, как бы он не донес о них врагам.

Собек едва не разможил ему голову топором, но вовремя сообразил, что это просто беглец, скрывающийся в лесу, а вовсе не член разбойничьей шайки, грабящей города и села. На него было просто страшно смотреть, хотя он был молод и силен, — так он страшно исхудал без пищи, питаясь только водой, листьями и кореньями. Голодная лихорадка сделала его полубезумным и отняла силы. Глаза его сверкали таким страшным пламенем, как будто у него все горело внутри.

Когда путники, оправившись от испуга, поняли, с кем имеют дело, они почувствовали жалость к несчастному. Его подняли с земли, а когда подъехали остальные, Спыткова дала ему кусок черствого хлеба, на который он набросился, не помня себя, и ел его, не видя и не слыша того, что происходило вокруг.

В первую минуту от него ничего нельзя было добиться. Он жадно ел и понемногу успокаивался после испуга внезапного пробуждения от горячечного сна.

Лясота, всегда с особенной жалостью относившийся к таким же несчастным, как он сам, пристально всматривался в худое, почерневшее лицо беглеца. В изменившихся чертах его он уловил что-то знакомое, как будто где-то им виденное.

Беглец взглянул на него, и из его уст вырвалось первое слово:

— Лясота!

— Боже милосердный! Да ведь это Богдан Топорчик! — крикнул старик, всплеснув руками. — Что же ты делаешь здесь, в лесу? Ведь ты же был вместе с Казимиром, и мы думали, что ты ушел с ним за

границу к немцам, потому что ты был всегда при нем. Королевич любил тебя и не должен был тебя оставлять.

Только теперь развязался язык у Топорчика.

— Он и не оставил меня, — сказал он, — это добрый и богобоязненный государь, только люди нехорошо и нечестно поступили с ним! Я случайно отстал от его двора, раньше, чем он уехал к матери. Потом уже не к кому было ехать, и невозможно было догнать его. Разразилась буря, и вот что случилось со мной.

Невольный стон вырвался из груди Богдана при этих словах. Все, стоя подле него, смотрели на него с глубоким сочувствием. И вот маленький караван увеличился еще одним бедняком, а пока его накормили и сговорились между собой, как быть дальше, наступил вечер.

Ольшовское городище было уже недалеко; надо было решить теперь же, ехать ли дальше или переждать до следующего вечера и с наступлением мрака подойти к замку.

Спыткова, беспокойная и усталая, настаивала на том, чтобы ехать сейчас же, другие колебались. Бросить Богдаса Топорчика на произвол судьбы было немислимо, и всем невольно пришла в голову одна и та же мысль — что чем больше народа явится в замок, тем неохотнее их примут. Теперь их было уже восемь, а в голодное время прокормить в осажденном замке столько людей было нелегкой задачей.

Белины были известны своим христианским милосердием, но и они должны были прежде всего позаботиться о безопасности и прокормлении собственной семьи.

Никто, однако, не заговаривал об этом первый — всем было неловко. Когда спросили Собека, он посоветовал ехать немедленно, пользуясь наступившей темнотой. Богдас, подкрепленный пищей и немного оживившийся, предлагал идти с ними, пока хватит сил. Спыткова достала из своей корзины несколько капель какого-то напитка и велела дать ослабевшему Топорчику, который почувствовал себя несколько свежее.

Перед вечером дождь затих, и несмотря на мрак все двинулись в путь. По расчету Собека, а он никогда не ошибался, они должны были еще до рассвета подойти к долине, среди которой находилось Ольшовское городище Белинов.

Впереди шли Собек с Дембцем, за ними ехали Лясота и обе женщины, возле которых шли братья Доливы; Богдана Топорчика Мишцуй вел под руку, потому что он был еще слаб.

Лясота, отвечая на вопросы Спытковой, рассказал ей о Топорчике следующее: он вырос при дворе королевича Казимира в качестве товарища по играм, так как происходил из старого и знатного рода. Ему предсказывали блестящее будущее, учили его бенедиктинские монахи и поражались его способностям, что, однако, не помешало ему, отдаваясь науке, сохранить в себе рыцарский дух.

Во время пути Лясота подозвал его к себе, желая узнать от него, как он попал в беду, из которой спасся только чудом. Но Топорчику, видимо, не хотелось рассказывать об этом, и он всю вину сваливал на собственную неосторожность, и об одном только можно было догадаться: что его послали с целью подготовить помощь для королевича, которому угрожало такое изгнание, какому уже подверглась незадолго перед тем его мать.

И вот, принеся себя в жертву, преследуемый врагами, отрезанный от Казимира, он оказался вынужденным блуждать по лесу в то время, как вся страна была обвита грабежами и пожарами, а ему оставалось только спасать спую жизнь...

При имени Маслава Богдан затрясся всем телом, зарычал, сжал кулаки, как будто готовясь к борьбе, и громко воскликнул, что он предпочел бы погибнуть с голоду или от руки черни, чем рассчитывать на милость Маслава.

— Я не мог вымолвить даже имени этого собачьего сына, так оно меня давит! — говорит он. — Он всему виною, он — изменник. Пусть вся наша кровь падет на его голову! Не может быть, чтобы Бог не покарал его! Сначала преследовали и выгнали королеву, которая презирала его, как он того и заслуживал, а потом задумал умертвить королевича и забрать власть в свои руки. Негодяй знал отлично, что когда польская кровь и страна превратятся в пустыню, то люди будут звать на помощь хоть разбойника! Но лучше уж погибнуть, чем искать у него милостей!

И по обычаю того времени Топорчик принялся осыпать ругательствами и проклятиями Маслава, которого никто и не думал защищать.

— Он хуже пса — это правда, — прервал его Лясота, — но если у него будет сила, то те, кому мила жизнь, придут с поклоном к нему!

— Нет, не дождется этого разбойник, не дождется, пока нас осталась хоть небольшая горсточка! — заговорил Богдан. — Разве мы не можем призвать снова внука Болеслава? Он теперь ушел от нас, но если мы его попросим, он вернется и будет править нами — не как отец, а как дед, потому что он рыцарь по духу, муж богобоязненный и разумный. Неужели нас уже истребили, как пчел, всех до единого? Если сохранится хоть горсточка, император поможет ему для того, чтобы не позволить чехам чрезмерно увеличиться присоединением нашей земли. Надо идти к нему, просить и умолять!

— Да ведь он сын Рыксы! — тихо проговорил один из Долив.

— Я это знаю, — горячо прервал Топорчик, — я знаю, что у нас никто не любил королеву-мать и ей приписывали все дурное. Но я ведь там жил, я все видел. Все это иначе было! Королева набожная и разумная, ее не любили за то, что она была сурова к людям, но она была милостива и справедлива. Говорили про нее, что она не любила наших, а окружала себя немцами, все это правда, но ведь и наши к ней не шли с доверием, а старые языческие обычаи отталкивали ее и возмущали. Она боялась наших и предпочитала проводить время с набожными и мудрыми людьми и беседовать о святых делах. У них она спрашивала совета, потому что больше не у кого было спросить. А наши косились на нее за это.

— Ах боже мой! — отдохнув немного, продолжал Топорчик. — Трудно понять, как все это случилось с нами! Чувствуем только, что на нас обрушился Божий гнев за то, что мы не уважали собственных государей. За это теперь чернь села нам на плечи!

После долгого и утомительного перехода, глубокой ночью, Собек приказал ехавшим впереди приостановиться, потому что лес начинал редеть, и можно было думать, что скоро откроется долина, посреди которой находится Ольшовское городище.

Небо тоже прояснело, из-за облаков выглянул край месяца. Собек снова пошел вперед, чтобы посмотреть, нет ли около замка стражи или отряда, оставленного чернью для охраны. Все притаились в чаще, а Собек, сторбившись, вошел в кусты и пустился на разведку.

Действительно, перед ними была Ольшовская долина, пересеченная речкой Ольшанкой, а на этой речке виднелось на

довольно высоком и хорошо укрепленном холме городище Белинов. Оно было окружено со всех сторон крепостным валом и рогатками, из-за которых только кое-где выглядывали крыши домов.

В долине Собек не заметил ни одной живой души, но над речкой остались свежие следы огромного табора: трава была примята, даже вытоптана, а во многих местах выжжена. Повсюду валялись потухшие головешки, виднелись выкопанные в земле ямы для костров, колья, к которым привязывали коней, остатки разрушенных шалашей и груды белых костей.

А замок, к которому пробирался Собек, казался совершенно вымершим, не слышно было в нем звуков жизни, не видно огня. И только, вслушавшись хорошенько, он различил мерные шаги часовых на валах.

Разглядев, с которой стороны надо было подойти к замку, он поспешно вернулся назад, чтобы под покровом темноты, пока все было тихо вокруг, провести свой маленький отряд.

Но лишь только они выбрались из леса в долину, на валах послышались окрики: очевидно, бдительная стража, завидев их, подняла тревогу, Собек, который ночью видел так же хорошо, как кот, заметил, что над рогатками в разных местах показались люди. И чем ближе они подвигались к замку, тем больше усиливалось движение. К воротам вела извилистая тропинка, умышленно загроможденная камнями и бревнами и во многих местах разрытая; ехать по ней ночью было и неудобно, и не безопасно.

Старый Лясота, словно разбуженный от сна, вдруг двинулся вперед, оставляя за собою своих спутников. Его уж поджидали у ворот, потому что, как только он крикнул: «Белина!» — из замка тотчас же отозвались.

— Кто вы и откуда?

— Раненые, несчастные — две женщины и несколько калек, просят у вас милосердия. Помогите, кто в Бога верует, и приютите нас!

Долго не было ответа на это первое обращение. Тогда Лясота, потеряв терпение, начал звать самого Белину:

— Белина, старый друг, отзовись, ради бога!

Опять долгое ожидание. А за воротами слышны были только тихий говор и чьи-то шаги. Наконец, наверху, на мосту, показалась

какая-то темная фигура, мужчина в высокой шапке, с белым посохом в руке.

— И двор, и замок наш битком набиты людьми — хлеб в умалении. Мы бы душой рады принять еще... Но сами едва можем прокормиться...

— Позвольте же нам, хоть без хлеба, спокойно умереть у вас, чем попасть в позорную неволю к убийцам и злодеям! — крикнул Мшщуй.

Долго не было ответа. Наконец голос сверху спросил:

— Кто вы?

Лясота назвал сначала себя, потому что они знали его и даже были с ним в родстве, потом вдову и дочь Спытека, двух братьев Долив и наконец Топорчика и двух слуг.

— Восемь душ! Восемь ртов! — закричали сверху. — Это невозможно, здесь не хватит места и на троих.

— Женщин возьмем! — закричал другой голос.

— Белина, старина, — заговорил Лясота, усиливая голос, в котором слышался гнев, — ты хочешь, верно, чтобы мы легли все здесь, у ворот, и чтобы все знали, какое у тебя христианское сердце? Ладно... Мы ляжем все, пусть же нас волки сожрут у вас на глазах!

На мосту слышались крики и споры — одни требовали милосердия, другие противились этому. Лясота и Доливы молчали. Топорчик молча сидел на земле. Спыткова громко жаловалась и причитала, а Кася потихоньку плакала.

— Пустили бы хоть нас, — говорила Спыткова, — я тогда брошусь им в ноги и выпрошу для вас приют.

Спустя некоторое время кто-то, нагнувшись вниз из-за рогаток, крикнул:

— Богдась Топорчик, ты ли это?

— Это я или тень моя, потому что я едва жив, — сказал Богдась, подняв голову. — Был бы уже мертвым, если бы не милосердие этих людей.

— Двух женщин, Лясоту и Топорчика! — крикнули сверху. — Больше никого. Да будет воля Божья!

Наступило молчание. Спыткова пошла было к воротам, но Богдась встал и сказал:

— Женщин впустите, а я не пойду без других, останусь с ними. Если бы последний из слуг должен был остаться за воротами, я

останусь с ним. Или всех, или никого. Пойдем под нож к Маславу.

Ослабевший Богдась так вдруг возвысил голос, что все перепугались, — жизнь возвращалась к нему со всем пылом молодости. Наверху снова начались переговоры и споры, а ворота все еще были на запоре. Богдась заговорил с лихорадочным возбуждением:

— Впустите женщин — пусть хоть их не бесчестит чернь и не глумится над ними. А если не хотите спасти своих же братьев-христиан и разделить с ними кусок хлеба, черт с вами! Вы стоите того, чтобы вас взяли и повырезали или угнали в неволю.

Но эти смелые слова не имели действия, все умолкло. Потом послышался чей-то укоризненный голос, а другие замолчали. Среди этой тишины слышался плач Спытковой и гневные проклятия Мшщуя.

Усталые путники уселись на камнях и бревнах у ворот. Никому уж не хотелось больше просить о милости, страшный гнев овладел всеми.

Так продолжалось некоторое время, и никто не знал, что будет дальше, как вдруг за воротами показался свет, послышались шаги и стук отбиваемых засовов и опрокидываемых тяжестей, которыми была завалена калитка.

Никто не поднимал голоса и ни о чем не просил. Наконец, после долгой и напряженной возни у ворот, калитка с трудом открылась, и в ней показался, опираясь на меч, сам Белина, тучный, сильный, высокого роста старик с длинной белой бородой.

— Идите все, — угрюмо сказал он, — идите, но не дивитесь тому, что увидите собственными глазами.

Спыткова, увлекая за собою дочь, первая прошла в ворота и, очутившись внутри двора, упала на колени, благодаря Бога и хозяина, который стоял с опущенной головой, погруженный в свои думы.

Потом вошли Лясота, Топорчик, Доливы и двое слуг, ведших за собой коней. Двое юношей-слуг стояли с факелами у ворот, и, как только все прошли в них, тотчас же снова началась работа над приведением их в прежний вид. Белина молча шел впереди, не было времени на приветствия.

Действительно, внутренность городища представляла странное и ужасное зрелище, которое могло возбудить жалость. На голой земле, на соломе и просто в грязи лежали в страшной тесноте, один к другому, люди всех возрастов и сословий, так что негде было пройти между ними. Тут были матери с детьми на руках, подростки, жавшиеся

к коленям стариков, воины в разорванных кожаных панцирях и старые сморщенные старики с непокрытыми головами и обнаженной грудью — полураздетые. Кому негде было лечь, сидел, опираясь спиной о плечи соседа или об его ноги. Некоторые от истощения, а может быть, от голода спали так крепко, что их не могли разбудить ни свет, ни шум голосов, ни даже толчки проходивших мимо них и задевавших их ногами. Другие же, страдавшие бессонницей, сидели, подперев голову руками, с рассыпавшимися в беспорядке волосами. Еще третьи в испуге срывались с земли, не понимая, что произошло, и с криком хватаясь за дротики в защиту от неприятеля.

Около конюшен и амбаров, в сенях — всюду виднелись целые массы этих несчастных. По их изжелта-бледным исхудалым лицам видно было, что и здесь с трудом только можно было поддерживать жизнь. Новоприбывшие, войдя в эту толпу и следуя за Белиной, часто должны были невольно наступать на ноги и руки лежавшим, Белине достаточно было показать прибывшим, что у него делалось, чтобы сразу оправдаться в своем первоначальном отказе впустить их.

Пройдя другие ворота, путники очутились во внутреннем дворе, где стоял дом Белины. Они увидели несколько разбитых палаток и наскоро сложенных шалашей, но и здесь была такая же невообразимая давка: все было заполнено людьми, лошадьми, коровами и овцами. Скот прятали в хлеву и конюшне и зорко стерегли, чтобы изголодавшиеся люди, как это уже случилось несколько раз, не убивали ночью потихоньку животных себе в пищу.

В палатках жило знатнейшее рыцарство и шляхта. Их жены, дети и более слабые из них жили в самом доме. Старый хозяин с пасмурным лицом ввел их сначала в нижнюю горницу, которая в лучшие времена служила столовой. Это была большая, длинная зала с дубовыми колоннами; в ней стояли столы и лавки, а в одной стене был вделан огромный камин, обложенный камнем. Все остальные стены были увешаны сверху донизу одеждой и оружием всякого рода. Здесь тоже вповалку лежали люди, разместившиеся где попало: на полу, на лавках, на столах, а некоторые чуть не в самом камине.

— Смотрите, — сказал хозяин, обращаясь к новоприбывшим, — смотрите и не вините меня. Уж давно у нас не осталось ничего, кроме небольшого количества соленого мяса, круп и муки. Мы варим из этого похлебку и тем питаемся.

Он указал рукой на пол и пробормотал, избегая лишних объяснений:

— Размещайтесь, как и где можете. Женщин я отведу к своим. Что Бог дал, то и дал!

Люди, лежавшие на полу, на столах и на лавках, разбуженные светом и разговором, подняли головы и стали приглядываться к вошедшим. Из разных концов послышались возгласы:

— Лясота! Мшщуй! Вшебор!

Богдася Топорчика захватил в объятия сын Белины, с которым они были в большой дружбе еще при дворе королевы и королевича.

Молодой Белина обнимал друга и восклицал:

— Не вини нас, брат, не вини, а взгляни только!

Старый Лясота, едва державшийся на ногах от утомления, ни о чем не расспрашивал, а присмотрел себе местечко среди лежавших, да тут же и свалился головой кому-то в ноги. Тот даже и не шевельнулся. Старик тотчас же громко захрапел и застонал во сне.

Проснувшиеся охотно подвинулись, давая место вновь прибывшим. Так, в тесноте и духоте провели приезжие первую ночь, расположившись где пришлось, — молодой Томко Белина, уложив Богдася в удобном уголке, сам пошел на стражу.

Как только свет погас, все снова улеглись, а еще спавшие лежали тихо, чтобы не мешать другим.

Собек и Дембец остались на первом дворе вместе с конями. Так окончилось это путешествие, исполненное опасностей, и окончилось более счастливо, чем можно было надеяться.

На другой день, уже на рассвете, многие стали подниматься и выходить из духоты на валы, где уже слышны были говор проснувшихся людей, плач детей, монотонное убаюкивание женщин и громкие голоса споривших.

Вся эта картина днем казалась еще страшнее, чем ночью, когда нельзя было разглядеть лица человеческого и когда сон смягчал страдания. Теперь, пробужденные от сна, все задвигались и заговорили, словами и стонами жалуясь на свою недолю<sup>[2]</sup>. Матери, имевшие грудных детей, теряли молоко, и ночью несколько новорожденных умерло от холода и голода. Громко плакали и причитали женщины, обступившие пожелтевшие и посиневшие трупы. Стонали больные, просили пищи голодные, а все, кто был

еще в силах, носили воду и прислуживали немощным. Старшины, выбранные Белиной, расхаживали с посохами в руках, наводили порядок и призывали к тишине. Здесь ни одна ночь не обходилась без жертв. В эту ночь умерло несколько больных взрослых и несколько детей.

Много хлопот доставляли похороны, ради которых приходилось открывать калитку в воротах; люди с лопатами шли в ближайший лес, где и погребали умерших. При этом надо было торопиться и все время быть настороже, чтобы не напала на них караулившая их чернь.

Это было первое, что бросилось в глаза прибывшим, когда они вышли утром на валы. Не успели они спуститься вниз, как раздался призыв к обедне на втором дворе; служил ежедневно бенедиктинец Гедеон, человек святой жизни, спасшийся из Пшемешеньского монастыря и пользовавшийся этим обрядом для ободрения и подкрепления несчастных.

Он один среди всех этих людей, жертв страшного разорения и уничтожения, в отчаянии своем усомнившихся в милосердии Божиим, остался тверд и спокоен и умел и в их души вливать надежду.

Для того чтобы вся эта многочисленная толпа могла молиться в часы Великой Жертвы, алтарь был устроен на возвышенном помосте, который был виден издали. Все, кто хотел, могли видеть капеллана через широкие ворота из первого двора во второй и могли молиться вместе с ним.

Это было печальное, но и прекрасное зрелище, когда все стали тесниться, — мужчины и женщины, чтобы продвинуться поближе и вознести молитвы к тому Богу, в котором теперь была вся их надежда на спасение.

Настала глубокая тишина, прерываемая только плачем и вздохами женщин. Здесь было много таких, которые, подобно Спытковой и ее дочке, потеряли мужей, отцов и братьев, погибших в битвах или пропавших без вести. Большая часть из них в белых кисейных покрывалах, чепцах и накидках сидели или стояли на коленях в сторонке, так что невозможно было разглядеть их лиц. По приказанию отца Гедеона в этой тесноте и давке женщины стояли по одну сторону, мужчины — по другую.

Все эти беглецы, происходившие, подобно Лясоте, из зажиточной шляхты, теперь не имели на себе даже целого платья и были одеты в

чужие сермяги, в рваные плащи, забрызганные грязью, кто в чем пришлось, некоторые были прямо в лохмотьях. Белина, сжалившись над старым израненным Лясотой, принес ему утром чистых тряпок для перевязки ран и приличный плащ. Панцирь выбросили вон, да и кафтан, насквозь пропитанный кровью, уже никуда не годился. Собек, который умел и за ранеными ухаживать, обмыл и перевязал ему раны. Со своей стороны, Томко Белина одел Топорчика, у которого от сырости давно уже испортилась и прогнила одежда. Но в этот день ослабевший Богдась не мог даже встать в час обеда, и когда подали пищу, пришлось отнести ему его порцию в тот угол, где он лежал.

Пища была плохая. Уже давно нельзя было печь хлеба, и все обитатели замка — мужчины и женщины — довольствовались мучной похлебкой, к которой иногда прибавляли кусочек мяса или жира.

Никто не смел жаловаться на голод, все тревожились только о том, надолго ли хватит пищи на всех, если положение не изменится к лучшему. Старый Белина сам ежедневно заглядывал в мешки и бочки, соображая, на много ли было в них жизни.

Хотя чернь, осаждавшая замок, и отступила от него, но все отлично понимали, что мир был непрочный и что враг рассчитывал взять их измором.

Не раз высказывались предположения — прорвать осаду и уйти за Вислу. Но тогда надо было или покориться Маславу, или вступить с ним в бой. Большая часть рыцарства, замкнувшегося за валами Ольшовского городища, относилась с презрением к Маславу с его язычеством и не хотела даже думать о спасении через него.

Каждый день происходили совещания, не приводившие ни к какому решению, и отец Гедеон заканчивал все споры и беседы всегда одними и теми же словами:

— Помолимся Господу и будем верить, что Он нам поможет!

И только молодость счастлива тем, что даже в такой тесноте она хоть на минуту может забыть обо всем.

Трудно было поверить, что на другой день первой заботой обоих братьев Доливы было проследить, где скрывались голубые глазки Каси. Они оба, как только встали, принялись всюду бегать и расспрашивать, где помещались мать с дочерью.

Уже в дороге, поссорившись из-за девушки, они избегали смотреть прямо в глаза друг другу и почти не разговаривали между

собой, Вшебор за одни сутки дороги так расположил к себе мать, что мог быть уверен в ее сочувствии, однако он не принял в расчет того, что веселая и бодрая еще женщина заглядывалась на него не ради дочки, а ради себя самой. Остаться вдовой без защиты — говорила она себе, — было очень трудно... И она искала мужа... не столько для себя, сколько для дочери, которой он мог заменить отца, а она охотно принесла бы ей эту жертву.

Мечты Вшебора были совсем иные.

Мшщуй, ничего не добившийся во время пути от пугливой Каси, влюбился в нее еще сильнее. И оба брата думали только о том, как вести дальше свои сердечные дела.

В обоих текла одна и та же горячая кровь, но, как это часто случается в семьях, нравы у обоих были неодинаковые. Оба легко воспламенялись, но шли к своей цели разными путями. Во время охоты Вшебор выслеживал зверя, а Мшщуй загонял его и убивал; первый готов был провести целый день в шалаше в ожидании зверя, второй не терпел долгого ожидания и охотнее гнался и преследовал. Так и во всем. Вшебор всего добивался упорством и ловкостью, Мшщуй — горячим сердцем и собственными усилиями.

В Ольшовском городище, где женщины были отделены от мужчин, трудно было в этой давке найти кого-нибудь вообще и еще труднее — увидеть женщин. Вместе с женою и дочерью Белины они занимали отдельное помещение, и почти никто из них не выходил из него уже потому, что не было такого укромного уголка, где бы за ними не следило несколько пар глаз и не подслушивали чьи-нибудь уши.

Поэтому и оба влюбленных, расхаживая по дворам и задирая головы кверху, словно высматривали воробьев под крышей, не могли нигде увидеть тех, кого искали. А тут еще нашелся третий соперник, в лице молодого Белины. Придя утром к лежавшему Топорчику, он принялся с жаром расспрашивать его о Касе Спытковой, заинтересовавшей его своим серьезным личиком. Топорчик тоже завидел ее издали, но был так измучен и угнетен, что даже женская красота не произвела на него впечатления.

— Оставь ты меня в покое! — отвечал он. — Я не знаю и не ведаю, что это за женщина! Я встретил их в пути, когда был сам едва жив, старшая дала мне напиток — да наградит ее за это Бог. Спрашивай о ней Долив, если они захотят только тебе ответить,

потому что мне сдается, что они сами точат зубы на этого подростка. Мне же не до того.

— Девочка, как малина! — сказал Белина.

— Да хоть бы она была, как ангел, каких ставят в костелах, не время теперь думать о девушках, когда враг схватил нас за горло, — сказал Топорчик.

Белина рассмеялся и умолк но, должно быть, грешные мысли засели крепко у него в голове, потому что, когда братья Доливы, проискав напрасно по дворам, вернулись в горницу, он пристал и к ним, расспрашивая их о женщинах, с которыми они приехали. Но те неохотно отвечали на его вопросы. Им было неприятно, что еще кто-то кроме них заинтересовался девушкой.

Так среди туч засияло на радость молодым глазам, как ясное солнышко, чудное девичье личико. Такова уж привилегия молодости, что и под самым страшным гнетом она не перестает волноваться сердцем и мечтать. Старшие беседовали о защите замка да о хлебе, а молодые только и думали о голубых глазах Каси. Хозяйскому сыну, Томку Белине, который мог свободно входить в помещение женщин, среди которых были его мать и сестра, посчастливилось раньше всех полюбоваться хоть издали на прекрасную девушку. Доливы же и думать не смели о том, чтобы приблизиться к ней.

Но под вечер Спыткова-мать вышла из горницы проведать того, кто так хорошо услуживал ей во время дороги и так внимательно слушал ее рассказы. Оба брата, увидев ее издали, так и бросились к ней навстречу. Вдова, помня услуги Вшебора, вынесла ему под платком немного съестного, оставшегося от дорожного запаса, чтобы угостить своего опекуна, и, увидев его брата, разделила свое приношение на две части.

Оба принялись расспрашивать ее о ней самой и о дочери.

— Благодарение Богу, — со вздохом отвечала вдова, — что мы попали сюда. По крайней мере здесь мы среди людей, и что они имеют, то и нам дают! Здесь было бы легче и умирать! Обе мы в добром здравии, хоть долго еще не забудем этот путь и все наши несчастья.

Так начав разговор, хотя и продолжавшийся жалобами на свою судьбу, Спыткова повеселела и, блестя белыми зубами, то и дело бросала взгляды на Вшебора.

Начав болтать, она уже не могла остановиться: ей надо было так много рассказать такого, чего Мишцуй еще не слышал, — о своем прежнем богатстве, о величии и могуществе своего рода, о любви мужа и обо всем, что она испытала в жизни. Теперь она уж помышляла о том, как бы ей пробраться на Русь к своим, где она надеялась найти защиту, помощь и нового мужа, так как там еще многие вздыхали по ней.

Долго болтала вдова, сопровождая свою речь то смехом, то слезами, кокетливо поглядывая живыми черными глазами то на одного брата, то на другого и энергично жестикулируя. Живая и говорливая, она отлично знала, что может еще нравиться мужчинам, но братья стояли перед ней в безмолвии и неподвижности.

Подходили и чужие люди послушать и посмотреть на нее, а она с увеличением слушателей становилась еще более словоохотливой, и когда пришла пора прощаться и возвращаться к дочери, глаза ее уж были совершенно сухи.

## IV

В одно осеннее утро двое людей, одетых по-крестьянски, в простых сермягах, верхом на плохих конях с подостланным вместо седла куском толстого сукна, медленно подъезжали к широко разлившейся Висле, переполненной осенними дождями.

На возвышенном берегу ее виднелась издалека замок на холме и старый город, раскинувшийся у подножия его.

В городе и его окрестностях царило оживление. Около замка, окруженного валами, из-за которых выглядывал маленький костел без креста, принадлежавший бенедиктинцам (потому что еще в 1015 году их поселил здесь Болеслав), передвигались массы народа, напоминавшие войско, разделенное на отряды. Над толпой возвышались в различных местах изображения языческих богов на длинных древках, вбитых в землю, и красные знамена.

Всадники переглянулись между собой. Один из них, обветренный, морщинистый и уже старый, хотя бодрый, был Собек, верный слуга Спытковой, другой — молодой и более видный из себя, хотя и на нем была простая сермяга, был скорее похож на воина, чем на простого крестьянина. Это был Вшебор Долива. Обоих выслали на разведку из

Ольшовского городища и велели добраться хоть до самого Маслава, лишь бы знать, что дальше делать и как выйти из беды.

Долива, принимая поручение, не обнаружил большой готовности: не хотелось ему уезжать от Спытковой и ее дочери, но нельзя было отказаться, потому что все настаивали на его выборе, помня его уверения, что при дворе Мешка он был коморником вместе с Маславом и пользовался его дружбой и доверием. Теперь этот самый Маслав, нечестным путем превратившись из ничтожного мальчишки в плочкого князя, мечтал уже о завоевании всей страны.

Сидевшим в замке надо было разузнать, как обстоит дело и пристало ли им, спасая жизнь от черни, рассчитывать на Маслава, Вшебору не грозила опасность, и, кроме того, он надеялся на свою находчивость.

Собек — простой человек — не боялся ничего. Долива был бы очень рад избежать всякой встречи с Маславом, но делать было нечего. В городище сильно истощились запасы пищи: попасть в руки черни значило то же самое, что положить голову под плаху, следовательно, надо было искать каких-нибудь путей к спасению.

Проводником Доливе дали старого Собека, который не терял присутствия духа в самых затруднительных случаях; он остался верен себе и на этот раз, когда надо было постоянно обходить стороною вооруженные отряды, избегать поселений и прокрадываться чаще ночью, чем днем. Собек провел его так искусно, что они, не встретив никого по дороге, прибыли целыми и невредимыми на берег Вислы. Вшебор, который сначала говорил очень уверенно о встрече с Маславом и надеялся на его дружбу, теперь, когда увидел перед собой город и представил себе, как он предстанет перед Маславом, задумался не на шутку.

Он уже начал сильно сомневаться в том, как его примут и вспомнят ли о прежней дружбе. С тех пор как они оба встречались при дворе, многое изменилось, а вести, доходившие со всех сторон о Маславе, не предвещали ничего доброго.

Но нельзя же было возвращаться назад!

Собек молча взглянул ему в глаза и указал на реку.

Вшебору пришло в голову, нельзя ли как-нибудь, не открывая своего имени, издали все высмотреть и не встречаться совсем с Маславом. Здесь было много народа, и они могли незаметно

вмешаться в толпу. Что из этого выйдет, он и сам не знал. Они ехали шаг за шагом, и Долива еще придерживал свою лошадь. Поначалу они сговорились с Собеком, что он постарается добраться до самого Маслава. Но теперь это казалось и неудобным, и опасным.

— Послушайте-ка, — тихо сказал Вшебор товарищу. — Не лучше ли будет не лезть на рожон, а только издали присмотреться? Нас здесь никто не знает.

— Как вы решите, так и будет, — возразил Собек. — Я ничего не знаю!

— Но как вы думаете? — спросил Долива.

Вместо ответа Собек указал ему рукой на Вислу. Они стояли на лугу, на открытом месте.

Отсюда видны были, как на ладони, неподалеку от них, на реке, две связанные вместе большие ладьи, на которых гребли к тому месту, где они стояли.

В ладьях были кони и люди.

Вшебор увидел издали, что люди были вооружены и одеты в рыцарскую одежду, и, верно, это были какие-нибудь знатные рыцари, потому что доспехи их блестели на солнце; на голове у одного из них развевался красивый султан, а на плечи был накинут богатый плащ, из-под которого сверкало оружие.

Мальчик, стоявший позади него, держал в руке птицу, другой слуга приманивал взлетавшего кверху сокола, а третий держал на привязи собак.

Лиц еще нельзя было различить.

Впереди стоял мужчина с султаном на шапке, а несколько поодаль — придворные его или слуги. Должно быть, они ехали на берег Вислы на соколиную охоту.

Нетрудно было отгадать, кто был тот, кто мог свободно забавляться охотой в такое время.

Таким образом счастливый или несчастный случай как раз в минуту нерешимости и колебания облегчил Вшебору выполнение задачи.

Уклониться от встречи было невозможно, спастись бегством — опасно, значит, надо было смело идти навстречу судьбе.

Так и решил в душе Долива.

Не задерживая больше коня, он спокойно поехал вперед, а тем временем и ладьи пристали к берегу, и можно уж было различить лица сидевших в них людей.

Вшебор узнал Маслава, хотя он сильно изменился с того времени, когда Долива помнил его взбалмошным и дерзким мальчиком при королевском дворе. Он держался или, вернее, старался держаться с княжеским достоинством.

Бедно одетые, Вшебор и его спутник не привлекли его внимания — Маслав горделиво оглядывался по сторонам. Заложив руки в боки, задрав кверху голову и поставив одну ногу на край ладьи, он имел такой вид, как будто ему хотелось поскорее выскочить на землю.

Человек этот, крепкий и ловкий, был словно вырублен секирой.

Сквозь панскую внешность в нем ясно проглядывала холопская кровь. Лицо у него было румяное, обветренное и самое обыкновенное; в маленьких, юрких глазках и рыжей бороденке не было ровно ничего княжеского, но он был силен и хорошо сложен, а так как ему, видимо, везло в жизни, то он возомнил о себе и держался с людьми надменно и свысока. Его светлые брови непрерывно морщились, и даже когда он молчал, казалось, что он обдумывает новые приказания, чтобы ни на минуту не сойти с того пьедестала, на который ему удалось взобраться. С первого взгляда в нем чувствовалась сильная и предприимчивая натура, которая ни перед чем не останавливалась.

Когда ладьи приблизились к берегу и всадники подъехали ближе, Маслав, окинув взглядом их серые сермяги, хотел с пренебрежением отвернуться от них, но что-то в лице Вшебора поразило его. Он не узнал его сразу и, строго нахмутив брови, стал пристально всматриваться в него. В это время Вшебор не спеша снял меховой колпак и поклонился ему.

Как раз в эту минуту Маслав, одетый совсем не по охотничьему, а так, как будто собирался принимать у себя послов, и в рыцарском поясе, с которым он никогда не расставался, готовился выйти на берег.

За ним шли его приближенные, одетые так же неуместно, как и он сам, в колпаки с султанами, пояса и нарядные плащи.

Вшебор едва не рассмеялся при виде этой ненужной пышности, но вовремя сдержался, принужденный думать о своей безопасности. Маслав, заметив его поклон, вздрогнул и, взглянув на окружающих,

по-видимому, собирался отдать приказание схватить его, но Вшебор, приблизившись к нему, сказал вполголоса:

— Я к вашей милости, пришел к вам с поклоном.

Маслав уже не сомневался, что видит перед собой прежнего знакомого. Тревога снова овладела им, он не знал, как отнестись к нему, и недоумевал, что могло его сюда привести.

В нерешимости он отступил назад, присматриваясь к Вшебору.

Видя его колебания, Долива быстро распахнул сермягу и показал ему, что, кроме небольшого меча, у него не было больше никакого оружия. Топор остался привязанным к седлу коня, с которого Долива сошел, оставляя его на попечение Собека.

— Что вас сюда привело? Что вы хотите от меня? — заговорил Маслав, стараясь придать своему голосу гневный и строгий тон. — Говори, да поскорее, у меня нет времени!

Проговорив это, Маслав подступил к Вшебору, словно желая показать, что он его не боится, а когда тот не сразу ответил, Маслав отошел от своих людей, принудив и Вшебора следовать за собою.

— Милостивый пан! — начал Вшебор. — Не так это легко — рассказать в двух словах свое дело. Вы знаете, что у нас теперь делается, и только вы можете нам сказать, что будет с нами завтра. К вам и надо идти спрашивать, что делать дальше.

Маславу, видимо, польстило, что ему приписывают власть над будущим. Его мужественное, энергичное лицо, обнаруживавшее в нем присутствие большой звериной силы, приняло выражение еще большей гордости и самомнения, и он вымолвил без гнева уже:

— Что делать? Все, кто хочет сохранить голову на плечах, должен мне повиноваться. Кроме меня, ни у кого здесь нет силы. Скоро мы освободимся от немецкого и чешского гнета, и я буду править!

Говоря это, он оглянулся, чтобы проверить впечатление, которое производили эти слова, и засмеялся диким, насильственным и неискренним смехом.

Вшебор молчал, не поднимая головы. Маслав ударил рукой по мечу, который висел у него за поясом.

— Спроси меня, по какому праву я буду править, — прибавил он. — Вот мое право! Кто силен — тот и должен править, а у кого есть ум — у того есть и сила, если же нет ума, то и сила не поможет, потеряют ее, как они там потеряли (он указал рукой на запад).

Обленившееся, ни к чему не годное, онемеченное племя надо было выбросить за дверь, а крестьянам вернуть старую свободу и прежнюю веру. Мы должны жить по-своему, а не перенимать чужих обычаев. Не нужно нам ни чужих богов, ни чужих князей. Пясты продавали нас императорам и панам. От немецких матерей рождались онемеченные дети. Казимир, мать которого записалась в монахини, пусть себе сидит у дяди в Хольне и поет в хоре, там его место, а не здесь на царстве. Мы ведь не монахи!

Говоря это, он шел вперед и бросал пытливые взгляды на Доливу, подзадоривая себя собственными словами.

— Мазурская земля — моя, а со мной пойдут пруссаки и литовцы; все те, которые привязаны к своей старой вере. Нас — множество, а вас — горсть, да и той скоро не станет. Земля без государя достанется тому, у кого сила. А сила — у меня! У меня!

Он разгорячился все более, поглядывая на Вшебора. Но, не дождавшись от него никакого ответа, стал перед ним и повелительно сказал:

— Говори же мне, кто тебя послал?

К Доливе, ввиду грозящей опасности, вернулись мужество и хладнокровие. Он равнодушно пожал плечами.

— Кто же у нас может посылать? — сказал он. — Из старого рыцарства, шляхты и магнатов немногие уцелели — на паству волкам. Мы, двое братьев, спаслись от чехов и черни. Может быть, найдется еще несколько человек, спасшихся и укрывающихся в лесах. Кто бы мог меня послать? Вы были когда-то мне другом, теперь могли бы взять меня хоть в слуги! Моя жизнь не имеет для вас никакой цены, но, может быть, я вам на что-нибудь пригожусь.

Маслав задумался. Речь Вшебора понравилась ему.

— Ой! Знаю я вас! — выговорил он насмешливо. — Если бы вы только могли мной завладеть, вы охотно отдали бы меня в руки Казимира или еще кого-нибудь. Много их там шляется у немцев. Вы все окрестившиеся и выдавшие другие времена, не многого стоите.

— А вы разве не были крещены? — смело спросил Вшебор.

Маслав запылал мгновенным гневом и оглянулся назад на своих — не слышали ли они этих слов. Но те стояли далеко и не могли слышать их разговора. Он промолчал и опять задумался.

— Слушай, Долива, — заговорил он после молчания, взявшись за бока и отойдя несколько шагов назад. — Правда, я дружил с тобой на том песьем дворе, хочу быть для тебя теперь добрым паном, но смотри, береги голову на плечах, она тебе нужнее, чем мне. Я возьму тебя одного, брата твоего не хочу и никого больше не хочу, пусть чернь вырежет их без остатка. Я себе наделаю магнатов из тех крестьян, которые будут мне благодарны, а бояться их мне нечего. Если хочешь служить мне, я возьму тебя!

Вшебор поклонился, потом поднял голову и смело взглянул ему в глаза.

— Почему же мне не служить тебе, если я умираю с голоду и не имею пристанища? Но что будет с братом?

— Да где ты его оставил? — спросил Маслав.

— В лесу, на поляне, два дня пути отсюда, он занемог.

— Пусть его там волки съедят, — смеясь и похлопывая Вшебора по плечу, сказал новый князь. — Ты останешься у меня, а больше я знать никого не хочу.

Вшебор промолчал и не настаивал больше. Ссылка на брата была только лазейкой, которую он оставил себе для того, чтобы иметь предлог уйти от Маслава. Но он все же надеялся с помощью Собека уйти тем или иным способом.

Маслав, как бы не доверяя ему, продолжал пытливо поглядывать на него, но выражение его лица прояснилось.

— Это мне будет очень кстати, — сказал он, — мне как раз надо устроить себе двор. Я назначу тебя охмистром. Эти мои мужички во всем хороши, да беда в том, что они не знают папских и королевских обычаев. У меня должен быть свой двор, как у всех королей и князей. Вот ты мне подберешь людей и обучишь их. Я хочу, чтобы у меня были такие же порядки, как при дворе старого Мешка и Болька.

Вшебор, делая вид, что он вполне разделяет эту мысль и, не обнаруживая отвращения, с готовностью подхватил:

— Вот и отлично! Но, пока я научу людей, пройдет немало времени.

— Пустое! — нахмутив брови, возразил Маслав. — Я умею скоро учить. Надо построже, тогда все пойдет хорошо.

И снова похлопал его по плечу.

— Я беру тебя, — повторил он, — но помни, я добр и щедр, но и грозен в то же время.

На этом разговор окончился. Маслав обернулся к своей свите, стоявшей поодаль, и крикнул:

— Пустить сокольничьих псов! Если что-нибудь попадется — спустить соколов!

Он дал знак и сам медленно пошел к своим людям, сопровождаемый Вшебором. Услышав за собой его шаги, князь как будто одумался.

— Подождите здесь при ладьях, вернетесь вместе со мной!

Долива послушно остановился, а псы, соколы, мальчишки, слуги и Маслав со своим двором потянулись вдоль берега реки.

Долива вернулся к Собеку, который стоял в стороне с конями.

Иначе невозможно было спасти свою голову и присмотреться к Маславу, как только приняв то предложение, которое милостиво сделал ему Маслав.

Охотники удалились, а Вшебор подошел к Собеку, который заглядывал ему в глаза, стараясь отгадать, какие вести он принес с собой.

— Едем ко двору, — тихо проговорил Долива. — Я приехал в добрый час, если голова моя осталась еще на плечах. Мы пробудем здесь некоторое время, но вы и кони должны быть каждую минуту готовы к отъезду, когда настанет время.

Собек качал головой.

— Вырваться отсюда не так уж трудно, — отвечал он. — Они не очень-то берегутся, видно, не боятся никого. Удалой пан! Удалой! — тихо прибавил он.

Они присели отдохнуть, а коней пустили попасть на траве.

Но Маслав недолго забавлялся охотой. Приказав людям пройтись с соколами, он сам вернулся, ища глазами Вшебора.

Тот встал и подошел к нему.

Казалось, новому повелителю приятно было поговорить о себе с каким-нибудь свежим человеком. Переряженная чернь, окружавшая его, не удовлетворяла, и его тянуло к Вшебору.

Подойдя к нему, он указал на город, расположенный на холме.

— Это будет моя Познань! — сказал он, смеясь. — Ты понимаешь? Отсюда я буду владеть обоими берегами Вислы!

И, вытянув руку, обвел ею вокруг.

— Пруссаки и литовцы пойдут со мной. Чехов погоним вон и поколотим, немцам не позволим подойти к Лабе, вырежем их, и дальше. Все, кто ненавидит христиан, пойдут со мной. — Он все время оглядывался на Вшебора, как будто ожидал от него похвалы и одобрения.

— Ну, что ты скажешь на это?

— Что ж, только бы у вас было войско!

— Есть войско и еще будет, и я сам обучу их, — быстро заговорил Маслав. — Я хоть вырос при дворе, но в душе всегда был и остался воином. Пруссаки — предприимчивый народ. Это те самые, что убили Войташка, которого Болько выкупил и похоронил в Гнезне, а теперь чехи взяли его оттуда! Те самые, что не сдались старому Болько. Ну а я им брат и сват!

Он засмеялся, с довольным видом потирая руки.

— Ну, что же ты ничего не говоришь? Маслав не глуп, правда? Увидишь сегодня сам, от них придут ко мне послы. А знаешь, почему так случилось? Потому что я сделался язычником и повыдергивал кресты. Весь народ со мной.

Должно быть, молчание Вшебора было ему неприятно. Он несколько раз спросил его:

— Что же ты об этом думаешь?

— Вы очень счастливы в жизни, это вес знают! — пробормотал Долива.

— В Плоцке, в замке, были отцы бенедиктинцы — теперь от них не осталось и следа. Из костела я устроил языческий храм так же, как и они из храмов делали костелы. Гуслиеры хлопали в ладоши и кланялись мне в ноги от радости: люди повыкопали старых богов, прикрепили их к древкам и повтыкали в землю, крича перед ними: «Ладо!» Вот где моя сила! Ну что ж вы все молчите? — смеясь, повторил он.

— Удивляюсь всему этому, — не спеша выговорил Долива, — но советую вам хорошенько посчитать свои силы в борьбе с христианами. Вас много, но и тех немало. Я не хочу вам льстить. На Руси водружены кресты, чехи — крещены, венгры и немцы — тоже христиане. А их всех вместе соберется много.

Маслав утвердительно кивнул головой, потом остановился, осмотрелся вокруг и, подойдя ближе к Вшебору, зашептал, близко глядя ему в лицо:

— Ты ничего не понимаешь. Чей Бог окажется сильнее, тому я и поклонюсь. Мне что? Теперь взяла верх старая вера, а что будет завтра — почем я знаю? Князья и короли все крестятся, когда приходит время. И я буду таким, каким захочу быть, чтобы получить власть, а теперь хорошо и так, как есть. Долой кресты и долой немцев, которые их принесли. Понял?

Он засмеялся, не раскрывая рта и блестя глазами. Но ему не понравилось в новом слуге, что тот не удивлялся, не льстил ему и даже не соглашался с ним.

— Эх ты, человек, — возвысив голос, заговорил Маслав. — Ты, может быть, думаешь, что мне приснилась моя сила? Ну, так я покажу ее тебе воочию. Увидишь и сам поверишь.

Он взглянул вдаль, где стояли люди с собаками и соколами.

Две собаки выслеживали дичь в болоте, но осенний день не благоприятствовал охоте — до сих пор не встретилось ни одной цапли и ни одной птицы. Маслав подозвал к себе ближайшего слугу.

— Гей, Дидко, выпустите соколов проветриться и потом возвращайтесь с ними. Губа поедет со мной, здесь больше нечего делать.

И он указал рукой на ладьи, к которым и направился.

Вшебор глазами дал знак Собеку, чтобы тот не тревожился о нем, сам Долива пошел за князем. Маслав, как бы торопясь вернуться, поспешно спустился к ладьям, вскочил в одну из них и приказал забрать коня для него самого и Губы.

Взгляд его упал на бедно одетого Вшебора, стоявшего перед ним в ожидании приказаний.

— Ты не можешь ехать со мной в этой сермяге, — сказал он, — останешься пока в ладье, а потом пойдешь пешком в замок. Когда мы вернемся, Губа прикажет выдать тебе одежду из моей гардеробной, и ты будешь одет, как пристало моему охмистру. Не бойся, — со смехом прибавил он, — будет тебе и цепь, и все прочее! У меня всего этого вдоволь. Я хочу, чтобы люди восхищались моим двором, а не смеялись над ним.

Он подозвал Губу и шепнул ему что-то на ухо, указывая на Вшебора. Между тем ладьи, в которых сидели на веслах и стояли с баграми несколько мазуров, стали быстро переплывать реку. В глубоких местах все брались за весла, а на мели отталкивались баграми. Люди работали живо, подгоняя друг друга, как будто чувствовали, что пан их не любит ждать!

Маслав, стоя в ладье, уже не говорил ничего, хотя слушателей было достаточно, он только несколько раз указал Вшебору рукой на замок, видимо, гордясь и чванясь тем, что он им владел.

Действительно, замок, расположенный на возвышенном берегу реки, имел очень величественный вид, а на валах виднелся народ, видимо, поджидавший своего господина. Когда ладья причалила к берегу и из нее вывели коней, Маслав наклоном головы простился с Доливой, сел на своего великолепно убранного коня и в сопровождении Губы поехал в замок, высоко подняв голову и приняв вид грозного владыки... Снизу было видно, как задвигались люди наверху при его приближении, а через минуту на валах раздались громкие крики многочисленной толпы, приветствовавшей Маслава.

Вшебор, задумчивый и удрученный, поплелся вслед за ним к замку. Быть может, он вспомнил то время, когда видал Маслава маленьким и жалким перед королевой, которая относилась к нему с презрением.

По пути к замку Вшебор внимательно присматривался ко всему, что окружало Маслава. Народу везде было много, и хоть он уже был собран в сотни и полки, но всем своим видом и одеждой более напоминал полудиких людей, чем воинов. И вооружены они были неодинаково. Начальников трудно было отличить от простых солдат. Все они сидели и ходили в полном беспорядке, кричали и ссорились между собой.

Во дворах замка стояли бочки и кадки с пивом; часть людей, сидя на земле, ели и беседовали, другие, лежа, отдыхали.

Около прежнего бенедиктинского костела стояла толпа гусяров, колдунов, старых баб и черни, вышедшей из лесов.

Внутри открытого храма горел уже огонь, около которого двигались женщины в белых одеждах. Перед вывороченными дверьми костела стояли длинные дровяки, вбитые в землю с изображениями богов, сделанными наспех, грубыми и безобразными.

Между ними стоял выкопанный из земли каменный чурбан, который должен был изображать божество в трех шапках, с заложенными на груди руками, в которых он держал меч и каравай.

Гусляры, рассевшись на земле под ним, брнчали на гуслях и подпевали, а народ, окружавший их, внимательно слушал.

У дверей вновь отстроенного деревянного замка стояла толпа народа и суетились слуги нового князя в нелепых пестрых одеждах.

Очевидно, старались одеть их попышнее, но не умели этого сделать, и каждый, выбрав, что ему нравилось, напялил на себя, заботясь только о том, чтобы било в глаза. Все это имело дикий вид. Только на некоторых было полунемецкое платье, видимо, награбленное из королевского замка.

Важнейшие граждане, несмотря на свои дорогие платья и жупаны, цепи и позолоченные пояса, несмотря на то, что были и умыты, и причесаны, все же выглядели простыми пастухами. Видно, на этом дворе, собранном наспех и кое-как одетом, не было никакого порядка. Там и сям в этой толпе вспыхивали ссоры, завязывались драки и слышались удары дубинок и шум борьбы. Толкали друг друга и дрались до тех пор, пока дубинка одного из старшин не прекращала ссоры.

Визг и вой собак, ржание коней и отдаленный шум воинского лагеря сливались в один смешанный гул, в котором трудно было разговаривать, не повысив голоса, чтобы быть услышанным, и эти приподнятые голоса еще увеличивали общую шумиху.

Вшебор без труда пробрался сквозь толпу. Никто даже не взглянул на него, все только толкали его, и он не знал бы, куда идти, если бы не вышел в это время из замка Губа и не повел его за собой.

По знаку Губы приблизился старик, которому Губа и передал Вшебора. В сенях замка тоже толпилось много народа. Пройдя через какие-то темные закоулки, переходы и коридоры, по которым сновала челядь, Вшебор со своим проводником вошел в полутемную избу. Ее маленькие окошечки, задвинутые изнутри ставнями, едва пропускали свет сквозь щели. Это был, должно быть, какой-нибудь склад или гардеробная владельца замка, вся заваленная одеждой, оружием и всевозможными, очевидно, награбленными вещами, которые лежали на полу и висели по стенам. Все, что доставляла война, было захвачено и сложено здесь Маславом. Целыми кучами свалены были вещи,

собранные из разных замков, от разных владельцев, со всех концов страны, различной ценности и самого разнообразного вида. Те, что сложили их здесь, не умели даже отличить более ценных вещей от менее ценных. Дорогое и дешевое, хорошее и плохое — все было свалено вместе в одну кучу, как рожь или сено, свезенные в амбар.

— Эй вы! — крикнул старик, отворив дверь. — Берите, что хотите. Так приказал пан! Не стесняйтесь! — И он указал на кучи одежды и полки, нагроможденные всяким добром.

— Выбирайте, чего душа пожелает! Вы видите, у нас есть что выбрать! — и, поглаживая голову, старик усмехнулся. На одной из полок лежали отдельной кучкой золотые и позолоченные цепи. Старик подошел и, выбрав несколько, взвесил их на руке, остановился на самой тяжелой цепи и хотел уже подать ее Вшебору, но вдруг заметил на ней следы засохшей крови, пробурчал что-то себе под нос и пошел к дверям, где стоял чан с водой. Выполоскав в нем цепь, он начал вытирать ее полой своей одежды.

Вшебор с отвращением стал одеваться — отказаться было невозможно.

Старик с готовностью помогал ему и все время советовал выбирать все самое лучшее, но не тратить даром времени. У него была только одна забота — выполнить как можно лучше приказание своего пана.

— Только поторопитесь, — говорил он. — Его милость не любит ждать и желает, чтобы вы были при нем за столом... А давно уж пора... — Из разных углов он вытащил: пояс с мечом, меховую шапку, богатое верхнее платье и все, что было нужно, для того чтобы Вшебор угодил новому пану. Сверх всего этого старик накинул ему на шею золотую цепь и, с улыбкой осмотрев его, повел к выходу.

Из гардеробной в столовую снова пришлось идти темными коридорами и переходами... Уже издали Вшебор услышал доносившиеся из нее громкие голоса. Старый плочкий замок не отличался большим великолепием внутреннего убранства: он был закопчен от дыма, а все убранство горниц составляли самые простые деревянные столы и лавки. Каким он был с незапамятных времен, таким остался и теперь — со столами из толстых досок, с огромными лавками, устланными теперь кожами и сукном. В других горницах не

было даже полов, а только сглаженная земля, засыпанная листьями, а зимой — соломой и вереском.

В горнице, игравшей роль столовой, было много разряженных, как на празднике, гостей. Для князя было устроено сиденье на небольшом возвышении, прикрытое черным сукном. Около него занимали места сразу бросившиеся в глаза своей непохожей на остальных внешностью пруссаки со зверскими лицами, вооруженные топорами, дротиками, луками и кремневым оружием.

Главою их был кунигас, относившийся к Маславу совершенно запросто, а тот волей-неволей должен был принимать доказательства его расположения.

Это был человек среднего роста, широкоплечий, толстый, с заплывшими от жира глазами, едва видневшимися из-под бровей, в обхождении решительный и не обращавший никакого внимания на торжественность обстановки, какую силился поддерживать Маслав. Он считал себя совершенно равным ему и отвечал ему гордо и высокомерно. Новый князь, должно быть, нуждался в нем, потому что, хотя лицо его часто выражало неудовольствие и гнев, он все же терпеливо переносил такое обхождение гостя.

Иногда он обводил взглядом своих придворных. Ему хотелось, чтобы двор его произвел на пруссаков впечатление настоящего княжеского, и потому-то все были разряжены, как на празднике, и вооружены.

По старому обычаю в горнице не было женщин.

Заняв место в конце стола, Маслав посадил около себя кунигаса, приказав подостлать ему на сиденье красное сукно. Перед ними были поставлены серебряные блюда, а так как для других уже не хватило серебра, то остальные удовольствовались глиняной и деревянной посудой.

Вшебору Маслав указал место за другим столом, приказав ему распоряжаться там.

За исключением пруссаков, которые несколько не стеснялись и, громко разговаривая, тотчас же принялись есть и пить, все остальные, сидевшие за столом, придворные Маслава, вероятно, соблюдая приказание своего пана, хранили боязливое молчание. Но так как они к этому не были приучены, то время от времени и среди них вырывался

у кого-нибудь громкий возглас или взрыв смеха, который сейчас же затихал под грозным взглядом повелителя.

Слуги прислуживали неумело: сталкивались друг с другом, за дверями слышались угрозы, брань и жалобные крики. Но все же пир окончился бы вполне благопристойно, если бы не кубки, стоявшие перед гостями и постоянно наполнявшиеся. Мед развязал языки этим людям, не привыкшим сдерживать вспышки гнева и веселья. К концу пиршества ничто уже не могло остановить шума и криков, хотя выражение лица князя становилось все угрюмее. А тут еще явилась целая стая своих и чужих псов, бросившихся глотать брошенные под стол кости и своим лаем и визгом еще более усиливших общий гомон.

В конце трапезы, по старому обычаю, все гуслиеры и певцы, сидевшие около храма, собрались в обеденную горницу. Они ворвались целой толпой, торопясь занять места на лавках около стены, а те, кто не нашел места, расселись на земле; зазвучали гусли и раздались крикливые напевы.

Но Маслав и с этим должен был считаться — ведь за ним шел весь народ; перед ними поставили пиво и мед, слушали их пение и игру, а некоторые из сидевших за столом, подогретые вином, стали вторить им и хлопать в ладоши.

Все это мало напоминало пир в княжеском доме, но, видно, иначе и не могло быть.

Пруссаки этим не смущались: они с удовольствием попивали мед, подставляя для этого рог, который носили у поясов, и похваливая угощение.

Уже трапеза близилась к концу. Все угощение понемногу исчезало со столов, и остались только жбаны, как вдруг двери из внутренних покоев замка с шумом отворились, и в горницу вбежала какая-то странная фигура. При виде ее пруссаки в испуге повскакивали с лавок, а Маслав побледнел, как мертвец.

Да и было чего испугаться!

Вошедшая была старая, худая и высокая женщина с седыми растрепанными волосами, падавшими ей на плечи, едва прикрытая грубым бельем и даже не подпоясанная, босая и как бы вырвавшаяся из тюрьмы или из рук палачей.

Ее бледное, сморщенное лицо и горевшие пламенным гневом серые глаза с красными, опухшими от слез веками выражали глубокое,

почти безумное, горе.

Она вбежала с громким, неудержимым, бессмысленным криком, в котором ничего нельзя было разобрать. Перепуганная, рассерженная, оглядывавшаяся назад, как будто за ней гнались.

Отталкивая руками тех, кто стоял у нее на дороге, она добежала до стола и стала, как вкопанная, перед Маславом, вперив в него безумный взор.

Князь, бледный, не владеющий языком, вскочил с места и руками указал своим придворным на это привидение, которое они пропустили в горницу. Пруссаки, перепугавшись неизвестно чего, хватались за ножи. Остальные повскакивали с мест, и в горнице все пришло в смятение. Тогда и Вшебор двинулся от стола.

В это время люди, вбежавшие за бабой, схватили ее за руки, но она, вырываясь от них, упала на землю как раз подле того места, где сидел князь. Маслав в ужасе отшатнулся.

Раздались испуганные крики, потом в толпе произошло движение, и придворные, схватив безумную на руки, поспешно вынесли ее из горницы.

Некоторое время еще слышались ее жалобные крики, сначала громкие и напряженные, потом все затихавшие по мере удаления и наконец превратившиеся в глухой стон, затерявшийся где-то в глубине замка.

Маслав, с вытаращенными от испуга глазами, стараясь придать своему лицу подобие улыбки, опустился на свое место.

На вопрос кунигаса он холодно ответил, что это была бедная старая помешанная, и, налив себе кубок, выпил его залпом, но, как он ни старался принять равнодушный вид, он не мог удержать охватившей его дрожи.

Часть гусяров вышла за дверь, и после этого шумного приключения вдруг настала страшная тишина. Князь сделал знак, чтобы подали мед, но и это не помогло, так как все были испуганы и смущены появлением несчастной женщины. Скоро все умолкло, а некоторые из тех, которые особенно много пили, захрапели, положив головы на стол. Наконец и сам Маслав, приказав проводить своих гостей на отдых в предназначенные для них горницы, двинулся неверным шагом из столовой, предшествуемый коморниками, которым

он приказал нести перед собою меч. Начали расходиться и остальные, за исключением уснувших за столом.

Вшебор, не имевший понятия о своих дальнейших обязанностях, остался почти в одиночестве. Из памяти его не мог изгладиться образ странной бабы, испортившей своим появлением весь пир. Откуда она могла взяться здесь, при дворе? Кто она была и чего хотела? Догадаться самому было невозможно, хотя из ее криков и отрывочных фраз можно было понять, что она пришла с какой-то просьбой к Маславу.

Князь тоже, видимо, был более напуган ее видом, чем рассержен, из уст его не вырвалось ни одного проклятия, он, такой смелый и суровый до жестокости, не имел на этот раз силы вымолвить слово!

Вшебор, расхаживая взад и вперед по горнице, раздумывал об этом, когда вошел Губа.

Лица придворных имели после этого приключения то же самое выражение, которое Вшебор подметил у Маслава. Губа был угрюм и озабочен.

— Что это была за женщина? — спросил его Вшебор.

Губа взглянул на него и пожал плечами.

— Да старая баба какая-то, я не знаю, — отвечал он, но видно было, что он знал больше, чем хотел сказать. И, чтобы избежать дальнейших расспросов, тотчас же удалился.

Вбежал мальчик, посланный за Вшебором, которого князь приказал привести к себе.

Горница князя, куда ввели Вшебора, была убрана по образцу Мешкова двора — с видимым желанием произвести впечатление богатства и пышности.

Маслав нагромоздил в ней огромное количество всякой посуды, ковров и материй, как бы умышленно выставляя их напоказ.

Вшебор, войдя, застал его лежавшим на кровати; увидев его, князь быстро поднялся и сел.

Лицо его страшно изменилось. Румянец сошел с него, губы посинели, глаза сверкали диким огнем, морщины сдержанного гнева избороздили щеки и лоб. Он всматривался в лицо Вшебора, как бы желая узнать по его выражению, с чем он пришел.

— Видели, — заговорил он, — как мне испортили праздник? Эта глупая челядь! У дверей не было стражи!

Вшебор молчал.

— Сумасшедшая старая ведьма! — продолжал Маслав. — Только из жалости приютил ее. На нее иногда что-то находит, духи ее мучают, и тогда она сама не знает, что делает и что плетет.

Он встал и, опустив голову, заходил по горнице.

— Я уже давно приказал держать ее взаперти!

Он, видимо, был разгневан и с трудом сдерживал себя, потом, как бы сделав над собой усилие, подошел к нему с просветлевшим лицом, на котором еще ясно видны были следы плохо скрытого волнения.

— Вот ты видишь, шлют ко мне послов и просят вступить с ними в союз те самые, с которыми не мог справиться Болеслав! Стоит им кликнуть клич, и поднимутся тысячи мне на помощь, а я выгоню немцев.

Вдруг голос его дрогнул, словно он что-то вспомнил, и он прибавил:

— Если захочу срубить кому-нибудь голову или повесить, из-за стола прямо отдам палачу, виновных могу строго наказать. Что захочу, то могу.

Вшебор все молчал и слушал. Тогда Маслав спросил настойчиво:

— Ну, что же вы скажете?

— Присматриваюсь и дивлюсь вашей силе, — отозвался Долива. — Всюду виден у вас достаток. Могу вас поздравить.

— Может быть, ты думаешь, — живо прибавил Маслав, — что я не имел на это права? Ты слышал басни, которые рассказывали при дворе? Все это одна ложь и клевета, во мне течет кровь старых мазурских князей. Как у Лешков, так и у нас, Пясты украли наследство, а мы теперь отберем его у них. Моя кровь стоит пястовской.

Проговорив это, он опустился на сиденье, покрытое шкурой, перед огнем и в задумчивости облокотился на руку.

— Пясты не вернуться уже никогда, — заговорил он, как будто сам с собой, — Казимир не захочет подставлять свой лоб, и никто ему не поможет... А с чехами...

— Что же вы думаете начать с чехами? — спросил Вшебор, вынужденный так или иначе поддержать разговор.

— Против чехов направлю пруссаков и Мазуров, а в конце концов поделюсь с ними.

— Бржетислав не захочет делиться.

— Захочет! — возразил Маслав. — Я дам ему Силезию, пусть уж возьмет и Краков, и вместе пойдем на императора.

Все это, высказываемое отрывочными фразами, походило скорее на горячечные фантазии, чем было ответом на вопрос. Казалось, он себе самому бросал эти мысли в ответ на рождавшиеся в нем сомнения, надеясь отогнать их.

— Я объявлю себя королем, — продолжал он. — Рыкса увезла с собой все короны, но я в тех и не нуждаюсь, пусть император хранит их у себя. Мне выкуют новую, еще дороже и красивее. И не ксендз наденет мне ее на голову, а я сам! Я сам!

Он засмеялся, блеснув глазами, но вдруг оглянулся тревожно и нахмурился. Откуда-то издалека долетел заглушенный крик.

Маслав вздрогнул и прислушался: все было тихо! Он вздохнул свободнее. Мысль его продолжала свою работу.

— Если бы даже чехи и немцы оттягали у меня все земли за Вислой, здесь я останусь паном. Отсюда меня никто не прогонит, я здесь — дома. Тут и пруссаки, которые идут со мною рука об руку. На собственных кучах мы сильны. Почему же бы мне не жениться на девке прусского кунигаса? Разве он отказал бы мне? Даст за ней в приданое землю, все как следует. Мы будем везде поддерживать старую веру! Говорят: крещеная Русь, крещеная Польша, крещеная Чехия! Ложь все это! Окрестили их под страхом и угрозой, народ будет с нами, потому что мы отдадим им старых богов. Разрушим костелы, а монахов прогоним.

Вдали снопа послышался слабый крик — и все снова стихло.

Маслав побледнел, оглянулся осоловевшими глазами и умолк.

Вшебор тоже не посмел заговорить или спросить его.

Вдруг князь обратился к нему:

— Ведь ты — христианин? — дрожащим голосом спросил он.

— Да, я христианин, — сказал Долива, — и вам это хорошо известно, потому что и вы вместе со мной ходили в костел и к исповеди.

— Правда, — прибавил он, — на свете еще много некрещеных людей, да и таких, которые, окрестившись, все еще тайно держатся старой веры — тоже, должно быть, немало, но и христиан ведь

множество, а там, где надо постоять за веру и крест, — все пойдут вместе.

— И много у них хорошего оружия, — вырвалось у задумавшегося Маслава. — У нас рук-то хватит, но не хватит мечей.

Он потер лоб, как бы стараясь стереть с него назойливую мысль и, понуриив голову, сказал:

— Они умеют делать чудеса!

— Христиане? — спросил Вшебор.

— Нет, их черные монахи, — таинственно шептал Маслав. — Как они это делают? Никто не знает. Никого не щадили, всех приказано было убивать, и мало кто из них уцелел. Что это, колдовство?

Маслав содрогнулся, словно охваченный внутренней тревогой.

— Все это рассказы глупых людей, — шепнул он, прерывая себя самого. — Басни для запугивания людей — ложь и клевета.

Он взглянул на Вшебора и, подойдя к нему, взялся за конец золотой цепи, спускавшейся к нему на грудь.

— Ты поступай, как знаешь, только будь мне верен, — сказал он, — а своим христианством не хвались. Мы здесь не хотим знать этой веры! А завтра, — прибавил он, — выбери мне людей, молодец к молодцу, и вели выдать им всем одинаковую одежду, чтобы у меня была, как пристало князю, своя дружина. Ты будешь начальником ее и охмистром при моем дворе. Понял?

Вшебор молча поклонился и вышел.

## V

Очутившись один в сенях, Долива горько усмехнулся сам над собою. Вот чего он дождался! Быть слугой и охмистром холопского сына, которого он помнил мальчишкой для услуг при княжеском дворе. Все, что он видел здесь, вызывало в нем гнев и возмущение, и он не рассчитывал остаться здесь надолго, но все же надо было ко всему присмотреться, чтобы разузнать, в каком положении было дело Маслава. Ему это было тяжело, он вынужден был притворяться, но, раз попав в это осиное гнездо, надо уже было держаться смирно. Он еще не знал даже, к кому обратиться и куда направиться, когда Собек, поджидавший его, молча поклонился ему.

Почти весь двор уже спал, только немногие бродили еще по темным углам и переходам, через которые должны были пройти, чтобы попасть во второй двор. Вышли и Собек с Вшебором, и здесь Собек, как будто почувствовав себя в безопасности от подслушивания, обратился к Доливе и сказал ему:

— Вам отвели плохую хату, но что делать? Весь двор полон пруссаков и поморян... Я просил для вас отдельную, чтобы вы могли выспаться, но где там! Едва нашлась какая-то каморка. Хотели дать клетушку, где даже нельзя было развести огня.

Говоря это, он провел Вшебора к строению, в котором с одной стороны слышался женский голос, а с другой — несколько пруссаков охраняли покои своих панов. Из узких сеней Собек провел Вшебора в маленькую горницу, в которой Собек уже развел огонь. Узкая, грязная, пахнувшая смолой комнатка эта, видимо, только что была освобождена для княжеского охмистра. В ней была только одна лавка, в углу лежала охапка сена, покрытая шкурой, а по стенам было вбито множество деревянных гвоздей, очевидно, оставшихся от прежних постояльцев, которые развешивали на них одежду.

Собек, проводив Вшебора, имел явное намерение кое-что рассказать ему и спросить самому, но он удержался и даже приложил палец к губам в знак молчания. В хате были еще другие жильцы, и говорить было небезопасно. Только по выражению лица старого слуги Вшебор мог догадаться, что ему не особенно нравился этот двор. Собек сказал ему, что идет к лошадям, а Вшебор, задвинув деревянный засов на ночь, в задумчивости уселся перед огнем.

О многом надо было ему подумать.

На всем, что он здесь видел, лежала печать дикой, но несомненной силы, с которой по численности ее не могло сравниться пястовское рыцарство, хотя бы оно и противопоставило ей смелость и мужество.

В ушах у него звучали еще крики и возгласы пирующих, песни гуляров и жалобный плач сумасшедшей старухи, нарушившей веселье, он вспомнил все, что говорил ему Маслав, и сердце его сжалось печалью и тревогой. Неужели и им суждено было покориться звериной силе этого человека, отрекшегося от веры и стремившегося обратить народ в прежнее варварское состояние?

Вспомнилось ему и Ольшовское городище с горсточкою укрывшихся в нем людей, которых ждала верная гибель, потому что не было средств к спасению их.

Так раздумывал он, когда вдруг рядом с ним послышался чей-то жалобный голос. Вшебор замер на месте, боясь пошевелиться, и стал прислушиваться. За тонкой деревянной перегородкой шел какой-то отрывочный разговор. Вшебор различил женский голос. Он потихоньку подвинулся ближе к перегородке и приложил ухо. Теперь он ясно слышал женский жалобный голос и другой, все время прерывавший и заглушавший его.

Подойдя вплотную к стене, Вшебор только теперь заметил, что в ней было отверстие в форме окна, соединявшее между собою обе половины хаты. Отверстие это было закрыто деревянным ставнем. Долива попробовал осторожно отодвинуть едва державшийся, ссохшийся ставень, и он легко поддался его усилиям. Таким образом, через образовавшуюся широкую щель он уже мог заглянуть в соседнюю горницу и рассмотреть, что там делалось.

Сначала, пока глаз не привык к полумраку, царствовавшему в обширной горнице, освещенной только слабым отблеском догоравшего пламени, он не различал ничего. Но, всмотревшись внимательнее, он заметил две женские фигуры, из которых одна сидела на земле, а другая стояла над ней. В первой из них Вшебор узнал ту старую помешанную, которая ворвалась во время пира. Теперь она сидела на земле, на соломе, успокоенная, изменившаяся, обхватив руками колени. Дрожащий свет пламени падал на ее сухое, морщинистое лицо. Вшебору показалось, что на глазах ее блестели слезы.

В грубой рубахе, едва прикрывавшей ее тело, полуобнаженная, она сидела, устремив взгляд в огонь, и покачивалась всем туловищем, как плачя, причитающая над покойником.

Другая женщина, стоявшая над ней, молодая, стройная, красивая и нарядно одетая, смотрела на старуху с выражением скуки и равнодушия. Не было в ее лице ни сострадания, ни участия, а только нетерпение и досада.

— Послушай-ка, ты, тетка Выгоньева, — говорила она, наклонившись над ней, — ты своим безумием доиграешься до того,

что тебя бросят в яму и заморят голодом. О чем ты думаешь? Что ты забрала себе в голову?

Старуха даже головы не повернула к говорившей. Она, по-прежнему покачиваясь, смотрела в огонь и, казалось, не слышала обращенных к ней слов.

— Ты должна поблагодарить меня за то, что тебе не дали сегодня ста розог. Князь был в бешенстве.

При имени князя старуха слегка повернула голову.

— Что он говорил? — спросила она.

— Сто розог старой ведьме! — отвечала молодая женщина, поправляя волосы на голове — Сто розог дать сумасшедшей бабе!

— Это он так говорил? Он? — с расстановкой спросила старуха. — И справедливо, справедливо! Почему нет у бабы разума? — язвительно пробормотала она.

— Ага, видите, вот вы и сами говорите! — подхватила молодая.

— И не будет у нее разуму, хотя бы дали ей сто и даже двести розог.

— Что это вы выдумываете, — начала другая, — зачем заступаете дорогу князю? Если бы он был такой злой, как другие, да он давно велел бы вас повесить!

— Ну, что же! — сказала старуха. — Пусть прикажет, и пусть вешают.

Она опустила голову и после небольшого молчания затянула охрипшим голосом:

Люли, малый, люли  
На руках матуни.  
Спи, детка золотая,  
Молочком вспоенная,  
Кровью моей вскормленная,  
А живи счастливо,  
Люли, милый, люли.

— Так я певала ему, когда кормила его вот этой самой высохшей грудью, — прибавила она, судорожно раздирая на груди рубаху, — а

теперь! Повесить старую суку! Сто розог ведьме! Эй, эй, вот как он вырос мне на счастье!..

Старуха оперлась на руку и задумалась.

— Ну, что же в том, что вы кормили его грудью? Если бы даже так и было, — заговорила молодая, топнув ножкой о землю. — Разве мало мамок кормит чужих детей, когда нет матери.

— Мамка!!! — крикнула старуха, подняв на нее грозный взгляд. — Ты, ты, кто ты такая, что смеешь меня называть мамкой? Не была я мамкой никогда! Ты позволяешь себя целовать, хотя и не жена... на то ты такая уродилась, а я прикладывала к своей груди только собственное мое дитя! Ах ты негодница.

Молодая женщина в гневе отскочила от нее прочь.

— Ах ты, старая ведьма, страшилище проклятое! А тебе какое до меня дело? Ты видела, как он меня целовал?

— Кто и не хочет, так увидит, у тебя на лице написано, — заворчала старуха, откидывая седые волосы. — Ну-ка, посмотри на меня, написано ли на моем лице, что я могла кормить чужое дитя?

— Там написано, — рассмеялась молодая, — что домовый взял у тебя разум и спрятал его в мешок, вот что! Но, смотри, старая, ты дождешься того, что тебя повесят...

— Ну, что же, хоть ветер высушит мои слезы! — забормотала старуха.

Она умолкла, и голова ее снова стала покачиваться из стороны в сторону ритмическим движением... Молодая, надувшись и нахмурив брови, стояла над ней.

— Меня прислали к вам в последний раз, — заговорила она. — Поумнеете ли вы наконец или нет? Сидите спокойно, тогда доживете без печали до смерти, и ни в чем не будет у вас недостатка... Вы и так не можете ходить... Разве вам плохо в хате? Дают вам есть, пить и все, что душа захочет. Есть у вас лен для пряжи, прядите, сколько сил хватит. Не холодно, не голодно! Чего вам еще? Сидели бы смиренно.

— Для вас, Зыня, было бы этого довольно, только бы еще парень приходил, — заговорила старуха. — А я взаперти и без солнца не выживу здесь... Нет!

— Уж, конечно, — прервала ее Зыня, — если бы вам открыли дверь, как сегодня, когда слуга забыл ее закрыть, вы побежали бы пугать людей и лезть князю на глаза.

— Потому что у меня есть на то право. Слышишь ли ты, бесстыдная ветреница?! — крикнула старуха. — Я имею право быть там, где он. Сидеть там, где он сидит, и ходить, куда он пойдет... Понимаешь?

Зыня разразилась язвительным смехом.

— Видно, старухе надоела жизнь!

— Ой, надоела, надоела! — повторила старуха, обращаясь не то к огню, не то к самой себе. — Зажилась я на свете, все глаза выплакала, руки поломала, всю грудь от стонов разбило мне. Не мила мне жизнь, ой, не мила! А тебе, бесстыдница, не желаю ничего, ничего, только моей судьбы и моей старости!

Зыня невольно вскрикнула... Ее напугали эти слова, которые старуха произнесла, как проклятие.

— За что же вы мне этого желаете? За что вы меня проклинаете, — возразила она, — разве я по своей воле так говорю... Я делаю, что мне приказывают...

— Уж молчала бы лучше, — прервала ее старуха.

Зыня отступила от нее на несколько шагов и принялась ходить по горнице. Выгоньева даже не взглянула на нее. Несколько раз молодая женщина бросала на нее боязливый взгляд, но та не оглянулась и не промолвила ни слова. Старуха, погруженная в свое горе, казалось, ни о чем, кроме него, не хотела знать. Слезы, высохшие было на ее щеках, потекли снова.

В то время все боялись старых ведьм и их колдовства, и этим объяснялось то, что Зыня, услышав проклятие старухи, теперь старалась как-нибудь умиловить ее, чтобы она не произнесла над ней заклятья.

Покружившись по горнице, Зыня присела на полу возле старухи и изменившимся голосом заговорила:

— Ну не сердитесь на меня. Чем же я виновата? Меня посылают, и я должна идти. Зла я вам не желаю, а говорю вам для вашей же пользы. Вы сами себе портите жизнь. Сидите спокойно — и вы будете счастливы.

Выгоньева повернула голову.

— Счастлива? — повторила она. — Я счастлива? Счастье и дорогу ко мне потеряло. Не брешу, брехунья, а лучше помалкивай.

Она отмахнулась от нее рукой, а испуганная Зыня отодвинулась от нее подальше.

Огонь угасал в очаге, молодая женщина встала и подбросила в него несколько щепок. Она уже не пыталась больше заговаривать со старухой и молча ходила по горнице, бросая на Выгоньеву тревожные взгляды.

— Дать вам воды? — спросила она.

Выгоньева затрясла головой.

— Может быть, меду?

— Дай ты мне яду, — шепнула старуха, — да такого, чтобы скоро убивал, долго не мучил. Принеси мне дурману, приготовь зелье. Вот за это я тебя поблагодарю!

— Рехнулась старуха, — тихо пробормотала Зыня.

Наступило молчание, а так как и во дворах и в замке князя все уже спали, то в наступившей тишине можно было уловить малейший шорох. Вшебор, с любопытством наблюдавший и прислушивавшийся, услышав быстрые и нетерпеливые шаги вблизи хаты, испугался, уж не к нему ли кто-нибудь идет...

В эту минуту широко раскрылись двери, которые вели в помещение женщин, кто-то вошел к ним и торопливо задвинул за собою засов. Старая Выгоньева устремила на вошедшего пристальный взгляд, а молодая женщина, словно испуганная, отбежала в дальний угол, вся зарумянившись.

Вошедший стоял в тени и не был виден Вшебору. Но вот он очутился в полосе света и остановился перед старухой, которая, вскрикнув и подняв руки кверху, распростерлась перед ним лицом к земле. Это был Маслав в простом плаще поверх одежды, с гневным и беспокойным выражением лица.

Он стоял, не будучи в силах вымолвить слово, потом оглянулся вокруг и дал знак Зыне, чтобы она вышла. Испуганная девушка, пробираясь вдоль стены, осторожно приблизилась к двери, выскользнула из нее и исчезла.

Старуха, подняв голову, заплаканными глазами смотрела на Маслава. На ее лице сменялись выражения радости, гнева, отчаяния и счастья. Маслав стоял перед ней разгневанный, но и встревоженный в то же время.

— Послушай, старуха, — заговорил он слегка охрипшим голосом. — Я сам пришел к тебе, чтобы еще раз сказать тебе, береги свою голову! Маслав терпелив до поры до времени, но в гневе — хуже бешеного волка. Велит засечь, прикажет убить!

— Говори, — шепнула старуха. — Я хоть послушаю твой голос, говори еще! Я дала тебе жизнь, а ты мне за это дашь смерть!

— С ума сошла баба! — крикнул Маслав. — Как ты смеешь называть меня, княжеское дитя, своим сыном? Ах ты!

— Говори, сынок, говори, — сказала Выгоньева, — приятно мне слушать твой голос... Я всегда говорила над твоей колыбелькой, что ты заслуживаешь быть князем и королем!

Она протянула ему руку.

— Я называла тебя королем, я — старая помешанная! Вспомни, — тихо говорила она. — Вспомни только... Пощупай свой лоб... на правой стороне у тебя есть шрам... Ты был еще маленький тогда, упал и разбил себе голову о камень. Я, как пес, лизала тебе рану, а ты... укусил меня... это было предвещанием того, что будет с тобой и со мной... Я лижу твои ноги, а ты меня топчешь ими!

Старуха закрыла лицо руками и залилась горькими слезами. Маслав все стоял. Вшебор видел, как он бледнел, как менялось у него лицо, как он слабел и снова овладевал собою.

— Плетешь ты небылицы, старуха! — сказал он. — Нет у меня никакого шрама на лбу, и я не знаю тебя! Мне только жаль тебя... Хочешь уцелеть, так седи себе смиренно и молчи. Придержи язык за зубами и не смей говорить, что ты — моя мать.

Помолчав, он прибавил тихо:

— Если бы ты была моей матерью, ты бы не портила мне жизнь, не стыдила бы меня перед людьми. Я — князь и князем буду... а ты — пастухова вдова.

— А ты, милый мой князь, пастуший сын! — печально сказала старуха. — Лучше бы тебе было ходить с бичом за коровами, чем приставлять меч к чужому горлу, чтобы потом подставить свое горло другим! Что тебе это княжество, ну что?

Маслав бормотал что-то, чего нельзя было разобрать.

— Будешь ли ты молчать? — спросил он.

Выгоньева задумалась.

— Выпустите меня отсюда, — печально вымолвила она, — я уйду и буду молчать. Не скажу никому, что ты — мой сын. Будь себе королем, если хочешь! Но выпусти меня на свободу! Туда, в старую хату, пустите меня, пустите! Пусть глаза мои не видят, сердце не обливается кровью... Не скажу никому, только пустите меня.

Она стала на колени и руки сложила. Маслав, нахмутив брови, пощипывал рыжеватую бородку.

— Что тебе, плохо здесь? Не хватает только птичьего молока! Ты вернешься на черный хлеб и нужду, а сама все равно не выдержишь, будешь свое болтать... Нет... нет!

— Тогда прикажи убить меня! — говорила старуха. — Пусть убьют разом, как умеют это твои люди. Я с ума сойду в неволе, я к ней не привыкла... Я дала тебе жизнь, а ты возьми мою.

С плачем она упала на землю, но потом быстро подняла голову и начала жадно всматриваться в Маслава. Видно, какая-то мысль вдруг пришла ей в голову, она делала усилие, чтобы подняться. Князь отступил от нее, но она, с трудом поднявшись, вперила в него взгляд, точно забыв о себе. Глядела на него и не могла наглядеться. Взгляд ее пронизывал князя, и он с беспокойством отшатнулся от нее.

— Пстой, — промолвила она, — я ни о чем тебя больше не прошу, дай только насмотреться! Так давно я не видела тебя! А, а, вот что из него вышло! Как тело-то побелело! Как выросло дитя! Каким важным паном стал мой сын! Думала ли я, нянча его на руках, что выращу такого богатыря!

Она медленно приближалась к нему. Лицо ее из гневного становилось умиленным, вот она упала на колени и, охватив его ноги, стала целовать их. Маслав дрожал, как в лихорадке.

— Князь мой, голубок мой, уж не совы ли выели твое сердце, не вороны ли выклевали твои очи? Ты не знаешь своей матери? Ох, золотой ты мой, ничего я не хочу от тебя,пусти ты старую на волю. Меня здесь душат эти стены, не дают мне шагу ступить, слова вымолвить не позволяют... Сжался ты надо мной!

Когда она кончила говорить, князь быстро повернулся и пошел к дверям. С порога он обернулся к ней.

— Не глупите, если хотите остаться целой! Я вам это в последний раз говорю. Сидите, где вам велят, слышите?

Послышался шум отодвигаемого засова. Старуха, как лежала на земле, у ног его, так и не двинулась с места, закрыв лицо руками и распростершись на земляном полу.

Она еще лежала и плакала, когда вошла еще женщина, но не Зыня, а старуха в грубой и бедной одежде, с засученными по локоть рукавами, с растрепанными волосами, прикрытыми грязным платком, на вид еще крепкая и сильная. Нахмурившись, она смотрела на лежавшую.

— Эй ты, слышишь? — громко закричала она. — Пора тебе на покой, старая ведьма! Довольно этих глупостей!

Говоря это, она обхватила старуху сильными руками, приподняла ее и бросила без всякого сопротивления с ее стороны на соломенную подстилку в углу. Потом сняла с гвоздя сермягу, покрыла ее, постояла еще и пошла затушить огонь.

Вшебор, не слыша больше ничего, кроме глухих стонов и храпа, задвинул ставень. Испугавшись, как бы завтра не догадались, что он мог подслушать, он повесил на ставень свое платье и улегся в углу на приготовленную ему постель.

На другой день, чуть свет, кто-то постучал в дверь. Вшебор открыл ее и увидел Собека, который пришел развести огонь. В замке уже начиналось движение. В то время день начинался с рассветом и кончался с наступлением сумерек. Когда Вшебор открыл ставень у окна, выходящего на двор, он увидел, что Маслав был уже на коне посреди двора и сам ставил своих людей, подбирая их по росту. Осматривал оружие, а тех, что сидели на конях, заставлял гарцевать перед собой.

Войско это, набранное отовсюду, необученное еще и дикое, казалось все же отважным и способным к выучке. Теперь ему еще не с кем было воевать, потому что рыцарство короля разбежалось во все стороны, а с чехами, превосходившими их в числе и отлично вооруженными, они еще не решались помериться силами. Казалось, Маслав готовился к борьбе, которую он предвидел в будущем. В окно было видно, как князь, объезжая новые полки, то обращался с ними по-княжески, то вдруг, забыв, кто он, превращался в простолюдина, каким он и был, и в гневе своем давал волю рукам, уча непонятливых.

Вшебор и Собек, стоявшие за ним, наблюдая эту сцену, покачивали головами. Старый слуга то улыбался невольно, то

хмурился. Грозный и крикливый голос князя долетал и до них.

Так, молча, стояли они некоторое время, пока Собек не отвел Вшебора в сторону, тихо говоря ему:

— Нам тут нечего долго оставаться... осмотритесь... и едем назад... Вы уже видели, что у него есть... Это все, что нам надо было знать.

— У него большая сила, а у нас никакой, — вздыхая, возразил Вшебор.

— А мы все же не пристанем к нему, — шепнул старик. — Своими глазами видели то, о чем люди рассказывали... Нам тут нечего больше делать.

Вшебор только кивнул утвердительно головой.

В дверь постучали, и с поклоном вошел Губа.

— Во дворе собраны люди, из которых вам надо выбрать дружину для князя, — сказал он. — Кладовая открыта. Князь велел всем слушаться нас. Вас ждут.

Долива волей-неволей должен был следовать за Губой.

Во дворе стояла толпа избранной молодежи, молодец к молодцу, с веселыми лицами, крепкие и самоуверенные. Все они были оторваны от плуга и секиры, не обучены и не усмирены, как дикие кони, только что взятые из табуна.

Долива сначала осмотрел их всех, потом начал выбирать. Одни шли охотно, другие убегали, но тут же стоял Губа с дубинкой в руке, и никто не смел ослушаться.

Скоро дружина князя была подобрана, и Вшебор повел ее к вчерашней избушке, где было собрано платье и оружие и где ждал их старый надсмотрщик. Всего было здесь вдоволь, но подобрать для всех одинаковую одежду и вооружение не было возможности. Награбленное из разных домов и от разных хозяев добро лежало кучами без всякого порядка, и очень трудно было подобрать более или менее сходную одежду для всех. Не успел еще Вшебор покончить с этим, как его позвали к княжескому столу. Здесь снова были пруссаки, которых приветствовали еще более шумно, чем накануне и с которыми ударяли по рукам в знак вечного союза.

Вшебор наблюдал издали за этим братаньем и слышал, как кунигас рассказывал Маславу, сколько у него войска, и уславливался с

ним относительно дальнейших походов. Маслав не скрывал своих планов и намерений.

— С Пястами у меня еще не покончено, — говорил он кунигасу.

— Их нет в стране, мы их выгнали, но они заодно с немцами и могут вернуться вместе с ними. Чернь вырезала рыцарство и подожгла их замки, но вся эта погань только разбежалась, а как только оправится, снова соберется вместе. Это еще не конец! Еще есть много нетронутых замков, и не все головы поспадали с плеч...

Вшебор побледнел, услышав эти слова и заметив, что Маслав, произнося их, взглянул на него. Итак, завязывалась дружба с пруссаками, а старая вера и языческие боги брали верх над христианством.

Мед шумел в головах, и шум увеличивался. Пир продолжался до самого отъезда кунигаса, которого Маслав и его приближенные проводили во двор, где стояли кони. Когда пруссаки, сев на коней, выезжали из замка, множество народа и гусяры с приветственными кликами провожали их за валы.

Вшебор стоял, глядя вслед отъезжавшим и прислушиваясь к разговорам толпы, когда Маслав подозвал его к себе и велел привести к нему напоказ подобранную им дружину. Он тотчас же пошел исполнять приказ, но в это время в те двери, через которые он хотел выйти, вошло новое посольство, и князь взглядом приказал ему остаться.

Новоприбывшие имели еще более странный вид, чем дикие, но воинственные прусские послы. Это была толпа черни, посланная в качестве депутатов от разбойничьих шаек взбунтовавшихся крестьян, грабивших страну. В окровавленных сермягах, с разгоряченными и возбужденными медом и пивом лицами они ворвались со смехом и шумом, без всякого почтения к княжескому двору.

Начальник их, высокий детина, на голову выше всех остальных, с густыми, падавшими ему на плечи волосами, увидев Маслава, снял не спеша баранью шапку и слегка склонился перед ним. Ни он, ни его товарищи, весело поглядывавшие вокруг, не испытывали ни малейшего страха в этой торжественной обстановке княжеской столовой... Опустошения, которые они чинили по всей стране, научили их ничего не ценить, они чувствовали свою силу...

— Ну, вот мы пришли к вам, князь наш, — заговорил начальник, — посоветоваться и порадовать тебя. Ты наш! Ты наш!

И вся толпа весело замахала шапками, приветствуя его громкими восклицаниями. Маслав хмурился и молчал.

— Там, за Вислой, мы уж очистили тебе почти весь край. Иди и наводи порядок... Восстанови старые храмы, верни старых богов немцам их богам на погибель!

Снова раздались крики, и шапки полетели вверх. Оратор погладил бороду и огляделся вокруг.

— Рыцарей и немецких ксендзов нет больше нигде, и замков уже немного осталось, и те мы возьмем голодом или разнесем в щепы... но с чехами мы не можем справиться. Это, милостивец, твое дело. Если хочешь княжить, надо от них избавиться...

Все, окружавшие посла, кивали головами, подтверждая его слова. Маслав слушал.

— Рыцарей нет больше? — спросил он.

— Да все равно что нет, — смеясь, отвечал посол, — хоть некоторые еще прячутся по лесам, но придут холода, морозы — волки и тех доедят.

— А замки спалены?

— Если где и остались еще, то недолго продержатся, — возразил посол.

— Вот только один есть поблизости, с тем мы, пожалуй, и справимся. Если бы нам дали воинов на помощь, нам было бы легче овладеть им.

— Что же это за замок? — спросил Маслав.

И вся толпа, перебивая друг друга, закричала в ответ:

— Ольшовское городище!

Вшебор почувствовал, как вся кровь бросилась ему в лицо.

— Окопались там собачьи дети, — продолжал оратор. — Защитились машинами и так крепко держатся, что их трудно взять. Голод их изведет, это правда, но что хорошего? Там женщин много, они бы намгодились. А за это время похудеют, запасы все поедят. А вдруг придут чехи, возьмут их и ограбят? Там большие богатства собраны, жалко будет потерять.

— Ольшовское городище? — еще раз спросил Маслав.

Посол указал рукой в ту сторону, где оно было расположено.

— Дайте нам людей, — сказал он. — Если мы бросимся со всех сторон на валы, они не выдержат... Если поделимся хотя бы пополам, там хватит богатства на всех. Туда свезли сокровища со всех сторон, да и сам Белила имел достаток... Надо истребить это гнездо без пощады.

Маслав несвязно бормотал что-то. Послам от черни принесли пиво, и тут же началось угощение. Все взяли по кубку и с поклонами обратились к пану, принимавшему их у себя, но сам пан был не весел: не по нраву ему была бесцеремонная простота простого народа. Да и они, поглядывая на этого «своего» князя, видимо, не очень им восхищались. Он казался им слишком высокомерным и чересчур походил на прежних панов. Вшебор, который уже собирался уходить, услышав, что началось обсуждение готовившегося совместного нападения на Ольшовское городище, остался послушать, к какому решению придут.

Трудно было разобрать что-нибудь в общем говоре и шуме. Из толпы то и дело вырывались отдельные голоса, заглушавшие говорившего и прерывавшие рассказ. Вшебор понял только одно, что послы старались разжечь в Маславе жадность, описывая ему собранные в замке сокровища, но князь гораздо менее интересовался добычей, чем местоположением замка и численностью охранявших его людей.

Но одним эти силы казались далеко превосходящими их собственные по той причине, что принудили их к отступлению, другие же стирались доказать противное. Таким образом, нельзя было установить точное количество защитников. В одном только все были согласны — именно в том, что в городище схоронилось много рыцарей и уж ради этого следовало взять замок, чтобы эти опасные люди как-нибудь не выбрались оттуда и не спаслись.

Для Маслава тоже было гораздо важнее избавиться от тех, кого он считал своими злейшими врагами, чем овладеть богатой добычей. Когда толпа, угостившись и нашумевшись вдоволь, удалилась, милостиво отпущенная князем, Маслав, утомленный, опустился на скамью, а Вшебор, воспользовавшись тем, что день уже сменился вечером, побежал под предлогом взглянуть на коней по направлению к конюшням — искать Собека.

Как при Болеславе — замок и дворовые постройки были полны рыцарства, так теперь при Маславе все было полно простым людом,

который надо было поить и кормить. Около храмов — гусяры и певцы, на валах — воины, а в обоих дворах — толпы народа, стекавшиеся со всех сторон на поклон и располагавшиеся здесь лагерем. Трудно было даже пробраться среди этих шалашей, деревянных балаганчиков, сараев и повсюду разложенных костров. Слышались пение и смех. Кое-где производилась купля и продажа еще окровавленной одежды и дорогих материй, награбленных по шляхетским усадьбам.

Вшебор, минуя все эти группы, добрался до сарая, где он еще издали заметил Собека, но и здесь сновала челядь и надсмотрщики за стадами коней и рогатого скота, так что трудно было поговорить без опаски.

Сделав знак старому слуге, Долива повел его за собою в ту сторону, где на валу почти не было народа.

Проведя его в безопасное место, Вшебор сказал ему:

— Ваша правда, нам надо скорее возвращаться. Сейчас только приезжали посланные к Маславу, требуют от него помощи, чтобы взять Ольшовское городище. Мы должны предупредить наших об опасности и быть уж среди них для защиты замка. Может быть, удастся вырваться оттуда заранее!

Собек хлопнул в ладоши.

— Но как же выбраться отсюда? — спросил Долива. — И попасть-то сюда было нелегко, а уж выйти — еще труднее.

Старик беспокойно задвигался.

— Мне-то легко отсюда уйти, — сказал он, — когда захочу, тогда и уйду, и никто меня не спросит, вам хуже.

Он покрутил головой.

— Вот потому-то я вас и спрашиваю, — сказал Вшебор.

— Вы старайтесь только выбраться в лес за Вислу, — сказал Собек, — а там уж мое дело вывести вас дальше.

Долива подумал немного.

— В эту ночь? — спросил он.

— А чего же нам ждать? Они еще могут заподозрить нас.

Пока они так совещались, наступил вечер, и Вшебор должен был вернуться в замок, чтобы показаться на глаза Маславу. Решено было бежать в эту же ночь.

Долива, допущенный к князю за получением приказаний, нашел его полусонным от меда и пива и не расположенным к каким-либо разговорам. Он только знаком дал ему понять, что хочет отдохнуть. Вшебор тотчас же вышел и пошел в свою хату во дворе. В этот вечер никто не приходил за ним и не заглядывал к нему в горницу.

На другой день утром князь вышел к своим людям, чтобы сделать смотр вооружению воинов и их коням. Вернувшись к себе, он приказал позвать охмистра.

Ждали, что он займется обмундированием новоизбранной дружины, но нигде не могли его найти. Хата, где он обретался, была открыта настежь, и огонь в очаге давно выгорел. Никто не видел, как он входил в нее.

Люди князя разбежались искать его, но прежде всего заглянули в конюшню: ни Собека, ни лошадей их там не было.

Известие о том, что Вшебор исчез, привело Маслава в ярость. В погоню за беглецами были посланы самые надежные слуги и кони. Князь клялся, что не пощадит ни одного рыцаря, хотя бы тот в ногах у него вымаливал прощенье.

На него напал какой-то непонятный страх. Он целый день провел на валах, поджидая, не привезут ли тех, за которыми была отправлена погоня. Для них уже была приготовлена виселица.

Только к ночи стали возвращаться посланные с известием, что Вшебор исчез без следа. Паромщики на Висле клялись, что ночью никто не переезжал на тот берег Вислы и никто в окрестностях не видел всадников. Несколько дней искали их следов по обеим сторонам реки. Все было напрасно.

Губа ходил в храм к гадателям, чтобы они сказали ему, где искать беглецов. Но каждый из них указывал по-разному.

Нескоро еще все успокоилось в Плоцке. Но приезд новых посланных, совещания с ними и приготовления к походу стерли понемногу воспоминание о Вшеборе. Готовились в поход на Ольшовское городище. Люди Маслава должны были соединиться с окрестными жителями, обложить замок и принудить его к сдаче.

В то время как в Плоцке Маслав при одном воспоминании о Вшеборе Доливе бил кулаками по столам и по лавкам, грозя мщением, издеваясь над своим товарищем, понося его и ругая шляхту, подославшую к нему изменника, чтобы разузнать его тайны, Вшебор вместе с Собеком, переправившись ночью вплавь через Вислу в том месте, где они раньше заметили брод, забирались все глубже и глубже в чащу леса, подальше от лесных дорог и постоянно меняя направление, как звери, преследуемые охотниками и сбивающие с толку собак. Так, не жалея лошадей, ехали они до тех пор, пока не выбрались на более безопасное место. Старый Собек был в этом случае большою помощью для Вшебора, потому что у него был инстинкт лесного жителя, который никогда его не обманывал. Он узнавал дорогу по коре деревьев, направлению ветра, а ночью по звездам.

Однако, заботясь прежде всего о том, чтобы замести следы и обмануть преследователей, он в конце концов очутился в совершенно незнакомом месте. Он не боялся заблудиться, но боялся прибыть слишком поздно в Ольшовское городище.

Была поздняя осень, и трудно было прокормить коней, которые вынуждены были питаться иногда молодыми побегами. В этот первый день бегства они достигли только того, что забрались в болота, поросшие густой зарослью, где они чувствовали себя в безопасности. На ночь расположились на лужку между деревьями, не позаботившись даже о том, чтобы сложить шалаш: не было ни времени, ни желания. С коней сняли сукно, служившее им вместо седел и, установив по очереди ночную стражу, расположились на отдых до утра.

На рассвете Собек напоил коней и произвел разведку местности, соображая, как выбраться отсюда. Пришлось прибегнуть к способу отыскивания направления по коре деревьев. Старый слуга поехал вперед, внимательно разглядывая дорогу и стараясь выяснить, какой стороны следует держаться.

Было уже около полудня, и лесная чаща, видимо, начинала редеть, указывая на близость поляны и ручья. Они съезжали с небольшого холма, когда Собек вдруг задержал коня и, знаком наказывая Вшебору молчание, остановился на месте. С той стороны, где лес кончался, слышался шум голосов, ясно указывавший на то, что там было довольно большое сборище людей.

Страх овладел стариком: кто же мог так блуждать толпою, как не чехи или чернь, скитавшаяся по всей стране, разорявшая и грабившая города и усадьбы? Попасть к ним в руки, спасшись от Маслава, было бы гибелью. Лицо Собека покрылось смертельной бледностью. В первую минуту он совершенно потерялся и не знал, что делать дальше.

В том месте, где они стояли, широкие стволы деревьев и разросшиеся на опушке леса кусты скрывали их, но малейший шорох мог их выдать. Собек тихо сошел с лошади и привязал ее к дереву, его примеру последовал и Вшебор. Пешему не грозила такая опасность, как конному. Оба стали тихонько прокрадываться к тому месту, откуда доносился шум голосов. Они стояли на холме, укрытые за деревьями. У подножия холма протекала маленькая речка, а в долине, расстилавшейся перед ними, они заметили довольно большой лагерь, окруженный возами. На лугу паслись стреноженные кони. В центре лагеря возвышалось несколько палаток, в наскоро выкопанных ямах были разложены костры, а возле них суетилась вооруженная челядь. Можно было различить фигуры нескольких мужчин в рыцарских доспехах, переходивших от одной палатки к другой. Еще несколько лежало на разостланной на земле подстилке. Все они были хорошо вооружены, а между ними, на воткнутом в землю древке, развевалось знамя, но такое смятое и порванное, что невозможно было различить, кому оно принадлежало. Вшебору и Собеку одновременно показалось, что это должны быть чехи, но, прежде чем они успели отойти назад, чьи-то сильные руки обхватили их сзади и повалили на землю. Вшебор, вспомнив про меч, висевший у него за поясом, собирался защищаться и уже столкнул с себя двух нападавших, но, нечаянно заглянув им в лица, узнал в них слуг своих знакомых магнатов, а те тоже узнали его.

Люди, принявшие Вшебора благодаря его крестьянской одежде за простолюдина и повалившие его на землю, были слуги Шренявы. Собека опрокинул высокий детина, бывший оруженосцем у одного из Яксов.

— Что вы тут делаете? — крикнул Вшебор. — Это ваш обоз?

Слуги только указали на него рукой.

Обрадованный Вшебор, меньше всего ожидавший встретить своих, неожиданно очутился среди них. Он даже не думал, что разбитое рыцарство могло где-нибудь собраться в таком большом

количестве. Оставив коней Собеку, он поспешил к этому лагерю, который был ему как будто послан с неба. Значит, были еще люди, которые, не потеряв надежды, собирались вместе и держали совет.

Чем ближе он подходил к обозу, тем сильнее была его радость. Отряд не был особенно велик, но все же вместе с челядью и оруженосцами он составлял около ста человек. И все знатные рыцари, из которых он состоял, имели хорошее, крепкое вооружение и далеко не выглядели такими истощенными, как Лясота и Тонорчик, которых он встретил раньше на дороге.

В лагере была тишина и порядок, а захват Вшебора доказывал, что спуск в долину заботливо охранялся.

Глубоко растроганный Вшебор, перейдя через речку, по переброшенному через нее бревну, возблагодарил в душе Бога и почти бегом пустился к расположившемуся здесь лагерем рыцарству. Его заметили уже издали, и так как он был плохо одет и его сразу не узнали, то сначала поднялась суматоха. Воины торопливо поднимались с земли, а некоторые хватались за оружие, но человек, стоявший на сторожевом посту, присмотревшись к Вшебору, с криком бросился к нему навстречу.

Это был прежний товарищ Доливы, служивший вместе с ним в Казимировой дружине, Самко Дряя, друживший с обоими братьями и которого они оба потеряли из вида, когда королевич был изгнан из края и вся его дружина распалась.

— Вшебор!

— Самко! — крикнули оба, с протянутыми руками бросаясь друг к другу.

На этот призыв все, кто был поближе, подошли и окружили их, забрасывая вопросами.

А из большой палатки вышло несколько человек, вероятно, предводителей отряда, к которым и повели Вшебора.

Первый, кого он увидел, был старый, седой, почти восьмидесятилетний старик Трепка, помнивший еще времена Мешка Первого. Старик сидел на бревне, покрытом шкурой, весь сторбившийся, зябко кутавшийся в кожу и все-таки трясшийся от холода, а подле него стояли два его сына, за ними Яксы, Каневы, Шренявы и знатнейшее рыцарство Болеслава, Мешка и Рыксы. Все это были остатки блестящих полков когда-то великолепного королевского

двора: жупаны, владыки, воеводы, подкомории, о которых Вшебор даже не знал, что им удалось спастись. Тем менее ожидал он встретить их всех вместе, потому что ходили слухи, что те, кто уцелел, бежали за границу и там скитались, ожидая смерти.

И прежде всего Вшебор поднял руку к небу, благодаря Бога за то, что позволил ему еще увидеть остатки собравшегося вместе и единомысленно действующего рыцарства.

И те тоже, увидев его, засыпали бесчисленными вопросами и тянули каждый к себе, радуясь, что их небольшой отряд пополнился еще одним спасшимся.

Тем, которые не знали раньше Долива и удивлялись, за что был оказан такой сердечный прием этому бродяге в крестьянской одежде, Дрыя и другие рассказали, кто он был и как назывался. Имя Доливы было у всех на устах.

В палатке стало так шумно, что нельзя было разобрать, кто и что говорит. Тогда старый Трепка, который, видимо, был здесь главным вождем и начальником, начал стучать посохом в землю и ударять в ладоши, призывая к порядку. Иначе невозможно было разузнать что-нибудь от Вшебора. Поглаживая рукою огромную седую бороду, старец начал расспрашивать его, откуда он шел, как удалось ему спастись и не знал ли он чего-нибудь о других?

Долива рассказал им о своих несчастьях начиная от бегства из замка и встречи с Лясотой в Гдече и кончая прибытием в Ольшовское городище.

Не приписывая особого значения спасению женщин из Понца, он даже не упомянул о них в своем повествовании и только, когда рассказывал о приеме их Белиной, назвал в числе других и двух женщин.

Его начали расспрашивать, кто они были, и Долива назвал пани Спыткову и ее дочь Катерину. Как только он вымолвил это имя, за спиной старого Трепка, с земли, на которой лежало какое-то существо, закутанное в кожухи и плащи, послышался густой голос:

— Хвала Господу в Вышних!

Все взоры устремились в ту сторону, откуда слышался голос, и Вшебор увидел, как из-под покрывал, словно освобождаясь из пеленок, выглянуло бледное лицо и показалась жилистая рука. Окровавленные повязки, обвивавшие всю эту голову, оставляли

свободной только небольшую часть этого угрюмого и печального лица: бледную щеку, налившийся кровью глаз и синюю, бессильно отвисшую губу.

— Кто этот старец? — спросил Вшебор Дрюю.

— Это же муж Спытковой, который чудом уцелел под грудой трупов и был вовремя спасен подоспевшими воинами, — тихо сказал Дрюя.

— А нам сказали, что его рассекли на куски! — вскричал Долива.

— Да и немного прибавили, — сказал, услышав его, Спытек. — У меня нет ни одного живого места на теле; все изрублено, исколото и изрезано, а сколько из меня крови вытекло, другому хватило бы на всю жизнь!

Вшебор смотрел с удивлением на изрубленного владыку, который, в свою очередь, отдернув повязку, старался разглядеть его, но в эту минуту край палатки отогнулся, и Собек, ворвавшись, как безумный, огляделся по сторонам, а потом с криком радости упал на землю около своего пана.

Все умолкли при этом зрелище, и сам Спытек не мог ничего говорить и только бормотал несвязно:

— Хвала Богу, хвала Господу в Вышних.

Пока старый слуга вел в уголке палатки тихий разговор со своим паном, рассказывая ему обо всем, что пережили они с госпожою, все остальные снова обратились к Вшебору, спрашивая его об Ольшевском городище, но когда он между прочим рассказал, что был в Плоцке у Маслава в разведке и что теперь возвращался оттуда цел и невредим, снова поднялся страшный шум: любопытные так стеснили рассказчика, что Трепка должен был пустить в ход и посох, и плетку, чтобы призвать забывшихся к порядку.

Никто не хотел верить Вшебору, что он осмелился лезть в пасть волку, и ему пришлось сослаться на Собека как на свидетеля.

Тогда снова посыпались вопросы, что это был за человек, хотя почти все знали его и раньше, велики ли были его силы и что он замышлял. Все говорили о нем с ненавистью и ни одного голоса не раздалось в его защиту.

Когда Вшебор начал рассказывать о многочисленной войске, которое Маславу удалось собрать, снова все отказывались верить. В конце концов рыцарство, как всегда, заявило, что один хорошо

вооруженный воин легко может разбить и уничтожить целую толпу таких сермяжных воинов, оторванных от земли и плуга.

— Слава Богу, что Его всеведение привело меня сюда, — сказал Вшебор. — Из одного милосердия вы должны идти в Ольшовское городище на помощь Белине и всем запертым в нем владыкам, иначе Маслав может каждую минуту явиться и овладеть замком...

Когда Вшебор сказал это, вдруг воцарилось молчание, которое продолжалось очень долго. Люди поглядывали друг на друга, спрашивая глазами, что ответить, но никто не решался заговорить первый. Долива был особенно поражен тем, что Спытек, лежавший на земле, хотя и слышал, о чем шла речь, и знал, что в замке схоронились его жена и дочь, не вымолвил ни слова.

Тогда он повторил еще раз, что с такими силами, какие были в лагере, смело можно идти на помощь осажденным, и неожиданным нападением на врагов разбить их и уничтожить. Но и на это предложение, кроме бессвязного бормотания, не последовало иного ответа. Глаза всех обратились на предводителя, и старый Трепка, покачивая головой, сказал:

— Дай-то Господь, чтобы мы могли вовремя прийти на помощь осажденным замкам... но час еще не пришел. Дороже всех замков, дороже даже, чем кровь наших братьев, для нас — вся наша земля, королевство и святая вера, которую мы приняли, и их надо спасти прежде всего!

Все стоявшие вокруг негромко заговорили, вторя ему. Старец продолжал свою речь:

— Если бы Маславова орда знала, что нас осталось еще несколько человек, то они постарались бы тотчас же рассеять нас и уничтожить. Но нас еще мало, и не время нам вступать с ними в борьбу, пока среди нас нет помазанного вождя, который вел бы нас вперед. Для нас теперь самое важное: тайно собрать значительные силы, вернуть государя, поставить во главе вождя, и только тогда мы будем в состоянии подумать об угнетенных и несчастных наших братьях.

Никто не ответил на это, потому что мнение старца, видимо, разделялось всеми остальными, но Вшебор, у которого лежала на сердце забота об участии осажденных в городище, заметил:

— Неужели мы дадим погибнуть нашим кровным, которые нам дороже всего! Ведь там весь цвет рыцарства, а если бы они были

отданы на поругание Маславу, то это была бы непоправимая утрата.

— Прежде всего должны мы думать о спасении земли нашей и веры, — сказал старик. — Если мы будем думать о себе, то рано или поздно все попадем в петлю!

Он поднял обе руки кверху.

— Бог видит, нам дороги все наши! Все они нам родные — по крови, по вере, по духу и оружию, но земля и вера дороже нам, чем собственная кровь.

Снова одобрительно загудели голоса присутствующих. Вшебор, опустив голову, взглянул на Спытека, который, подняв кверху на говорившего свой налившийся кровью глаз, слушал с раскрытым ртом и трясущимися синими губами. Он был уверен, что Спытек вымолвит слово за своих. Но из глаз старика выступили не слезы, а капли крови и потекли по бледной щеке.

Старик молчал. Среди глубокой тишины тяжкий вздох вырвался из его груди. Медленно поникая израненным челом, он спрятал голову в изголовье постели. И все, кто смотрел на него, почувствовали, как он должен был страдать, и умолкли.

— Как вы решите, так пусть и будет, — сказал Долива. — Я знаю только то, что, отправленный из городища на разведку, я должен туда спешить обратно, чтобы хотя бы предупредить об опасности и отдать в их распоряжение мои руки и голову...

Никто не пробовал отговаривать его. В это время стоявший подле старого Трепки Болько Шренява спросил:

— А сколько же в замке народу?

— Сколько могло поместиться, — отвечал Долива, — ночью все лежат вповалку на земле в обоих дворах, так что невозможно пройти, не наступив кому-нибудь на руку или на ногу. Главная беда в том, что скоро исчезнет весь запас провизии.

Печально выслушали этот рассказ начальники отряда.

— Что же делать? — сказал Трепка. — Пусть сопротивляются, сколько могут, спасенье придет для нас тогда, когда мы сами увидим перед собою лучшее будущее. Если бы мы теперь задумали оказывать помощь осажденным замкам, то вскоре и нас самих не стало бы.

Беседа снова оборвалась, и продолжались только перешептывания между отдельными лицами. Но, подумав немного, Трепка прибавил:

— Скорее от них надо было бы перетянуть к нам лучших людей, чем нам отдавать им своих. Бог один ведает, не заключается ли в этом нашем маленьком лагере все будущее этой земли и посев для будущего королевства.

Говоря это, он обвел странным взглядом всех присутствовавших, и они, тоже переглянувшись между собой, как будто тайно сговариваясь о чем-то, замолкли. Затем Трепка спросил у Вшебора имена осажденных, спросил также, сколько там было женщин, какую жизнь они вели там и как питались, но Вшебор, убедившись, что эти расспросы ни к чему не поведут, отвечал неохотно. Непреклонная суровость начальников отряда произвела на него такое тяжелое впечатление, что он потерял всякую охоту беседовать с ними и, сделав знак Собеку, вышел из палатки. Такая взяла его досада на них, что он решил, дав отдохнуть коню, тотчас же отправиться в дальнейший путь. Но Собек, выйдя из палатки и подойдя к Вшебору, взглянул на него со смешанным выражением страха и смущения.

— Нам пора в путь! — сказал Вшебор.

Собек пригладил волосы.

— Да, конечно, конечно, — пробормотал он.

Но сам он, говоря это, не двигался с места. Потом, после некоторого колебания, касаясь рукой его колена, спросил:

— А как же я брошу здесь моего израненного старого пана?

— А что же я сделаю без вас?! — крикнул Вшебор, с трудом сдерживая свой гнев. — Проведите меня в городище, а потом поступайте, как знаете. Вы обязались сделать это, и я могу силою принудить вас...

Собек с изменившимся лицом снова склонился к его коленям.

— Здесь есть кому заступиться за меня, — сказал он без гнева, — вы ничего не можете сделать со мною силою. Если вам нужно от меня только то, чтобы я указал вам дорогу, я это сделаю.

Вшебор в гневе отвернулся от Собека, не отвечая на слова. Он уж собирался идти за своим конем, когда к нему подошел Дряя и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Не сердись на нас! Мы тут не виновны. Старый Трепка правду говорит! Хоть бы сердце разорвалось, хоть бы там были у нас мать, жена, сестра, мы должны помнить о другом.

Долива сердито взглянул на него.

— О чем же, черт побери! О себе, что ли?

Дрыя нахмурился.

— Об этом говорили ясно, — сказал он. — Ты должен был понять!

— А я понимаю так, — возразил Вшебор, — что вы с вашей горстью людей страны не спасете, а того, что могли бы сделать хорошего, спасая людей, не хотите сделать.

— А если эта горсть — только начало? — сказал Дрыя. — Если с каждым днем к ней примыкают новые силы, и скоро она станет настоящим войском. А если из этой горсти выйдут те, которые несут нам избавление?

— Где? Откуда? — спросил Долива.

Дрые, видимо, хотелось навести своего старого друга на верную мысль так, чтобы он сам догадался, но Вшебор не был так понятлив, и его всегда интересовало то, что ближе всего его касалось.

— Пойдем в мою палатку, — сказал Самко, взяв его за руку, — пока накормят коня, поешь и ты всего, чем я могу с тобой поделиться. И поболтаем с тобой, как прежде.

Преодолев свою досаду, Долива уступил уговорам Самка и вошел в небольшую палатку, которую тот занимал вместе с тремя товарищами. Вся обстановка странного жилища этого рыцаря была верным отражением переживаемого времени, когда человек возил за собой все, что ему удалось спасти, убегая от чешских орд. Были тут и необходимые для рыцаря вещи и то, что ему просто жаль было отдать рабителям, и то, что было для него одной обузой.

Рядом с седлами, сбруями, предметами рыцарского вооружения, раскрашенным шлемом и богатым оружием, на возу виднелась позолоченная посуда и лежали груды кожухов и всякой одежды, стоял непочатый еще бочонок меда и уже начатая кадка с соленым лосиным мясом. Слуга возился с блюдами и мисками, потому что приближался час обеда. Паны уселись — один на куче одежды, другой — на бочонке, а обеденный стол изображала боковая решетка, снятая с воза и чем-то покрытая.

Вшебор был грустен, потому что перед глазами у него стояли все те, кого он оставил в Ольшовском городище и которых ждала смерть, а больше всех его мучило белое девичье личико. Одна мысль о том, что этот цветок может достаться первому попавшемуся негодяю,

поднимала целую бурю в его душе, а кровь закипала в нем с такою силою, что он готов был погибнуть, защищая девушку, а саму ее убить, чтобы она не попала в недобрые руки.

Пока он обдумывал все это, Дрыя, оглянувшись вокруг, заговорил:

— Не беспокойся, — тихо сказал он. — Старый Трепка не может говорить иначе о том, что близок час избавления.

— Какого же, какого? — подхватил взволнованный Вшебор.

— Нам нечего таиться перед тобой, и напрасно тебе не хотят этого сказать, — спокойно вымолвил Самко. — Мы со дня на день ожидаем к себе королевича и уже имели о нем известия.

Вшебор с удивлением взглянул на Дрыю, а тот, склонившись к нему, продолжал:

— У нас оказалось столько рыцарей, что мы нашли кого послать к королеве-вдове, умоляя ее отдать нам сына.

— Не спорю, — возразил Долива, — особа королевича и самый звук его имени — много значат. Но что же дальше? Уж если Маславу удалось один раз выгнать его, то он будет стараться и вторично избавиться от него угрозами иди погубить его. А разве у нас хватит силы, чтобы вступить в борьбу с ним?

— Найдутся, — отвечал Дрыя, и глаза его блеснули надеждой. — Император немецкий поможет ему, а кто знает, может быть, и с другой стороны придет помощь...

Он усмехнулся.

— И что же, королевич согласен? — спросил Вшебор. — Вы откуда знаете об этом?

— Вот видишь, — сказал Дрыя, — нас здесь небольшая кучка, а все же кое-что мы делаем. Вчера вернулась часть послов, ездивших к королеве.

— Что же? С чем они вернулись?

— Пока ни с чем, — говорил Самко. — Королева, с позором изгнанная из страны, и слышать не хочет о королевстве, которое она называла языческим. Ее нашли в монастыре, потом у костела, который строят по ее приказанию... Сначала не хотела даже говорить с ними: «Я тружусь для иного королевства и для лучшего, — сказала она, — для того, которое обещал нам дать Иисус Христос. Не искушайте меня и не вводите в искушение мое дитя. Пусть лучше мирно прославляет Бога, чем будет обречен на несчастную жизнь вместе с вами».

— Но ведь из этого ясно, — сказал Вшебор, — что там нечего ждать!

— Неверно судишь, потому что не все знаешь, — сказал Дряя. — Наши послы — разумные люди: прежде чем идти к королевичу, они были у императора и получили обещание, что он им окажет милость и помощь, вернет корону, а с чехами вступит в борьбу.

— Если Бжестиславу дать свободу, то он скоро стал бы угрожать империи. Император и папа римский укротят его...

— И вы, и я, и те, что пошли к Казимиру, знаем его. Государь набожен, но он недолго выдержит в монашеской одежде, если только показать ему меч и пообещать царство. В нем потечет кровь Болеслава! Не удержит его ни привязанность к матери, ни страх, ни привычка к безделью. Это человек с великой душой, и если бы не мать, призвавшая его к себе, он ни за что не уступил бы Маславу власть.

— Все это, мой милый Самко, — со вздохом отозвался Вшебор, — далекие и сказочные надежды. Я еду от Маслава и видел сам, что там творится. Как возвеличился и усилился сын пастуха!

— Если бы и дал император немного войска, и все мы присоединились к нему, то все-таки всех нас будет слишком мало, чтобы начать борьбу против всей черни, которых целые тысячи.

— Но подожди же, это еще не все! — прервал его Самко. — На помощь нам придет Русь. Наши начальники все обдумали: были отправлены послы в Киев к Ярославу... к нам на помощь придут поляне из Киева и печенеги.

— Так же, как чехи, — хмуро улыбнулся Вшебор.

— Вовсе не так, — отвечал Дряя. — Твой глаз все видит в черном свете.

— А у вас — все светлое. Пропели первые петухи — тебе кажется, что день занимается, а это просто зарево пожара, — махнув рукой, сказал Долива.

Дряя чокнулся своим кубком с кубком Вшебора и промолвил:

— Выпей и будь повеселее.

— Если бы ты, как я, возвращался из Плоцка, — сказал Вшебор, — и если бы в ушах твоих стоял шум от криков этой своры, и видел бы ты весь этот муравейник, да послушал бы, как Маслав хвалится своей силой и своими союзниками, пруссаками и поморянами, пожалуй, и ты бы запечалился.

— Ну, пусть с ним будут пруссаки и поморяне, зато с нами — императорские и Ярославовы полки, — возразил Самко. — У него дерзость и высокомерие, а у нашего государя — корона, и будет он помазан на царство и благословлен, и Бог будет с ним!

Проговорив это, Дрыя встал и обнял печального Доливу.

— Брат мой, — сказал он, — если бы была у меня сила, чтобы удержать тебя с нами, я бы в ноги тебе поклонился... останься с нами...

— И не говори мне об этом, — с нетерпением отвечал Вшебор, — я там оставил брата, — меня отправили, заставив поклясться, что я вернусь, хотя бы с опасностью для жизни.

Самко пристально взглянул ему в глаза, и Вшебор невольно зарумянился под этим взглядом.

— Вшебор, брат мой, кого ты там оставил кроме брата?

Долива, слегка рассерженный и пристыженный в то же время, отвернулся.

— Клянусь жизнью, что ты там больше оставил, чем брата. И отгадаю, кого, — говорил Дрыя. — По дороге вы спасли Спыткову, она и сама недурная бабенка, а дочка у нее — красавица.

— Должно быть, покружили тебе голову либо черные, либо голубые глаза? Ну, говори же, да не лги...

Вшебор взглянул ему в лицо.

— С чего ты это выдумал?

— Я знаю обеих женщин или, вернее, видал их у отца, — сказал Дрыя. — Спыткова рада, — хотя бы ради забавы, — вскружить голову мужчине, а Кася, хотя бы и не хотели того, тянет к себе всякого, потому что она чертовски хороша собой.

— Ах, хороша! — невольно вырвалось у Доливы, но он тотчас же спохватился и умолк.

Дрыя, смеясь, снова принялся обнимать его.

— Я уж знал, что тебя туда тянет, — сказал он. — А так как я знаю обеих, то дам тебе совет. Марта Спыткова, хоть и любит позубоскалить, — толку из этого не выйдет никакого. Она, может быть, считала себя вдовой. Теперь узнает, что ее старик жив, а с ним шутки плохи. Это крепкий человек, он вылечится от всех своих ран, хоть другой на его месте уже четыре раза бы умер... А что касается

Каси, то хотя ваш род не хуже их рода, но до нее добраться нелегко. Надо знать старого Спытека!

— Да ведь это я же спас ему и жену, и дочь, — возразил Вшебор.

— Ну, он тебе скорее заплатит за это, когда будет чем, а дочери не даст.

Долива возмутился и оскорбился, уперев руку в бок, и сплюнул перед собою.

— Слушай, Дрыя, да чем же мы плохи? А они — чем лучше?

— Что Долива, что Тренява — все одинаковы, но у старого во лбу не ладно. Что ты тут поделаешь, — сказал Дрыя. — Он скорее засушит ее, держа взаперти дома, чем отдаст за кого-нибудь из нас. Для дочери он ищет князя, потому что они и себя причисляют к княжескому роду.

Вшебор пожал плечами.

— Далеко еще до этого, — сказал он, — дай нам Бог уйти оттуда целыми. А если Бог вызволит нас из беды, — ты ведь знаешь меня, Дрыя, — неужели я буду еще спрашивать старика да в ноги ему кланяться? Возьму девку, так он назад не отберет.

— Так она тебе пришлась по сердцу? — спросил Самко.

Вшебор засмотрелся на леса, которые были ему видны из открытой палатки, колебался в душе и не спешил с ответом, но после раздумья вместо ответа протянул руку Самко.

— Ну, делать мне у вас нечего! — сказал он. — И мне уж пора ехать в Ольшовское городище. Прощайте.

— Подите же сперва попрощаться со старшим. Таков обычай, и нельзя от него уклоняться, — сказал Самко, увлекая его за собой в другую палатку. — Но не упоминайте о том, что я говорил вам о Казимире.

Они пошли к той палатке, около которой сидел старый Трепка, окруженный знатнейшими рыцарями. Все молча расступились и пропустили их к вождю, дремавшему со склоненной головой подле Спытека, который устремил выжидательный взгляд на Вшебора.

Старик тотчас же проснулся и кивнул головой подошедшим.

Вшебор подошел к Спытеку.

— Я еду в Ольшовское городище, — сказал он, — где милостивая пани ваша и дочка нашли себе приют, потому что я отвез их туда, встретив в лесу... Что мне передать им от вас, милостивый пан?

Пока он говорил это, Спытек внимательно и недобро смотрел на него.

— Долива? — спросил он.

— Так точно.

— Ваш отец водил полки на Русь? — хриплым голосом произнес старик.

— Да, водил и возвращался с добычей, — прибавил Вшебор.

— Бог да наградит вас за услугу, — сказал лежавший. — Поклонитесь от меня матери и Каске моей.

И прибавил с хмурым видом:

— Да пусть там никто к моим не пристаёт. А то беда!

— Только бы нам оттуда живыми уйти. Не до приставаний теперь! — сказал Долива.

— На это и в другое время нет разрешения, — пробурчал старик. — Ну, поклонитесь им от меня, поклонитесь?..

Вшебор почувствовал, что этим напоминанием об ухаживании он мог быть обязан только Собеку. И в душе возмутился, но сдержался и ничего не сказал. Тут старый Трепка, потрясая посохом, подозвал его к себе.

— Скажите от меня Белине, чтобы он держался, сколько может, до последней крошки хлеба, до последнего бойца!

— Как только у нас прибудет силы, мы сейчас же двинемся ему на помощь. Пусть не беспокоятся и не сдаются. Держитесь крепко, Бог милосерд!

Эго были последние слова Трепки. Едва он договорил их, как опустил голову и снова задремал...

У входа в палатку стоял Дряя, за ним — знатнейшие рыцари, а в стороне Собек держал за узду коней.

Вшебору не терпелось скорее двинуться в путь, он быстро попрощался со всеми, сел на коня и, окруженный рыцарством, провожавшим его, поскакал вперед. Многие завидовали ему в том, что он не будет, как они, сидеть на месте и выжидать, — этих людей, привыкших к движению, томило бездействие.

Хотя Доливе объяснили, почему эта горсточка рыцарей посчитала возможным идти на выручку осажденным, и хотя он и сам понимал, что так и должно было случиться, однако сердце его было полно гнева,

боли и досады при мысли о том, как малоутешительны будут вести, которые он принесет ожидающим его.

Собек, и вообще не отличавшийся разговорчивостью, теперь молчал, как убитый, и даже головы не поворачивал к своему спутнику, только ехал впереди и указывал дорогу.

Вшебор, подозревавший его в выбалтывании его сердечных тайн, также не выражал желания вступать с ним в разговор. И только под вечер, когда они остановились, чтобы передохнуть немного самим и дать отдых коням, он спросил его, скоро ли они доберутся до Ольшовского городища и где он его покинет.

— Я не покину вас, милостивый пан, — отвечал старик.

— Что же, надумали?

— Нет, — получил приказание от владыки; он — мой пан, его и воля, а я должен повиноваться. Завтра под вечер доберемся, Бог даст, до городища, хорошо, если бы вовремя успели!

— Да ведь не выберется же Маслав так скоро? — сказал Вшебор.

— Он-то нет, но чернь предупредит его, они ведь решили обложить замок, чтобы оттуда не могли охотиться в лесу и запасаться пищей. Ну что, если между нами и замком стоит целое войско?

— Поедем на ночь и будем ехать до самого замка, даже если кони падут, только бы нам не опоздать!

Собек указал рукой вперед... И одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что ехать ночью не представлялось возможным.

В осеннем мраке хмурого неба даже на шаг перед собой не было ничего видно. На сером фоне выступали, странно переплетаясь между собой, откуда-то вдруг вырастая во мраке и снова в нем пропадая, засохшие ветви обнаженных деревьев. Кроме этой сетки над головами и кустарника, который надо было нащупывать руками, все тонуло в глубокой тьме. Самое мужественное сердце содрогнулось бы при этом виде, напомиравшем молчание агонии, когда глаза перестают видеть, а уши — слышать. Над этой пустыней распростерлась тишина смерти, родная сестрица страшной тьмы. Казалось иногда, что даже завывания дикого зверя были бы приятнее для слуха, чем эта могильная тишина, в них все же отражалась бы жизнь, опасность, борьба... В этом глухом мраке и безмолвии угасала надежда на грядущий свет, надежда на возвращение к жизни. Казалось, ничто уж не в силах было рассеять этого мрака навеки умерших, ничто не могло нарушить этой тишины.

Собек приложил ухо к влажной земле, чтобы увериться в безопасности и в возможности развести огонь. Все было тихо, не слышно было даже шелеста ветвей, колеблемых легким ветерком. Ночь сокрыла ветры в своих недрах и не позволяла им гоняться по свету. Старый слуга медленно достал два куска сухого дерева, которые он всегда носил с собой, и начал тереть их один о другой.

## VII

На Ольшовском городище жизнь текла под вечным страхом и вечной угрозой. Время шло черепашью шаг, бесконечные дни сменялись бессонными ночами. Иногда всем начинало казаться, что теперь земля вращалась как-то иначе, так что дни и ночи удвоились.

Леса вокруг замка однообразно шумели, нагоняя сон, свистели ветры, как бы стеная в неволе и смеясь над собственными стонами. Люди, лежа на земле, ворчали, проклинали судьбу, недовольные тем, кто давал им приют, жалуясь на голод и грозя кулаками. Из жалости старый Белина должен был быть строгим, из милосердия — жестоким.

Народ на первом дворе можно было сдерживать только угрозами. По ночам они сходились вместе и о чем-то сговаривались. Около амбаров и кладовых день и ночь стояла бдительная стража. Стоило только сторожам задремать, как пропадали овцы, исчезали кони, начинался падеж скота, и на другое утро от них не оставалось и следа, и только по испуганным взглядам можно было догадаться, кто были виновники.

Со дня отъезда Вшебора почти каждый день кто-нибудь взбирался на возвышение за рогатками и высматривал, не возвращается ли он. Но в долине была страшная пустота. Иногда из леса выходил волк и с воем уходил обратно, выбегала серна, оглядывалась вокруг, испуганная производимым ею же шумом, убегала что есть духу назад в чащу леса; иногда же из леса появлялась как будто тень человека, подходила к замку, окидывала его взглядом, словно угрожая запертым в нем людям, но когда на валах показывались люди, грозила кулаком и исчезала.

Один день мало чем отличался от другого, их считали по несчастьям и бедам и говорили так:

— Это было в тот день, когда умер ребенок или тогда, когда тот-то с горя повесился на перекладине.

И было о чем вспоминать, потому что почти каждый день, когда досмотрщики обходили оба двора, они натыкались на печальные сцены: то это была мать, оплакивавшая своего новорожденного, семья, окружавшая труп умершего ночью старика, или же они находили следы насилия, а то и убийства, неизвестно кем совершенного под покровом ночи. В этой толпе, объята отчаянием, рождались во тьме ночной самые дикие желания и безумства. Привыкнув к деятельной жизни, не умея найти выхода из этого вынужденного безделья, люди металась, как звери, повинувшись разнузданной фантазии. Только днем на этих бледных лицах можно было прочесть усталость и апатию, точно они становились полубезумными.

Иногда, пользуясь мраком, какой-нибудь несчастный, доведенный до отчаяния, срывался с места, бежал на вышку за рогатками и, обвязав себя веревкой, спускался с валов вниз, предпочитая там голодную смерть, чем это бездействие наверху.

Таким способом убежало уже несколько человек, это понудило Белину увеличить стражу и усилить бдительность: можно было опасаться, что беглецы проведут чернь и укажут ей наименее укрепленные места в замке, откуда легче всего было пробраться вовнутрь.

Он был опоясан с двух сторон рекой Ольшанкой и болотами, по которым она текла оттуда, пока река и болота не замерзли, доступ был затруднителен. С третьей и четвертой стороны городище было защищено только валами, на которые легко можно было взобраться. Народ, стоя на вышках над рогатками, бросал вниз бревна и камни или горящую смолу, но и эти материалы для обороны уменьшились в количестве.

Когда чернь отступила, часть этих предметов снова втащили в замок, но легко можно было предвидеть, что материала для защиты при следующем приступе не хватит и придется разобрать постройки. Ольшовское городище, окруженное валами, имело во внутреннем дворе обширные хозяйственные строения, амбары, сараи и конюшни, отделявшие первый двор от второго. На втором дворе находился замок владельца имения, амбары, кладовые и часть конюшен, в которых теперь жили вместе и люди, и звери. Большой дом, где спали вповалку прежние владыки, жупаны и шляхтичи, был окружен широкими

открытыми стенами под крышей, опиравшимися на деревянные столбы.

Около этого главного строения сосредоточилась теперь вся жизнь. Простой народ устраивался как мог, на первом дворе, под открытым небом или под навесами, а все более именитые собирались днем или в сенях, окружавших замок, или в большой зале у камина. Здесь всегда был шум и теснота; спорили о том, что произошло, и старались понять, возможно ли было предотвратить все обрушившиеся на них беды. А так как ни у кого не было никакого дела, то весь день проходил в этих разговорах и спорах, которые иногда едва не доходили до драки. Но как только спорщики, поссорившись, хватались за дубинки или подскакивали друг к другу с кулаками, тотчас же появлялись старшины и разводили их по сторонам, браня и призывая к порядку.

Жена Белины, по имени Ганна, и дочка ее Здана, играли главную роль в своей женской половине, которая занимала всю верхнюю часть замка, включая сюда и два темных чулана.

Но и здесь трудно было добиться порядка. Старшие из женщин спорили из-за веретена, из-за пряжи, а иной раз из-за какого-нибудь выражения в песне или просто из-за взгляда, младшие тоже ссорились потихоньку. Пани Ганне так же, как ее мужу на нижней половине, приходилось употреблять все свое влияние для водворения спокойствия, а если и оно оказывалось недостаточным, то на помощь вызывался старый Белина, и при одном его появлении все затихало.

Наибольшая ответственность за все лежала на самом хозяине, а как мы уже убедились из первого же его выступления, это был человек небыстрый на слова, умевший в случае необходимости быть суровым, но в душе — добрый. Однако эта доброта не переходила в мягкосердечие, потому что он знал, что если бы люди заметили это в нем, то тотчас же все пришло бы в беспорядок, а вместе с этим пришла бы и гибель для всех. Он был здесь хозяином над жизнью и смертью, и хотя охотно прислушивался к людским советам, но никому не позволял руководить собой.

Усердный и горячий христианин, помнивший лучшие времена, Белина был так угнетен несчастьями, выпавшими на долю родной страны, что если бы не вера в Провидение и не духовная поддержка отца Гедеона, то он, пожалуй, потерял бы надежду на спасение. Но все

же, теряя понемногу веру в возможность избавления, он исполнял свой долг, не досыпая ночей и наблюдая за всем лично. Ложился спать не раздеваясь, а вставал чуть свет и, если уж очень утомлялся, то засыпал сидя; днем он обходил весь замок, осматривал все углы, разбирая все дела, присутствовал при раздаче пищи и редко когда имел время, чтобы присесть днем и отдохнуть. А ночью просыпался от малейшего шороха, и если с первого двора до него долетал шум ссоры, тотчас же мальчик-слуга зажигал смоляной факел, и он шел смотреть, в чем дело. Почти всегда оказывалось необходимым наказать какого-нибудь зачинщика и посадить его в яму. Это создавало новых недовольных и опасных для него людей, но ведь без них нельзя было обойтись! Точно так же Белина требовал послушанья и от рыцарей и шляхтичей и никому не позволял противоречить себе. На то он был здесь хозяин, государь и вождь!

Как при Ганне правой ее рукой была дочка Здана, так отцу помогал во всем сын Томко. Его он посылал с приказаниями и ему же поручал водворять порядок. Юноше очень нравилась его служба, потому что благодаря ей он мог часто заглядывать на верхнюю женскую половину, где хозяйничала его мать.

Старая пани, в белой накидке на голове и в переднике, хлопотала весь день, наблюдая за слугами, приготовлявшими пищу, ухаживая за больными, за детьми и за домашними животными, которых уж немного осталось.

В большой горнице верхней половины так же, как внизу, в прежней столовой, собирались все обитательницы ее, чтобы взаимными беседами поддерживать в себе бодрость духа. Как только начинался день, служанки разводили огонь, варили пищу из оставшихся еще припасов, а затем расставляли на лавках веретена. Каждая старалась захватить себе веретено, чтобы было чем занять руки и мысли. По мере того как нить вытягивалась, закручивалась и навивалась, мысли приходили в порядок и на сердце становилось спокойнее. Припоминался домашний очаг в тишине собственной усадьбы, в так еще недавнее, невозвратно ушедшее время.

Ганна Беликова, бедняжка, особенно огорчалась тем, что ее постоянно отрывали от пряжи и не позволяли вдоволь насладиться веретеном.

Со страхом шли теперь женщины в чулан, где были сложены мотки золотого льна. Что будет, когда они все выйдут? За пряжей, после обмена новостями о том, кто умер в эту ночь, а кто подрался, кого посадили в наказание в яму, кто захворал и кто выздоровел, чаще всего кто-нибудь запевал старую, с незапамятных времен сохранившуюся тоскливую песенку, иногда еще полуязыческую, так что ее решались петь только в том случае, если не было поблизости отца Гедеона, потому что ксендз строго запрещал такие песни: он знал, что в них таилась старая вера, которая на невинных крыльях песни влетала обратно в сердца обращенных.

Ее напевали вполголоса, потихоньку, но ведь песня заразительна: затянуть одну, тотчас же присоединяются и другие, а и те, что молчали, невольно повторяют слова про себя — так овладевает она сердцами!

Все парни и мужчины, кто помоложе, рвались хоть в щелочку заглянуть, чтобы увидеть эту горницу с сидевшими в ней женщинами. Посредине ее был очаг, в котором всегда горел огонь и всегда что-нибудь варилось: либо еда, либо питье, либо какое-нибудь лекарство. На лавках и на земле, на разостланных кожухах сидели женщины. Сидевшие на лавках занимались пряжей, другие — шитьем, некоторые играли с детьми. Были тут молодые и красивые, были пожилые, были и совсем старые и сморщенные. Одни сидели с распущенными косами, у других головы были повязаны белыми накидками и платками, а еще у некоторых — полотенцами.

Младшие из них всему предпочитали песни — целый день пели бы, как птички, — потому что песни заменяли им речь. Старшие же любили поговорить о прошедших временах. А так как нельзя было не слушать, то только тогда, когда все, утомившись, начинали дремать, кто-нибудь, более смелый, вполголоса заводил песню. Поначалу слова вылетали почти как шепот, потом песня становилась все более громкой, смелой, живой и веселой, приставали и другие, и случалось, забывшись, начинали подпевать и старшие женщины. Кончалась одна песенка, сейчас же начиналась другая. Эти песни навевали только печаль, а болтовня баб часто доводила до того, что некоторые грозили друг другу веретенами. Но это делалось в отсутствие старой Ганны, которая умела поддерживать порядок, и часто, взяв за плечи спорщиц, насильно сажала их обратно на лавку. Всякое там случалось — не

было недостатка и в смехе, хотя события не располагали к веселью, но и невозможно же было жить в вечной тревоге.

Спытковой отвели здесь почетное место на лавке, а дочку она посадила рядом с собою. Русинка не особенно охотно занималась пряжей и уверяла, что смолоду вышивала шелком платки, а больше никаким рукоделиям не обучалась... Зато Кася прядла за двоих. Марта почти никогда не сидела молча, дочка ее рта не решалась открыть, но зато тем быстрее были взгляды голубых глаз, успевавших увидеть и то, о чем не догадывались другие.

Уж все приключения Спытковой были известны ее сотоваркам, она без конца повторяла рассказ. Болтливая женщина, не довольствуясь своими слушательницами, выходила иногда на верхний мост, который был открыт со стороны красного двора и вел на вышки, и здесь охотно заводила разговор с кем-нибудь, стоявшим внизу, если только он был не прочь посмеяться и поболтать, а так как черные глаза Марты еще блестели огнем, то недостатка в слушателях не было и здесь.

Зато Кася не смела никуда выйти без позволения, да она и не стремилась к этому. Особенно боялась она встреч с Мишцум Доливой, который, слоняясь по целым дням без дела и постоянно мечтая о девушке, подкарауливал ее повсюду. Если мать посылала ее куда-нибудь, она знала наверняка, что Мишцуй непременно пристанет к ней с поклоном и улыбкой. Девушка краснела, отворачивалась, не отвечала ни на поклон, ни на улыбку и спешила поскорее уйти.

Но если можно было уйти от Доливы, то от Томка некуда было спрятаться. А впрочем, кто же может поручиться, что Кася избегала его? На него она украдкой посматривала совсем другими глазами, а один раз или даже два, когда он взглянул ей в глаза, она не сразу опустила ресницы.

Сын хозяина то и дело прибегал с поручением от отца к матери или от себя к сестре. Он — единственный из мужчин — имел доступ на этот заколдованный верх, куда не допускались другие. И теперь он чаще, чем раньше, пользовался своим правом.

Здана, — потому ли что отгадала сама тайну брата или была его поверенной, — от всего сердца помогала ему. Как только Томко показывался на пороге, тотчас же Здана, к которой у него было дело, подходила к Касе так, чтобы, идя к ней, они должны были подойти и к

Спытковой. Так они болтали с братом, а Кася инстинктом угадывала, что относится к ней самой в этом разговоре брата с сестрой, и как она может принять в нем участие.

В первые дни, когда это только что начиналось, Кася только вспыхнула, опустила глаза на пряжу и стала прясть еще усерднее, только руки у нее дрожали. Потом, когда прошел первый страх, глаза осмелились взглянуть, а уста — улыбнуться. Сначала она украдкой посматривала на мать, не замечает ли та, а потом кинула взгляд и на Томка. Тот сразу даже и говорить перестал, так как его ослепило.

Здана, хотя и была всего немногим старше Каси, отличалась недевическим умом, при этом была очень красива и под крылышком матери выросла на диво свежим и веселым созданием...

Опа была ростом выше Каси, стройна, как березка, грациозна, как молодая серна, смех ее напоминал кукушку весною, а речь — веселого воробышка. Плутовская улыбка неизменно светилась в ее темных глазах и не исчезала даже тогда, когда розовые уста складывались в сердитую гримасу. Она была любимицей матери, баловницей отца, забавой всех домашних, а теперь — утешением и радостью всех гостей...

Старая Белинова хлопотала целый день, но быстро ходить не могла, зато Здану не утомляла никакая беготня и суетня, а когда она смиренно сидела за пряжей, кудель скакала вместе с нею, веретено ворчало, а лен смеялся и тряс бородою.

Была она еще совсем юная и ничего в жизни не испытывавшая, но на то и песенка, чтобы разбудить печаль, разволновать сердце и унести мысль далеко-далеко в широкий свет! У Зданы радостно билось сердце от одной мысли, что она помогает брату в его тайной любви, да и сама своими глазами посмотрит, как это люди любят. И помогала от всего сердца.

Вскоре они были с Касей, как сестры, а если шли вместе, то непременно обнявшись и прижавшись головой к голове. Часто, боясь говорить при посторонних в большой горнице, где их могли подслушать, они выбегали вместе в темный чулан и, забившись в уголок, обнимались, болтали и смеялись без конца.

Но вдруг Спыткова замечала отсутствие дочки, а она вечно беспокоилась за нее и принималась звать ее и искать повсюду... Кася, вся разгоревшаяся, выбегала из чулана, а с ней и Здана, чтобы не

позволить матери бранить ее. И вот обе снова на месте, скромно сидят за пряжей, опустив глаза, но как только взглянут друг на друга, так губы их невольно складываются в улыбку, и Здана зажимает рот рукой, а Кася — концом передника.

И здесь дни казались слишком длинными, старшие успевали выспаться до ночи, младшие — наплакаться от скуки, но, в общем, все же жизнь текла сносно. Многим, жившим внизу, верхняя половина замка казалась райской обителью, каждый не прочь был бы пробраться туда, но мужчинам было строго запрещено ходить наверх.

Старого Белину никто не смел ослушаться, с ним шутки были плохи, он не стал бы церемониться и с сыном владыки. И только издали, расхаживая на красном дворе, молодежь зорко следила, не выйдет ли какая-нибудь из женщин за водой или не пробежит ли по мосту, чтобы хоть взглянуть на них и поймать их взгляд.

Мшщую совсем не везло с Касей. Спыткова от времени до времени входила к нему, потому что ей нужны были все новые слушатели. Но Каси он так и не мог дождаться. Он только иногда видел ее во время богослужения, но голова ее была так закутана белым полотенцем, что ее даже трудно было узнать. А на него она даже ни разу не взглянула. Долива терзался в душе, а так как по натуре он имел много общего с братом, то и он говорил себе, как говорили все в то время:

— Возьму девушку хоть силою, должна быть моей во что бы то ни стало!

Но где и как он возьмет ее и похитит отсюда, когда и над собственной его головой и над головами всех остальных висела опасность, грозившая жизни, об этом молодежь никогда не задумывается!

Скоро, к великой своей досаде, Мшщуй заметил, что Томко часто ходил наверх и подолгу оставался там, и в сердце его вспыхнула ненависть к юноше, происходившая от ревности. Однажды он даже не удержался и, когда Спыткова, спустившаяся вниз, вступила с ним в беседу, он шепнул ей:

— Пусть ваша милость хорошенько бережет дочку. Для нас верх заперт, но для Томка — дверь туда открыта с утра до вечера. А как он уж попадет туда, так там и сидит.

Пани Марта рассмеялась.

— Не может этого быть, — сказала она. — Томко приходит к матери и к сестре, а к Касе он не смеет подойти, потому что, хоть он и хозяйский сын, я бы ему показала, как ухаживать! Ведь она ребенок, она еще об этом и не думает...

И так уверена была Спыткова в правоте своих слов, что, когда в тот же вечер Томко пришел к Здане, а Здана подошла к Касе и между ними завязался разговор, мать даже не взглянула в ту сторону. А Томко, разговаривая с сестрой, умел дать понять той, которая как будто и не слушала его, что он любит ее больше всего на свете и охотно отдал бы за нее жизнь. Кася, по-видимому, не относила этих слов к себе, она долго смотрела на него ясными глазами, потом — вдруг заворчал веретено, нить закружилась и веретено упало на землю. Томко нагнулся за ним, и когда подавал ей, руки их, может быть, и встретились, а мать ничего не видала...

Иногда, просидев в напрасном ожидании целый день на красном дворе, Мшщуй шел в главную горницу, где собирались все старшие, и, усевшись в углу, закрыв лицо руками, думал только о своем несчастье.

В эту горницу входил тогда и старый Белина, садился на лавку и вмешивался в разговор, вставляя короткие фразы.

Тут же проводил целые дни, почти никуда не выходя, старый Лясота, раны которого понемногу подживали, и лежал неподвижно молодой Топорчик, но кроме них были здесь еще многие другие.

Все они тосковали по охоте, по своим усадьбам, по свободе и даже по войне, она по крайней мере вырвала бы их из этих оков и цепей, потому что здесь они все чувствовали себя рабами. Никто не знал, долго ли протянется эта затворническая жизнь и чем все это кончится, но все чувствовали, что, когда придет для них последний решительный час, они скорее позволят изрубить себя и погибнуть, чем перейдут на сторону черни или Маслава.

Маслав был главной темой их разговоров. Мало кто из них не знал его и не видел, старшие помнили, как драли его за уши, младшие — как выгоняли его из сеней и даже били... Никто в то время не предполагал, что из мальчишки, который умел к каждому подлизаться и на другое утро после побоев целовал руку обидчика, выйдет заносчивый наглец, который возмутит весь край и выгонит государя! Выросло это зелье, как крапива, под забором, никто и не заметил, когда

это она успела подняться от земли, а она лезет все выше, выше, так что и забора уж не видно.

Старики со вздохом говорили, что, если бы можно было предвидеть это заранее, кто-нибудь, наверное, придушил бы его в уголке и выбросил вон. Тогда из-за него никто бы и не возмутился, потому что в то время у Маслава не было сторонников. И только потом уж, когда Мешко ослабел и рассудок у него помутился, ловкий придворный забрал верх над своим господином... И случилось то, что должно было случиться, сын пастуха погубил все то, что было до него сделано для блага страны двумя великими королями, и чернь растоптала ногами плоды их трудов!

В свободное время и отец Гедеон приходил в главную горницу — побеседовать. И тогда все окружали благочестивого старца, который приносил слова утешения, согревавшие охладевшие сердца. Старец рассказывал им, что уж не один раз и не одно царство претерпевало внутренние неурядицы и казалось всем разоренным и погибшим, но, по повелению Божьему, зрелый муж или слабый отрок, получив от Бога откровение и помощь, чудом спасали страну.

От этих слов лица прояснялись и надежда осеняла сердца; люди говорили друг другу: «Не может быть, чтобы Бог оставил нас. Он накажет тех, кто разрушил костелы и вырвал кресты из земли, Он утешит невинных».

Отец Гедеон приносил с собою надежду даже тогда, когда людьми овладевали самые печальные предчувствия, вызванные зловещими снами и слухами.

После отъезда Вшебора городище было совершенно отрезано от света. Никакие вести извне в него не доходили. И только, стоя на возвышении, можно было разглядеть иногда каких-то людей, выходивших из леса и присматривавшихся к замку.

Они появлялись с разных сторон и в разное время дня, а один раз несколько всадников подъехали так близко к замку, что в них можно было пустить стрелы, так что одна из стрел вонзилась в шапку стоявшему поблизости. Он поскакал прочь с криком и проклятиями, и все исчезли в лесу.

По всей вероятности, это были посланные на разведку от черни, желавшие убедиться, не ушли ли из замка все те, что заперлись в нем. Очевидно, над ними был бдительный надзор со всех сторон, враги

поджидали, когда они ослабеют от голода, утомятся долгим сиденьем в замке и съедят все запасы пищи, чтобы потом легче было сломить их упорство.

Но, несмотря на осаду, трудно было удержать молодежь от вылазок в лес. Белина сначала противился этому, но потом, сообразив, что мясо необходимо для питания, а в лесу его легко достать, и особенно после того, как с охоты принесли двух лосей и нескольких серн, согласился отпускать охотников на опасное предприятие. Каждый раз, когда собирались ехать на охоту, все, кроме стариков и детей, просились принять в ней участие, но Белина отпускал только самых сильных и тех, у кого были хорошие кони. А тех, кто не мог идти сам (Белина всегда ограничивал число охотников, жалея людей), Белина расставлял на сторожевых постах, чтобы они могли хоть издали следить за счастливыми. В эти дни было много тем для разговора и были причины для двойного беспокойства. Вернутся или не вернутся? Что их там ожидает? А что, как на них набросится чернь?

До позднего вечера высматривали охотников, а когда из леса показывался конный отряд, тут-то поднимались крики:

— Едут! Зверя тащат! Едут!

Ворота раскрылись широко, словно для приема победителей, и на мгновение радость и любопытство овладевали всеми, все спешили к воротам, приветствуя возвратившихся.

А потом было о чем порассказать ночью у очага в большой горнице, кто удачнее всех попал копьем, кто раньше забежал вперед, кто добил упавшего зверя и кто догнал раненое животное. Когда несколько таких вылазок прошли удачно, без всяких встреч, Белина перестал противиться такому способу добывания пищи для осажденных. Лосиное мясо солили и складывали в бочки, чтобы приберечь на будущее время. Потом уж вошло в обычай почти каждый день выпускать молодежь со сворой собак пробовать счастья на охоте. И редко случалось, что охотники возвращались с небольшой добычей. Леса вокруг были полны дичи, которая, убегая в более отдаленные участки от вооруженных отрядов, искала убежища в ближних к городищу лесах, где было тише и спокойнее.

Однажды Мшщуй, измученный напрасным ожиданием появления прекрасной Каси, не выходявшей из верхних горниц, пожелал присоединиться к другим охотникам. Надоело ему ждать возвращения

брата, который был ему нужен, чтобы вместе с ним как-нибудь отвадить молодого Белину от дочери Спытека.

Вшебор давно должен бы был вернуться обратно, если не погиб. Об этом говорили каждый день, и Спыткова ручалась только за одно, что ее верный слуга Собек не пропадет сам и его вызволит из всякой беды.

В тот день, когда Мшщуй собирался на охоту, утро выдалось пасмурное и холодное: это было хорошо для собак, которым легче было выследить зверя на влажной земле, но неприятно для охотников. Но все же это никого не остановило, и десяток хорошо вооруженных воинов, которые не побоялись бы вступить в борьбу не только со зверями, но и с людьми, выехали за ворота. Мшщуй, вырвавшись на волю в первый раз после сидения в городище, сразу повеселел, увидев широкие поля и леса. Встрепенулась в нем душа, и бодро поскакал он среди других за проводником из лесных крестьян, обещавшим указать им логовища зверей.

Только тот, кто никогда не сидел взаперти, не знает, с каким чувством возвращается человек к этой свободе движения, так необходимой ему для жизни. В первую минуту стирается всякая мысль о том, что может случиться, пусть завтра снова ждет тюрьма, но хоть сегодня человеку есть чем дышать и не надо биться головой о стену! Мшщуй совершенно бессознательно для себя затянул песню, но, услышав свой голос, испугался и умолк.

Едва только охотник въехал в лесную чащу, как повстречал стадо серн — из них двух подстрелил, к общей радости. Полные надежд отправились дальше, к тому месту, где, как их уверяли, были лоси. И действительно, удалось окружить его на лужайке, но чуткое стадо тотчас же обратилось в бегство: Янек Канева, который хотел пересечь им дорогу, был сбит с коня и помят ими. Однако удалось ранить двух лосей, и охотники пустились догонять их, так как они, видимо, ослабевали и истекали кровью. Бросали копья и стрелы, стараясь добить их, но сильные животные убегали, несмотря на страшные раны, и, догоняя их, охотники забрались в самую глубину леса. Только около полудня удалось добить одного из лосей, и решено было возвратиться с добычей. Пока привязали его к коням, которые должны были тащить его за собой, пока собрали всех охотников, а пострадавшего Каневу положили на носилки между двух коней,

начало уже понемногу смеркаться. Ехать быстро было невозможно, и проводник обещал только к ночи вернуться в городище. Проехали уж с половины дороги, когда Мшщуй увидел в нескольких саженьях впереди себя двух всадников и по одному из коней он узнал брата. При пылком темпераменте Мшщуй обладал горячим сердцем; досада на брата уступила место радости, и, припустив коня, он стал звать Вшебора.

Это действительно был он на обратном пути из поездки к Маславу. С одинаковой радостью оба бросились друг другу на шею и принялись обниматься и целоваться; тут подоспели и другие охотники, осыпая возвращавшихся вопросами. Вшебор допытывался у брата, что делается в городище, и радовался, что встретил его на охоте, потому что это было доказательством, что замок не был осажден. На радостях все забыли о соблюдении осторожности. Когда они очутились у опушки леса, стояла уже темная ночь.

Собек, ехавший впереди всех, вдруг издал короткий свист и сделал знак остановиться на месте.

Только теперь все опомнились и взглянули на долину...

Утром, когда они проезжали по ней, она была совершенно пуста, но теперь во мраке ночи они заметили пламя костров, разложенных по берегу реки... Их было немного, но около них видны были движущиеся массы людей. Это не мог быть отряд, выпущенный из замка, потому что Белина не позволял ему выходить из ворот, особенно к ночи; даже когда приходилось хоронить умерших, церемонию эту откладывали до утра.

Не оставалось сомнения, что чернь, давно точившая зубы на городище, решила начать осаду.

Воины, еще за минуту перед тем ехавшие в веселом настроении, окаменели при этом зрелище, которое грозило им гибелью.

Никто не мог произнести слова. Поглядывали друг на друга, совещались взглядами, что делать дальше.

Более нетерпеливые хотели, бросив добычу, сейчас же уходить в лес. Но старый Собек не потерял головы. Он подошел к Мшщую и Вшебору и велел им тихо ждать около деревьев, пока он вернется.

По его мнению, пока не стоило отчаиваться: отряд был, по видимому, невелик, а небольшое количество костров показывало, что это был сторожевой отряд, высланный на разведку. Сойдя с коня, Собек пропал во мраке. Все замерли в ожидании, не сводя взглядов с

этих зловещих костров. Около них двигались люди, фигуры которых выступали на светлом фоне пламени и дыма. Иногда порыв ветра доносил смутный шум разговора. На городище тоже что-то шевелилось на валах, за рогатками несколько раз мелькнули смоляные факелы, видно, и там уже принимали свои меры.

— Если десяток хорошо вооруженных и смелых людей неожиданно нападет ночью хотя бы на сотню таких, у которых только палки, то непременно разобьет их! — тихо сказал Вшебор.

Мшщуй поддакнул ему, другие же только покачали головами — толпа могла состоять не из сотни, а из нескольких сотен человек. Помятый лосем Канева со стоном приподнимал голову с носилок, стараясь разглядеть, что делается вдали.

Собек долго не возвращался. Наконец он появился, усталый, запыхавшийся, и объявил, что там было несколько сотен людей и среди них — начальники — хорошо вооруженные. Все они расположились около речки, так что, обойдя кругом по лесу, можно было осторожно пробираться с противоположной стороны к замку. Надо было только ехать в полном молчании, обвязав ноги коням, чтобы не слышно было топота копыт.

Совет Собека был единодушно одобрен... Но не легко было пробраться в городище этой дорогой; два раза приходилось переходить в брод извилистую Ольшанку, а топкое болото по кочкам.

В полном молчании маленький отряд двинулся в путь, не спуская глаз с костров, которые были видны им с разных сторон, так что они могли составить суждение о количестве войск.

С опушки леса видны были люди, жарившие мясо на костре, другие варили что-то, подбрасывая сучья в огонь. Никто не спал, очевидно, опасаясь ночной вылазки из замка. В городище в третий уж раз пели петухи, когда маленький отряд добрался до такого места, откуда он должен был уже без всякого прикрытия проскакать часть долины, отделявшей его от замка.

В середине поместили раненого Каневу, который, завернувшись в плащ, молча готовился к смерти; его окружили тесным кольцом остальные всадники, держа наготове топоры и дротики, и весь отряд выступил из леса.

Собек и здесь шел впереди всех, ведя за узду коня, чтобы в случае опасности — вскочить на него... Толпа черни, занятая своим делом, не

обращала внимания на то, что делается в пустой долине...

Опасность ждала их вблизи окопов, около ворот замка, которые были освещены пламенем от костров. Выйдя из тени в освещенную часть долины, они должны были скакать что есть духу к воротам, чтобы их успели отворить, пока толпа опомнится и бросится на них. Сначала все шло благополучно. Доливы, присматривавшиеся к людям у костров, страшно жалели, что с ними был раненый Канева, и невозможно было, не рискуя его жизнью, неожиданно наброситься на эту чернь, им казалось, что они легко справились бы с нею.

Собек тоже не советовал этого делать.

Ехали молча, тесной толпой, поглядывая на валы, — не заметят ли их там и не откроют ли вовремя ворота. Выехав в полосу света, пустили коней рысью.

В эту минуту наблюдательный Собек заметил, как люди около костров задвигались, поднялись с земли и весь табор зашумел и заволновался. Охотники уже приближались к рогатке, и Собек, размахивая платком, давал знать о своем прибытии. Но уже из толпы бежали к ним, размахивая палками, со страшными криками гнались за ними вслед.

Доливы, ехавшие позади всех, взялись за топоры — погоня была уже совсем близко. В воздухе свистнуло несколько стрел. Первые кони подскакали к воротам, но они еще не были открыты. Мшщуй и Вшебор, повернувшись лицом к нападавшим, приготовились защищаться, и едва только успели это сделать, как уже надо было сечь и рубить, потому что вражеские руки стаскивали их с седел.

Это была страшная минута, но наконец железные засовы с шумом сдвинулись и упали, и ворота открылись настолько, чтобы первые въехавшие могли укрыться за ними. Доливы, не помня себя, рубили топорами и пятились к воротам, Мшщую ранили копьем руку, Вшебору попала в лицо стрела, но наконец, отбиваясь от нападавших, они успели войти в ворота, и оба упали с коней.

Ворота тотчас же закрылись за ними, и на осаждавших посыпались сверху камни и стрелы, а потом сбросили огромное бревно, которое повалило и придавило некоторых, а остальных вынудило отступить.

Когда оба раненых поднялись, все в крови, с земли, они увидели над собой старого Белину, бледного и молчаливого. За ним теснились

толпами почти все обитатели городища, приветствуя чудом спасшихся охотников.

Всех поразило неожиданное появление Вшебора, который одною рукою вынимал стрелу из щеки, а другую подавал для пожатия.

Между тем на валах, где командовал молодой Белина, продолжалась горячая битва: оттуда все время бросали камнями, и толпа осаждавших понемногу начала отступать.

Охотники прошли в главную горницу внизу — обмыть и перевязать свои раны.

Перепуганные женщины сбежались, хоть издали, из другого двора, поглядеть на то, что делалось; вышла и Спыткова, которая здоровалась со Вшебором, когда неожиданно появился Собек и, упав ей в ноги, закричал, сложив руки вместе:

— Милостивая пани, радуйтесь, я приношу вам добрую весть и поклон. Наш милостивый пан жив.

Услышав это, Марта вскрикнула и упала без сознания, но женщины сейчас же привели ее в чувство. Было ли это выражением великой радости или какого-нибудь другого чувства, отгадать трудно; но верно то, что из глаз ее полились обильные слезы и что всю ночь, после того как она подробно расспросила обо всем Собека, она стонала и плакала.

Да и никто, кроме детей, не спал в эту ночь в городище; стража бодрствовала на валах; в горнице и на обоих дворах горели костры, и все с нетерпением ожидали дня, чтобы хорошенько присмотреться к толпе осаждавших и определить их число.

Вшебор, хотя и был ранен и перевязан, держался того мнения, что если число осаждающих невелико, то надо неожиданно напасть на них из замка и попытать счастья в открытом поле. На это Белина не сказал ничего, только нахмурился и покачал головою.

Прежде всего Долива должен был рассказать о своей поездке: что он видел, чего добился и с чем приехал.

Тут были новости для всех, на всякий вкус. Для одних — могущество Маслава, для других — надежды старого Трепки. Все подбодрились и повеселели. Маслав, несмотря на рассказ Вшебора о его грозной силе, никому не казался страшным.

Всем приятнее было верить в возвращение Казимира и помощь немцев, чем в превосходные силы язычников.

По выражению лица Белины трудно было догадаться, что он сам обо всем этом думал, лицо его не отражало ни радости, ни тревоги. Он внимательно слушал, взвешивал что-то про себя, но... молчал.

Что касается Вшебора, то он не особенно верил в обещанную Казимиру помощь и гораздо больше боялся собранного Маславом войска, это ясно было видно из его речей. Одних они напугали, других — возмутили. Но все же надежда на возвращение Казимира и, следовательно, на лучшее будущее — восторжествовала над страхом перед Маславом; осажденные решили держаться до последней крайности, даже если бы пришлось питаться одной водой и похлебкой и во всем себе отказывать, чтобы только подольше выдержать осаду. Среди шума противоречивых разговоров все взоры обращались к молчаливому старцу, словно прося его высказать свое мнение.

Когда все умолкло, Белина поднял голову.

— Осмотреть ворота, стража по местам, внимание на валах!

И, не прибавив больше ни слова, медленно удалился.

## VIII

На другое утро, от самого рассвета, началось усиленное движение в замке — все, кто только мог, побежали к рогаткам: присмотреться поближе к толпе нападавших. Даже пугливые женщины выглядывали из слуховых окон и отдушин.

Когда совершенно уже рассвело, все убедились, что вчерашнее войско рассеялось в беспорядке и, по-видимому, не собиралось нападать. Одни варили пищу, другие ухаживали за конями, еще некоторые лежали, как будто отдыхая, а несколько всадников объезжали городище вокруг, приглядываясь к нему со всех сторон, пробовали перейти речку вброд и трясину по кочкам.

С той стороны, где городище было окружено водой и болотами, окопы были ниже и не так тщательно укреплены, рогатки хуже, и в тех местах, где они поломались, дыры были заткнуты старыми досками и дерном.

Белина, который постоянно осматривал валы сам, увидел, что неприятель непременно выберет для нападения эту сторону, особенно если бы настали морозы, которых можно было ожидать на днях.

Он понимал, что к замку легче всего было подойти со стороны речки, а потому, не теряя времени, приказал согнать людей по укреплению рогаток и валов. Но так как дерева, необходимого для этих работ, не было, то пришлось разобрать деревянные постройки, где люди укрывались в ненастное время. Тут уж нельзя было рассуждать: надо было пожертвовать этим кровом для спасения жизни и тотчас же приняться за дело.

Волнение, вызванное в обитателях городища появлением неприятельских орд, отразилось и во внутреннем распорядке их жизни. На богослужение, отправляемое отцом Гедеоном, сошлись все: и мужчины, и женщины; женщины плакали и громко причитали во время службы. Раненые и слабые, оставшиеся дома, вели между собою нескончаемые разговоры. Тем, у кого не было никакого дела, все то, что делали другие, казалось недостаточным и бесцельным. Вшебор, не веривший в лучшее будущее, стоял за необходимость вылазки из замка.

— Нам все равно нечего терять, — говорил он, — так или иначе придется погибать; но по крайней мере человек хоть упьется поганой кровью и выместит свой гнев на этих дикарях...

Эти слова услышал старый Белина, который всюду заглядывал и за всем присматривал; он решил, что ему следует вмешаться и, закрутив усы, промолвил:

— И думать об этом не смейте! Здесь никто шагу не смеет сделать без моего разрешения, а я вам говорю — не позволю!

— А почему? — спросил Вшебор.

Белина поднял голову.

— Почему? — повторил он. — Об этом никто не имеет права спрашивать. Я здесь владыка и хозяин. Но я все же скажу вам, почему. Потому что я верю в избавление, буду держаться до последней крайности и не позволю пролить без надобности ни одной капли крови.

Сказав это, Белина окинул взглядом всех остальных и медленно пошел прочь, не ожидая ответа.

Вшебор нахмурился, но должен был повиноваться.

Со вчерашнего дня и он, и брат его были злы на всех Белинов.

А причиной было то, что Томко отбивал у них понравившуюся им девушку. Им грозила смерть, голод и нужда, а они только и думали о

любви. Хуже того, эта несвоевременная любовь отнимала у них охоту к тому делу, которое в это время требовало их усилий.

Будущая судьба городища меньше их беспокоила, чем равнодушие к ним девушки.

Они было поссорились из-за нее между собой, но теперь, видя, что она ускользает от них, примирились на том, что не отдадут ее никому третьему.

Все это увлечение было чисто юношеское, но именно в этом возрасте, если уж что взбредет в голову, так уж все другое отходит на задний план.

Ни один из них не хотел даже говорить с Томко, а при встрече отворачивались от него, хоть к стене, только бы не видеть его и не глядеть ему в глаза.

Особенно Вшебор, заметив, что и Спыткова приняла его не по-прежнему, ходил злой и угрюмый, и все в городище казалось ему плохо устроенным, ненужным и беспорядочным. По натуре своей он не терпел подчинения кому бы то ни было, а, напротив, любил командовать.

Но со стороны Белины и то, и другое было немислимо. Всякую попытку к возражениям он обрывал коротким замечанием и никому не позволял руководить собой. Мшщуй, очень похожий по характеру на брата, уже испробовал это на себе.

Теперь оба они, недовольные положением вещей, сошлись вместе, чтобы бранить все порядки. Когда старик Белина вышел из горницы, в ней остались: около камина — Лясота, в углу — Топорчик, а на земле — Канева и еще несколько калек...

Некоторое время все молчали. Только Вшебор расхаживал взад и вперед и что-то бормотал сам про себя. Другие следили за ним взглядом.

Наконец, не в силах сдерживать накопившиеся в нем досады и горечи, он начал говорить сначала тихо и ни к кому не обращаясь, а потом все громче и раздраженнее.

— Все это ни к чему! — сказал он. — Ждать Маслава — все равно что ждать смерти! Он придет с такими полчищами, что наши валы покроются ими, как муравьями, и нечем нам будет обороняться. Есть нам дают с каждым днем все меньше, так что в конце концов мы

должны будем умереть с голоду. От одной похлебки человек не будет силен...

Услышав это, некоторые повернули к нему головы.

— Ну, а что же надо делать? Говори, коли ты так уж умен! — сказал Лясота. — Дай совет.

— Собрать в середину женщин и больных, а кругом поставить вооруженных людей и уходить в лес, — сказал Вшебор. — Соединимся с Трепкой или еще с кем-нибудь, а если и погибнем, то все вместе!

— А те люди, что тут у нас схоронились, — у них ведь нет оружия, — как же с ними быть? — спросил Топорчик.

— Их не тронет чернь, их можно оставить в городище, да и есть там кого жалеть, — проворчал Вшебор. — Что, мы погибать будем из-за них, что ли? Им и так нечего опасаться.

На это никто не ответил Вшебору.

— Кто знает, что лучше? — проговорил Канева.

— Старый Белина упрям, об этом с ним нельзя и говорить, — заметил Лясота.

— Он верит в милость Божию, — сказал Топорчик. — Вы ведь слышите, что нам ежедневно говорит отец Гедеон.

— Милость Божия — сама собою, но человек должен и сам заботиться о своем спасении, — возразил Вшебор. — Белине жаль своего добра и отцовского наследия, поэтому он готов уморить всех нас, лишь бы не расставаться со своею требухой.

Старый Лясота сердито оборвал его:

— Не смей так говорить.

— Почему же не говорить, если я так думаю? — сказал Вшебор.

Все на время умолкли, но вдруг из угла раздался голос, принадлежавший бледному, худому шляхтичу в плаще.

— Гм! — сказал он. — Да разве мы его рабы, что непременно должны исполнять его волю? У нас свой ум и своя воля, соединимся вместе и уйдем в лес — кто нам запретит?

— Пусть гниют здесь те, кто этого хочет.

Вшебор, пойманный на слове, в первую минуту смутился.

Он ясно видел по лицам других своих товарищей, что они не одобряли его намерения, и потому он сделал знак своему неожиданному союзнику, чтобы тот пока помолчал.

Старый шляхтич, закутанный в плащ, накинутый на голое тело, проворчал что-то, но удалился на прежнее место в угол. Мшщуй потянул брата за руку.

— Пойдем отсюда.

И они отправились на валы совещаться друг с другом.

Оставшиеся, неодобрительно отнесшись к предложению Вшебора, долго молчали. Лясота хмурился и вздыхал.

— Если только пойдут нелады и споры, как поступить, — пробурчал он наконец, — и если мы разделимся на два лагеря, добра не будет, и все мы погибнем.

— Э! Что там! — отозвался Топорчик из своего угла. — Я знаю обоих Долив — из упрямства они на все готовы, но только на словах: наболтают, наспорят, а когда дойдет до дела, то и они от других не отстанут.

— Дай боже! — закончил Лясота. — Я тоже знаю их с детства: беспокойное племя, но сердца — добрые...

Доливы, выйдя вдвоем, снова начали роптать и возмущаться, причем то тот, то другой подливали масла в огонь, Вшебор все приписывал старости и неумелости Белины, Мшщуй охотно поддакивал ему.

— Они всех нас здесь погубят! — воскликнул он.

— Если дождемся прихода Маслава в городище, то останется только готовиться к смерти, — говорил Вшебор. — Нам их не одолеть. У нас во всем недостаток.

— А если так, — прибавил Мшщуй, — соберем всех, кто с нами заодно и уйдем отсюда, хотя бы пришлось ломать ворота.

— Да разве многие к нам пристанут? — спросил Вшебор.

Мшщуй не сомневался в этом. Они начали потихоньку сговариваться, склонившись головами друг к другу. Вшебор жалел только о том, что он неосторожно проболтался перед всеми, и боялся, как бы Лясота не предупредил Белину и как бы за ними не учредили надзора. Но Мшщуй, который был еще более горячего нрава, чем брат, не придавал этому значения.

— Надо только потихоньку добиваться своего, и тогда, наверное, удастся!

— Но, — прибавил он, понизив голос, — неужели мы оставим здесь Спыткову с дочкой? Как ты думаешь?

— Ну, этого уж они не дождутся! — воскликнул Вшебор.

— А если они не захотят бежать с нами?

Взглянули друг на друга и что-то прошептали.

— Почему нельзя? — громче выговорил Мшщуй. — Придется завязать рот и вынести их на руках, если сами не захотят. Ведь это их же спасение.

— Ну хорошо, мы похитим их, если только сможем, — возразил Вшебор, — а дальше что?

И только что налаженный мир едва не нарушился: огонь блеснул во взглядах обоих братьев. Ни тот, ни другой не решались обнаружить свои мысли, никто не желал уступить другому. И, поняв это, потому что братья хорошо знали друг друга, оба умолкли. Так стояли они, смотря в разные стороны и уже не разговаривая друг с другом. Вся их горячность охладела. И только после долгого молчания Вшебор сказал:

— Надо делать свое дело, а что дальше... это уж мы рассудим между собой... потом.

Мшщуй только молча пожал плечами.

— Пойдем каждый в свою сторону, — закончил Вшебор, — надо потолковать с людьми и вразумить их.

И они пошли в разные стороны позади рогаток, где на время томилось множество шляхты, присматривавшейся к расположенному в долине лагерю. Вшебор присоединился к одной группе, Мшщуй к другой.

Между тем Белины, отец и сын, подобрав себе верных помощников, следили за тем, как укрепляли валы со стороны речки.

Тут носили землю, вбивали колья, а неподалеку разрушали постройки, чтобы воспользоваться деревом для кольев.

Работа подвигалась медленно, люди сильно ослабели и разленились от долгого лежания, от плохой пищи и от безделья.

В этот день им дали по куску мяса и по кубку кислого пива, но и это не помогло.

В долине вчерашние враги по-прежнему стояли лагерем и не двигались с места. За ними все время наблюдали из замка.

Но вот, подкрепившись пищей и напившись, некоторые из них стали приближаться к воротам замка. Доложили Белине, и он, выбрав лучших стрелков, расставил их у ворот, приказав подпустить врагов на расстояние выстрела и осыпать их стрелами. Но те, очевидно,

предвидели это и остановились так далеко, что стрелы не могли их достигнуть. Стояла полная тишина, и слова отчетливо доносились издалека.

Пьяная толпа махала в воздухе веревками, привязанными к колесам, и кричала защитникам замка.

— Готовьте руки для цепей! Скоро мы вас выкурим из этой ямы!

А с валов как крикнут им в ответ:

— Ах вы, собачьи дети! Язычники, разбойники! Подождите немного, всех вас здесь уложим!

И та, и другая сторона грозила кулаками, и у кого что было на сердце и на языке, все высказали!

Пока продолжалась вся эта перебранка, ярость охватила и осажденных, и нападавших, так что последние, забыв об опасности, начали рваться к воротам, а первые, стоявшие за рогатками, наполовину высунулись из-за них. В это время стрелки натянули луки, и несколько стрел засвистело в воздухе. Одна из них выбила глаз нападавшему. Он схватился за него, свалился с коня, а другие окружили его и с бранью и проклятиями, подхватив раненого, вернулись в лагерь.

Так прошел почти весь день в непрерывном движении и заботах, и никто не обращал внимания на братьев Долив, расхаживающих в толпе. Вшебор стремился пробраться к Спытковой или вызвать ее к себе, но Собек сказал ему, что она почти весь день пролежала в слезах и лихорадке — так расстроили ее известия о муже.

К вечеру все как-то успокоилось. Пани Марта, хотя и с заплаканными глазами, вышла на верхний мост, а Вшебор, увидев ее, тотчас же поспешил к ней навстречу. Хотя мужчинам строго запрещалось подходить к женщинам на мосту, но Долива не обращал на это внимания.

Пани была польщена тем, что он спешил подойти к ней, хоть теперь это уж ни к чему не могло привести. Вшебор же задался целью взбунтовать ее и уговорить добровольно оставить городище, потому что им уже овладела эта мысль.

Он начал с того, что спросил ее о ней самой и о дочери, а потом начал сокрушаться над положением городища.

— Мы здесь ничего хорошего не высидим! — вполголоса прибавил он. — Я ведь недаром ездил и здоровья своего не жалел. Я

видел своими глазами, какая сила у Маслава. Если он сюда придет, никто из нас не останется цел.

Спыткова вскрикнула от страха.

— Неужели нет спасения?!

— Могло бы быть, если бы у людей был разум, — отвечал Вшебор, — легко бы вырваться из замка и соединиться где-нибудь со своими. Не все они погибли. Легче в поле защититься небольшой кучке, чем в этой дыре тысячам. Но беда в том, что старый Белина упрям.

Спытковой неприятно было, когда дурно говорили о Белинах.

Она бросила сердитый взгляд на Вшебора: сама она недолюбливала их, но боялась...

— Не говорите мне о нем ничего, он знает, что делает!

— А мне кажется, что он и сам не знает, — возразил Вшебор. — Он больше всего дрожит над своим богатством и не хочет его бросить.

Марта молча покачала головой.

— Мне жаль вас и вашу дочку, — прибавил Долива. — Ну что, если вы из-за его упрямства попадете в руки мужиков?

Спыткова с криком закрыла лицо руками.

— Бог не допустит этого! — плача, воскликнула она.

Немного погодя она спросила тихо:

— Но что же делать? Что делать? Неужели нет спасения?

— Остается только одно средство. Прорваться отсюда, пока еще есть время.

— Но куда?

— Отыщем где-нибудь своих, как мы их теперь нашли, — сказал Долива. — Тот самый лагерь, в котором находится муж вашей милости, или другие. Не все рыцарство погибло.

— Но ведь Маслав и их преследует, и рыцарству негде укрыться.

— Но зато нам будут открыты все пути. Хоть на Русь, хоть к немцам — везде нам будет спокойнее, чем здесь.

И склонившись к самому уху испуганной женщины, Вшебор признался ей, что он и другие хотят попробовать прорваться из замка, оставив на произвол судьбы всех, кто еще упрямится.

— И ваша милость должна ехать с нами!

Слова эти так напугали Спыткову, что ей захотелось спрятаться куда-нибудь и не слушать его! Но Вшебор, насильно удержав ее, стал

умолять, чтобы она по крайней мере не выдавала их Белинам, если уж сама не может решиться ехать.

Тогда она поклялась ему, целуя крестик, молчать о том, что он ей сказал, и обдумать его предложение. И, чувствуя себя совершенно расстроенной и сбитой с толку, попрощалась с ним и ушла к себе, чтобы хорошенько взвесить то, что поведал ей Вшебор. Женщины, сидевшие, как всегда, за пряжей около камина, сразу догадались по встревоженному и задумчивому виду Спытковой, что у нее есть какая-то тяжесть на сердце. Не обращая внимания на вопросы и знаки удивления своих товарок, она прошла прямо на свое место и тяжело опустилась на лавку, как будто не замечая подбежавшей к ней дочери. Но понемногу привычный шум веретен, приглушенный смех и говор женщин вокруг нее вывели ее из задумчивости. Кася принесла ей воды, отерла слезы, и Спыткова несколько успокоилась.

В этот день в женской горнице было заметно беспокойство.

То та, то другая женщина выбегали на чердак, смотрели в слуховое окошечко и приносили почти разные вести, то пугая, то утешая друг друга.

По-прежнему, не спеша и не волнуясь, двигалась по горницам старая Ганна и на все вопросы отвечала только одно:

— Уж столько раз они приходили сюда и уходили ни с чем. Так будет и теперь.

С другой стороны, те, кто слышали от мужей и братьев, как Вшебор рассказывал о могуществе Маслава, тревожились и плакали. Некоторые, напротив, мечтали о Казимире и о скором избавлении. Но беспокойство мешало работе и портило настроение.

Всякий раз, когда Томко входил в комнату, все взгляды обращались на него, не скажет ли он что-нибудь. Но на лице молодого Белины так же, как на лице его отца, ничего нельзя было прочесть. Оно всегда дышало одинаковым спокойствием и достоинством и в час опасности, и в минуту радости. И только тогда, когда, пробираясь к Здане, оказывался поблизости от Каси, взгляд его прояснялся, губы складывались в улыбку, и все выражение его лица говорило о надежде на лучшее будущее.

Кася напрасно старалась допытаться у матери о причине ее испуга. Она не отвечала ей и только тихо плакала и вздыхала. И теперь, когда Томко пришел к ним, сердце Каси было так встревожено

материнским горем, что она прежде всего спросила его, через Здану, не случилось ли чего-нибудь нового, о чем могла узнать ее мать.

Белина задумался и ответил Здане так, чтобы Кася слышала его, и при этом он смотрел ей прямо в глаза, что Спыткова очень долго разговаривала на мосту со Вшебором и, вероятно, он и нагнал на нее такого страха. Томко прибавил еще:

— Непокойные люди эти братья Доливы. Им бы хотелось, чтобы прежде всего их слушали, а в одном замке не может быть двух начальников. За ними тоже надо будет хорошенько последить.

Снизу уже кричали, призывая Томко к отцу, и он, взглянув еще раз в глаза Касе, которая только зарумянилась в ответ, ушел от них, чтобы помогать отцу в надзоре за работами.

Собек, несмотря на страшную усталость после дороги и на ушибы, полученные им во время борьбы с чернью у ворот, пролежав всего какой-нибудь час на соломе около коней — другого места не было, да он и сам не искал — встал и пошел искать себе дела. Его энергичная и любознательная натура не выносила бездействия. В часы, свободные от службы, он плел корзинки из прутьев или мешки из веревок, а если этого не было под рукой, строгал лучину. Но, найдя занятие рукам, он глазам и ушам не давал отдыха и прислушивался к малейшему шуму. И часто случалось, что ему удавалось открыть важные вещи по легкому шороху или промелькнувшей тени.

Вместе с другими Собек поплелся на валы, но скоро ему надоело это созерцание. Он пошел на другую сторону, где производились земляные работы, но и здесь не выстоял долго. Люди ходили взад и вперед, в тесноте задевали друг друга и заводили ссоры. Обойдя весь замок кругом, Собек вернулся в конюшню. Дощатая перегородка отделяла стойла от сарая, где размещался простой люд из первого двора. Многих из них выгнали на работы по укреплению валов, но старики, жены и дети их остались дома.

За перегородкой слышен был шум разговора, плач и жалобные причитания. Собек, прислонившись к стене, сидел в полудремоте, придумывая себе работу. Но ничего не приходило в голову.

В это время до слуха его долетели слова, которых он, может быть, и не хотел бы слушать, да услышал нечаянно.

— Они только о себе думают, — говорил старческий голос, — что им за дело, если кто-нибудь из нас сдохнет. Лишь бы они были целы...

— С голоду помираем, — сказал второй.

— Есть не дают, а на работу выгоняют, — заметил женский голос.

— Хорошо тем, что померли, — говорил еще кто-то. — Они ушли к своим и не знают горя.

— Самое-то горькое начнется тогда, когда нас осадят, — снова заговорил старик.

— Они будут стрелять из луков, а нас заставят таскать тяжелые бревна и камни. А в кого будут попадать стрелы, как не в нас? У них и броня, и кольчуга, и щит, а у нас что? Нашу сукману стрела легко пробьет.

— Верно, верно, — подхватил другой, — пусть только побольше наших соберется вместе, надо нам что-нибудь придумать... Если они о нас не думают, будем сами о себе заботиться. Что худого могут нам сделать те? Ведь они — наши. Снюхаемся с ними, и пусть тогда шляхта пойдет в цепи... Мы вернемся хоть на погорелые места.

— А как же с ними сговориться? — возразил старик. — Разве это так легко? Думаешь, они не следят за нами, верят нам? Небось они тоже догадываются, что у нас на уме.

— Сговориться, — подхватил первый, — не так уж мудрено.

— Ну как же? Как же?

— Ночью легко спуститься с валов, — смеясь, отвечал спрошенный.

Наступило долгое молчание. Потом послышалось перешептывание.

— Так и надо сделать, — сказал старик, — а не то все подохнем.

— Поговорите с Репецом, поговорите с Веханом...

— Почему бы нет...

— Надо думать о себе...

Голос понизился так, что Собек ничего не мог разобрать, но он слышал ясно злорадное пересмеивание и оживленное бормотание. Но и того, что он слышал, было достаточно.

Осторожно, чтобы не выдать своего присутствия, встав с соломы, он вышел из конюшни и прошел на двор с другой стороны, желая увидеть лица заговорщиков. Он успел, обойдя здание, подойти ко входу в сарай. Мужчины уже ушли из него, остались только две женщины. Младшая кормила ребенка, а старшая, завернувшись в

плахту, дремала возле нее. Но Собек твердо запомнил имена Репеца и Вехана.

Случай помог ему набрести на след опасности, о которой еще никто, может быть, не подозревает.

Невольный трепет охватил старика. Он сам не знал, что теперь делать.

Следить еще или тотчас же дать знать, кому следует? А вдруг вся эта болтовня окажется просто глупостью, а он успеет поднять тревогу? Собек, всю свою жизнь проведший в замках своих панов, глубоко к ним привязанный и разделявший все их надежды и опасения, встревожился не на шутку.

Когда настали сумерки, он тихонько вышел из конюшни, выбрался из первого двора и при входе во второй стал поджидать старого Белину. Он увидел его издали, спокойно отдающего приказания, и пожалел тревожить его покой всякими вздорными слухами.

Собек решил последить еще, справедливо рассчитав, что его серая сермяга поможет ему подслушать больше и лучше разузнать дело, чтобы не делать напрасной тревоги. Может быть, он жалел и людей, устами которых говорил голод и утомление и на которых он мог навлечь грозное наказание.

Пока Собек стоял, приглядываясь к тому, что делалось вокруг, и раздумывая, что ему делать, вдруг из-за строений послышался шум и крики.

Люди бежали в ту сторону.

— Бей, стреляй! — кричали им вслед.

Бросился туда старый Белина, а за ним и Собек, шум и крики все усиливались.

Никто не знал, что произошло. И только, выбежав на валы, старик узнал, что кто-то, пользуясь темнотой, спустился с валов и ушел в лагерь нападавших, хотя вслед ему пустили несколько стрел.

## Часть вторая

### I

В следующие дни в долине все оставалось по-прежнему. Новых сил не прибавилось в неприятельском лагере, а ранее прибывшие не отваживались подойти ближе. Замок усердно готовился к обороне. Старый Белина почти не уходил с валов. Прохаживался по дворам или заглядывал за рогатки, зорко следя за людьми, строго карая за всякий проступок и почти не зная отдыха. Когда голод начинал докучать ему, он шел и кричал, чтобы ему принесли пищу, и ему подавали ту самую похлебку, которую ели все. Даже не присаживаясь, он подкреплял свои силы и снова возвращался к своим занятиям.

Вид этого старца и его личный пример не позволяли и другим требовать большего. Никто не осмеливался роптать.

Валы со стороны речки и болот были увеличены, ограждены новыми рогатками, бревна и камни были втащены наверх и приготовлены на случай нападения, а со времени бегства из замка одного из простолюдинов днем и ночью повсюду была расставлена бдительная стража.

Между тем лагерь, расположенный над речкой, бездействовал, словно он только угрожал своим присутствием, не предпринимая никаких решительных действий.

Напротив валов возвели, как будто для забавы, несколько виселиц, и, показывая на них, кричали:

— Это для вас!

Но этим и закончились все их труды. Они себе расхаживали по долине и над речкой, пели песни, ели и пили. Ночью разводили костры, а днем отправлялись на охоту.

Вшебору так и не удалось уговорить кого-нибудь прорваться из замка; а вдвоем с братом он не отваживался, да и не хотел бежать. Спыткова, которую он всячески убеждал, оставалась непреклонной и даже слушать об этом не хотела.

Другие тоже отворачивались от него, когда он начинал говорить об этом, и только пожимали плечами. Наконец и сам Долива потерял

весь пыл убеждения, хотя про себя продолжал думать, что сидеть в Ольшовском городище было равносильно смерти.

Доливы были уже всем известны тем, что они всегда носились с каким-нибудь планом, поэтому им давали выболтаться, пока они не охладели сами и не выдумывали себе чего-нибудь нового.

И осажденные, и осаждавшие развлекали себя тем, что посылали друг другу ругательства и угрозы. Небольшая группа людей подходила к воротам замка и, подперев руки в бока, вызывала противников на словесный поединок, в котором ни та, ни другая сторона не скупилась на бранные слова. Плевали друг на друга, грозили кулаками, показывали на виселицы, на которых уже висели две собаки. Иногда кто-нибудь позадорнее бросал камень или пускал стрелу, и только ночь вносила успокоение.

Доливы почти с каждым днем все больше и больше тяготились этой однообразной жизнью. Они стали проситься устроить вылазку и предлагали себя в качестве предводителей, но и на это не последовало согласия. Так прошло дней десять, и, так как братья, проводя целые часы в бездействии у камина в большой горнице, постоянно с кем-нибудь ссорились, то в конце концов все от них отстали, и они расхаживали в одиночку, угрюмые и недовольные.

Но ссоры эти были несерьезные, на другой день все уже забывали о них, и разговоры начинались заново, и опять заканчивались спором. Когда наступал вечер, а с ним холод и тьма, братьев начинало тянуть в теплую горницу, они смиренно усаживались у камина и молча слушали, но потом кто-нибудь из них не выдерживал и вставлял резкое замечание. Ему отвечали тоже в резкой форме, и ссора разгоралась.

И вот случилось однажды, это было уже на одиннадцатый день, не заметив того, что старый Белина потихоньку вошел в горницу и остановился поодаль, Вшебор в ответ на жалобы о том, что осада так затянулась и не видно было конца ей, заговорил недовольным тоном:

— Что за диво! Сидим в этой дыре, как кролики. Мужики смеются над нами и нисколько с нами не считаются. Да и правда! Уж давно надо было показать им, что мы еще сильны и не дрожим перед ними, так что даже носа не смеем из-за ворот высунуть.

— Попробуй-ка показать им нос, они его тебе оботрут! — сказал Лясота.

— Никогда! — воскликнул Вшебор. — Если бы только нашлись хоть десять охотников с таким же сердцем, какое чувствую в себе, то уж проучил бы я эту сволочь! Уж повисели бы они у меня на собственных виселицах, рядом с собаками!

Канева, который успел уже оправиться после своей несчастной охоты на лося, крикнул:

— А впридачу к этим десяти и я с вами!

— И я, и я, — раздались еще голоса.

— Но все это напрасные слова, — рассмеявшись, сказал Вшебор, который имел зуб на старого Белину, — наш вождь и князь не позволит этого. Он скорее позволит нам заживо сгнить...

В это время Вшебор почувствовал, что чья-то огромная ладонь ударила его сзади по плечу, и в то же время в горнице раздался громкий голос:

— Ну, что же — с Богом! Я позволяю, я жалел вашей крови, но кровь не вода, если уж вашей милости так не терпится! Идите!

Вшебор, слегка смущенный, повернулся, узнав по голосу старого Белину, который стоял за ним.

— У вас кровь горячая, — закончил старик, — вот как набьют вам шишек, так она у вас остынет... Идите, если желаете, но глупости не делайте.

— И пойдем! — воскликнул Долива, срываясь с места. — Видит Бог, я сдержу слово. Я не на ветер говорил и исполню все, что задумал. Пусть же и те, что соглашались идти со мной, сдержат обещание.

Тогда все, кто вызывались с ним раньше, закричали:

— Идем, идем! Говори, когда?

— Когда? — смеясь, возразил горячий Вшебор. — А зачем нам откладывать? Ночь темная, как и нужно, сверху не каплет, чернь полегла уже спать. Почему же сегодня — хуже, чем завтра?

Белина, стоя позади, внимательно слушал.

— А что бы вы не говорили, — пробурчал он, — что у Белинов не хватает мужества, то с вами пойдет и Томко.

От дверей послышался бодрый, веселый голос:

— Я готов идти!

Вся кровь закипела у Вшебора, он бросился к дверям, за ним — другие, побежали в конюшню к коням, потом, в горницы — надеть кафтаны и меховые колпаки, подвязать к поясу меч, найти копье. Тут

же советовались, брать или не брать с собой щиты, запастись ли на случай топорами или оставить их в покое. Топор уже и в то время начинал выходить из употребления. Каждому предоставлено было одеваться и вооружаться по собственному усмотрению. Так все и сделали: кто больше всего полагался на меч, взял с собой меч, а кому было удобнее действовать секирой и молотом, тот привязывал их сбоку. По всему двору, как молния, разнеслась весть о вылазке. Кто-то побежал с этой вестью наверх, на женскую половину, где девушки еще сидели у огня за пряжей. Здесь поднялся страшный плач и ропот.

Белиновой очень не хотелось отпускать сына, но она не смела вступить, так как это была воля мужа. Бедная женщина всплакнула потихоньку и отошла в сторону вытереть слезы. Расплакалась и Здана, увидев слезы матери: жаль ей было и брата, и Мшщуй, хоть она и не хотела признаваться в этом. Мшщуй Долива пленил сердце хорошенькой девушки. Случилось это совершенно для нее незаметно. Он старался подружиться с нею, чтобы через нее добраться до Каси. Здана взглянула на него, засмеялась, заболтала, и между ними завязалась дружба, а теперь они уже поглядывали друг на друга так, как будто из этой дружбы успело вырасти другое чувство. Чем же был виноват бедный Мшщуй? Кася даже и не смотрела на него, а эта не боялась ни взгляда, ни разговора, ни веселого смеха. Да и трудно было сидеть без занятия в осажденном замке.

Кася Спыткова так перепугалась и расплакалась, что чуть не выдала матери свою тайну. Она вместе со Зданой выбежала даже на мост, чтобы увидеть Томко в полном рыцарском наряде. Бедняжка совсем потеряла голову и только потом, опомнившись, крадучись, вернулась назад. Но, на ее счастье, мать Спыткова, занятая повествованием о собственной жизни, не заметила отсутствия дочери.

В неожиданной вылазке приняли участие кроме Долинов двенадцать охотников, молодец к молодцу. Крепкая, сильная, горячая молодежь, хорошо вооруженная и не боявшаяся идти, хотя бы против тысячи, а к черни относившаяся с пренебрежением и смотревшая на вылазку, как на охотничью прогулку. Все шли спокойно, со смехом и радостью в сердце. У ворот все уже было готово к тому, чтобы осторожно отворить их и быть настороже, чтобы вовремя впустить назад, если бы за осажденными была погоня.

Собек, который, должно быть, никогда не спал, подошел к маленькому отряду и дал дельный совет. Кони врагов паслись обыкновенно ночью около стога сена, который находился в некотором отдалении от костров. Старый слуга предложил подкрасться к табуну и потихоньку отогнать его подальше, чтобы враги не могли воспользоваться конями для погони. План этот всем казался трудно исполнимым и опасным, но Собек был известен тем, что он никогда не брался за такое дело, которого не мог выполнить. Его выпустили вперед и стали поджидать, когда он, выскользнув, как мышь, из ворот, исполнит задуманное и даст им знак, что кони угнаны от стога.

Нетерпеливой молодежи минуты ожидания казались слишком долгими, но вот наконец послышался топот бегущих коней, а в городище осторожно открылись ворота, и по одному стали выезжать охотники. Спустившись с холма и сбившись в кучу, они с громким криком пустили коней вскачь прямо к догорающим кострам.

Около них не было даже стражи, так не ожидала чернь этого нападения. Большая часть людей уже спала, когда Вшебор, ехавший впереди, влетел, как вихрь, в самую середину лагеря. Поднялась страшная суматоха и тревога, и, начиная с того места, где избивали лежащих, распространилась на другой конец лагеря.

Разбуженная чернь вскакивала, не понимая, что происходит, и предполагая, что враг гораздо сильнее, чем он был на самом деле. Просыпаясь во мраке, охваченные страхом, слыша вокруг себя крики и стоны, все бросались бежать кто куда; одни в лес, другие к речке и болотам, а третьи — куда попало, и, не различая дороги, попадались в руки неприятелям.

Вшебор и Мшщуй, сидя на конях, били, секли, топтали упавших, бешено размахивая топорами, другие энергично помогали им, и хотя судьба им благоприятствовала и толпа черни не успела еще опомниться, они решили возвращаться в замок. Забросив несколькими петлю на шею, Вшебор, Мшщуй, Топорчик и Томко стали громко созывать своих. И прежде чем застигнутая врасплох чернь успела опомниться, охотники уже скакали назад к городищу и удосужились даже повесить пойманных на приготовленных виселицах.

Все это произошло так быстро, неожиданно и удачно, что, когда они въехали обратно в ворота, просто не верилось глазам!

Окровавленные мечи, топоры и руки свидетельствовали о том, что они не даром хвастались.

Толпа черни даже не погналась за ними, так как большая часть разбежалась и боялась скоро вернуться. Пока все собрались, разложили костры, посчитали оставшихся — охотников уж и след простыл.

Вшебор возвращался веселый, гордый, счастливый, как настоящий победитель.

Его приветствовали рукоплесканиями, и только Белина, обнимая сына, сказал сдавленным голосом:

— Я не мог запретить вам. Но дай-то бог, чтобы мы не дорого заплатили — слишком дорого за эту кратковременную радость!

До самого утра не произошло никаких перемен. Только в лагере все время шумели, кричали и суетливо двигались. Едва только рассвело, пришли люди и снимали трупы с виселиц, чтобы ясный день не увидел их позора.

Утром не разложили, как всегда, костров, и все чего-то суетились, бегали туда и сюда и ссорились. Наконец отделилась небольшая группа и отправилась в лес.

День этот прошел сравнительно спокойно, разговор вертелся по преимуществу около вылазки, которая доставила обильный материал для рассказов. Внизу, в главной горнице, и вверху, за пряжей, только об этом и говорили. Здана гордилась братом, но, рассказывая о нем, нет-нет да и ввернет словечко о Мшцуе. А потом сама же обливалась румянцем и тревожно оглядывалась, не подсмотрел ли кто и не отгадал ли ее тайны, и сердце ее билось усиленно.

На лице старого Белины нельзя было заметить особенной радости по поводу одержанной над врагом победы. Лоб его, как всегда, был покрыт глубокими морщинами, которые провели на нем тревога и забота; он по-прежнему заглядывал во все углы, требовал от стражи усиленного внимания и отдавал приказы.

Может быть, он догадывался, что простой народ, наружно выказывавший ему полное послушание, что-то замышляет про себя.

Между тем Собек, которому удалось подслушать разговор, не торопился сообщить о нем хозяину. Но бегство одного из этих людей обеспокоило его, и он решил проследить это дело до конца. Он уже давно замечал косые взгляды, перешептывания по углам, признаки

недовольства под маской послушания, а иной раз и явное сопротивление и даже взрыв отчаяния, тотчас же подавляемый страхом.

Никого так не боялись, как старого Белину. Он умел быть неумолимым для непослушных, наказывал сурово и не прощал никогда. Быть может, сердце у него было доброе, но теперь он не мог обойтись без суровых мер для ослушников. Когда один из простолюдинов, поругавшись со стариками и нагрубив им, сбежал вниз, стали подозревать всех, и отдан был приказ учредить строгий надзор за обитателями первого двора. Это в свою очередь усилило общее недовольство.

Собек ни о чем еще не доносил, а только всюду расхаживал и прислушивался... Ему хотелось найти тех двух коноводов, имена которых остались у него в памяти. Но это ему сразу не удалось. Очевидно, это были не имена, а прозвища, и он ни от кого не мог узнать о них. Старый слуга давно уже отстал от простого народа, к которому он принадлежал по рождению, и всей душой сочувствовал шляхте, среди которой он жил с детства и привык служить их интересам.

Нелегко было ему, в силу его положения преданного панам слуги, проследить зачинщиков: народ не доверял дворовым людям и всячески избегал разговоров с ними. Едва только кто-нибудь из них показывался, как все умолкали, обмениваясь взглядами, или начинали говорить о посторонних вещах. Напрасно старик старался затеряться в толпе, притворяясь то полуглухим, то придурковатым. Где бы ни показался верный слуга, все разговоры обрывались, и все глаза следили за каждым его движением.

Но угрюмое и грозное выражение их лиц убеждало его в том, что среди них затевалось что-то недоброе. То же самое чуял и старый Белина, который особенно часто заглядывал сюда и не пропускал без внимания ни одного уголка.

Когда Вшебор с охотниками готовился к вылазке, на большом дворе, несмотря на позднее время, все зашумело и заволновалось. Кто только мог, бросились на валы, чтобы увидеть своими глазами, чем кончится эта смелая затея.

Собек, воспользовавшись этим, укрылся в темном уголке и подслушал угрозы, проклятия и ропот, когда на виселицах показались

трупы.

Народ этот чувствовал в нападающих своих братьев по крови и им сочувствовал, поэтому в замке надо было бояться не только открытых, но и тайных, до поры до времени затаившихся врагов. Чернь ждала только удобного момента, чтобы броситься на шляхту и выдать ее в руки осаждавших, и Собек замечал даже некоторые признаки того, что между простолюдинами в городище и нападающими было соглашение. Несколько раз ночью ему удавалось подкараулить переговоры из-за рогаток, к которым подкрадывались снизу какие-то неизвестные.

С каждым днем народ становился все более дерзким и непослушным, и замечалось в нем какое-то нетерпеливое ожидание.

Старый слуга не хотел никого пугать, но ждал удобной минуты, чтобы самому переговорить с Белиной. Однако трудно было отвести его в сторону и задержать разговором, не возбудив подозрения.

На следующий день после вылазки Белина казался еще более беспокойным, чем всегда. Он стоял, задумавшись, на валу со стороны речки, когда Собек увидел его издали и подбежал к нему, униженно кланяясь.

Белина только кивнул головой, как будто не желая тратить время на беседу, и уже собирался уйти, но Собек слегка удержал его за полу кафтана.

— Милостивый пан! Иной раз не мешает выслушать ничтожного червяка.

— Ну что еще там? — спросил Белина.

— Там, — сказал Собек, указав рукой в сторону двора, — там творится неладное.

Старик смотрел на него, ожидая объяснения.

— Там что-то много болтают и ворчат, — говорил Собек.

— Должно быть, снюхались с теми, что стоят за валами. В недобрый час, оборони Боже, могут взбунтоваться и убежать. Надо хорошо доглядывать, надо беречься, милостивый пан.

Белина пробурчал что-то невнятное, чего Собек не дослышал, и только махнул рукой.

— Милостивый пан, для вас это, верно, не новость, — прибавил Собек.

— Не новость, — коротко ответил хозяин. — Смотрите и слушайте, вы, добрый человек. Лишний глаз никогда не помешает.

Собек поклонился, несколько успокоенный: оба они не были особенно разговорчивы, и этих слов было достаточно, чтобы они поняли друг друга.

Следующие дни не принесли Собеку успокоения. Зловещие признаки все увеличивались. Только взглянув Белине в глаза, он на некоторое время переставал тревожиться, но потом опять открывал что-нибудь новое, и волнение овладевало им снова.

Как в лесу и на охоте, Собек всегда знал, куда надо идти и где искать зверя, так и среди людей он угадывал, как и с кем говорить, но здесь ему замечали следы и убегали от него. Поэтому он должен был прибегнуть к хитрости.

Сарай, где стояли кони, был обращен одной стороной к большому двору, на котором целыми днями вповалку лежал и сидел народ, жалуясь на свою судьбу и беседуя между собой.

Собек устроил себе здесь наблюдательный пункт на обрубке дерева, полузакрытый воротами. Он выделывал половики из соломы или долбил что-то ножом по дереву, и представлялся так погруженным в свое занятие, что даже головы не поднимал. Это не мешало ему видеть все, что было ему надо. Вся его задача заключалась в том, чтобы найти среди этой праздной сновавшей взад и вперед толпы ее тайных руководителей. Он угадывал их присутствие, но не видел их самих.

Наконец на второй или на третий день Собек заметил плечистого, бледного крестьянина с длинными черными, падавшими ему на плечи волосами, который расхаживал по двору, ни на кого не глядя, заложив руки за пояс и надвинув шапку на лоб, но не произнося ни слова, он каким-то непонятным способом передавал свои мысли другим людям, которые, повинувшись какому-то таинственному знаку, уходили прочь, поднимались с места или молча уступали ему дорогу.

Как Белина целый день расхаживал по своим владениям, так и он без устали слонялся по двору, почти не присаживаясь и ни с кем не разговаривая, но по одному его знаку люди торопливо исполняли его волю. Собек подсмотрел однажды, как он движением руки приказал голодному человеку, жадно поедавшему свою порцию пищи, отдать ее женщине, которая кормила ребенка, потому что у нее не хватало молока в грудях. Бедняга, только что принявшийся за принесенную ему похлебку, крепче стиснул в руках деревянную миску, и глаза его

засверкали, но, не дотронувшись до нее больше, он встал и поставил миску перед голодной женщиной. И все это совершилось по одному его взгляду — он не промолвил ни слова. Когда происходила какая-нибудь ссора, люди шли на суд не к старосте, поставленному Белиной, а прямо к молчаливому крестьянину, и тот, пробормотав что-то, быстро разрешал спор.

Собек, словно невзначай, спросил как-то, как его зовут, но никто ему не ответил, и только ребенок, которого он приманил мясом, назвал его Миськом Веханом.

Теперь, открыв одного из руководителей, он рассчитывал найти и второго, подсмотрев, с кем он чаще всего разговаривает.

У Собека была в натуре страсть — выслеживать и подкарауливать, если не зверя, то человека. Скоро он заметил место, где укладывается на ночь Мисько Вехан. Он был уверен, что все совещания происходят ночью. И вот однажды он проскользнул к этому месту и улегся неподалеку, притворившись спящим.

Надежда не обманула его. Поздно ночью приполз еще другой и, улегшись рядом, они долго беседовали шепотом.

Ночь была темная, так что лица нельзя было разглядеть, да и слова не долетали до него, но утром, когда они расходились, Собек узнал в товарище человека, которого он часто видел днем на страже у рогаток, пристально высматривающим что-то в лесу...

Это и был Репец, о котором упоминали в толпе, и оба эти человека руководили простым народом, укрывавшимся в замке.

С этих пор Собек не переставал следить за ними. С Веханом, вечно слонявшимся по двору и ни с кем не разговаривавшим, трудно было завязать знакомство, и потому он начал с Репеца, и утром же на другой день подошел к нему.

Они взглянули друг на друга, но не решались заговорить. Репец отвернулся, видимо, желая избавиться от него, но упрямый Собек чуть не полдня простоял около него, не вступая в разговор, но так же пристально всматриваясь вдаль и вздыхая.

Репец был немолод уже, невелик ростом, бледен, с какими-то пятнами на лице. Рыжеватые усы и борода и выцветшие глаза на пятнистом лице производили впечатление чего-то пестрого, как змеиная кожа самых ядовитых змей. Когда он злился, то всегда

увлажнял губы языком, словно облизываясь при мысли о своей жертве. Соседство Собека наконец вывело его из себя.

— Ты откуда? — спросил он Собека.

Не отвечая, тот указал рукой в сторону леса.

— Что за человек?

— Лесничий.

— Панский? Дворовый?

— Какой там панский? У меня лес был паном.

И намеренно замолчал, чтобы не выдать своего желания завязать разговор. И снова оба, вздыхая, стали смотреть в сторону леса.

Наконец Собек заговорил, обращаясь к Репецу.

— Эй, послушай. Долго еще так будет?

Рыжий вздрогнул плечами.

— За что мы здесь умираем с голоду?

— За что? Ишь какой любопытный, — возразил Репец. — А за то, что мы глупы!

Он умолк, отвернувшись, и некоторое время оба молчали.

На первый день этим все и ограничилось, но знакомство завязалось.

На другой день Собек снова очутился у рогаток. Репец, увидев его, сплюнул, словно увидев поганого зверя, взглянул грозно и отодвинулся.

Не проронил ни слова.

В этот же день случилось то, что Белина предчувствовал и чего боялся.

Под вечер в горницу, где все сидели, греясь у огня, вбежал слуга-подросток, носивший меч за старым Белиной, и крикнул:

— Идут, идут!

Все сорвались с места, но, прежде чем успели расспросить перепуганного мальчика, кто идет, он уже исчез. Мальчик обежал все жилые помещения и всюду внес испуг и волнение.

Вся шляхта высыпала на валы.

Стояла поздняя осень, вечер выдался морозный, но ясный. За лесами заходило солнце, разливая волны бледно-желтого и пурпурного пламени. Небо, зеленоватое в нижней своей части, вверху сияло чистой бледной лазурью. Тихо стояли вдали черные и коричневые массы лесов.

Ужасный вид представился осажденным, когда они взглянули с валов на долину. И даже раньше, чем бросили на нее взгляд, они слышали в воздухе глухой шум далеких окриков, звуки песни, топот и ржание коней.

Из лесу показывались один за другим отряды пеших и конных воинов. Все они, увидев издали городище, приветствовали его страшными криками, которые внезапно вырвались из всех грудей.

Отряды двигались один за другим. Впереди некоторых из них несли знамена на длинных древках. Пастухи гнали целые стада рогатого скота и лошадей, отбитых где-нибудь по пути.

Толпа черни, расположившаяся лагерем около речки, приветствовала их громкими криками, подбрасывая шапки вверх, поднимая руки кверху и чуть ли не воя от радости.

Люди сыпались, как муравьи, заполняя всю долину и располагаясь в ней, и в противоположность первым пришедшим не ограничивались берегом реки, а смело шли под самые окопы. Шум и крики этих тысяч людей становились все громче и смелее, и эхо, словно издеваясь, повторяло их в лесу. Рыцарство, укрытое в городище и внезапно разбуженное этим страшным шумом, бросилось на валы и мосты. Туда же бежал и простой народ с выражением плохо скрытой радости на лицах.

Вехан и Репец стояли впереди всех у рогаток, поглядывая смеющимися глазами то на своих, то на горсточку замковой стражи.

Вся долина, куда только достигал глаз, наполнилась народом, а из лесу все еще двигались новые толпы, окружая Ольшовское городище плотной стеной осаждающих.

Среди скрытых масс крестьянства можно было различить предводителей отрядов на конях, указывавших места своим подначальным, которые тут же втыкали колы в землю.

Один из отрядов, довольно значительный, тотчас же отделился от своих и, приблизившись к валам, остановился, что-то обсуждая. Сверху, затаив дыхание, наблюдали за ними все, кто только успел пробраться к рогаткам.

Распространяли слухи о том, что это прибыл сам Маслав, но Вшебор, у которого было хорошее зрение, долго всматривался и нигде не мог его найти, поэтому он уверял, что среди начальников еще не было пастушьего сына. Не видел он также ни пруссаков, ни поморян,

которых легко можно было узнать по одежде и поясам. Это была та самая чернь, которая грабила и разрушала замки и города, это были язычники, выбежавшие из лесов, чтобы повалить кресты и костелы.

Вышел на валы и старый Белина, долго осматривался во все стороны и, указав рукой стоявшему около него Вшебору, кивнул головой, словно хотел сказать:

— Это вы их сюда приманили!

В молчаливом испуге стояли все, прислушиваясь и присматриваясь, когда вдруг все пришло в движение. Люди стали расступаться и медленно опускаться на колени.

Из глубины двора шел сюда отец Гедеон в белой комже, в вышитой шапочке на голове, неся в руках Святые Дары... Мальчик-служка нес перед ним деревянный крест. Ксендз медленно следовал за ним, набожно произнося слова молитв, весь погруженный в себя, с опущенной головой и полузакрытыми веками. Они шли к воротам, поднимаясь по ступеням на мост, вынесенный за рогатки.

Все снимали колпаки и шапки, многие становились на колени. Взойдя на мост, отец Гедеон поднял кверху руки с чашей и, устремив глаза к небу, начал громко молиться, творя крестное знамение на все четыре стороны света и как бы отгоняя им власть злого духа.

Люди, стоявшие внизу у валов, не могли не заметить этой белой фигуры, возвышавшейся на помосте, и черного креста перед нею. Они видели, как он, подняв руки к небу, взывал к Богу христиан или, как они думали, совершал заклинания.

Этих заклинаний и чудес особенно боялись язычники. И теми, которые готовились первыми начать осаду, овладел невольный страх. Они начали осаживать коней и пятиться задом, и хотя им было стыдно обратиться в бегство, однако и устоять на месте они были не в силах. Как бы отступая перед знаменем креста, они пятились все дальше и дальше. Съехали совсем вниз и исчезли в долине, смешавшись с толпой оставшихся.

Солнце уже закатилось, и тень от лесов заволокла долину. Только вершина холма еще была освещена бледным светом последних лучей. Громадные полчища, покрывавшие долину, тонули во мраке. Часть людей отделилась и пошла в лес собирать хворост и ломать сучья. Послышался стук топоров, и скоро после этого в разных местах долины засветилось пламя костров. Влажный воздух не позволял дыму

свободно подниматься кверху, и он густыми удушливыми клубами стоял над речкой и лугом, заслоняя, словно пеленой, страшную картину вражеского лагеря от глаз осажденных. Вдали трудно было даже рассмотреть что-нибудь, мелькали только там и сям красные огоньки костров, да двигались около них черные фигуры людей.

Никто не уходил с валов, все смотрели, как замороженные, на ожидающий их ужас завтрашнего дня и неравной борьбы. До замка долетали смешанный гул голосов, звуки пения, и в том состоянии, в каком находились осажденные, все это казалось жестокой насмешкой над ними.

На женской половине никто не дотрагивался до пряжи: девушки и женщины стояли на коленях и, сложив руки, молились, заливаясь слезами.

Наверху, перед покрытой чашей со Святыми Дарами, стоял на коленях отец Гедеон и то возносил руки кверху, то падал ниц, распростершись на земле, то снова поднимался и смиренно складывал руки вместе. Ночь застала его здесь коленапреклоненным, и когда он наконец встал, глаза его были сухи, и лицо озарилось светом надежды на лучшее будущее.

Старец почувствовал в своем сердце, что Христос посылает его на подвиг, как своего рыцаря, и потому он не захотел больше пребывать в одиночестве, а тотчас же пошел к людям, чтобы нести им слова утешения, согреть их сердца и вливать в них мужество.

Прежде всего он встретил старого Белину.

— Отец мой, — сказал хозяин, склоняясь перед ним и целуя его руку, — благослови меня, благослови нас всех, как ты благословляешь готовящихся к смерти. Мы будем бороться, пока у нас хватит сил, пока не победим врага... Он уже перед нами, он — среди нас!

— Мужайтесь! — воскликнул отец Гедеон. — Не теряйте мужества, а Бог вас не оставит. Творятся чудеса! Война эта направлена не против вас, а против святого креста. Я молился, и на меня снизошло, не знаю откуда, успокоение и уверенность, что рука Всевышнего нас не оставит.

Белина поднял руки кверху.

В нескольких шагах позади него стоял, вертя что-то в руках, Собек.

— Милостивый пан, — шепнул он, — прошу слова!

Хозяин повернулся к нему.

— Двух людей надо посадить под замок, чтобы не случилось беды...

И, тихо перешептываясь, они отошли вместе.

По дороге Белина сделал знак нескольким вооруженным людям, чтобы следовали за ним. Так они прошли в первый двор. Стоя у рогаток, Вехан и Репец о чем-то совещались, глядя на толпы черни внизу. Собек указал на них. Когда в толпе заметили вооруженных воинов, раздался ропот возмущения, два вожака метнулись в разные стороны, быть может, догадавшись, что пришли за ними; Вехан хотел перескочить через рогатки, Репец обратился в бегство; обоих схватили... Раздались крики, народ в гневе и волнении окружил Белину и оруженосцев.

Стоявшие ближе к нему начали дерзко приставать к Белине, требуя выдачи арестованных, некоторые стали грозить кулаками, другие дергали старика за полу кафтана. Белина повернулся к своему оруженосцу и, не отвечая ни слова, выхватил меч из ножен.

— Посадить их в яму! — крикнул он. — До суда и обвинения с ними ничего не сделают, но, если хоть одна рука поднимется в их защиту, они поплатятся головами!

Глухой ропот пронесся по всему двору, и все сразу стихло. Репец и Вехан со связанными назад руками шли к яме, окруженные стражей и дико оглядываясь вокруг. Толпа, лишившись своих вожаков, стояла неподвижно на месте.

— Ведите их в яму! — повторил Белина и сам, обнажив меч, пошел вслед за стражей и арестованными бунтовщиками.

Все это видели рыцари, шляхтичи и воины; некоторые в испуге хватались за мечи, как будто готовясь к нападению и защите.

Толпа, двинувшаяся было вслед за узниками, отступила, вернулась во двор и легла на земле, оглашая воздух жалобами и плачем. Плакали женщины, а мужчины, сбившись в кучке, шептались и совещались между собой. Сотники ходили между ними и призывали к порядку и молчанию.

Была уже ночь, когда двери темницы закрылись за Репцом и Веханом. Около них поставили вооруженную стражу. На валах удвоили число караульных; рыцари начали медленно расходиться с валов по горницам, чтобы приготовиться к завтрашней битве.

Наступила тишина, прерываемая только шумом шагов часовых да бряцаньем мечей, изредка слышался плачущий голос ребенка.

В главной горнице у огня никто не пытался начать разговора — не о чем было рассуждать и строить предположения, грозная действительность стояла перед глазами.

Лясота, который после последней битвы не мог уже владеть руками, чтобы держать лук или меч, спокойно подбрасывал топливо в камин, другие осматривали свои мечи и доспехи. И, словно сговорившись, почти все взяли за оселки и принялись точить оружие; остальные же пробовали пальцами острия стрел и тетивы у луков.

В горнице все пришло в движение, каждый, усевшись где пришлось, точил, чистил и направлял оружие и чинил доспехи. Среди наступившего молчания вдруг раздался голос Вшебора:

— Я вижу, что старик хочет свалить на нас вину и показать, что это мы своей вылазкой привлекли чернь. Он не сказал этого прямо, но я догадался. Но уверяю вас, что, когда я был в Плоцке у Маслава, там уже сговаривались идти на Ольшовское городище, и я спешил привезти вам эту новость.

— Рано или поздно, это должно было случиться, — прибавил Топорчик. — Я благодарю Господа Бога за то, что он мне позволил набраться сил, теперь и я не буду сидеть в углу сложа руки.

То же самое повторил и Канева, который еще не вылечил своих шишек и синяков, но уже готов был опять действовать. Так, до поздней ночи, шли приготовления, прерывавшиеся от времени до времени отдельными замечаниями; во всем замке, кроме женщин, никто не сомкнул глаз.

Белина даже и не присаживался. Опасаясь, как бы сон не одолел его, если он присядет на лавку, он, когда почувствовал, что веки у него слипаются от усталости, скрестил руки на мече, прикрыл глаза и так, стоя, подремал немного.

Уж рассвело, и петухи пели в третий раз, когда все спавшие и только что проснувшиеся были напуганы страшным шумом и криками; все сорвались со своих мест, боясь каких-нибудь козней со стороны неприятеля, и бросились разузнавать, что случилось. Но никто еще ничего не знал: крики шли со стороны тюремных дверей, где столпились вооруженные воины, и на их зов сбегались все.

Вшебор, бежавший впереди всех с обнаженным мечом, нашел здесь обоих Белин, их дворню и еще многих других.

У входа в яму, куда бросили Вехана и Репеца, глазам присутствовавших представилось страшное зрелище. В том месте, где стояла ночная стража, лежали теперь два трупа. Незаметно было на них каких-нибудь следов крови или насилия, шеи были обмотаны веревками, так сильно стянуты, что глаза выскочили из орбит, а языки вывалились изо рта. Около них валялось на земле оружие.

Двери у входа в яму были выломаны, а между тем ночью никто не слышал ни малейшего шума, никто не двигался даже и не переходил через двор. В яме не хватало и других узников, ушедших вместе с беглецами; оставался только старый дворовой человек Белины, посаженный за какое-то бесчинство, его никто не тронул, он остался цел и невредим, но не мог сказать ничего путного, кроме того, что, проснувшись, заметил дуновенье свежего воздуха сквозь открытые двери темницы.

Люди разбежались искать беглецов, которым, по-видимому, трудно было уйти за рогатки, охраняемые многочисленной стражей.

В замке царило волнение и замешательство, а среди простого народа — крики, шум, плач и стоны женщин, и возгласы тех, кого избивала стража, потому что надо было как-нибудь водворить порядок и сразу усмирить бунтовщиков и зачинщиков.

Накинув на себя что попало, выбежали перепуганные женщины узнать, что случилось. Некоторым из них казалось, что чернь, воспользовавшись темнотой, вторгнулась внутрь городища и бой разгорелся во дворе.

Более мужественные из них хватали топоры, и многие решили, что лучше защищаться, сколько хватит сил, чем позорно уступить. Другие же ломали руки и плакали.

Ясный день застал всех обитателей замка в тревоге и смятении, а караульных — в тщетных поисках беглецов... Нигде не было и следа их!

Это бегство еще увеличило общую тревогу, потому что Репец и Вехан, пробыв долгое время в городище, неплохо его знали и могли быть хорошими проводниками для черни, указав ей слабые стороны обороны.

Солнце всходило в густой тьме, и в долине нельзя было ничего различить, заметно было только усиленное движение среди густых масс черни.

Наконец утренний туман рассеялся, и тогда все наблюдавшие из замка ясно увидели отряды войска, направлявшегося к валам. Так как болота еще не замерзли, а речка, переполненная осенними дождями, вышла из берегов, то с этой стороны нельзя было ожидать нападения; но вскоре заметили, что именно с этой стороны двигалась большая толпа народа, бросавшая в трясину бревна и доски и устраивавшая мостки для перехода. Осажденные вынуждены были терпеливо смотреть на все эти приготовления, потому что стрелы не долетали на такое расстояние.

Защитники могли оказаться в безвыходном положении, если бы нападающие бросились на замок сразу со всех сторон. У осажденных было мало войска, а простой народ, находившийся на первом дворе, годился только на то, чтобы под строгим надзором, разбив их на небольшие кучки, заставить переносить тяжести. Но эти приготовления вызвали в защитниках новую тревогу, все только молча переглянулись между собой.

Пока люди суетились на валах, готовясь к обороне, отец Гедеон, по заведенному им обычаю, взошел с восходом солнца на возвышение, где был устроен алтарь, чтобы совершить богослужение. Собрались все женщины, дети и старики и, опустившись на колени, горячо молились. Рыцарство же, едва успев осенить себя крестным знаменем, уже спешило надеть доспехи и идти на валы.

При свете восходящего солнца, рассеявшего утреннюю мглу, защитники увидели у ворот замка небольшой отряд всадников, среди которых Собек узнал Вехана и Репеца. Нечего, значит, было искать их в городище. Беглецы рукой указывали на замок, объясняя, с какой стороны к нему было легче добраться.

Но нападающие не спешили штурмовать замок, может быть, они поджидали кого-нибудь, может быть, не для чего было торопиться, и они рассчитывали дожидаться, когда готов будет мост через болота, и тогда ударить со всех сторон.

До полудня не в кого было пустить стрелу, враг держался в отдалении, и некоторые из осажденных делали предположения, что

нападающие ждали приближения ночи, чтобы с помощью беглецов из замка предпринять какие-нибудь решительные действия.

Городище имело теперь совершенно другой вид. Пока опасность была еще далеко, люди имели возможность и отдохнуть и перекинуться между собой словами и шутками, а иной раз поспорить и побраниться; случалось, что только уважение к Белине удерживало их от расправы с помощью меча. Теперь все это забылось, все снова объединились между собой и даже те, кто отвыкли от всякой борьбы, проводя все время в лежании и праздности, почувствовали в себе прилив мужества. Все хорошо понимали, что нужны были нечеловеческие усилия, чтобы сопротивляться этим полчищам врагов, затянуть борьбу и, может быть, дожидаться помощи от своих. Только на них была вся надежда. Если бы помощь эта запоздала, то защитники городища, истощенные голодом и непрерывным бодрствованием на страже, измученные борьбой без надежды на избавление, должны были бы уступить. Ни люди, ни укрепления замка не выдержали бы штурма.

Весь этот день прошел в томительном ожидании и взаимных поддразниваниях. Неприятельские отряды подходили к замку и снова отходили, проходили мимо ворот, осыпая защитников насмешками и угрозами. Не успевали осажденные, воспользовавшись отдалением одной группы, прилечь и отдохнуть тут же на валах, как уже приближались новые отряды, пешие и конные, подкрадывались потихоньку, приглядываясь и прислушиваясь.

Всадники подъезжали к замку на расстояние стрелы, пущенной из лука, и начинали вызывать защитников по именам.

— Белина, старый волк! Вылезай из ямы! Эй, Белина!

Другие ругали и высмеивали Долив, Лясоту и всех, кто там был. Вехан и Репец обо всем им донесли.

Но больше всего брани и насмешек выпало на долю старого Белины. Он все слышал, но молчал. А когда ему надоела вся эта брань, он вышел на мост, оперся на рукоятку меча и так стоял перед ними, спокойно выслушивая их поношенья.

В толпе, должно быть, узнали его; один из нападавших с насмешливым поклоном снял шапку и потом, надвинув ее снова на голову, погрозил кулаком.

— Эй ты, старый разбойник, пивший нашу кровь! Пришел твой час! Слышишь, ты! Теперь ты уж не вырвешься из мужицких когтей. Знаем мы, что у вас там делается — живете одной гречневой похлебкой, и людей у вас нет, мы вас скоро выкурим! Сдавайтесь-ка лучше сразу. Ведь все равно будете висеть, а так мы хоть мучиться вам не дадим, если отворите ворота... И детей не тронем! Если же возьмем силою, живой души не оставим.

Другой зарычал с диким смехом:

— Эй, живо, псы паршивые, отворяйте ворота!

И снова посыпались насмешки и брань.

Белина все стоял неподвижно; ни один мускул на его лице не дрогнул, ни одного слова не вырвалось из его уст; зато другие, менее терпеливые, приходили в бешенство, ругались и проклинали, некоторые даже не могли удержаться и пустили стрелы, хотя и знали, что они не долетят. Полетели и камни сверху в ругателей; более смелые, дальше всех выдвинувшиеся вперед, оказались пораненными, остальные с криками и бранью отступили.

В этот день не было никаких решительных действий — неприятель чего-то ждал... Вшебор думал, что ждут Маслава.

Между тем мост через болото все удлинялся и приближался к окопам; следя за работами, можно было предположить, что гати и мостки будут закончены на третий день.

Среди этой неизвестности и томительного ожидания, стократ горшего, чем борьба и даже опасность, наступила ночь: ничто так не утомляет и не мучает, как гроза, висящая над головой и готовая ежеминутно разразиться.

На другой день погода изменилась: пошел холодный дождь, задул сильный ветер, зашумел лес с северной стороны, словно вторя шумихе в лагере осаждающих. Видно было, как пригибались к земле верхушки деревьев, как ломались ветки, а дым от костров распространялся вместе с искрами по долине. Некоторые костры загасли под дождем и ветром. Нападающие ничего не предпринимали, а работы над гатями шли непрерывно.

Наконец около полудня, со стороны лесов послышались громкие крики и эхом прокатились по всему лагерю. Люди поспешно вставали и строились в отряды.

Из леса показался небольшой конный отряд, перед которым несли на шесте красное знамя: издали нельзя еще было различить ни лиц, ни одежд; всадники ехали быстро, перерезали всю долину и взяли путь прямо к воротам замка.

Вшебор, стоявший у рогаток, крикнул первый:  
— Это Маслав!

Все сбегались посмотреть на него; из рыцарей почти все помнили Маслава при дворе Мешка и Рыксы; каждому хотелось увидеть, во что обратился этот гордец.

Действительно, это был он. Сидя на черном коне с длинной гривой, весь закованный в броню, в шлеме с султаном, в пурпурном плаще с золотом, наподобие королевского, он ехал, окруженный дружиной. Один оруженосец нес за ним щит, другой — лук и стрелы, третий — огромный меч. Нарядно одетая и прекрасно вооруженная свита окружала нового князя, а тот, оперев руки в бока, высоко задрал голову, ехал прямо к замку, окидывая городище пренебрежительным взглядом.

Мшщуй, прицелившись из лука, собирался уже пустить в него стрелу, рассчитав, что она попадет в него, но его удержали. Целая толпа людей, обнажив головы, окружила Маслава, о чем-то докладывая ему и выслушивая его приказания.

Судя по их жестам, можно было заключить, что разговор шел о гати, которую прокладывали к замку с другой стороны. Маслав слушал рассеянно и, почти презрительно отвернувшись от докладчиков, указал в нескольких сажнях от себя, напротив ворот замка место, где должны были поставить палатки для него и для его свиты.

Между тем подъехали возы с княжеским добром и остальная часть придворных. Из городища хорошо было видно, как вбивали колья для палаток, рыли ямы для костров, привязывали коней и приготавливались к ночлегу.

К месту княжеского лагеря тотчас же стала сходить любопытная чернь в самых разнообразных одеждах: приходили с поклонами старшины, с возов снимали бочки и потчевали гостей... Веселый шум доходил до валов замка.

Так наступил темный вечер, может быть, последний перед смертельным боем.

Он должен был скоро начаться.

Белина боялся ночного нападения; поэтому он велел всю ночь поддерживать огонь на валах и, отпустив половину защитников на отдых, другую оставил на страже. В эту ночь никто уже не думал об экономии: на городище тоже открыли бочки с пивом и наварили вдоволь мяса. В главную горницу внизу внесли кадку с медом, чтобы подкрепить и подбодрить людей.

А на женской половине никто уже в эту ночь не прятал и не пел песен. Девушки шептались между собой, женщины плакали или тихонько молились. Поминутно то та, то другая выбегала из горницы, чтобы самим увидеть и услышать что-нибудь новое и, воспользовавшись общим замешательством, перекинуться словом, с кем было надо. Даже Кася выбегала несколько раз вместе со Зданой и, прижавшись друг к другу, заглядывали вниз, в окопы. Но ни Томко, ни Мшщуй не было видно. Крепко обнявшись и склонившись друг к другу, девушки тоскливо шептались, прислушиваясь к далеким голосам и стараясь угадать, кому они принадлежат.

— Слышишь? Это голос моего брата! Я узнала бы его в тысячной толпе!

Кася качала головкой, стыдясь признаться, что она еще раньше, чем сестра, узнала голос Томко, и приветствовала его румянцем.

— А это? Слышишь? — тихонько шепнула она, стараясь отплатить тем же. — Я могла бы поклясться, что это голос Мшщуй Доливы.

Здана, как будто не доверяя, покачала головой.

— А что мне Мшщуй? — небрежно возразила она.

— Ой, неправда! Ты узнала его голос раньше, чем голос Томко!

Но Здана не всегда признавалась в том, что Мшщуй нравился ей, а она ему. В этот день она как-то не верила ему и сердилась на него. Мшщуй стоял на страже и весь день не подходил к ней и не старался встретиться с нею, со вчерашнего дня он словно забыл о ней, и она не хотела о нем знать.

— Э, Мшщуй! — отвечала она. — Время ли теперь думать об этом? Боже мой милостивый! Что-то с нами будет! Эти мужики, эта страшная чернь!

Кася взглянула на нее, и в ее голубых глазах вспыхнул огонь рыцарской отваги, унаследованной ею от предков-рыцарей.

— Мы скорее сами себя уьем, чем отдадимся им в руки! — вскричала она. — Никогда этого не будет! Отец Гедеон говорит, что Бог сотворит чудо и спасет нас, ведь отец Гедеон — святой человек, и Бог не раз говорил через него!

Кася еще не окончила говорить, когда внизу показался Томко. Слова замерли у нее на устах, потому что он взглянул на нее таким пронизывающим взглядом, который проник до глубины ее сердца, даже дыханье у нее замерло.

Здана принялась бранить его за то, что он своим внезапным появлением испугал их обеих, а Кася встретила его улыбкой. В это время наверху, в женской половине, послышался голос Спытковой:

— Кася! Ах, ветренная девчонка! Где же она пропала?

Девушка, вырываясь из объятий Зданы, улыбнулась еще раз Томко и исчезла.

## II

На женской половине все еще спали, измученные долгим бодрствованием, когда их внезапно разбудил страшный шум диких голосов, сливавшийся со стуком и грохотом, от которых дрожал весь дом. Первый звук, долетевший до их слуха, был воинственный призыв к бою.

Грохот сбрасываемых бревен и камней смешивался с криками бешенства, среди которых иногда можно было различить стон раненого или брань рыцарей. На крыши летел град камней, бросаемых из пращей осажденных, а стены тряслись, и все городище гудело от топота ног и беготни вокруг всего замка по мостам.

Слышно было, как целыми толпами защитники срывались с одного места и бежали в другое, туда, где грозила опасность. Иногда весь этот хаос звуков покрывался голосом начальника обороны и тотчас же тонул в море криков. Слышался треск разбиваемых рогаток, гул срывающихся камней и стоны тех, на кого они обрушивались.

Женщины с плачем вскакивали с постелей, набрасывали на себя одежду и, торопливо крестясь, бежали, сами не зная куда, крича, толкая друг друга и почти не сознавая, что они делают...

Только одна Ганна Белинова стояла посреди горницы бледная, но спокойная; она была уже одета и с грустью и жалостью смотрела на

свое испуганное и переполошившееся стадо.

— Они уже ломятся в ворота! — с громким плачем кричала Спыткова, наблюдавшая из чердачного окошка. — Что делать? Боже милосердный! Что делать? Спасайтесь, кто может!

В горницу то и дело вбегали служанки.

— Уже подходят от Ольшанки! — кричала одна. — Перешли через болото!

— Идут всей громадой к воротам! — говорила другая.

— Камни летят градом, а из-за стрел света не видно! — докладывала третья...

— Эмо подстрелили, когда она несла воду; вся запыхавшись, вбежала еще одна, с перепуга она уронила кувшин и разбила.

— Кувшин мой! — прервала ее с жестом отчаянья Ганна Белинова. — Мой хороший кувшин!

Ей не столько было жаль подстреленную девушку, сколько кувшин. Не успела она договорить этих слов, как в горницу вбежала немолодая женщина с заплаканным лицом и окровавленной рукой. Стрелы в ране уже не было, но кровь еще сочилась из нее, а из глаз обильно текли слезы, и от страха она не могла вымолвить ни слова. Здана тотчас же принялась обмывать и перевязывать рану, а Кася помогала ей. Поднялись плач и причитания.

Не успели еще они успокоиться после этого случая, как в дверь постучали. Все со страха отскочили от них.

— Отец Гедеон идет служить утрению! — раздался голос за дверью.

Женщины совсем забыли о службе, а молитва была так нужна теперь их душам! Все принялись торопливо одеваться, чтобы поспеть к утрени. Даже Спыткова, не любившая рано вставать и одеваться, набросила что-то на себя, чтобы идти вместе с другими.

Среди стен, дрожавших от разыгравшегося боя, на своем обычном месте, под легкой крышей, на которую сыпался град камней, отец Гедеон приносил бескровную жертву так невозмутимо спокойно, как будто бы он находился в своем тихом монастыре в прежнее счастливое время.

Во дворе, на открытом возвышении, отзвуки борьбы на валах казались такими громкими и страшными, что перепуганные женщины, едва только вышли из дома, упали на колени и, будучи не в силах

молиться, обратили заплаканные глаза на капеллана, которого, казалось, не волновали ни этот шум, ни грохот камней, скатывающихся с крыш, ни стоны раненых. Старец был весь в молитве и в Боге, душа его витала в ином мире!

Его окружали только женщины и маленькие дети. Все мальчики постарше, как их ни прогоняли прочь и ни удерживали, пошли на окопы метать из пращей и стрелять из маленьких луков — воины не могли от них избавиться.

Среди заплаканных женских лиц выделялось спокойное лицо старой Белиновой и полудетское еще, с широко открытыми глазами и полуоткрытым ртом лицо Каси, дышавшее почти мужским воодушевлением. Она, казалось, готова была каждую минуту сорваться с места, чтобы бежать и принять участие в борьбе. Нахмуренное личико ее горело пламенным гневом и неудержимым желанием бежать туда, где кипел бой. Здана несколько раз с изумлением оглянулась на нее.

— Что с тобой?

— Со мной? Я хотела бы тоже сражаться! — тяжело переводя дыхание, отвечала Кася. — Ах, я так хотела бы сражаться!

Белинова закрыла ей рот рукою.

Борьба казалась тем более страшной, что не видно было, как она происходит, и сюда доносились только отзвуки ее.

Прислушиваясь к ним, молящиеся женщины, девушки и дети старались угадать, с какой стороны исходили эти крики боли и гнева и из чьей груди вырывались.

Все головы поворачивались в сторону замковых ворот, около которых происходил самый ожесточенный бой.

Когда наконец отец Гедеон повернулся и, описав в воздухе большой крест, благословил женщин, детей и тех, кто сражались за них, все женщины с плачем упали на землю... Капеллан уже удалился к себе, а они все еще не решались встать. Только одна Кася вскочила на ноги и, вся дрожа от желания быть там, где разгорался бой, смотрела в ту сторону, где были ворота.

Здана схватила ее за руку и почти силой увела в горницу.

Как завидовала Кася старой Ганне Беликовой, которая, не обращая внимания на камни и стрелы, пролетающие над ее головой и падавшие

во дворе, пошла взглянуть собственными глазами на то, что там делалось, и разделить опасность со своим паном и мужем.

У нее было смелое и мужественное сердце, стойко выдержавшее потерю двух дочерей и одного сына. Из пятерых детей осталось только двое, и один был в эту минуту, наверное, там, где кипел самый жаркий бой, где была наибольшая опасность!

В нижней горнице никого не было: старые, слабые, раненые — все потащились на валы, чтобы принести там посильную пользу. В тот день никто не был там лишним, даже самые слабые могли на что-нибудь пригодиться. Сюда прибегали только раненые, чтобы перевязать рану и остановить кровь, и тотчас возвращались на свое место. Подстреленный Топорчик зубами перевязывал себе рану, из которой обильно текла кровь, торопясь бежать к своим.

Словно муравьи, копошились люди вокруг городища, стремясь взять его приступом. Оставшиеся в долине напирали на передних. Отступление было невозможно даже при желании; огромные бревна и камни, сбрасываемые вниз, в толпу, придавливали напиравших, разбивали им руки и ноги, но им некуда было податься, потому что на них напирали сзади. Живые карабкались по телам убитых и искалеченных, образовавшим целый вал у рогаток.

Маслав, стоя в стороне, приказывал трубить в рог, чтобы поддержали воодушевление. Осаждавшие окружили замок такой плотной стеной, что не было места на валах, где бы не приходилось обороняться.

И даже со стороны речки по наскоро положенным жердям и мосту двигалась толпа, напиравшая с особенным упорством, потому что рассчитывала здесь встретить наименьшее сопротивление. При небольшом количестве защитников участие простого народа могло бы принести большую пользу, но Белина пользовался ими, только разделяя их на маленькие группы, смешивая их с рыцарями и устанавливая над ними строгий надзор. У ворот же не было ни одного простолюдина. Народ же шел неохотно, лениво, с угрюмым видом, понуждаемый угрозами и едва исполняя приказания. Выражение скрытого гнева не сходило с их лиц, и казалось, что они каждую минуту могли взбунтоваться. Они таскали бревна, передвигали камни, носили кипящую смолу, но за ними, как за рабами, все время присматривали старшины.

Вехан и Репец, вертевшиеся в толпе нападающих, давали знаки своим и громко призывали их восстать против осажденных. Бледные лица загорались зловещим румянцем, но руки не осмеливались бросить работу. Белина с мечом в руках не спускал с них глаз. Всякое сопротивление грозило им смертью.

Женщины-простолюдинки с грудными детьми на руках выбегали с распущенными волосами, возбужденные шумом борьбы, к своим мужьям и братьям и призывали их к бунту, но их, как скот, загоняли в сараи, и оттуда доносились только крики и стоны.

Положение было отчаянное и еще ухудшалось с каждым часом. Со стороны речки, там, где только что подсыпали валы и установили новые рогатки, после первого же натиска обломалась большая часть заграждения... Образовалась брешь. Все, кто только мог, тотчас же бросились к этому месту и принялись заваливать его всем, что нашлось под рукой. К счастью, удалось поправить дело с помощью досок и кольев от разобранных строений. Братья Доливы показывали чудеса, работая за десятерых.

Оба они, сварливые и беспокойные в обычной мирной жизни, горячие духом, всегда готовые повздорить и поссориться, теперь оказались дельными, неутомимыми и, несмотря на то что кровь обильно струилась из их ран и стрелы торчали в них, как иглы у ежей, а от камней все тело было в шишках и синяках, ни один из них не охнул и не пошел перевязывать раны.

Каждый удар врага удваивал их силы, они передвигали такие тяжести, каких ни один из них в другое время не мог бы сдвинуть с места, и даже не чувствовали утомления, посмеивались, довольные собой. Глядя на них, старый Белина чувствовал себя счастливым и в самый разгар боя обнял Мшцуя и поцеловал его в голову. Между тем люди, напиравшие на замок со всех сторон, оказались в весьма опасном положении. Довольно большой отряд переправлялся через узкую часть, отделенный от остального войска быстро текущей речкой. Вшебор, присмотревшись к ним, сбежал с валов к Белине.

— Смилуйся, отец! — сказал он. — Дай мне горсточку людей! Много не надо, но дай сколько-нибудь! Выпустите меня через какую-нибудь щель на эту чернь, я их потоплю в болоте!

— Где? Каким образом? — спросил Белина.

— Смотрите, какая узкая гать. Они не рассчитывают на нападение. А если мы на них бросимся, они уйдут. Ведь это не воины и не рыцари, все они взяты от сохи и бороны. Их можно живо разметать в разные стороны.

Белина, подняв руки, защищался и не хотел уступить.

— Ведь пойдете на гибель! Жаль мне вас!

— Вернемся невредимыми, отец; пусти, а то я не выдержу и один брошусь на целую толпу! — воскликнул Вшебор.

Предприятие это в первую минуту всякому могло показаться безумным. Броситься какому-нибудь десятку-двум воинов на толпу в несколько сот людей казалось невыносимым. Но надо было помнить, что весь этот народ, согнанный под городище, был безоружен, одет в рубахи и сермяги и не мог сравниться с вооруженными рыцарями. Вшебор ручался и клялся, что прогонит чернь, если только ему дадут нескольких вооруженных людей на помощь. Для осажденных было очень важно прогнать отсюда нападающих, чтобы обратить все внимание на другие стороны.

Но Белина долго колебался и не давал согласия. Не так-то легко было выпустить отряд охотников из городища.

Главный вход в городище находился с противоположной стороны, а со стороны речки была только небольшая калитка, давно уже забитая и засыпанная, так что ее трудно даже было отыскать среди заграждений. Ее надо было теперь открыть, рискуя тем, что в случае неуспеха чернь прорвется через нее в городище.

Поэтому старый Белина упорно отказывал в своем согласии и готов был бороться в городище до последней крайности, но не пускаться в рискованные и опасные предприятия. Но с Вшебором трудно было поладить, когда он что-нибудь задумывал: он так уговаривал, упрашивал, настаивал, что в конце концов получил разрешение.

И как только Белина кивнул головой в знак согласия, Вшебор полетел, как безумный, сзывать охотников; на его призыв отозвались все пылкие головы.

— Идем пробовать счастья!

Сражаться, стоя в этой тесноте, никому не было особенно приятно, и Вшеборов план вылазки всем вскружил голову. Нападающие, очевидно, не могли ожидать натиска с этой стороны.

Начали открывать калитку, отваливая землю и тяжести, но прежде чем эта работа была окончена, отряд Вшебора стоял уже наготове.

— Здесь не надо мечей, возьмем топоры и дротики, как на диких зверей! — крикнул предводитель.

Охотники схватили топоры и дротики и, прикрытые панцирями, а некоторые, укрываясь за щитами, выбежали из ворот.

Толпа черни, напиравшая на замок с этой стороны, не ожидала вылазки; и в первую минуту, когда открылась калитка, они подумали, что это измена внутри замка и что ее открыл простой народ, желавший соединиться с ними. Они немного отступили из предосторожности... Но в ту же минуту Вшебор с товарищами врезался в самую толпу и принялся колоть и рубить на обе стороны. С валов, по данному знаку, сбросили огромные бревна, а на ближайших начали лить кипящую смолу. А Вшебор с криком напирал на них. Растерявшаяся, перепуганная чернь в беспорядке бросилась к гатям и мосту, но навстречу им шли новые отряды; отступавшие столкнулись с наступавшими, и значительная часть первых, убегавшая от топоров и копий, должна была соскочить в воду и трясину...

Вшебор и его товарищи отлично воспользовались этой первой минутой замешательства и стали напирать сзади еще сильнее. Необузданная толпа всегда склонна бежать по первому примеру. И вот весь этот муравейник вдруг обратился в бегство. Те, которые шли впереди, повернулись и с воплями побежали назад; многие оступались, падали в болото, сталкивались с другими бежавшими в реку. А Вшебор беспощадно бил, рубил топором и несея дальше. Между тем осаждающие, отделенные водой и не видевшие за стенами городища, что делалось с той стороны, даже не догадывались о происходившем и потому не могли своевременно прийти на помощь своим.

Доливы отделались в этом первом столкновении с врагом поразительно счастливо, а что всего удивительнее — они не увлеклись и не забралась слишком далеко вперед. Дойдя до половины моста, они начали рубить его и срывать доски, а покончив с этим, вернулись в замок.

Отброшенная таким образом чернь уже не смела и не могла вернуться и оставалась пока на противоположном берегу. Дерзкой, безумной выходке Вшебора городище было обязано тем, что оборона

могла сосредоточиться там, где скопились главные силы Маславова войска.

Их огромное количество увеличивало только общую суматоху, но не приносило существенной пользы. Большая часть их, стоявшая бездеятельно в долине, теснила своих, бросала камни из пращей, которые часто падали на головы их же товарищей, а подойти ближе не имела возможности. Окопы были завалены трупами и ранеными.

Бревна придавливали людей до полусмерти, но они не могли из-под них выбраться. По их телам и по трупам убитых осаждавшие шли уже не так стремительно, потому что из-за рогаток на них сыпался град камней, а на головы их лилась кипящая смола.

Яростный бой длился до полудня. Маслав, надеявшийся покончить с замком в каких-нибудь два-три часа, приходил в бешенство, наблюдая упорную борьбу защитников, которая стоила им уже столько жизней и отнимала мужество у остальной черни. Тогда, выбрав надежных людей из своего войска, он приказал им подойти к главным воротам, поджечь их и начать рубить.

Но около ворот давно уже были приняты все меры для обороны. Самое их положение облегчало защиту. Главный вход находился в узком проходе, в котором могли поместиться в ширину всего несколько человек.

Белина еще с утра отдал приказ облить водой доски, чтобы они не могли легко загореться.

На верхнем мосту над воротами, защищенном навесом, встали лучшие воины, первые смельчаки из молодежи. Навес охранял их от града стрел и камней, и они, защищенные таким образом от вражеских ударов, могли успешно обороняться отсюда. Тут же были свалены груды камней и толстых бревен, да и рук было достаточно. Маслав, подъехав сам с этой стороны, указывал своим на ворота, побуждая их напирать отсюда; подбежало несколько десятков воинов с липовыми щитами, обитыми кожей, которые были пригодны в поле против мечей, но не могли защитить от камней и бревен.

Их подпустили к самому ущелью среди валов, и они, держа в руках смоляные факелы, успели добежать до ворот, но тут на них сбросили заранее приготовленное бревно, перед которым они не успели отступить. Несколько человек было убито на месте, остальные отошли назад. Видя, что подойти ближе будет трудно, они начали

складывать кучи сухого хвороста, чтобы поджечь его и потом подсунуть к воротам. Но пока они это выполняли, наступила темнота. Стояли самые короткие дни поздней осени, которые еще сокращались хмурым небом; люди были так измучены, что с окончанием дня штурм значительно ослабел. Кое-где еще остались кучки наиболее упорных охотников, но и их ряды уже начинали редеть. Осажденные ждали, как избавления, прихода ночи, хотя они хорошо понимали, что им не удастся отдохнуть и придется попеременно стоять на страже.

Первый день невероятных усилий измучил рыцарство, и многие из них должны были на время оставить свои места на валах, чтобы перевязать раны и отдохнуть; день этот, правда, прошел счастливо, но не нанес неприятельским полчищам существенного ущерба и только довел до бешенства. Для них не играла значительной роли потеря нескольких десятков и даже нескольких сотен людей. Отброшенные со стороны речки, отступив с позором, они пришли в ярость и собирались с новым упорством возобновить наступление.

Вид трупов, лежавших на валах и под валами, пробуждал в толпе жажду отмщения, и, унося их к себе, нападающие осыпали своих врагов угрозами и проклятиями... По языческому обычаю трупы эти сжигались на кострах.

Наступавшая ночь хоть и не усмирила возбуждения толпы, но все же вынудила их сделать временную передышку.

На расстоянии выстрела из лука от валов развели огонь и расположились так близко, что до замка долетали из их лагеря говор, шум, песни и грубая ругань в адрес защитников.

Но в замке не сидели без дела. За целый день боя запасы бревен, камней и стрел почти исчерпались, хотя всем раньше казалось, что их должно было хватить надолго. В пылу сражения люди забывали о необходимости экономии и часто бросали без нужды или делали промахи, и врагу удавалось увернуться.

В городище оставалось уже небольшое количество бревен, досок и камней, рассчитывали, главным образом, на деревянные строения и камни от фундаментов. Старый Белина отдал вечером приказ разнести деревянные постройки. Согнали народ, и при свете смоляных лучин, под наблюдением досмотрщиков закипела работа. К утру надо было приготовить груды бревен, досок, кольев и камней.

Если бы защита продлилась, пришлось бы уничтожить не только все хозяйственные постройки, но и самый дом Белины и жить под открытым небом.

Эта ночь прошла без сна и отдыха: надо было не спускать глаз с внутреннего врага, чтобы они не имели возможности собраться вместе и сговориться, и надо было сторожить на валах и у ворот, чтобы снаружи не подкрался Маслав со своими людьми. В нижней горнице располагались на короткий отдых по несколько человек, которых сменяли другие. Здесь перевязывали раны и кормили воинов, старшие из них укладывались на полу, чтобы дать отдых рукам и ногам.

В некоторых местах, где напор был сильнее, пришлось защищаться не только стрелами и камнями, но также копьями и топорами. Когда чернь карабкалась по трупам своих и достигала уже заграждений, иногда не успевали вовремя сбросить бревно, и тогда приходилось сталкиваться с ними грудь в грудь. Хватали друг друга за волосы и рубились топорами. Старый Лясота, который по слабости здоровья был только на услугах у других, не выдержал, кинулся в самую гущу врагов и был ранен.

В этот день почти все получили раны, но они были неопасны для жизни; у многих были синяки и шишки от камней, но особенно болезненны были раны от каменных стрел. У осаждавших количество раненых и сильно искалеченных было гораздо значительнее. Всю ночь в обширном лагере заметно было движение и какие-то приготовления. В палатке Маслава горел огонь, и все время туда входили и выходили люди.

Во мраке ночи нападающие несколько раз пытались подкрасться к замку, но защитники были наготове и встретили врагов градом стрел. Везде расхаживали часовые. Этот страшный день, наверное, показался более коротким тем, кто провел его в пылу сражения, чем бедным женщинам, вынужденным сидеть без дела и только тревожно прислушиваться к отголоскам боя, пугаясь каждого более сильного шума. Услышав громкие крики, все выбегали посмотреть, не прорвалась ли чернь в ворота и не повалила ли рогаток. Служанки, которые должны были, несмотря на бой, заботиться о приготовлении пищи для всех и разносить ее, постоянно приносили тревожные вести, рисовавшие положение защитников в самом мрачном свете, так что

Кася и Здана как более смелые выбегали и сами старались разузнать правду...

Девушка, казавшаяся такой тихой и спокойной в обычное время, теперь превратилась в героиню, так что Спыткова не верила своим глазам и несколько раз должна была приказывать ей бросить секиру, за которую она хваталась.

А о том, что делалось со старым Белиной, мог бы рассказать только тот, кто ходил с ним вместе. Его видели везде, где кипел самый яростный бой. Он молча поднимался на валы и, размахивая своим огромным мечом, который надо было держать обеими руками, рубил на обе стороны. Из одного места он переходил в другое, где необходимо было его присутствие, и зычным голосом подбадривал сражающихся и побуждал их к новым усилиям.

К вечеру и он сам, и большая часть его воинов едва держались на ногах. Как подкошенные, они падали на землю, тяжело переводя дыхание и набираясь новых сил. Теперь не было недостатка в пище и питье, часы защитников были сочтены, для кого же было беречь запасы?

Вся надежда была на Провидение, как говорил отец Гедеон. Осажденные могли выдержать еще день-два такой осады, но, если бы она продлилась, ничто не могло бы их спасти... Никто не смел говорить об этом громко, но все осознавали это. Старшие украдкой ходили к исповеди и готовились к смерти.

Предчувствие близкого конца и решимость бороться до конца окружали эту горсточку людей, усмехавшихся друг другу и не обнаруживавших своей тревоги перед лицом смерти, ореолом какого-то величавого спокойствия.

Чтобы забыть о том, чем полна была душа, говорили о самых обыденных вещах. Семья, жены, дети, опустошенные усадьбы предков стояли перед глазами обреченных, но мужские глаза не смели проливать слез.

Ласково подшучивали друг над другом, показывали свои раны и рассказывали о происшествиях этого дня. И только глаза их выдавали тайную мысль, какую обменивались между собою римские гладиаторы:

— Мы обречены на смерть!

Всю ночь двери горницы оставались открытыми; одни выходили, другие входили, прислушиваясь, едва успевали присесть или прилечь, как уже надо было уходить.

Большая часть воинов приходила перевязать кровавые раны и угрюмо молчала; покончив с перевязкой, искали места на соломе, чтобы прилечь и расправить онемевшие члены.

— Вот, кому что назначено, тот не уйдет от судьбы, — говорил Лясота, с улыбкой осматривая свои рубцы от старых ран. — Я лежал, как труп, на поле битвы, был уже полумертв, но судьба оживила меня и направила сюда, чтобы я мог здесь во второй раз умереть! Вытащили меня из Гдеча, где я мог бы спокойно закрыть глаза и не страдать больше, а то здесь я только объел Белину и все же должен погибнуть!

Белина тяжело вздохнул.

— Что там погибать! Нам, старым, это еще ничего... А вот молодых жаль: детей ваших, девушек, сыновей.

— Пусть лучше они не видят того, что теперь делается, — раздался голос одного из лежавших у огня.

Это говорил шляхтич из познанских земель, по имени Потурга. Наверное, он не проявлял большого рвения в бою, хотя вертелся повсюду, громко охая и вздыхая, и все критиковал. Подняв голоду, он обратился к Белине.

— К чему еще защищаться? Ведь все равно дело проиграно!

Белина сердито отвечал ему:

— А что же по-вашему? Лучше в петлю влезть, чем погибнуть от топора? Просить у них пощады?

— Что толку биться, когда мы все равно не победили их?

— Ну, так умрем в бою! — весь дрожа от гнева, крикнул Белина.

— Погибаем, потому что мы не можем иначе поступить. Только чернь падает лицом на землю, чтобы вымолить себе жизнь!

Потурга молча качал головой.

— А если вы желаете отправиться к Маславу, то я прикажу отворить для вас ворота или спущу вас на веревках.

В это время из темного угла раздался с полу другой хриплый голос, подхвативший прерванный разговор:

— Что правда, то правда! Надо было сделать так, как раньше советовал Долива, потому что он умно рассуждал. Надо было прорваться из замка и схорониться в лесах.

— А потом? — грустно спросил Лясота.

На это не последовало ответа, но послышались чьи-то тихие шаги, и в слабом свете догорающего пламени все увидели темную фигуру отца Гедеона со скрещенными на груди руками, в черной одежде и маленькой шапочке на голове. На бледном лице его лежала печальная и жалостливая улыбка. Он молча смотрел на догорающее пламя в очаге, но мысли его витали где-то далеко.

Молчали и все окружающие. Наконец монах, как бы отрываясь от своих мыслей, обвел взглядом своих слушателей и проговорил ласковым голосом, в котором звучала непонятная для них веселость:

— Милые мои братья! Роптать на прошлое, в котором все равно ничего уже нельзя изменить, или заглядывать в будущее и огорчаться раньше времени не пристало христианам. Разумнее всех поступает тот человек, который исполняет положенное на сегодняшний день и не заботится о завтрашнем, предавая себя в руки Божии. Именно так вы и поступили сегодня, и день этот был истинно рыцарский, великий и прекрасный! Так неужели же Бог, который смотрит на нас с неба, не увенчает этой святой борьбы за жен и детей полной победой?!

— Эх, батюшка! — иронически смеясь, отозвался из своего угла Потурга. — Эх, что это вы шутите над нами? Если бы и сам Бог вмешался в нашу борьбу, то и он бы нам не помог! Попали мы в западню, и ничто нас не спасет...

Гневный румянец покрыл лицо отца Гедеона во время этой нечестивой речи; он поднял руки кверху.

— Безбожный человек! — вскричал он с возмущением. — Молчи, чтобы не навлечь гнева Божьего на этот дом. Разве для Бога есть что-нибудь невозможное?

Потурга, смеясь, махнул рукой. И кроткий, простодушный капеллан, объятый святым гневом, вдруг стал величественным и грозным, как будто вырос у всех на глазах, и вся его фигура приняла повелительное и пророческое выражение. Он уже не владел собой:

— А я говорю тебе, жалкий человек, что глаза твои еще увидят спасение, и ты, не желавший верить в него, не полагавшийся на Божие могущество, ты один не будешь спасен!

Он грозно указал на него пальцем и умолк. Все, пораженные этими словами, обернулись в сторону Потурги. Отец Гедеон стоял молча, и лицо его понемногу принимало прежнее выражение. Он

поправил шапочку на голове, опустил глаза вниз и, как бы устыдившись своего мгновенного порыва, медленно вышел из горницы.

Потурга сидел с побледневшим лицом, весь дрожа от страха. Скоро поднялся и Белина и, взглянув на него, вышел вслед за ксендзом.

Повсюду на валах горели огни, расхаживали часовые; глухой шум долетал со стороны долины; иногда вырывались отдельные ругательства часовых в ответ на пристаивания подходивших к ним.

Старик-хозяин вскарабкался на укрепленное возвышение над мостом, чтобы взглянуть, что делается в долине. В ночной темноте обозначались красными пятнами догоравшие костры и желтыми — только что разведенные. Почти никто не спал. Мелькали в одиночку и группами черные тени людей; около палатки Маслава глухой шум людского говора сливался с шумом ближнего леса. Внизу еще виднелись неубранные трупы, лежавшие среди бревен и камней. Часовые не позволяли никому подходить к ним и всякую попытку встречали стрелами. Псы с воем бегали среди трупов, вдали слышалось ржание и фыркание коней. Всюду, куда только достигал глаз, виднелись ряды костров, тянувшихся до самой опушки леса, где старые смолистые сосны, подожженные снизу, пылали, как огромные свечи. На черном небе не было даже облаков, только вдали, словно зарево пожара, отражались на нем красные клубы дыма, то разгораясь, то потухая... Белина смотрел на все это с вершины замка своих предков и думал: «Завтра он превратится в груды пепла, а мы, быть может, будем лежать здесь, как вот эти трупы!»

На верхней половине ни одна из женщин не хотела ложиться спать, боясь ночного нападения. Все сидели на земле или на лавках вокруг огня, ни у кого не хватило духу взяться за пряжу. Пальцы не повиновались, ладони дрожали, и, расставленные по углам, печально стояли бездеятельные прялки.

Девушки, сложив праздно руки на коленях, сидели в глубокой задумчивости. О пении забыли и думать и только изредка шепотом переговаривались между собой. Только неугомонная Марта Спыткова своими жалобами и ропотом еще увеличивала печаль своих товарок.

— О, если бы я только это предчувствовала! — вздыхала бедняга. — Если бы я только знала, что меня ожидает в этой

несчастной стране, никогда бы я не согласилась увезти себя из Руси. За меня сватались князья и бояре, жила бы я в каменных палатах, в полной безопасности, в Киеве златоверхом либо в Полоцке, либо в Новгороде, хотя этих самых новгородцев и называют повсюду плотниками! А здесь! Здесь!

Она вздернула плечами.

— За грехи мои пришлось мне здесь жить!

— Да разве на Руси не бывает войны? — несмело спросила Здана.

— Да уже не так, как у вас, — возразила Спыткова. — Иной раз побьются варяги с нашими, порубятся друг с другом в поле, а нам, женщинам, какое до этого дело. Мужчины выходят из замков, выезжают в долины, а в замках все спокойно!

Никто не прерывал повествования Спытковой, но вдруг Здана, которая проскользнула на темный чердак и выглянула в окошечко, громко вскрикнула.

Все, шумя, вскочили с мест.

В замке поднялась какая-то странная суматоха и беготня. Сквозь щели чердачных стен виднелось где-то близко огромное зарево, видно было, как в воздухе летали искры.

— Пожар, пожар! — кричала Здана.

Все бросились к дверям:

— Огонь! Пожар!

Шум во дворе замка все увеличивался.

Действительно, пожар был внутри городища. Подоженные руками злодеев горели сараи. А так как все хозяйственные постройки соприкасались между собой крышами и ветер раздувал пламя, то пожар угрожал и главному строению, мостам и рогаткам, составляющим всю защиту замка.

Чернь, притаившаяся под валами в ожидании этой минуты общей растерянности, теперь выскочила и с громким криком бросилась на окопы.

Стены сараев, сложенные из сухого хвороста, солома и сено под ними горели, как огромный сноп яркого пламени. Одни бросились тушить огонь, другие должны были защищать заграждения на валах, на которые напирала осаждающие.

Казалось, что настал уже последний час. Оставалось только или погибнуть в огне, или отдаться в руки дикой черни. Белина с горстью

защитников, не теряя мужества, тушил огонь, а Томко с Доливами побежали на валы.

И снова бой закипел, как в аду. Треск обрушивавшихся балок сопровождался дикими воплями черни.

Но, как будто бы Бог, сжалившись над отчаянными столами несчастных, захотел прийти им на помощь — вдруг полил обильный дождь, затушивший пожар гораздо скорее, чем это сделали бы люди. На валах продолжали сбрасывать последние бревна и камни, а под конец выхватывали с пожарища горящие головни и бросали их в толпу осаждающих.

Убедившись в том, что огонь, на который они так рассчитывали, уже угасал, обманутые в своих надеждах нападающие начали понемногу отступать и прятаться от ливня. А с неба продолжал литься этот дождь милости и чуда Божьего, как будто вызванный молитвами отца Гедеона.

Бедные женщины нескоро оправились после этого испуга. Некоторые из них упали без сознания и долго пролежали, не приходя в себя. Спыткову пришлось положить на ее постель и приводить в чувство водой. Крики женщин были так ужасны, что Белина два раза посылал к ним с угрозами и приказаниями не отнимать мужества у защитников и быть повоздержаннее.

Уже светало, когда пожар стих, и в это же время начал затихать и дождь, и, что очень редко случается в позднюю осень, к утру поднялся ветер, разогнал густые тучи и очистил небо. День обещал быть ясным и солнечным.

Что это было? Предзнаменование или злая насмешка судьбы? Над долиной стлались клубы дыма; переполненная дождевой водой речка и болота казались одним огромным озером. Видны были подхваченные водой и рассыпавшиеся стоги сена, заготовленного для лошадей. Стада уходили в лес, люди бродили в воде и грязи. Блеск восходящего солнца отражался в лужах на лугу. День все разгорался.

— На валы! К рогаткам! — кричал старый Белина.

Все поспешили на свои места, а старик-хозяин снова пошел на мост взглянуть, что делается...

А делалось что-то такое, чего нельзя было даже понять.

Хоть и день уже настал и солнце всходило и во всем лагере чувствовалось особенное оживление и движение, но оно было, по-

видимому, направлено к иной цели. На замок не обращали уже внимания. Палатка Маслава была видна, как на ладони. Здесь седлали коней, поспешно собирались люди и что-то делали около палатки, как будто хотели сложить ее. Одни выбегали оттуда, другие галопом подъезжали к ней... Трубили в рога и сзывали войско.

Группы людей, еще вчера бродившие в беспорядке, теперь устанавливались и образовывали правильные отряды. Не слышно было больше ни криков, ни угроз, вся чернь была поглощена какими-то спешными приготовлениями. И даже те, которые провели всю ночь под валами городища, побросали потухшие костры и присоединились к остальному войску в долине.

Вечером и ночью перед ливнем Собек подсмотрел и подслушал, что на речке и через трясину собирались проложить новые гати и мосты. Теперь же Белину известили, что работу эту бросили, а всех людей взяли оттуда. Что могли означать эти неожиданные сборы в долине, беспокойные передвижения и особенно это равнодушие к осажденному замку — об этом никто не мог догадаться. Одним хотелось видеть в этом обещанное чудо, другие боялись нового приступа, более подготовленного и лучше обдуманного. Эти необъяснимые передвижения и группировки внушали защитникам тем большую тревогу.

Когда взошло солнце, палатка Маслава была уже увязана и положена на воз. А сам он в том самом наряде, в котором он появился перед замком в первый день, выехал с дружиной в долину. Объезжая отряды своего войска, он как будто делал им смотр и отдавал приказания.

Вчера еще шумливая и дерзкая чернь теперь казалась молчаливой и чем-то подавленной. Около городища никого не оставили, так что измученные защитники могли спокойно отдыхать до того момента, когда их призовут к бою.

Этим временным затишьем воспользовался старый вождь, приказывая сносить наверх доски и бревна, уцелевшие от пожара, чтобы заранее подготовиться к новой осаде.

Все вздохнули свободнее. Особенно женщины, у которых вообще легко сменяются тревога и веселье, печаль и улыбки, подбодрились и оживились надеждой.

Томко нашел время навестить мать и Здану, а так как Спыткова еще не оправилась после вчерашнего перепуга и лежала, то Кася очутилась в соседней горнице наедине с Томко и его сестрой. Его бледное лицо со следами крови от свежих ран пробудило в девушке чувство, которое выразилось в открытом и смелом взгляде.

— Ой, — со смехом говорила Здана, — кто бы мог поверить, что это слабая Кася вчера несколько раз хваталась за секиру, и ее пришлось силой удерживать!

Стыдливая Кася, смутившись тем, что тайна ее была обнаружена, зарумянилась, отвернулась и даже глаза рукой прикрыла, собираясь отпираться от приписываемого ей поступка, но стоявшие тут же девушки подтвердили слова Зданы, а Томко взглянул на нее с радостью и гордостью.

— Если Бог чудом спасет нам жизнь, — обратился Томко к сестре, — нам будет о чем вспоминать. Что тут говорилось, что мы пережили, трудно будет потом поверить!

— О, это правда, — говорила Здана, приходя на выручку Касе, которая отвечала ему только взглядом. — Мне и теперь все кажется каким-то сном! Я и сама не знаю, сплю я или грежу наяву.

Кася качала головкой и то бросала на Томко смелый взгляд, то опускала ресницы, то снова вызывающе смотрела на него, но, встретив его взгляд, тотчас же теряла самообладание.

— Очень вам больно от ран? — спросила она тихо, желая хоть что-нибудь сказать.

— Нет, — отвечал Томко. — Что же это за раны! Больно мне только то, что вам у нас так беспокойно жить, что вы даже беретесь за секиру...

Зарумянившаяся Кася покачала головой, и длинная золотая коса обвернулась вокруг ее руки. Она взяла эту косу и стала играть ею.

— А без вашего гостеприимства, — сказала она наконец, — нам бы пришлось, пожалуй, умереть с голоду в лесу!

Здана, наблюдая их лица, улыбки и взгляды, вспоминала о неблагодарном Мшцуе. Она потихоньку спросила о нем у брата, который глаз не спускал с Каси. И у него было такое странное чувство, как будто чернь и не подходила еще к замку и ничьей жизни не грозила ни малейшая опасность, и как будто на свете была весна и полное спокойствие. Забыл обо всем и таким блаженным себя чувствовал...

— Ах, когда же это наконец окончится? — вздохнула Кася. — Я не боюсь! Ведь отец Гедеон говорил, что Бог сотворит чудо!

— А для меня даже если все счастливо закончится, никогда не будет счастья, — отозвался тихо Томко. — Как настанут лучшие времена, вы уедете от нас далеко, а с вами...

Кася в испуге отшатнулась от него и схватила Здану за руку, так что Томко не решился договорить.

Девушки обменялись взглядами. Хорошая сестра прижала Касю к себе и вместе с ней подошла к брату.

— Послушай, что Томко говорит тебе, — настойчиво сказала она, — я ручаюсь за него, что он говорит правду. Я его знаю!

Остальное она договорила на ухо Касе. Та пятилась назад, как будто не желая слушать, а сама улыбалась, довольная.

— А вдруг мама подслушает да увидит нас! — живо говорила она. — Я боюсь...

— Только бы Бог помог покончить с этим, — торопясь высказаться, начал Томко, — если, милостивая пани, ваша матушка не захочет меня выслушать... если мне откажут отдать вас, то видит Бог, хоть бы силой пришлось увезти, а будешь моя!

Выговорив это, Томко повернулся и выбежал. Кася с испугом оглянулась вокруг — не подслушал ли кто... Но слышала только Здана, а та поцеловала ее в лоб и молча крепко обняла.

Между тем над воротами собрались на совет все главные защитники замка.

— Что с ними случилось? Что это значит? — говорили все. — Чего они там собираются и строятся в отряды? Почему оставили нас в покое? Что делается там в долине?

— Это все хитрости черни! — говорил подозрительный Лясота. — Они хотят успокоить нас, чтобы потом напасть на нас неожиданно и разбить. Не верю я, чтобы они так легко отступились.

— И все свои трупы оставили, — прибавил Топорчик. — Даже костров не развели, так и побросали их.

— Они, должно быть, считают нас за глупцов и думают, что проведут нас, как малых детей, — сказал Белина.

— Кто знает, что надумал Маслав, — говорил Вшебор Долива. — Одно только верно, что по доброй воле они нас не оставят.

Гадали и рядили, но никто не понимал того, что творилось во вражеском лагере и почему вчерашний штурм так внезапно сменился сегодняшним миром... Отец Гедеон также вышел на мост посмотреть.

— Отец Гедеон, — закричали ему со всех сторон, — ты, наверное, скажешь нам, что это значит!

— Я не военный человек, — спокойно возразил капеллан, окидывая взглядом долину, — одно только я знаю и вижу, что, если Бог захочет кому-нибудь оказать милость, тому он посылает с неба неожиданную помощь... Во время пожара — ливень, а для усталых — отдых. Бог велик!

В то время как одни начинали успокаиваться и надежда проникала в их сердца, другие были охвачены отчаяньем и тревогой. Простой народ, вчера еще грозивший и упорствовавший, убедившись утром в отступлении полчищ Маслава, начал роптать и проклинать тех, кто обманул их надежды.

Разделенные на небольшие группы, они сидели в окопах угрюмые и погруженные в себя. Только женщины и дети, оставшиеся во дворе, громко плакали. Все боялись мести со стороны рыцарей, проклинали своих и напевали потихоньку погребальные песни. И они все не могли понять, что означало это внезапное успокоение после вчерашней битвы, когда ослабевшее городище уже не могло бы защищаться...

Вчерашний шумный лагерь затих, и только иногда порыв ветра доносил в замок звуки рога или неясный гул, смешанный с шумом леса.

Но толпы черни не ушли совсем; лагерь расположился на опушке леса и, казалось, чего-то ждал. Сначала в замке думали, что ждут новых подкреплений, но они были вовсе не нужны для взятия городища, потому что и так осаждающих было более чем достаточно.

Сам Потурга, еще вчера отказывавшийся верить в чудо Божие и в возможность Божьего могущества спасти осажденных, стоял в задумчивости и не знал сам, чему все это приписать. Вчерашнее пророчество отца Гедеона пугало его, как угроза, и при одном воспоминании об этом он чувствовал холод во всем теле.

— Вот теперь, — невольно вырвалось у Белины, — как раз бы пригодился этот хваленый Собек Спытковой.

Старый слуга, стоявший неподалеку у стены, усмехнулся и подошел с низким поклоном.

— Пусть только немного стемнеет, — сказал он, — и если все останется без перемены, то я спущусь с валов и поползу.

Во и к вечеру все оставалось по-прежнему. В долине движение толпы черни еще усилилось. Во мраке из леса показался еще новый отряд, встреченный приветственными кликами, и присоединился к остальным.

Все, умевшие различать людей по одежде, уверяли, что это пруссаки, это подтверждал и Вшебор. Но другие стояли за поморян. Отряд этот расположился отдельно.

По-видимому, на сегодняшнюю ночь городищу ничто не угрожало.

Расставив стражу на валах и у ворот, рыцари ушли в горницу на отдых.

Собек исчез с наступлением мрака.

В этот вечер не было ни споров, ни разговоров, все улеглись, где кто мог, счастливые одной возможностью забыться сном. Только стража менялась, и одни вставали и шли на смену, другие приходили на отдых. В городище было так тихо, что делалось даже страшно. Женщинам то и дело казалось, что пожар и крик снова разбудят их, как в ту ночь.

Перед рассветом, когда старшие, которые не нуждаются в длительном сне, проснулись, а молодежь еще спала каменным сном, старый Собек неожиданно появился в горнице и принялся разводить потухающий огонь, потому что и ему надо было согреться.

Белина увидал его и поспешил подойти к нему.

— Это ты? — спросил он.

— Я сам, милостивый пан, как видите! Только вот весь испачкался, ползая по земле.

— А какие вести принес?

— Да почти что никаких! — вздохнул смутившийся Собек. — Мне удалось подкрасться под самые палатки, но я ничего не мог разузнать. По-видимому, там ожидают какого-то неприятеля. Но кого? Откуда? Невозможно узнать. Люди Маслава ходили по всему лагерю и всем говорили, что сюда тащится какой-то небольшой отряд и что они его раздавят, как червяка. Со вчерашнего дня поят всех пивом, велено не бросать оружия и не ложиться, а держаться всем вместе...

Собек был, видимо, сконфужен и огорчен тем, что ему не удалась вылазка и что он вернулся ни с чем. Его спросили, не говорят ли о городище.

— Они с нами совсем не считаются, — возразил старик. — Говорят, что возьмут, когда захотят, и нисколько об этом не беспокоятся. Им теперь важно разбить неприятеля, которого они поджидают.

Посыпались догадки о том, кто бы мог быть этим неприятелем Маслава, избегавшего борьбы с чехами. И все сходилось на том, что это, наверное, какая-нибудь часть уцелевшего польского рыцарства.

— Если это те, с кем мы встретились, — заметил Вшебор, — и кого ведет старый Трепка, то мы выиграем только то, что, прежде чем погибнем сами, увидим собственными глазами их поражение и гибель.

Запечалились рыцари при этих словах.

— Но не может быть, — прибавил, помолчав немного, Долива, — чтобы они решились идти с такими силами против всей черни.

— А если они ничего не знают и попадут в западню, а вся чернь бросится на них? — сказал Лясота.

Вшебор не сразу ответил.

— Оборони Боже, — промолвил он сумрачно. — Все о храбрые воины, знатнейшее рыцарство, но не может один идти против ста или даже двухсот — это возможно только в сказке. Как бы они ни были храбры и хорошо вооружены, но, свалив десятерых, каждый из них в конце валится и сам.

У всех вырвался невольный вздох.

— А разве Трепка собирался ехать именно в эту сторону? — спросили Вшебора.

— Да и не думал даже! Напротив, когда я просил его об этом, он отказал мне.

— А кроме них, кто же это может быть? — спросил Лясота. — Мы о других не слышали и не знаем.

— Да ведь и о Трепке мы не имели никаких известий, — возразил Долива, — а он вот нашелся. Почему же и другим не прийти сюда? Только трудно допустить, чтобы кто-нибудь шел, ничего не зная о Маславе, или, зная о нем, вздумал бы померяться с ним силами. Посчитайте-ка, сколько этого народа пришло сюда!

— Да ведь это чернь! — сказал Белина.

— А среди черни есть и вооруженные и обученные Маславом, — говорил Долива. — Сама по себе эта шушера ничего не значит, но, соединившись с воинами, она будет страшна!

Так печально совещались между собой рыцари. Собек отошел от них с опущенной головой, бормоча что-то про себя, очень недовольный самим собою. Радость и успокоение, овладевшие всеми сердцами утром, теперь сменялись опасениями. Мукам осажденных не предвиделось конца, никто уже не смел надеяться на освобождение и улучшение судьбы. Тяжесть придавила сердца. Друг перед другом старались не обнаруживать своих чувств, но взгляды их говорили ясно о потере всякой надежды на спасение. Долго ли придется им еще мучиться ожиданием и неизвестностью?

Между тем в долину спускался тихий, спокойный морозный вечер, небо заискрилось веселыми звездами, а вдали загорелись костры, от которых поднимались над лесами целые столбы дыма. Лагерь гудел, как пчелиный улей, в ясном воздухе слышалось ржание коней и звуки рога.

Все темнело небо, все ярче сверкали звезды — настала еще одна ночь без сна и отдыха.

### III

Под утро часовые на валах зорко всматривались в долину: не двинутся ли полчища на городище. Но они стояли по-прежнему на том же месте, что и вчера, и ждали приказаний. Всадники отвели коней от стогов и держали их около себя, несколько посланных поскакали в разные стороны. Наступил ясный и морозный день, покрывший инеем деревья и траву. По мере того как солнце поднималось кверху, белая пелена инея таяла и исчезала.

В замке все были полны тревожным ожиданием, только отец Гедеон в обычную пору совершил богослужение, а по окончании его встал на колени перед алтарем и долго молился.

Он еще стоял на коленях, когда до слуха его долетели крики с валов и мостов городища.

Вдали заметили выдвинувшееся из леса, широко раскинувшееся войско, которое шло навстречу полчищам Маслава.

Но можно ли было назвать его войском?

Это был скорее сильный отряд вооруженных рыцарей, в которых защитники сразу узнали своих.

По численности он не мог равняться с теми, которых привел с собою Маслав, но все это рыцарство имело совсем иной, более блестящий и как будто чужеземный, облик, и шло оно как будто за процессией, в торжественном молчании и спокойствии.

У Маслава было не более двух сотен вооруженных и обученных воинов; все же остальные — простой народ в сермягах, с палками и обухами, без всяких доспехов, которые могли бы их защитить от ударов копий и мечей, войско это могло быть страшно только своей многочисленностью.

Отряд же, показавшийся из леса, весь состоял из людей, вооруженных с ног до головы, причем почти все они были на конях.

Лясота и Белина узнали на одном крыле по доспехам и пикам с маленькими треугольными знаменами, по шапкам с кованым верхом, над которыми развевались султаны, какое-то немецкое войско.

В центре отряда несколько всадников в блестящих панцирях, со щитами в руках, в рыцарских поясах окружали и заслоняли собою кого-то, в ком легко можно было отгадать главного начальника отряда.

Здесь развевалось новое знамя с каким-то раскрашенным гербом. На древке знамени блеснул золотой крест.

Оба старых рыцаря не могли удержаться от слез при воспоминании о временах Болеслава Великого, когда насчитывались тысячи таких рыцарей. А теперь от них уцелела только небольшая горсточка.

Когда войско это, выйдя из леса, стало устанавливаться широким полукругом, как бы готовясь к бою, — зашевелились и полки Маслава. Раздались звуки рога, а самозванный князь стал объезжать отдельные группы своего войска, обозначая места, где они должны были стоять.

Желая поразить неприятеля численностью, он рассыпал своих людей на огромном пространстве; все громче и яростнее звучали рога, и толпы черни колебались, как рожь в поле под напором ветра. Но все стояли неподвижно на месте.

А железная стена против них тоже молчала и не двигалась.

Из леса выходили и примыкали к ней все новые шеренги и так же безмолвно, как первые, выстраивались позади. Здесь не слышно было звуков рога, люди стояли, как бронзовые статуи.

А со стороны Маслава поднялся шум и крики, замелькали в воздухе палки, угрожая неприятелю и вызывая его на бой.

И вот наконец дрогнули ряды рыцарей, опустились пики, заколебались султаны, зашелестело знамя, зазвенели доспехи, и весь отряд ринулся, как один, сначала рысью, потом вскачь, в самую гущу полков, которые вел в бой сам Маслав.

Толпы черни тоже двинулись им навстречу, но несмело и неохотно.

Между тем закованные в броню рыцари, рысью спустившись с пригорка, врезались в толпу, которая, не выдержав первого же натиска, отступила и разбежалась в разные стороны.

Однако растерянность продолжалась недолго. Маслав со своей дружиной в свою очередь бросился на врага. Все смешалось, сплелось вместе, и началась борьба мечей и топоров, пик и палок.

В центре своих Маслав мужественно сражался, напирая с высоко поднятым мечом на ту группу, которая окружала, по-видимому, вождя этого отряда.

Три раза бросался Маслав и отступал под ударами мечей... Первые ряды его воинов уже пали, сраженные мечами и пиками рыцарей, но другие упорно шли в бой, хотя и здесь уже видны были пробоины и чувствовалось, что и эти не выйдут живыми.

В то время как около обоих вождей шел настоящий бой, на флангах небольшие отряды вооруженных рыцарей, врезавшись в пеших воинов Маслава, разбили их ряды и гнали в лес, продолжая работать мечами и пиками.

Здесь царило такое замешательство, что никто уже и не думал о защите: толпа черни, только для виду увеличивавшая войско Маслава, спасалась бегством в леса, предоставляя своего вождя с его немногочисленной дружиной собственной судьбе.

Но молодые, едва обученные воины Маслава не могли сравняться с привыкшими к боям и шедшими в сражение, как на веселую охоту, польскими и немецкими рыцарями. Они не отставали от своего вождя и бились храбро, но вдруг неожиданно поворачивали, отступали, потом возвращались с отчаянием, и было очевидно, что холодное мужество железных людей брало верх.

Когда толпа черни с криками бросилась к лесу и исчезла в нем, а два главных отряда еще продолжали упорную битву, в которой трудно

было угадать, кто останется победителем, в городище Вшебор, Топорчик, Канева и еще несколько молодых и пылких рыцарей, не спрашивая разрешения у старого Белины, покинули свои посты.

Невозможно было удержать их.

— На коней! — крикнул Вшебор. — Мы нападём на них с другой стороны. — На коней, на помощь нашим!

— На коней! — пронёсся призыв по всему городищу.

Все, кто только мог, бросились в конюшни седлать коней, о доспехах нечего было заботиться, потому что с самого утра все были готовы к бою.

С конями справились быстро, не было времени особенно украшать их — перебросили кусок сукна вместо седла — да взнуздали...

Белина молча смотрел на эти приготовления и своим молчанием как будто давал разрешение — разве мог он запрещать, когда сердце его стремилось навстречу к своим? К охотникам примкнул и сын его, Томко. Открыли ворота, и старику едва удалось уговорить небольшую горсточку охотников остаться в замке, чтобы не оставлять его совсем без защитников.

Отряд Маслава, боровшийся с польскими рыцарями, был обращен тылом к городищу и, вероятно, не ждал вылазки оттуда. И только тогда, когда за их спинами послышались конский топот и воинственные крики, часть его обернулась навстречу мчавшимся охотникам. Маслав, окруженный железным кольцом, не покинул поля битвы и продолжал отчаянно защищаться.

С окровавленным мечом, с пылающим лицом он перебрасывался от одной группы своих воинов к другой, оказывая помощь там, где силы начинали слабеть.

Вшебор, добравшийся до него, чтобы сразиться с ним лично, никак не мог его настигнуть. Их разделял ряд воинов Маслава, заслонявший своего вождя.

— Ах ты, рыжий пес! — кричал во все горло Долива, подскакивая с пикой к Маславу. — Иди сюда, рыжая собака, иди, не трусь, померяемся с тобой силами!

— А ты, змея, — возразил Маслав, заметив его, — я еще должен поблагодарить тебя за службу! Иди сюда, смердящая лиса, что умеет

подкрадываться к курятнику! Иди, иди! Посмотрим, сумеешь ли ты так биться, как умеешь ползать!

— А ты, пастуший сын, — отвечал Долива, — где же ты оставил свое стадо?

— Постой, паршивец, вот я тебе дам пастушьим бичом! — верещал, наскокивая на него, Маслав.

Так они ругались и срамили друг друга, стремясь сойтись в боевой схватке, но каждый раз, когда Маслав приближался к Вшебору, на него напирала сзади, и он должен был обороняться оттуда. А Долива все время вызывал его.

— Ну что же ты, улитка? Чего копаешься! Я тебя!..

Наконец, выбравшись из сечи, Маслав стал лицом к лицу с Доливой, но вместо пики у него оставался только обломок ее, который он, размахнувшись, бросил во Вшебора, но только оцарапал ему плечо. В свою очередь Вшебор бросил в него дротиком и поранил коня в шею.

Они были так близко друг от друга, что теперь уж исход битвы зависел от мечей. У Маслава был огромный двусторонний широкий саксонский меч, который он, держа его обеими руками, направлял на Вшебора, с намерением перерубить тому шею. В ту же минуту Вшебор, замахнувшись своим мечом, отбил удар, меч заколебался, но не выпал из рук Маслава. Мазур с проклятиями снова подхватил его и, понукая коня, приготовился ударить Вшебора.

Но именно в эту минуту Вшебор, более ловкий и быстрый, ударил его в бок своей пикой. Удар Маслава был этим ослаблен, но все же пришелся по шее Вшебора, и из нее брызнула кровь.

Они продолжали бы свое единоборство, потому что Долива не чувствовал потери крови, но дружина Маслава, защищавшая его сзади, рассеялась под натиском поляков и немцев. Он обернулся, услышав их крики и, заметив, что с ним осталась всего небольшая горсточка людей, испугался и, повернувшись, ударился в бегство с такой быстротой, что Вшебор не успел даже пуститься за ним в погоню. Под ногами коня лежали трупы и раненые, что еще более затрудняло погоню. Долива наудачу бросил ему вслед копьем.

Ужасны было замешательство и последняя, почти безумная, борьба черни. Даже железное рыцарство изменило своему хладнокровию и добивало без пощады всех, упиваясь кровью...

В долине видны были только отдельные группы пеших и конных воинов, торопливо уходивших от настигавшей их погони.

В последних отчаянных схватках погибали воины Маслава.

Некоторые раненые падали с коней, другие цеплялись за их шею, третьи шли пешком, истекая кровью, то и дело припадая к земле, снова с усилием поднимаясь и проползая несколько шагов, пока не падали в последний раз лицом в землю.

Маслав со своей дружиной пробирался сквозь ряды рыцарей и громким, полным отчаяния и гнева голосом стал сзывать беглецов, приказывая трубить в рога и собираться вместе. Ему удалось сплотить вокруг себя уцелевших, и он еще раз ударил с ними на рыцарей, число которых было так невелико, что мазур не боялся сразиться с ними.

Но это последнее усилие продолжалось недолго: из городища выехал свежий отряд воинов, который так стремительно напал на мазуров, что вся их толпа рассеялась и разбежалась... Видно было, как сам Маслав повернул коня и пустился в лес, а его примеру последовали и все его соратники.

Отъехав на некоторое расстояние, князь остановился на пригорке и поднял окровавленный меч.

— Ни одна душа не уцелеет у вас! — кричал он. — Залью вас, засыплю, не пощажу никого! Еще я вернусь к вам, вы меня увидите! Будете висеть на одном суку вместе с вашими немцами и псами!

Весь пылая яростью, осыпая врага проклятиями, он только тогда повернулся и поехал прочь, когда к нему бросилось несколько рыцарей. Вместе с уцелевшими воинами он скрылся в лесу.

Победа осталась на стороне рыцарства, которое, подняв руки кверху, громко восклицало: «Осанна!»

Только теперь Вшебор мог подъехать поближе и присмотреться к тем мужественным рыцарям, которые, несмотря на свою малочисленность, не побоялись напасть на Маслава...

Большая часть воинов сошла с раненых коней и прилегла на землю, некоторые же снимали шлемы и прятали в ножны окровавленные мечи... Лица их горели воинственным жаром и радостью победы.

Не успел еще Вшебор поравняться с ними, как воины, стоявшие в центре группы, расступились, и глазам его представился королевич, а теперь король Казимир.

Его окружали поляки и немцы, поздравляя с победой, которая являлась добрым предзнаменованием.

Но, опустив глаза в землю, как будто задумавшись или творя тихую молитву, Казимир стоял, не обнаруживая особенной радости.

Его юное, прекрасное лицо носило уже следы испытаний и разочарований в жизни и в людях, преждевременных огорчений и замкнутой монастырской жизни и было лишено выражения юной веселости и непринужденности. Он казался преждевременно созревшим и как бы состарившимся. Но во всей его фигуре выражалось королевское величие, смягченное христианским смирением и соединенное со спокойствием духа и мужеством.

Высокий, статный, гибкий и сильный, Казимир отличался матово-бледным цветом лица при черных выразительных глазах, оттененных длинными ресницами. Темные волосы густыми локонами падали ему на плечи.

Это был истинный рыцарь, но в рыцаре виден был в то же время вождь и король. И теперь этот человек, облеченный такой великой властью, печально стоял на месте своего первого сражения после первой своей победы.

Среди немецких воинов и своей верной польской дружины он, младший из них, выглядел истинным паном и королем, хотя меньше всего желал это обнаружить.

И наряд его при всем своем великолепии отличался скромностью.

На нем был короткий кафтан, на панцире его были нашиты большие металлические бляхи, блестевшие на его груди. К рыцарскому поясу, украшенному драгоценными камнями, был подвешен двусторонний меч, а рядом на цепочке висел другой, небольшой, с украшениями и золотой рукояткой. Такие же металлические бляхи были и на ногах, а на левой ноге виднелась длинная и остроконечная шпора.

Юноша-оруженосец, стоявший за ним, держал прекрасный щит, блестевший золотом. По краям его золотые гвозди на пурпурном фоне производили впечатление звездочек. Другой оруженосец держал огромный обоюдоострый меч — знак королевской власти.

Казимир снял с головы золоченый шлем без перьев с опущенным забралом, закрывавшим верхнюю часть лица, — и черные локоны,

рассыпавшись по плечам, загорелись золотым отливом под лучами солнца.

На шее у молодого короля виднелся на золотой цепочке крестик с реликвиями, которым благословил его при отъезде из Кельна его дядя.

Взгляд Казимира блуждал по полю, усеянному трупами.

Вид этот, может быть, был приятен для рыцарского самолюбия, но в человеческом сердце он пробуждал печаль. По всей долине, до самой опушки леса, лежали целыми кучами и в одиночку уже застывшие тела убитых, израненные, растерзанные, с торчавшими в них стрелами и копьями. Там и сям среди них поднимались головы умирающих, делавших последние усилия, чтобы сдвинуться с места, и бессильно падавших на землю. Среди людских тел лежали и конские трупы, бродили искалеченные лошади, а уцелевшие — с чисто животным равнодушием — паслись тут же, обрывая примерзшие и засохшие стебельки.

Из всех громадных полчищ людей остались только те, которые не были убиты во время бегства. Пруссаки раньше других, после первого же неудачного столкновения с железным рыцарством, отступили поспешно к лесу и больше не вернулись. Многие из них утонули в глубокой воде разлившейся речки, другие попали в трясины и, не умея выбраться из нее, погибли, изрубленные мечами рыцарей.

Но и в войске Казимира почти никто не уцелел от ран. Все были избиты и окровавлены, но остались живы, потому что их защищали панцири и щиты. Теперь они сошли с коней и воткнули в землю поломанные пики, а тяжелые шлемы снимали с головы.

Вшебор, заметив того, кому он был товарищем в детстве и в более позднее время придворным и слугою, с радостью поспешил к нему. Лицо его светилось счастьем и невыразимой радостью.

Для него появление короля было признаком близости победы.

По-видимому, и Казимир еще издали узнал его. Подбежав к нему, Вшебор припал к ногам короля, сидевшего на коне, и радостно воскликнул:

— Ты ли это, милостивый государь! Какой счастливый день!

От волнения он не мог больше говорить.

В это время подбежали и другие: Мшщуй, Канева и наконец особенно любимый королем Топорчик. Все они с восторженными восклицаниями, с радостными лицами обступили короля.

— Привет тебе, привет тебе, наш дорогой государь!

Казимир, видя эту радость, весь зарумянился, слезы волнения выступили у него на глазах, и, широко раскрывая объятия, он произнес:

— Привет вам, дети мои! Дай бог, чтобы этот день послужил добрым предзнаменованием для нас и для всего королевства. Аминь.

— Ты с нами, дорогой государь! — в восторге кричал Топорчик.

«Ты с нами — и счастье будет с нами. Нам тебя недоставало».

«Все разваливалось без государя и без головы! Теперь все изменилось, вернутся лучшие дни!»

— Дай Боже! Но это будет нескоро, мы сами должны их вернуть! — серьезно выговорил Казимир. — Все в Божьей власти.

Крики и шум не смолкали, и, казалось, радость была всеобщая, но тот, кто всмотрелся бы внимательнее в лица людей, окружавших Казимира, и заглянул в их сердца, заметил бы там тревогу, беспокойство и неуверенность.

Изгнание короля лежало на совести у многих из тех, что его окружали. Они боялись мести своих врагов и самого короля, вспоминая свою вину, и не верили, чтобы король мог забыть о них.

В самом лагере Казимира, в замке Белины много было таких, которым голос народный ставил в вину, что они попались на удочку козней Маслава. Те держались в стороне, смотрели недоверчиво и боялись будущего.

Так радость одних смешалась с опасениями других и завистью к тем, которые остались верны Казимиру и теперь могли ждать награды.

В лагере его и теперь чувствовалось то же тайное раздвоение, которое было причиной изгнания сына Рыксы.

В минуты радости на поле битвы после одержанной победы все споры и разногласия были забыты, но завтра они снова могли возродиться.

Между тем те, что остались в Ольшовском городище и были свидетелями победы, испытывали глубокое успокоение. Они еще не знали, кто был этот Богом посланный спаситель, но видели, что свершилось чудо, предсказанное капелланом.

Настежь раскрылись ворота... Белина со старшими рыцарями, только теперь узнав о прибытии Казимира, хотел тотчас же спешить к нему и припасть к его ногам.

Все собирались идти вместе с ним с поклоном и благодарностью, когда Потурга, очень беспокоясь, как бы на нем не исполнилось пророчество отца Гедеона, побежал к нему, чтобы умолить его отвести от него грозящую ему судьбу.

Отец Гедеон как раз готовился идти вместе с Белиной к королю, когда Потурга, испуганный, бледный, упал ему в ноги и, обнимая их, говорил:

— Отец мой! Смилуйся, ради бога! Я виновен, я согрешил, но не карай меня! Вот я каюсь и исповедуюсь перед вами, умоляя о прощении. Сжальтесь надо мной!

— Чего вы хотите от меня? Я не понимаю вас! — мягко выговорил он.

— Но как же, отец мой? Ведь вы мне предсказали, что я дождусь чуда, но не испытаю его на себе, потому что не верил в него.

Отец Гедеон стоял в задумчивости. Он уже не помнил всех слов, сказанных им в гневе и досаде.

— Это я говорил? Я? — говорил он, обводя взглядом присутствовавших.

— Да, отец мой, вы это сказали! — отозвался, склоняя голову, Беллина. — Вы сказали так!

— Не знаю, не знаю! Может быть, какой-нибудь дух говорил через меня! — опустив глаза, отвечал отец Гедеон. — Я не помню. Пусть Бог простит тебе твой грех. Идите с миром. Я же могу молиться и буду молиться. Я — человек. Только Бог властен простить нашу судьбу.

Потурга обнял ксендза за ноги, но не был доволен ответом.

Он не выпускал его, плакал, умолял, и окружавшие напрасно старались успокоить его.

Все это происходило как раз около открытых настежь ворот, над которыми на укрепленном возвышении лежала груда камней, приготовленных для защиты. Белина делал знаки своим, напоминая им, что пора двинуться в путь навстречу королю, как вдруг наверху раздался треск: треснула доска, и огромный камень с шумом обрушился вниз. Все отскочили в разные стороны, и только Потурга, который не успел встать с колен, был раздавлен на месте.

Все были так поражены неожиданностью произошедшего, что не сразу пришли в себя, только отец Гедеон, опустившись на колени

подле убитого, поднял его голову, уже покрывшуюся мертвенной бледностью.

Тихо зашептали молитвы. Был ли это случай или перст Божий?

Этого не мог объяснить и сам капеллан, забывший о грозном пророчестве, вырвавшемся у него в припадке гнева. Со слезами склонился он над убитым. Труп его тотчас же распорядились отнести прочь, чтобы вид его не испортил радостных минут встречи короля.

Белина с сыном, Лясотой и оставшимися в городище магнатами, все в богатых нарядах, двинулись навстречу государю. У всех были веселые лица, влажные от счастья глаза, — все сердца были полны несказанной радостью.

Казимир уже сошел с коня и собирался расположиться лагерем над городищем, не желая обременять заботами обитателей замка, и так уже истощенных и измученных длительной осадой.

Он уже знал, сколько они там вытерпели, и хотел дать им теперь отдых.

Когда Белина явился к нему с поклоном и просьбой пожаловать к нему в замок, Казимир обещал посетить его в другое время, теперь же он хотел быть вместе со всеми своими товарищами по оружию и делить с ними все трудности и неудобства походной жизни. Немцы и поляки уже устанавливали палатки на том самом месте, где перед тем стоял Маслав со всеми людьми.

Рыцари не имели времени на отдых; все хорошо понимали, что Маслав, побежденный в одной битве, не так-то легко покорится своей судьбе. Он еще располагал большими силами, да и союзники его могли дать ему много людей; при этом он знал, что Казимир был еще слаб и не имел опоры в своем царстве. Это было только начало битвы, и до окончания ее, возвращения королевства, водворения порядка, усмирения бунта и разгрома победоносного язычества было еще очень далеко. Те, кто знал Маслава еще в бытность его при дворе, были уверены, что самый характер этого вождя черни указывает на возможность долгой и кровавой борьбы.

Возвращение Казимира было гораздо опаснее для самозванного князя, чем те силы, которые действовали против него. Теперь все, которые раньше, обманутые Маславом, выступали против Казимира и содействовали его изгнанию, должны были сгруппироваться около него. Уже одно появление этого смелого юноши, внука Болеслава,

вернувшегося с небольшим войском в опустошенную и разоренную страну, возбуждало радость, бодрость и мужество.

По пути из опустевших селений выходили откуда-то, словно по волшебству, уцелевшие толпы людей — бледные мужчины, ободренные женщины, исхудавшие дети — и, протягивая к нему руки, называли его своим спасителем.

И по прошествии многих веков со страниц хроник того времени до нас долетают эти возгласы, которыми вся страна единогласно приветствовала молодого короля.

— Привет тебе, привет, дорогой наш государь!

Но все эти добрые признаки приближающихся лучших дней не могли заставить Казимира забыть его главную заботу — освобождение страны от насилия и разбоев врага, который по численности в десять раз превосходил горсточку верных слуг короля, присоединившихся к нему.

Простой народ, испугавшийся мести, готовился к отчаянной обороне. Маслав, боявшийся показаться, также должен был сражаться для спасения своей жизни, потому что для него не было прощения. Казимир стоял за крест и христианство; Маслав боролся во имя умирающего язычества, которое упорно отстаивал народ. Готовился страшный смертельный бой без пощады и милосердия.

Молодой король предчувствовал это, и потому, оглядывая поле сражения, устланное трупами, он не мог утешать себя первой победой, так как она не являлась залогом уверенности в будущем.

Пока устанавливали палатки, Казимир стоял, окруженный своими. В это время подъехали к нему Белина, Лясота и другие послы из городища и, обнажив головы, склонились перед ним. Потом, подняв руки кверху, они воскликнули:

— Привет тебе, милостивый пан! Привет тебе, ваш спаситель!

Король, заметив среди прибывших капеллана, тотчас же двинулся к нему навстречу и, смиренно целуя его руку, попросил благословить его.

Растроганный старец, осеняя монарха крестным знаменем, произнес с чувством:

— Бог победы да будет с тобой!

За ним подошел к руке короля Белина, один из самых верных слуг королевы и ее сына.

— Я видел тебя, государь, еще ребенком, — сказал он, — и вот ты явился передо мной, как ангел-спаситель. Без тебя и я, и все мои домашние, весь мой скарб и все наследие моих предков стали бы добычей черни. Да благословит тебя Господь, государь!

Но напрасны были просьбы старика, чтобы король отдохнул в уцелевшем замке. Казимир уже заранее объявил свою волю в том, чтобы осажденные не несли заботы о прокормлении войска. И теперь он опять повторил Белине свое обещание заехать к нему в другое, более спокойное, время.

Все теснились к Казимиру, целуя его руки и край одежды, так были все счастливы видеть снова у себя этого государя, который нес стране надежду на возвращение мирного времени.

Молодой король принимал все эти знаки доверия и преданности с великим смирением и скромностью, почти болезненной.

Невольно вспоминалась ему страшная ночь, когда он должен был, как беглец и санник, бежать из дома своих предков, со стесненным сердцем, гонимый собственными детьми.

И немало было людей среди низко кланявшихся ему магнатов, которым пришлось краснеть при этом воспоминании.

Заметив, что палатка его уже готова и у дверей ее стоит его верный слуга Грегор, молодой король пошел к ней, и, прежде чем закрылась за ним завеса, все видели, как он встал на колени, вознося Богу благодарственную молитву.

На страже у королевской палатки стоял человек, на которого обратились теперь взоры всех прибывших из замка. Многим из них он улыбался, как давно знакомым, другие сами подходили поздороваться с ним. Среди них были и пожилые люди, однако внешность этого человека вовсе не заслуживала такого почтения. Это был старый, верный слуга королевского дома. Теперь уже совсем седой, он еще помнил старые времена при дворе Болеслава. Он был дядькой королевича, первый сажал его на коня, натягивал ему детский лук, учил стрелять, пристегивал ему к поясу маленький меч, приучал для него птиц. Привязался к Казимиру, как к собственному ребенку, и уж никогда с ним не расставался. По внешнему виду это был человек простой, невзрачной наружности, молчаливый, неповоротливый и неловкий в обращении, но очень зорко ко всему приглядывавшийся и обладавший прекрасной душой.

Когда королеву Рыксу изгнали из страны и Маслав принялся бунтовать и настраивать магнатов против ее сына, плачущий Грегор остался при своем гонимом и преследуемом государе. Когда же и тому пришлось бежать из собственного дома, старый слуга пошел за ним в изгнание, и хотя не выносил заключения в монастырских стенах, которое казалось ему неволей, однако остался вместе с королевичем в бенедиктинском монастыре.

Если бы Казимир возложил на себя монашеское одеяние, наверное, и Грегор попросил бы принять его в служки и надел бы черное платье только для того, чтобы быть при нем и вместе с ним. За это Казимир платил ему полным доверием и почти детской привязанностью.

Когда сын Рыксы был увезен из монастыря, чтобы занять дедовский престол, обрадованный Грегор, как верный пес, последовал за ним. Во время боя он всегда стоял подле него с мечом наготове, чтобы отразить удар, предназначенный его питомцу; он ложился ночью поперек двери, чтобы никто не мог войти к нему, а днем стоял на страже у входа.

Магнаты и рыцари, окружавшие Казимира, относились к старику с уважением за то, что он, не играя никакой видной роли при дворе, в действительности нес службу за всех.

Старик никогда не пользовался своим влиянием на короля, молчаливо выслушивал различные просьбы, но ни в какие дела не вмешивался и смиренно уступал свое место другим. Но, если что-нибудь казалось ему подозрительным и вредным, он умел оказать противодействие и не допустить. Не высовываясь на первый план, он всегда был поблизости от Казимира. Король его был еще беден, и он совмещал должности его казначея, кассира и эконома и часто бывал послом и уж с утра до ночи бессменным привратником и подкоморием. Но он этим нисколько не гордился и с почтением сторонился перед магнатами.

Люди, знавшие Грегора и раньше, теперь подходили к нему с низким поклоном, над чем он в душе посмеивался. Это был человек, умевший беззаветно любить и заботившийся только о том, как бы без помехи охранять дорогое ему существо.

Когда король прошел в свою палатку и опустил за собой завесу, прибывшие начали уже без стеснения разглядывать королевских

приближенных. Одни обнимались и целовались, другие с нахмуренным лицом отворачивались от своих прежних врагов. Слышались возгласы радости и приветствия, громко назывались имена рыцарей.

Вшебор встретился с Самко Дрыей, Топорчик со своим отцом, другие — с братьями, родными и родственниками.

Велика была радость, но для некоторых пришли и печальные вести об убитых и забранных в неволю.

Вместе с Казимиром приехали старый Трепка и все те, кого Вшебор встретил в лесу. К ним присоединились по пути и другие скитавшиеся без цели отряды уцелевших рыцарей, узнавших о возвращении государя.

Опираясь на посох, с обвязанной головой, стоял тут и Спытек, несколько оправившийся от своих ран; старику было тяжело общество своих прежних врагов: тем, которые спасли его — Трепке и всем сторонникам короля, — он не мог простить своей собственной вины.

Воевода Топор обнимал сына, которого давно уж потерял из вида и считал погибшим. Янко принадлежал к числу тех, которых устранили от двора, а теперь они отправились искать короля в немецких землях и умели склонить его к возвращению.

Счастье было полным, если бы будущее представлялось таким же безмятежным, как сегодняшней день, и не обещало никаких неожиданностей и перемен. Общая радость нарушалась тревожной мыслью: а что-то будет завтра?

Приятелей и неприятелей с одинаковым радушием приглашал Белина отдохнуть в городище, хотя и не мог оказать им подобающего гостеприимства. Некоторые приняли это приглашение и поехали за ним, другие же предпочли расположиться в палатках около короля.

Но раньше еще, чем Белина уговорил своих гостей, Собек, ведомый каким-то тайным предчувствием, прибежал в лагерь искать своего старого пана, хотя и трудно было рассчитывать найти его среди приближенных короля, перед которым он так тяжко провинился. Но предчувствие не обмануло его: Спытек, сойдя с повозки, стоял почти один, когда Собек подбежал к нему и бросился ему в ноги, упрашивая поспешить к жене и дочери.

Он и сам спешил, но не столько на свидание с женой к дочери, сколько на отдых. Старик, суровый и жестокий со всеми, не делал

исключения и для женщин и был для них еще более тяжелым в обращении, чем для своей мужской братии. Его дикость и неукротимость были всем известны, хотя, по существу, он не был ни злым, ни жестоким. Мужественный воин, он и в доме своем ввел военный образ жизни и не терпел малейшего беспорядка или неповиновения его воле. Все домашние трепетали перед ним.

И редко можно было встретить в супружеском союзе два таких неподходящих друг другу существа, как Спытек и его жена. Старик или бранился, или молчал, и в женщинах не терпел болтливости, и в жене он искал молчаливую рабыню. Марта, напротив, любила и поболтать, и пококетничать, хотя бы ради забавы; ей хотелось быть хозяйкой в доме и незаметно управлять самым мужем... Все это не удалось ей. А так как борьба со Спытеком была невыносима, то ей пришлось из страха покориться ему и молчать, потому что он все равно не слушал.

Да и по возрасту они не подходили друг другу. Старому воину было уж под шестьдесят, а жене его только что исполнилось тридцать.

Не имея времени на женитьбу, Спытек и не стремился к ней, но, будучи на Руси, пленился прелестной молоденькой девочкой, красивее которой он еще не встречал в жизни. Он легко добился ее руки и увез ее с собою, хотя она вовсе не хотела выходить за него, плакала и дулась. Но он на это не обращал внимания.

Должно быть, Спытеку дорого стоила эта поздняя женитьба, но он никогда не жаловался. Жену держал в строгости и под бдительным надзором. Касю по-своему любил, но не мог ей простить, что она не была мальчиком, потому что Бог не дал ему других детей. Девочка скорее боялась его, чем любила, от отца она, кроме брани и окриков, ничего другого почти и не видела.

Женщины в городище усиленно следили за ходом сражения. Их привела с собой Ганна Белинова, чтобы насытить их любопытство. Когда исход битвы ни в ком уже не оставлял сомнения, взрыв радости был так же силен, как перед тем припадок отчаяния. С громкими восклицаниями все бросились на колени.

Потом все разбежались по дворам и мостам — наверху и внизу везде виднелись группы женщин. В эти минуты безумной радости никто не обращал внимания на женщин — им предоставили, а может быть, они сами себе дали — полную свободу.

И только тогда, когда наступило некоторое успокоение, старая Белинова начала собирать свое разбежавшееся стадо и звать всех, начиная со служанок, наверх, в женскую половину.

С самого утра пища, питье, огонь в очаге и все нужное для жизни было забыто.

Сразу изменилось выражение лица и даже самый звук голоса у женщин. Верхняя половина, где еще недавно царствовала тишина, теперь дрожала от смеха, пения и беготни. Забыта была вчерашняя смертельная тревога, никто не думал и о завтрашнем дне, и даже уважение к хозяйке не могло сдержать их. Все это женское царство, еще недавно такое крепкое и покорное, теперь явно выходило из-под ее власти.

Спыткова, раздумываясь, разгоряченная, жаждавшая расспросов и рассказов, за неимением под рукой мужчин-слушателей, обращалась к женщинам, задерживая по очереди девушек, которые стремились вырваться и убежать.

У нее не было ни малейшего предчувствия близости мужа. Правда, она знала от Собека, что он жив, но тут же ей приходили в голову печальные соображения: старый, израненный, он мог и умереть, не выдержав неудобств лагерной жизни. И она была почти уверена, что так оно и случилось.

Собек подробно рассказал ей о его страшных ранах и о том, что он лежал совершенно без движения, и потому она никак не ожидала увидеть его среди прибывшего рыцарства и особенно в свите Казимира, перед которым провинился Спытек.

В городище готовились к приему гостей: женщины собирались расспросить их обо всем подробно и надеялись встретить среди прибывших родных, знакомых и друзей. С этой же мыслью и Марта Спыткова усиленно занялась своим нарядом. Сначала заплела Касе ее длинные косы и выбрала ей платье, а потом приказала ей упрятать под белый чепец черные волосы и помочь ей одеться. Достали уцелевшие платья, драгоценности, шейную цепочку и золотые кольца: для девушки ожерелье, для матери — перстни. Мать выглядела немного бледной после всех пережитых ею тревог и невзгод, но черные глаза ее по-прежнему блестели тем неугасимым огнем, который придавал ей вид настоящей молодости.

Она уже была совершенно одета и, подперев голову белой ручкой, выглядывала из окна вниз, — не появится ли кто-нибудь, вернувшийся с поля битвы, как вдруг услышала чей-то басистый голос, сразу наполнивший ее тревогой, до такой степени он напомнил ей голос Спытека, когда тот бранил ее в доброе старое время.

В страхе она вскочила с места и стала прислушиваться, не доверяя собственным ушам, — испытывая скорее тревожное, чем радостное чувство.

— Неужели глаза мои не обманывают меня? Да неужели это он?

Она взглянула вниз, во двор, и увидела призрак мужа. Да, это был Спытек. Спытек, которого никак нельзя было назвать красивом и который давно перестал быть молодым, теперь явился перед нею с окровавленным глазом и отвисшей синей губой, с обвязанной головой, опирающийся на посох, постаревший и искалеченный. Верный Собек поддерживал его, помогая медленно идти.

При этом виде прекрасная Марта, если и не упала в обморок, то только потому, что муж ее не выносил подобных изъятий нежности; она вскрикнула и сразу прониклась чувством супружеского долга, сбежала сверху, громко призывая Касю.

Спытек остановился, узнав знакомый голос, и оглядывался вокруг, ища жену. И вдруг он почувствовал, что она уже обнимает его колени, это был обычный способ тогдашних женщин приветствовать своих мужей. Старец молча склонился и поцеловал ее в голову. В эту минуту подбежала и Кася и тоже припала к отцовским коленям.

На все эти проявления любви старый воин не ответил ни одним словом; он так же молча склонился к дочери и поцеловал ее в лоб и тотчас же оглянулся, ища скамью, потому что больные ноги его дрожали и он еле стоял.

Марта, забыв о том, что муж не терпит излишней болтливости, дала волю и языку, и рукам, сопровождавшим рассказ энергичными жестами.

— Ах, господин наш, — кричала она, — если бы вы только знали, что мы тут вытерпели! Боже милосердный! Тысячи смертей! Голод, слезы, страх! Да всего не перечешь! Пожар, крестьянский бунт!

— Нельзя всего и описать!

Спытек знакомым жестом руки, замыкавшим уста жене, остановил ее жалобы. Он обратил к ней свой налитый кровью глаз,

приподнял повязку на голове, показал кровавое веко, под которым остался только след другого глаза, и пробормотал:

— На всем теле нет живого места. — Он покачал головой. — Только чудом осталась душа в теле.

Кася с плачем поцеловала руку отца. Старик с любопытством приглядывался к разряженным женщинам, словно стараясь отгадать, что они тут задумали без него.

— Нескоро заживут мои раны, нескоро поправится причиненное нам зло и снова построятся спаленные усадьбы и костелы! Некуда нам и возвращаться! От Понца осталась только груда развалин!

Он поднял к небу дрожащие руки и умолк.

Словоохотливая Спыткова тотчас же заговорила о том, как много сделал для них Вшебор Долива. Вшебор по-прежнему пользовался ее расположением. Уж, наверное, зоркий глаз пани Марты заметил ухаживания Томно за Касей, но дело в том, что она терпеть не могла Белинов, хотя и пользовалась их гостеприимством. У нее накопилось множество обид против них. Ганна никогда толком не слушала ее рассказы, многие ее капризы оставались без внимания, а Томко ничуть не старался понравиться ей.

Вшебор, напротив, умел и взглядом приласкать, и слушал внимательно, и услуживал пани Марте, не боясь обидеть других. Теперь, когда муж ее воскрес из мертвых, она уж не рассчитывала выйти за него замуж, но желала отблагодарить его за все, высватав ему дочку.

Спытек нахмурился при упоминании о Доливах.

— Знаю, что он вас спас, — сухо молвил он, — да что за диво, если молодой малый займется бабами?

Жена его залилась румянцем.

— Теперь король Казимир будет платить долги за всех нас — для этого мы его и привели.

— Молодой король! — хлопая в ладоши, прервала его Спыткова. — Слава богу, что он вернулся к нам.

— А хоть бы и молодой! — передразнил ее недовольный Спытек. — Да только бабам от этого мало пользы, потому что он наполовину монах!

И, сказав это, он умолк, словно утомленный беседой, и, опершись на посох, задумался.

Вот он нашел жену и ребенка, но что делать дальше с ней и дочерью, да и с самим собою, он не знал. Дома не было — значит, некуда было возвращаться; воевать не было силы, а оставаться лишним бременем в доме Белинов не очень-то было приятно когда-то могучему владыке. Из окровавленного глаза его выкатилась слезинка.

Между тем в городище становилось все шумнее: съезжались гости. И, желая достойно отпраздновать великое торжество победы, Белина не пожалел откопать из земли бочку старого меда, называемого мешком. Служанки уже варили соленое мясо, пекли лепешки, заменявшие хлеб, и готовили кашу.

Все приезжие собирались в большой горнице внизу — в замок прибыли только те, кто привезли с собой Казимира.

Тут был старый Янко Топор, седовласый воевода, опиравшийся на руку сына, Трепка, Лясота и многие другие.

Для многих приезд Казимира казался просто чудом.

Все знали, что он уезжал из страны, глубоко опечаленный и возмущенный, навеки отрекаясь от своих прав на престол, и что королева Рыкса, не желая для сына такого неблагодарного королевства, отдала его корону в императорскую сокровищницу. Ходили слухи, что Казимир, живя в Кельне у дяди, намеревался возложить на себя монашеское одеяние, чтобы потом унаследовать его высокий духовный сан.

И в конце концов, каковы же были силы у молодого короля, чтобы отвоевать королевство, наполовину завоеванное чехами, а наполовину присвоенное себе дерзким Маславом.

Когда гости вошли в главную горницу внизу, все расступились перед ними, приглашая занять места ближе к огню и уступая свои места. Всем было любопытно послушать, что они расскажут, и раньше, чем прибывшие заговорили сами, их уже засыпали вопросами.

На первом месте сидел Янко Топор. Это был человек преклонного возраста, но еще сильный и крепкий, с ясным и веселым лицом, с кудрявой седой бородой и с длинными белыми волосами, которые падали локонами по плечам и составляли оригинальный контраст с румяным лицом. Лицо это носило выражение ума и энергии, и каждый, взглянув на него, сразу угадывал в нем рыцаря и государственного мужа; его мужество, его ум и сердце никогда еще не

возбуждали сомнения, и никто, поверив ему, не был введен в заблуждение.

Пока Мешко слушался его советов, все шло хорошо, и Рыкса, поступая согласно его мнению, никогда в этом не раскаивалась. Но завистливые люди стали нашептывать им, что Янко Топор хотел властвовать и управлять всеми. Понемногу отстранили его от двора, исключили из числа приближенных короля и перестали слушать его советов.

А он отправился в свой Тенчин и стал там жить, развлекаясь охотой на оленей.

Только тогда, когда погнали Казимира, когда чехи разграбили Краков, Познань и Гнезно и Маслав святотатственной рукой посягнул на корону, старый Янко поднялся и сказал:

— Не время сидеть у очага!

И, собрав около себя уцелевшее рыцарство, уговорил их идти вместе с ним искать государя — наследника короны Пястов...

— Это просто чудо Божьего милосердия! — вскричал Лясота, стоявший подле Янко, гревшегося у очага. — Как же все это произошло? Как же вы нашли короля? И как удалось вам уговорить королеву-мать, чтобы она отдала его?

— Да мы и не пытались этого делать, потому что знали, что ничего из этого не выйдет, — возразил Топор. — Кто же из вас не знает королевы? Это женщина святой жизни, но она всегда помнит, что мать ее была дочерью императора. Живя на нашей земле, она никогда не любила ее и всегда чувствовала себя у нас только гостьей. И душой и сердцем она всегда была среди своих немцев. От нас слишком еще пахло язычеством. Зная, что у нас делается, могла ли она отдать нам в жертву сына?

— А как же можно было обойтись без нее? — спросил Белина.

— Воля и милость Бога помогли нам, — продолжал Топор, — я знал, что мы не обойдемся без императора и что вся надежда на него. Ведь если чехи теперь грабили и опустошали нашу землю, то впоследствии они могли угрожать и ему. И вот мы решили явиться к императору Генриху, потому что иначе ничего нельзя было придумать.

— Император сначала не хотел ни видеть нас, ни выслушать. Велел уходить к себе. Вот тут-то мы вооружились терпением.

Выгнанные со двора, мы остановились за стенами, на посмешище слуг, но не теряли надежды на милость Божью.

— Генрих Черный несколько раз проезжал мимо нас, пока ему не надоело смотреть на эту толпу упрямец.

— Однажды, в счастливую для нас минуту, когда император возвращался в свой замок, окруженный свитой из духовных и светских лиц, мы по обычаю поклонились ему. Он, заметив нас, долго не отрывал от нас взгляда, а немного погодя нас вызвали к нему.

— Прежде чем мы решились заговорить, он сам начал речь о том, что мы напрасно приехали к нему, так как он не может и не хочет ничего для нас сделать.

«Всемиловейший государь, — возразил я. — А я крепко надеялся на Бога и на вашу помощь. Для костела потеряна страна, в которой процветало христианство, а империя ничего не выиграла от того, что верх взяли изменники, которые хотят освободиться из-под ее власти. Неужели же все эти костелы, разрушенные язычниками, разграбленные сокровища и попранные права жителей захваченных земель не вопиют к Богу о мщении? Если же ни римский папа, ни вы, милостивый государь, не вступитесь за нас, то весь наш край погибнет, язычество займет его, а Рим и империя одинаково пострадают от этого». Я говорил горячо, со слезами в голосе. Император призадумался. И с этой минуты все и определилось. На другой день узнал от самого Генриха, что он похлопочет перед папой об участии костелов, а Казимиру, если он задумает вернуться в Польшу, даст в помощь шестьсот вооруженных воинов.

— Оттуда мы уже ехали, успокоенные; нам оставалось только найти короля.

— При дворе королевы Рыксы тщательно скрывали местопребывание Казимира. Известно было только то, что он обучается наукам среди духовных и что мать была бы очень склонна видеть его в монашеском одеянии. Пришлось ездить из одного монастыря в другой, стучась в двери, и просить гостеприимства как бедные странники. Из опасения, чтобы от нас не скрыли того, кого мы искали, мы даже не говорили, откуда и с какою целью путешествуем, и боялись признаться, что едем от Гнезнына...

— Но в монастырях, когда мы упоминали о сыне Рыксы, все молчали, не желая или не умея ничего сказать о нем.

— Печально было это наше путешествие, когда мы, как бедные, покорные сироты, искали своего короля, который скрывался от нас.

— Но как же вы нашли его? — спросил Лясота.

— Как? Просто каким-то чудом! — вздохнув, отвечал Топор.

— Мы уже было совсем потеряли надежду. Но однажды вечером, когда мы остановились на ночь в маленьком бенедиктинском монастыре, сидели за столом за общей трапезой, один из странствующих монахов начал рассказывать о богобоязненном юноше, который недавно только прибыл туда из Зальфельда и прилежно занимался науками. А был он, как говорила молва, знатного, чуть не королевского рода, — хотя имя его держали в строгой тайне.

Тут уж на нас снизошло как бы откровение Божие, и мы решили, что рассказ этого монаха является для нас указанием с неба. На другой день, никому ни слова не говоря, мы пустились в путь в указанный город и, после долгих и утомительных скитаний по опасным дорогам, постучались у дверей монастыря при костеле Святого Иакова.

Нас привели к настоятелю монастыря Альберту, который спросил нас о цели путешествия, и когда мы сказали ему, что нас привело сюда желание увидеть лично святые места и поклониться им, приказано было принять нас в монастырь.

Когда мы въезжали во двор, некоторые из наших случайно встретились с королевским слугою Грегором и узнали его; после этого мы уже были вполне уверены, что найдем здесь и самого короля.

С бьющимися сердцами шли мы на трапезу в общую столовую.

Уж много лет многие из нас не видели Казимира, но все хорошо помнили черты его юношеского лица, и, когда он вошел в черной одежде и занял назначенное ему место подле настоятеля, все внутренности наши перевернулись. А сам королевич, хоть уж, конечно, не ждал, что мы искали его, и, может быть, даже и лиц наших не помнил, все же, заметив нас издали, задвигался на месте, словно что-то вспомнив. Но наше молчание успокоило его, и он перестал обращать на нас внимание.

Когда трапеза окончилась и была произнесена благодарственная молитва, Казимир поднялся и пошел вслед за другими. Но нами овладело беспокойство, и нам уж трудно было оставаться в неизвестности; мы заступили ему дорогу и пали перед ним на колени.

Он испугался и отступил, сложив руки и говоря:

— Что вам нужно от меня? Кто вы такие?

Монахи тотчас окружили его, словно собирались защищать от нас. Тогда, целуя край его одежды, я решился заговорить, прося его смилостивиться и спасти нас так, как будто через меня умоляла его вся наша страна:

— Государь наш милостивый! Смилуйся над нами! Тебя скрыли здесь от нас, но мы и сюда пришли за тобой. Сжался над опустошенным краем, в котором ты родился, сжался над разрушенными костелами, где находят себе приют дикие звери, сжался над рыцарством своим, осужденным на резню, над неотомщенной кровью и слезами. Вернись к нам, умоляем тебя об этом, вернись и царствуй над нами!

Слезы потекли из глаз королевича, и он сказал растроганным голосом:

— С вами случилось только то, что вы заслужили своей изменой мне и матери моей. Вы сами изгнали от себя кровь ваших королей. Оставьте же меня мирно окончить здесь мою жизнь. Я навсегда отказываюсь от земной короны, чтобы приобрести взамен ее корону небесную. Хочу жить в тишине и служить только Богу.

Но когда он отступил, как бы собираясь уходить, мы на коленях поползли за ним и преградили ему дорогу.

— Если не нас, то хоть детей наших пожалей, спаси веру христианскую! — вскричал я, протягивая к нему руки. — Ту веру, которую привил нам своей кровью твой дед и прадед и которую ты должен беречь и охранять. Ты, государь, рожден не для тишины монастыря, а для суда и расправы над нами, для власти и для борьбы. К тебе протягивает руки несчастная страна — спаси, мы гибнем без тебя!

— Спаси нас! — закричали за мной и все остальные, обнимая его ноги.

Рыданья прерывали наши речи, и с нами вместе плакал королевич и все бывшие с ним монахи. Но на все наши мольбы Казимир повторял только одно:

— Я не могу идти с вами... Я исполняю приказание императора, волю моей матери и мою собственную, принося мою жизнь в жертву Богу.

Но мы лежали у ног его и просили неотступно, так что он под конец смягчился и стал колебаться в своем решении.

Потом мы проводили его до его жилища, которое находилось рядом с монастырем, и он расспрашивал нас о Польше, о костелах и замках и обо всех наших несчастных.

Он жил здесь как духовное лицо, почти как монах, окруженный небольшим двором, совершенно не соответствовавшим его княжескому сану, ел за общей трапезой со всеми монахами и присутствовал на их общих молитвах. Казалось, он не желал ничего другого и совершенно не стремился к власти.

— Милостивый государь! — говорили мы ему. — Мы приносим тебе не золотую, но терновую корону, и ты должен принять ее во имя Христа, который носил ее. Смилуйся над бедными! Чехи опустошили землю, язычество подняло голову и повсюду взяло верх. Маслав с пруссаками ведет с нами борьбу и берет в плен твоих рыцарей. Неужели дело, за которое мы проливали нашу кровь, так бесславно погибнет?

— Если бы я отдал вам всю свою кровь, — возразил Казимир, — то и это не принесло бы вам пользы. Моих двух рук недостаточно для борьбы с тысячеруким врагом.

И только тут я признался ему, что, прежде чем прийти сюда, мы побывали у императора и заручились его помощью.

Тогда он оживился и стал расспрашивать, были ли мы у королевы-матери, но мы искренно отвечали ему, что до сих пор не были у нее, зная, что наши мольбы будут напрасны.

Поздно ночью, когда уж звонили к молитве, мы расстались с ним, не получив от него никакого обещания. На другой день, утром, мы все отправились к обеду в костел Святого Иакова и здесь застали Казимира, распростертого на земле.

По окончании службы он сделал нам знак, чтобы мы следовали за ним в его жилище. Мы еще не знали, что нас там ожидает.

При входе он сказал нам:

— Я искал в костеле откровения воли Божией, и Бог повелел мне идти с вами. Пусть не говорят, что я пожалел для вас своей жизни и крови. Вот я — берите меня с собою.

Обливаясь радостными слезами, мы все пали перед ним на колени.

Нельзя описать словами нашего счастья! Тотчас же мы начали готовиться в путь, хотя аббат Альберт и монахи пытались оказать нам противодействие, обратившись за помощью к епископу Нитхарту, чтобы тот задержал Казимира и не отпускал с нами.

И вот, вызванные в епископский замок, мы должны были явиться к этому владыке, который из рук императора принял и духовную и светскую власть. В одной руке он держал крест, а в другой — меч, и так, в рыцарских доспехах, отправляет богослужение и заседает на епископском троне, как король.

Выслушав наш рассказ о том, как унижена и загнана вера христианская, он приказал выдать нам короля. Да и сам Казимир, раз уже согласившись ехать с нами, был непреклонен в своем решении, и на третий день мы выехали вместе с ним в Регенсбург к императору Генриху — напомнить ему о данном им обещании.

Император принял нас чрезвычайно ласково и слово свое сдержал. Он приказал достать из своей сокровищницы обе короны и выдать их нам, а в войске отобрать шестьсот хорошо вооруженных людей и предоставить в распоряжение нашего короля.

— Что же такое случилось с немцем, что он вдруг так разжалобился над нами? — пробормотал Лясота.

— Уж, наверное, он это сделал не из любви к нам, — произнес Топор, — но из справедливого опасения, как бы Братислав не слишком усилился и не распространил своих владений за чешскую границу.

Из Регенсбурга король решил ехать к матери, чтобы проститься с ней и взять у нее благословение. Напрасно старались мы отклонить его от этой мысли: он как любящий и послушный сын не хотел идти без ее ведома и разрешения.

Пришлось нам уступить его желанию.

Королеву Рыксу мы нашли в Кобленце, где она была всецело занята постройкой великолепного костела. Ее уже уведомили о том, что сын выехал без ее разрешения ко двору императора, намереваясь отправиться в Польшу. Мы застали ее сильно разгневанной и возмущенной.

Казимира, прибывшего вместе с нами и окруженного императорской свитой, она не сразу допустила до себя. Но он терпеливо ждал, когда она назначит ему свидание, а вместе с ним

ждали и мы. Вошли мы все вместе и видели, как он, склонившись к ее коленям, нашел у нее материнский прием.

— Вижу, милостивый государь, — сказала она, — что уговоры тех, кто уже раз изменили нам, имеют для вас большую цену, чем предостережения и воля матери. Вы снова хотите вернуться в неблагодарную и дикую страну на жертву язычникам для новой измены и оставляете здесь спокойное пристанище и счастливую жизнь. Что же я могу еще сказать, чтобы слово мое имело для вас значение? Император дал свое согласие, ваша милость рвется ехать, подвергая себя ненужным опасностям, и у меня нет силы, чтобы задержать вас. Я повторяю вам еще раз, что все это делается против моей воли, что я этого не хотела и не хочу. И так как ваша милость не хочет считаться с волей матери, то и мать распорядится своим наследным состоянием во славу Божию, а не в пользу вашей милости. Эти люди позорно изгнали меня и принудили вашу милость удалиться, — и мы после этого будем еще добиваться этого жалкого королевства?

Так говорила королева, и, конечно, если бы не то откровение Божие и не воля императора, Казимиру трудно было бы устоять против просьб и убеждений матери.

До последней минуты она продолжала отговаривать сына, а из сокровищ, вывезенных из Польши, не хотела ничего дать ему, повторяя, что предпочитает употребить их во славу Божию, нежели отдать на разграбление язычникам.

Так мы и расстались с неумолимой королевой, и Казимир поехал с нами.

— И Господь Бог уже дал ему победу! — воскликнул Лясота.

— Около него соберется все рыцарство, ободрятся все наши сердца, а в войске Маслава поднимется тревога... Бог с нами!

— Бог с нами! — прозвучало в горнице, и, словно окрыленные новой надеждой, все встали с мест, подняли руки кверху и воскликнули:

— Бог с нами!

Поблизости не было ни одного безопасного места, где бы Казимир мог устроить свою временную столицу, и ею сделалось на время Ольшовское городище.

Внук Болеслава, еще помнивший все великолепие его двора, вынужден был принять гостеприимство бедного шляхтича и остановиться в его старом, плохом замке.

Его собственные поместья представляли собою одни развалины. В опустошенных землях все усадьбы были разграблены чехами, все города обезлюдели или разорились. И там, где Бог дал ему первую победу, Казимир решил отдохнуть и подождать, пока подойдет к нему второй императорский отряд и соберутся разрозненные остатки рыцарства, за которым повсюду разослали гонцов. Отсюда надеялись нанести поражение Маславу, зная, что он со своими союзниками готовится к упорному сопротивлению.

Среди лесов, на месте недавнего боя, предав земле трупы убитых, выбрали место для стоянки и начали рыть окопы. Скоро отовсюду стали съезжаться отдельными группами уцелевшие, привлеченные сюда слухами о возвращении Казимира во главе императорских отрядов.

Белина, освободив часть главного дома и прилежащих к нему построек, разместил в городище короля и его приближенных.

Стали изыскивать способы для добывания пищи. Все, что только уцелело поблизости, свозили сюда, но этого было недостаточно.

Известие о первой победоносной битве каким-то чудом передавалось из уст в уста. Весть эту несла с собою бежавшая под натиском рыцарств чернь, скрывавшаяся по лесным хатам, из боязни мщениия за все совершенные ими злодеяния. Весть эту распространяли сами воины Маслава.

И, услышав ее, все блуждавшие и прятавшиеся в лесах приверженцы Казимира выходили из своих убежищ и спешили к нему под защиту. Печален был вид этих людей, изголодавшихся, истощенных и оборванных: они уж потеряли всякую надежду на спасение, а теперь, обретя ее снова, спешили в упоении радости приветствовать спасителя.

Если бы сын Рыксы не имел в душе твердого решения — избавить страну от невзгод и упадка, то уж один вид этих людей наполнил бы его сердце мужеством и стойкостью.

Всякий раз, когда Казимир появлялся среди них, они с плачем бросались ему в ноги, приветствуя его именем спасителя, которое было у всех на устах.

Небольшой сначала лагерь все разрастался, словно из земли вырастал. Люди все прибывали со всех сторон. Устанавливали новые палатки, строили шалаши, подъезжали возы, число зажженных костров все увеличивалось. В лагере царило оживление; все были заняты какой-нибудь нужной работой. Воины приезжали в поцарапанных и изорванных доспехах, с поломанными или затупившимися мечами и копьями. Надо было исправлять погнутые шлемы, точить оружие, обдирать топоры, чинить доспехи и одежду. Те, кто имел что-нибудь лишнее, охотно делились с неимущими.

Но беспокойство не оставляло воинов короля. Пока одни готовились к бою, другие шли на разведки к Висле и в Мазовецкие земли, чтобы узнать, как обстоят дела у Маслава.

Среди королевских советников не все держались одного мнения в вопросе о времени нападения на Маслава. Часть польского рыцарства и все рыцари императора стояли за то, чтобы, не дожидаясь, пока Маслав оправится и соединится со своими союзниками, пруссаками и поморянами, напасть на него теперь же. Но Казимир, Топор, Трепка и многие другие держались того мнения, что там, где дело шло о большой битве, которая должна была решить судьбу королевства, следовало поступать с осторожностью, выжидать и стараться увеличивать свои силы.

Уже раньше были посланы гонцы на Русь с просьбой о помощи, и теперь ждали оттуда ответа.

Старый Собек тоже должен был идти на разведку, хотя Спытек был этим не особенно доволен. Подвижному и юркому старику гораздо больше нравилось бродить по лесам и городам, везде подсматривать и подслушивать, чем сидеть в четырех стенах. Зная Плоцк и побывав в нем еще недавно, он был уверен, что сумеет пробраться туда незамеченным в одежде нищего. И когда он наконец получил приказ отправиться в путь и надел приготовленные для этого путешествия лохмотья, повесил на веревке у пояса горшочек, взял в руки посох, надел на ноги старые лапти, а за плечи закинул мешок, то вся его фигура сразу так изменилась, что трудно было узнать его.

Едва только он исчез, пробираясь в лесу известными ему одному тропинками, как явился бежавший из плочкого плена шляхтич, Носала, который едва выбрался из ямы. Его тотчас же провели к королю, и он рассказал ему, что только чудом спас жизнь: его заподозрили в укрывании где-то зарытых кладов и заставляли указать место. Так, со дня на день откладывалась его смерть, пока ему наконец не удалось бежать из темницы.

Носала говорил, что Маслав вернулся в Плоцк, взбешенный неудачей, и тотчас же разослал гонцов к своим прусским и поморским союзникам, прося их о помощи, и что он собирал огромное войско, намереваясь напасть на короля раньше, чем к нему подоспеет помощь. Он уверял, что те отряды, которые Маслав приводил с собой в городище, были только частью его войск. Главные полки стояли под Плоцком, и, кроме пруссаков и поморян, поджидали еще мазуров из лесных областей.

Измученный неволей, напуганный всем виденным, Носала, оглядевшись в лагере и сравнив с тем, что он оставил за собой, советовал не рисковать с такой небольшой кучкой людей против несравненно сильнейших полчищ Маслава. Хотя здесь он видел и лучшее вооружение, и больший порядок, все же ему казалось безумием это намерение рыцарства — вступить в бой с громадами черни, предводимой таким упрямым, стойким, железной воли человеком, каким был Маслав.

Самое имя Маслава будило в нем тревогу, так что он при одном упоминании о нем хватался за голову и испуганно озирался кругом, словно боясь увидеть его перед собой.

Король и его советники признавали справедливость слов Носалы, но молодежь вышучивала его и дразнила трусом, на что бедняга даже не отвечал.

Более осторожная часть рыцарства выслала гонцов на разведку, расставила в окрестностях сторожевые посты и днем и ночью охраняла лагерь. Маслав мог решиться на все, даже на похищение короля. Ввиду этого позаботились также об укреплении замка, в котором случайно оказался король со своей свитой. Теперь в замке было достаточно людей, поэтому черни, сделавшейся ненужной тяжестью и предметом опасения, приказано было разойтись по домам, где они жили раньше. На рассвете вся эта толпа бесшумно, в грозном

молчании вышла из городища и укрылась в лесах. Ее место заняли знатнейшие рыцари, окружавшие Казимира, двор его и слуги. Разрушенные сараи были вновь отстроены, и в них разместили коней и слуг.

День и ночь шли в замке работы, и царило оживление в лагере, приходили и уходили посланные, собирались беглецы из разных земель. С утра до ночи двери дома, где жил Казимир, были открыты для них: всякий хотел видеть его, рассказать ему о себе и пожаловаться на судьбу.

Поблизости от короля поместили тяжело раненных в битве, которых было довольно много, но едва только раны их начали подживать, как они уж стали возвращаться в палатки. Среди пострадавших находился также Вшебор, которому удар Маслава разрубил шею до самой кости. Только кусочек железа, приделанный сзади к шлему, сделал этот удар несмертельным и сохранил Доливе жизнь. Рана была глубокая, а так как больной не отличался терпением, то нельзя было надеяться на скорое выздоровление.

Все пострадавшие лежали вместе внизу, в нескольких горницах во втором дворе; утешением для них были женские голоса, которые доходили до них сверху; но случалось, что к ним заглядывала и женская фигура.

Для старого Спытека тоже не нашли сначала другого помещения, и он лежал вместе со всеми.

Вшебор, поместившись поблизости от него, рассчитывал, что к старику каждый день будут приходить жена и дочь и что соседство это даст ему возможность приобрести расположение Спытека.

Хоть не время было думать о таких вещах, когда опасность висела над головами, да и тяжелая рана внушала беспокойство за собственную жизнь, но пылкий воин каждый раз при входе женщин поднимал голову, чтобы полюбоваться на девушку и перекинуться взглядом с ее матерью, как будто он был здесь просто в гостях, в самой мирной обстановке.

Заискивая перед отцом, он всячески старался угодить ему, но тут трудно было добиться какой-нибудь близости или поощрения. Редко кому удавалось вытянуть слово из Спытека, а уж тронуть его сердце не мог никто. Уже и в молодости он получил от людей прозвище «ежа», что же было ожидать от него теперь, после всех испытанных им бед и

несчастий, после всех ран, болезней и в том состоянии неуверенности в будущем, которое его угнетало.

Вшебор, тоже не отличавшийся миролюбием, давно уж начал бы грызться со стариком, но для милой девушки он готов был переносить все его чудачества, воркотню и даже брань.

Владыка, привыкший у себя дома к неограниченной власти над людьми, здесь, очутившись на равном положении с другими, целыми днями ворчал и возмущался, всеми недовольный, всех браня и на все жалуясь. Все, что он узнавал нового, не встречало его одобрения. То он уверял, что без нужды слишком торопились, то ему казалось, что все ленятся. Марту и дочку свою он так запугивал, что они уже переставали понимать, что тот хочет и как им лучше угодить ему. Когда они приходили к нему, он сердился, что они без толку шатались по дворам, приказывал побольше заниматься пряжей и их приход объяснял женским любопытством и недостойным кокетством; а когда они некоторое время не являлись, он упрекал их за то, что они забыли старика и предпочитали болтать с кем-нибудь другим.

Перестань он быть таким «ежом», ему было бы хорошо и у Белинов, да и Вшебор ради прекрасных глаз Каси исполнял бы все его причуды.

Томко, полюбивший девушку, готов был бы носить ее отца на руках, а родители, видя это, старались расположить его к себе. Но он был неприступно суров со всеми. Ему отвели отдельную горницу, чтобы удалить его от Вшебора, но он не захотел перебраться в нее, чтобы не пришлось и за это еще быть благодарным Белине.

Еще никто не чувствовал себя хорошо с ним, да и ему никто не был мил. Но хоть от него доставалось людям, его все же уважали за его мужество и храбрость.

Над головой его Вшебор и Томко, два соперника, смотрели друг на друга такими глазами, как будто хотели съесть. Только Мшщуй, полюбив Здану и убедившись, что и она платит ему взаимностью, несколько отстал от брата и сблизился с Белинами.

В то время как в лагере все дышало войной и все были заняты приготовлениями к ней, в городище, около молодого короля, мало-помалу сплеталась та сеть забеганий и просьб о милостях, забот о возвышении своего рода и напоминаний о своих заслугах, которая всегда окружает всякую власть. Те, что дали Казимиру доказательство

своей верности, требовали теперь признательности и доверия к себе; виноватые старались вымолить прощение, оправдываясь в своих прошлых прегрешениях. И все смотрели в глаза новому государю, стараясь понять его. Но никто не мог этим похвалиться.

Молодой король был замкнут в себе и молчаливо, неохотно слушал разговоры о прошлом, о котором ему хотелось забыть, и, будучи одинаково доступным для всех, ни перед кем не раскрывал своей души. Он вел почти монашеский образ жизни и довольствовался малым.

Перед боем с Маславом Топор и те, кто был вместе с ним, сомневались сначала, пробудится ли в нем военный дух. Но они ошиблись. В первую минуту, когда начался бой, Казимир стоял пораженный и как бы в нерешительности, что ему делать. Но когда рыцари ударили на врага, когда зазвенели доспехи, засверкали мечи и первые ряды столкнулись вместе, бледное лицо короля загорелось румянцем, глаза заблестели, и, выхватив из ножен меч Болеслава, он неудержимо рванулся вперед. Грегор и ближайшие его советники должны были заслонять его собственной грудью, так он мало думал об опасности.

И из этой первой битвы он вышел рыцарем, приняв в ней крещение кровью и победой. С этой минуты он изменился до неузнаваемости, так рыцарь и воин взяли в нем верх над монахом. На него все смотрели с уважением, любопытством и тревогой, потому что никто не знал его близко, даже те, что с юных лет жили при дворе и считались его друзьями, как Топорчик, и которым всегда был открыт доступ к нему. Несколько лет изгнания и замкнутой жизни совершенно изменили эту молодую натуру. И именно потому, что он был для всех такой загадкой, все старались быть к нему ближе и понять его. Рыцарем он уже показал себя, теперь желали видеть в нем короля.

Между тем приближенные короля думали и тревожились за него. Хоть император Генрих и пришел на помощь Казимиру, и вооруженный отряд, который он предоставил в его распоряжение, был только началом той будущей силы, которая должна была сплотиться вокруг него, хоть немцы стойко выдержали рядом с польскими рыцарями первую битву, но друзья молодого короля уже беспокоились о том, как бы избавиться от императорской опеки и дружбы с немцами. Никто не хотел видеть на польском троне вторую Рыксу или Оду.

В интимных беседах между собой, несмотря на то что Маслав со своими грозными союзниками стоял над Вислой, а король не имел на собственной земле пристанища, верные ему рыцари обсуждали его будущее, устраивали его брак, искали для него союзников и отстраивали Краков, Познань и Гнезно.

Топор хотел как можно скорее подыскать ему подругу жизни, чтобы быть уверенным, что он не покинет страну, но эта подруга должна была иметь хорошее приданое, чтобы пополнить опустошенную казну Польши, красоту и грацию, чтобы дать Казимиру семейное счастье и сильного союзника в представителе своего рода.

— Пусть бы только не была немкой, — говорили одни, — и не какая-нибудь внучка или родственница императора, чтобы мы опять не попали в кабалу к немцам. Мы еще помним время Оды...

— Но пусть не будет и чешкой, — прибавлял Лясота, которого изранили чехи, — эти братья сидят у нас костью в горле. Пользуясь нашим несчастьем, ограбили нас, как разбойники без всякого милосердия. Гнезна, Познань и Гдечи мы им никогда не забудем.

— Пусть бы взял польскую красавицу, на что ему королева? — сказал другой. — Кого он посадит рядом с собой, та и будет королевой, хоть бы родилась крестьянкой.

— Этого еще недостаточно, — заметил Топор, — нам нужно получить приданое и союзника при помощи этого брака. Все добро у нас растащили! При Болеславе серебра было сколько угодно, а теперь и железа не хватает.

— Ну, тогда уж лучше всего искать ему жену на Руси, — вымолвил Трепка. — Там богатства большие, и, если мы протянем руку киевским князьям, они не оттолкнут нас. Оттуда бы нам и невесту брать!

— А почему бы и нет? — подхватили другие. — Если правда, что они обещали нам помощь против Маслава, то легко будет сговориться с ними и насчет жены. После великого князя Владимира остались дочери и большие богатства, и слава у него большая. Довольно уж было у нас немцев, и чехами мы по горло сыты. С Руси Болеслав привозил много всякого добра, и красных девок там немало найдется. Одну могут нам дать.

Так окрепла первая мысль о сватовстве, когда Казимир еще и не думал ни о жене, ни о семье, потому что между ним и Маславом

судьба еще не сделала выбора. Весть о сватовстве на Руси дошла и до женской половины, и когда узнала об этом Марта Спыткова, то очень обрадовалась и возгордилась, потому что рассчитывала быть первой при дворе королевы-русинки. Только Спытек, когда ему об этом сказали, решительно потряс головой:

— Вы лучше меня спросите, что такое русинка, — говорил он, — на цепи ее надо держать, а ко рту замок привесить.

Все посмеивались над ним, но воркотня старика не умаляла славы русинок; и только Марта, которой передали его слова, залилась горячими слезами.

Все эти разговоры и совещания оставались тайной для короля; сам он занимался только военными делами. Ждали Собека, который должен был или подтвердить известия, принесенные Носалей, или обрадовать более утешительными сведениями.

Старый слуга вернулся через несколько дней. Дело было под вечер, и король вместе с графом Гербертом, предводителем императорского отряда, Топором и Трепкой совещался о том, когда и каким образом идти на Маслава. Старый Грегор возвестил о приходе Белины и Собека, так как король желал от него лично услышать принесенные им вести.

Король находился в главной горнице внизу, несколько приукрашенной в честь него. Сюда снесли все лучшее, что у кого нашлось, но убранство все же не отличалось роскошью. Только на полу набросали звериных шкур вместо ковров да стены закрыли материями, поверх которых блестело развешенное оружие, а на столе стояло небольшое количество серебра. Но, кроме серебра, на этом же столе лежало то, что в то время редко встречалось даже и в королевских замках; перед креслом короля лежали на столе две книги с деревянными обложками, украшенными медью. Одна из книг была открыта, и пергаментные страницы были заложены золотым крестом. Казимир сидел в кресле, окруженный стоявшими вокруг него магнатами, по большей части старыми, с седыми волосами и бородами, которые составляли оригинальный контраст с его юношескими черными локонами. Топорчик стоял за креслом короля, Грегор, со сложенными на груди руками, присматривал одновременно за огнем в очаге и за входной дверью. Он как будто самую судьбою был назначен играть роль придверника, мало нашлось бы людей,

которые решились бы вступить с ним в борьбу. Его мускулистые руки и ноги и жилистая шея свидетельствовали не только о почтенном возрасте, но также о большой силе, окрепшей с возрастом и в непрерывных трудах, а спокойное морщинистое лицо выражало непоколебимую веру в эту силу.

Когда Собек в одежде нищего показался у входа в сопровождении Белины, все молча расступились. Старый слуга упал в ноги королю, чтобы почтить его высокий сан. Прежде чем он начал говорить, Топор тихо спросил у Белины:

— Что нового?

Старый хозяин с хмурым видом покачал головой. Все притихли, и Собек, поглаживая себя, по своему обычаю, по голове, начал не спеша, отрывочными фразами рассказывать о виденном. И он подтверждал, что силы у Маслава были огромные, и, задавшись целью отомстить за первое поражение, он еще набирал их везде, где только мог. Собек видел войска, стоявшие под Плоцком и собиравшиеся окружить со всех сторон Казимировых рыцарей, чтобы никто из них не ушел живым. Каждый день прибывали новые подкрепления, и было их столько, что Собек, не умея сосчитать, повторял только, что они двигались всюду, как муравьи, и лагерь их над Вислой был, по его словам, в пять или шесть раз больше королевского войска.

Окружающие Казимира, опасаясь впечатления, которое мог на него произвести рассказ Собека, старались уличить старика в преувеличении, но старый слуга упрямо стоял на своем и повторял только одно: что с Маславом всякая борьба была немыслима.

Король молчал, и никто не мог бы догадаться по его спокойному лицу, как он отнесся к рассказу Собека. Он слушал, не моргнув глазами, не шевелясь на своем сиденье и держа руку на книге...

Когда же слуга, рассказав все, что узнал, удалился, Казимир обратился к окружавшим его с такими словами:

— Неужели мы будем бояться количества вражеских войск, как будто бы мы не верим в правоту нашего дела? Мы боремся за крест и веру...

Топор и другие склонили головы, и только один сказал со вздохом:

— Надо бы нам поторопиться, пока чернь не двинулась на нас.

— И мы так бы и сделали, — сказал король, — если бы не ждали возвращения послов, отправленных за помощью. Со дня на день мы их

ждем. А как только они вернутся с благоприятным ответом, мы не будем медлить. Пусть меч решит наш спор во имя Божие!

Никто не возражал на это; мужество и спокойствие короля передались всем остальным; надежда оживила сердца воинов. Те, что сражались в долине, припомнили, какая масса людей была и тогда у Маслава, и что же? Все они рассеялись при первом же столкновении.

Королевские слова явились как бы пророчеством добрых вестей; наутро прискакал высланный вперед гонец и возвестил королю, что за ним едут послы, отправленные в Киев, а с ними и бояре с приветом от князя и обещанием скорой помощи. Известие это было встречено в лагере с большой радостью, которой из упрямства не разделял только Спытек. Верный слуга его Собек в таком виде изобразил ему могущество Маслава, что он считал всякую борьбу с ним гибельной для короля и рыцарства.

На третий день после этого прибыли послы вместе с княжескими боярами, старостой Торчином, Парамоном и Добрыней. Окруженные небольшой, но богато одетой и хорошо вооруженной свитой, они счастливо пробрались к королю, минуя отряды Маслава, разъезжавшие по всей стране.

В городище уже заранее приготовились к встрече бояр: особенно Грегор употреблял все усилия, чтобы как-нибудь скрыть бедность своего короля, которая могла повредить ему в глазах будущих союзников.

Благодаря его стараниям королевскую горницу убрали как только могли наряднее, чтобы она не слишком проигрывала по сравнению с киевской «гридницей», подобрали даже столовое серебро, чтобы послы не могли упрекнуть короля, как некогда упрекала Владимира дружина, что он заставляет их есть деревянными ложками. В этот день и король принарядился, надел на шею богатую цепь, а к поясу прикрепил самый красивый свой меч.

Около полудня перед воротами замка появился небольшой конный отряд, сопровождавший киевских послов. Впереди всех ехал староста Торчин, мужчина средних лет с веселым лицом и живыми карими глазами.

На послах были длинные богатые кафтаны, высокие шапки и оружие в позолоченных ножнах; у поясов висели сумки с деньгами, а платки у них были шелковые.

Парамон и Добрыня держались с достоинством, но и добродушно в то же время; видно было, что они люди добрые, но очень «себе на уме». Низко кланяясь королю, они передали ему привет от князя Ярослава и обещали от его имени помощь, а Торчин принялся расхваливать своих воинов, выставя их героями и богатырями, которые готовы были завоевать весь мир.

Король в кратких словах поблагодарил послов и приказал своим доверенным заняться их угощением.

Для них уж был приготовлен стол, богато убранный и заставленный всевозможными яствами, хоть ради этой пышности весь лагерь был поставлен на ноги. Так как в палатках неудобно было угощать их, то на этот день женщины уступили свои горницы, и здесь заранее был накрыт стол. Топор, Трепка и все приближенные короля уселись за стол вместе с гостями, которые резко выделялись среди угрюмых и печальных лиц рыцарей своей веселостью.

Еще Торчин, старший, немного сдерживался, и Парамон не отличался болтливостью, но зато Добрыня говорил и смеялся за всех. Хозяева усердно угощали и упрасивали гостей, подкладывая им в тарелки и подливая в кубки, и мало-помалу и староста Торчин, и Парамон разговорились без стеснения. Началась такая живая беседа, какой давно уже здесь не слыхали, а в конце концов хозяева и гости так подружились, что принялись обниматься и целоваться.

— Вы как будто робеете, — говорил Добрыня, — а, по-моему, надо весело идти на врага, тогда сам подбодряешься, а его пугаешь. Было плохо, а теперь будет хорошо, — весело продолжал он. — Пусть только подойдут наши молодцы, вот вы увидите! Они и гору с места сдвинут, а соснами, как палками, размахивают; ни один из тех людей не уйдет живым, и следа после них не останется!

— Вот вы нам теперь поможете, — сказал Трепка, — а если, не дай бог, придет беда и для вас, мы пойдем проливать свою кровь за вашего князя.

Опять наполнились кубки, пили за здоровье друг друга, обнимались и целовались, как вдруг из соседней горницы появилась разряженная Спыткова, которая не могла не поздороваться со своими земляками.

При одном появлении красивой женщины лица послов просияли, но, когда она заговорила с ними по-русски, они просто вскрикнули от

радости. Спыткова стала расспрашивать их о своих, но киевляне, по-видимому, не имели сведений о полочанах, по крайней мере никто из них не знал ее родных, хотя все с одинаковым восхищением любовались прекрасными глазами русинки и охотно поделились бы с ней хорошими вестями.

А Спыткова щебетала без умолку.

— Сам Господь Бог привел вас к нам! — говорила она, кланяясь низко, как приличествовало женщине перед такими важными гостями. — Говорят, что ваш князь посылает помощь нашему князю. Да наградит его за это Господь! И еще одно должен был бы сделать ваш князь для нашего короля, чтобы между нами было братство навеки...

И Спыткова таинственно умолкла, загадочно улыбаясь послам.

— Ну что же, красавица-боярыня? — спросил Добрыня. — Либо совсем не начинать, либо уж надо докончить.

— Что? Что? — медленно выговорила Марта, окидывая взглядом послов. — Неужели же вы, такие мудрые люди, дружина государева, не догадываетесь, что нужно молодому королю, чтобы он был счастлив?

Добрыня, прикрываясь ладонью и втянув голову в плечи, принялся смеяться.

— Ах, хитрая красавица! — воскликнул он. — Захотелось тебе быть государевой свахой!

Все засмеялись, и даже самый серьезный из послов, Тивун Парамон, покраснел и хихикнул про себя.

— А почему бы нет? — отозвалась Спыткова.

— И вы удачно попали, — весело заговорил Добрыня, — нигде нет таких красивых девушек, как у нас в Киеве, а что там болтают злые люди, что все они ведьмы, так это сущее вранье! Ой, ой, что за девки! Можно бы их продавать на вес золота, и то было бы недорого, а другу можно и даром отдать — мы не таковские.

— Да и у вашего князя, наверное, есть дочки? — спросила Спыткова.

— Покойного князя Владимира дочка — как раз вашему королю пара, — говорил Добрыня. — Пусть будет в добрый час сказано!

Польские шляхтичи переглянулись между собой.

— А как звать вашу княжну? — спросил Трепка.

— И имя хорошее, а уж девушка — красавица собой, — говорил Добрыня, — зовут ее Доброгневой, потому что она даже в гневе бывает добра. Лицо у нее белее снега, а щеки румянее малинового сока. А как распустит золотые свои косы, так они у нее по земле волочатся, а как взглянет голубыми глазами — у людей на сердце становится веселее; улыбнется — словно солнышко на небо взойдет. Когда красавица выходит из терема, птицы слетаются к ней с неба, а голуби садятся к ней на плечи, когда запоет песенку, львы ложатся у ее ног, а если вышьет золотом или шелком полотенце, только и место ему на алтаре.

— Отдайте же ее нам в королевы! — вскричала Спыткова...

Со смехом чокнулись кубками, а старики только головами покачивали... и долго еще, до поздней ночи, тянулась дружеская беседа.

Несколько дней спустя граф Герберт и начальники королевских отрядов, выйдя под вечер от короля, молча шли к своим палаткам... Там уже собиралось все рыцарство; как молния, разнеслась по всей долине весть о том, что на другой день войска должны были выступить в поход к Висле, не дожидаясь Маслава, чтобы напасть на него врасплох. Такова была воля короля. В назначенный день ожидалась войска из Киева, которые должны были переправиться с той стороны в ладьях.

Едва только было принято это решение, как все городище задвигалось и заволновалось. Ожидание было утомительно для всех, и все желали борьбы. Не радовались только те, кто был лишен возможности принять в ней участие.

В городище надо было оставить хоть немного войска, чтобы оно не оказалось совершенно беззащитным. Некоторые тяжелораненые тоже вынуждены были остаться. Белина должен был охранять свое добро, а Спыткек ни на что уже не годился.

У Вшебора только что поджила рана на шее, но горячая кровь не давала ему покоя. Его тянуло в поход и в то же время хотелось остаться, потому что Томко оставался в городище, чтобы помогать отцу. Он мог воспользоваться этим случаем и предупредить его сватовством. Долива не знал, что делать, и, встав с лавки, долго ходил по горнице с опущенной головой, пока ему не пришло в голову

посоветоваться с матерью девушки. Он тотчас же пошел на верхнюю половину и попросил одну из служанок вызвать к нему Спыткову.

Марта появилась слегка испуганная. Наверху было уж темно, но по голосу она узнала Вшебора.

— Что с вами случилось? — вскричала она. — И что вы тут делаете? В эту пору вызывать меня на беседу, а если кто подсмострит, что подумают люди?

Вшебор склонился к ее коленям и поцеловал у нее руку.

— Дорогая пани, — попросил он, — посоветуйте мне как мать, как королева... Завтра мы идем на войну... Должен ли я идти и оставить тут Томко, чтобы он высватал Касю? Если я ее потеряю, опостылеет мне свет и жизнь...

— Что же делать? Вы тоже едете? — спросила Марта.

— Я должен идти ради короля и ради самого себя; рана почти зажила, мне нельзя остаться.

Марта призадумалась немного и вдруг ударила в ладоши.

— Вы ведь в милости у короля? — сказала она. — Почему бы не попросить его быть у вас сватом? Спытек боится его, потому что у него есть что-то на совести против него. Если король его попросит, он не откажет.

Услышав это, Вшебор бросился в ноги Спытковой и, прежде чем она успела что-нибудь прибавить, бегом пустился по лестнице вниз.

Он и раньше был в приятельских отношениях со старым Грегором, который знал его как верного слугу короля. Не теряя ни минуты, Вшебор побежал прямо к нему. Грегор осматривал и чистил дорожное платье короля и был очень удивлен посещением Доливы в такое позднее время...

— Мне надо видеть нашего милостивого государя, — заговорил Вшебор.

— Теперь поздняя ночь, а завтра мы идем в поход, теперь не время... — сказал старик, покачав головой.

— Я должен видеть его сегодня! — отозвался Долива. — Смилуйте надо мной. Я не задержу его, только брошусь к его ногам и скажу два слова...

Ни слова не отвечая, Грегор сделал ему знак, чтобы подождал, а сам вошел в горницу. Немного спустя двери открылись, и верный привратник пригласил Вшебора войти.

Король был один; он стоял около догорающего очага и повернулся от него лицом к входящему.

Долива, который никогда не умел ни сдержаться, ни промолчать, ни выждать, тотчас же упал к его ногам и, обнажив свою рану, вскричал:

— Милостивый государь, я сражался за тебя и буду сражаться до смерти, но будь же моим благодетелем и окажи мне милость.

Король знаком заставил его подняться с колен.

— Говори, что ты хочешь от меня! — ласково сказал он.

Вшебор встал, но долго не мог начать говорить от душившего его волнения.

— Стыдно мне в такую минуту просить о милости, — сказал он наконец, — и особенно тебя, милостивый государь, у которого совсем другое на уме; но прости моей молодости. — И он снова склонился перед королем.

— Говори, о чем просишь? — повторил Казимир.

— Ах! — вполголоса сказал Вшебор. — Хочу просить тебя быть моим сватом.

Казимир отшатнулся с краской на лице. Видно было, что он ожидал совсем иной просьбы.

— Не время нам думать о свадьбе, — печально сказал он, — и нескоро найдется место, где можно будет ее отпраздновать.

— И я тоже не думаю еще о свадьбе, я хочу только получить согласие отца и матери, — настойчиво повторил Вшебор, целуя руку короля. — Хочу посвататься к дочери Спытека — влюбился до смерти в эту девушку!

Король слушал его, опустив глаза, с румянцем почти девичьего стыда.

— Нас только два брата, — горячо говорил Вшебор, — родителей у нас нет, будь нашим опекуном и отцом. Спытек чувствует, что у него есть вина против вашей милости и был бы рад получить прощение; стоит вам только слово сказать, и он отдаст мне дочку.

И снова он склонился к коленям короля, а тот ласково отстранил его от себя.

— Охотно сделаю это, когда мы вернемся с войны, — сказал он, — теперь не время для сватовства.

— А потом тоже будет не время, потому что ее высватает кто-нибудь другой, — прервал его Вшебор — Король мой и государь, сегодня или завтра — иначе нельзя.

Казимир стоял в нерешимости, не зная, как ему поступить, когда вошел Трепка за приказаниями на завтрашний день. Король с облегченным сердцем обратился к нему.

— Мой старый друг, — сказал он, — замените меня и от моего имени замолвите слово за моего верного слугу, которому я был бы рад отплатить за его преданность мне.

Трепка не понял сразу, в чем дело, и с изумлением переводил взгляд с короля на юношу, но тут Вшебор коротко объяснил ему свою просьбу.

Старик слегка нахмурился.

— Эх вы, молодые! — сказал он. — Храбро сражаетесь, но в голове у вас не все в порядке... Теперь, когда надо спасти страну, вы думаете о девчонках...

— А если ее возьмет кто другой, а я жить без нее не смогу! — возразил Вшебор.

Старик пожал плечами.

— Кто же может взять у тебя это сокровище? — спросил он.

— Томко Белина увивается около нее. Он останется здесь с родителями, а меня не будет!

— Томко? Он идет с нами, — возразил Трепка. — Вы видите, что он ради девчонки не забывает службы королю и нашему делу.

Вшебор несколько смутился.

— А я все-таки прошу, — прибавил он упрямо, — хоть бы он и шел с нами, я хочу иметь согласие родителей и тогда охотно пойду на войну.

Казимир стоял молча. Трепка взглянул на него.

— Согласны ли вы на это, милостивый государь? — спросил юноша.

— Сделайте это для него, чтобы у него было спокойно на сердце, — печально отозвался король. — Не откладывайте...

Вшебор схватил старика за руку.

— Государь и отец мой...

Трепка рассмеялся добродушно и, видя его волнение, низко поклонился королю и вышел вместе с Вшебором.

— Что же это? — буркнул он в дверях. — Какой я сват, когда у нас даже полотенце нет с собой.

Они направились во второй двор.

Старый Спытек занимал по-прежнему то место, которое он сам себе выбрал среди больных и калек. Только ложе его было лучше убрано и окружено сосновыми ветками. Он уже лежал, но не спал еще, у ног его стоял на коленях верный Собек. Остальные раненые или спали уже, или пошли в лагерь попрощаться с уходившими утром товарищами.

Заметив подходившего к нему Трепку, который ухаживал за ним во время болезни, Спытек приподнялся на локте.

— Что же, разве уже едете? Пришли проститься?

— Нет, я еще не прощаться пришел, — отвечал старик, подойдя к нему и оглядываясь на Вшебора, который тоже подошел ближе. — Я пришел к вам послом от короля.

Спытек беспокойно заворочался и поднял свой окровавленный глаз.

— От короля ко мне? Что же хочет от старого калеки милостивый государь?

— Он желает, чтобы вы ему дали доказательство своей преданности его воле, — сказал Трепка. — Не имея чем вознаградить свое рыцарство, он желает, чтобы вы заплатили долг за него.

Спытек, не понимая, к чему клонится речь, широко открыл рот, а лоб его нахмурился.

— Не смейтесь над старым калекой, — сказал он.

— Не время для насмешек, — отвечал Трепка. — Вот перед вами тот, кому вы должны заплатить королевский долг. — Вшебор Долива!

Спытек, очевидно, догадался, и грозные морщины перерезали его лоб; от охватившего его гнева он только шевелил губами и долго не мог произнести ни звука.

— Что же я ему дам? У меня у самого ничего нет! — вскричал он.

— У вас есть дочь... Король просит ее руки для Вшебора.

Долива молча склонился к руке старика, но тот отнял ее.

— Я ничего не имею против Доливы, — заговорил он наконец, — хотя единственная дочь Спытека могла бы найти кого-нибудь познатнее, чем он. Ей и князь бы подошел, но пусть свершится королевская воля... Она будет его.

Долива молча поблагодарил его, а старик продолжал все с большим волнением:

— Скажите королю, что делаю это только для него, потому что хочу, чтобы он вернул мне свою милость, все это только для него... вы понимаете?

— Итак, я могу передать королю ваше обещание? — спросил Трепка.

Спытек вместо ответа обратился к слуге.

— Пусть придет сюда Марта с дочерью...

Вшебор, который чувствовал себя безмерно счастливым, взглянул на старика, лежавшего с приподнятой кверху головой и смотревшего на него взглядом, полным затаенной злобы, и также ощутил в груди нарождающийся гнев и оскорбленное самолюбие. Но не время было ссориться, приходилось терпеть молча.

Пока Собек бегал исполнять поручение своего пана, Трепка и Долива стояли в молчании, а Спытек вздыхал и грузно ворочался, как будто внутри его происходила какая-то борьба. Наконец послышались женские шаги, и в дверях показалась Марта с торжествующим блеском в глазах, увлекая за собою бледную и перепуганную Касю; увидев Доливу, девушка пошатнулась и быстро повернулась назад, как будто собираясь убежать, но мать насильно удержала ее.

Спытек еще больше нахмурился при виде жены.

— Король, наш милостивый государь, сам сватает нашу дочь, — сказал он. — Я не могу отказать королю.

Он указал на Доливу.

— Вот будущий твой муж! — сказал он, обращаясь к Касе. — Такова воля короля и моя. Когда придет время, отпразднуем свадьбу.

Марта склонила голову, но на лице Каси отразились совершенно неожиданные в такой молоденькой девушке чувства. На этом юном лице вместо слез и печали запылал гнев, глаза сверкали угрозой, а сжатые губы отразили упрямую и вызывающую решительность. Ни одна девушка не осмелилась бы в то время явно противиться воле отца и государя. И Кася не возразила ни слова. Но Вшебор понял значение ее взгляда...

Спытек не обращал уже больше внимания на дочь, а Марта, подведя ее к Вшебору, хотела, по старому обычаю, скрепить обручение пожатием руки и поцелуем. Но Кася, как прикованная, стояла на месте,

а когда мать потянула ее за собою, она вырвала руку и отступила на несколько шагов.

Вшебор и не настаивал на соблюдении обычая; он решил про себя, что в будущем сумеет подавить этот девичий стыд, а пока ограничился почтительным целованием рук отца и матери в знак благодарности.

Трепка направился к выходу.

— Ну, пойду к королю с доброй вестью, — сказал он.

Спытек кивнул ему головой и, уже не обращая внимания на присутствие будущего зятя, на жену и дочь, упал на подушки, приказывая слуге:

— Собек, закутай мне ноги.

Закрыв глаза и закутался с головой...

Марта неслышно выскользнула из горницы, за нею шла бледная, с горящим взглядом Кася. Когда они очутились на дворе и Вшебор решился в присутствии матери приблизиться к девушке, Кася отскочила от него и бегом, даже не оглядываясь назад, бросилась на свою половину.

— Да она же еще ребенок, — с улыбкой сказала мать, подавая руку Вшебору, — молодая пташка... что тут удивительного? Приласкаешь ее потом, когда будет твоя. Времени будет довольно.

И начала тихо разговаривать с ним.

На верхней половине послышался громкий плач, стоны и гневные возгласы. Двери неожиданно открылись, из них выбежала Здана, которая, минуя Марту, бросила на нее гневный взгляд и исчезла.

Старый Белина, Томко и Ганна — все сошлись вместе на женской половине и о чем-то тихо совещались... Потом Томко с сестрой отошли в сторону и тоже о чем-то долго шептались между собой, а когда Вшебор ушел, провели и Мшщуя на общий совет.

Группа эта то расходилась, то снова собиралась вместе и беседовала до поздней ночи, а когда Мшщуй вернулся на ночь к себе, то, против обыкновения, не обменялся с братом ни одним словом, а тотчас же лег спать, укрывшись с головой.

Вшебор почувствовал, что он сердится на него, и даже не решился поговорить с ним о своем счастье.

Весна пришла в том году так рано, что только жаворонки не удивились ей, а люди еще верили в зиму, пришла она неожиданно в одну темную ночь, прилетела с юга на теплых крыльях ветра. Еще вчера лежал повсюду белый снег, блестя на морозе заиндевевшим покровом, на реках трещал лед, и тяжелые облака, словно мешки, наполненные снегом, тянулись синею полосой с севера. Пропели беспокойные петухи, ветер прижался к земле и заснул, настала полная тишина. Вдруг вдали что-то зашумело, налетел ветер с юга, влажный, стремительный и упорный, и к утру начал таять почерневший снег, потекла вода поверх ледяной коры, и, как невеста, сбрасывающая с себя снежные покровы, обнажилась земля, взвился кверху жаворонок, откуда-то явился измученный перелетом аист, и засуетилась хлопотливая ласточка.

Те, что спали зимой, пробудились, испуганные шумом ручьев, которые, журча, пробивали себе повсюду дорогу, разрыхляя снежные сугробы, так что к полудню чернели огромные черные пласты, а к вечеру только кое-где виднелся еще ломкий лед. Из-под зимнего покрова выглянули зеленеющие травы и посевы. В воздухе запахло весной, благорастворенной землей, набухшими почками, теплым дождем и водяными испарениями. На берегах рек образовались озера, на реках вода вздулась, и лед трещал, разламываясь в куски, но еще упорно борясь с действием солнца и тепла. И те, что ждали оттепели и не хотели верить в приход весны, должны были принять победительницу... Аист нес ее на крыльях, жаворонок распевал в облаках, верба приветствовала ее бархатными почками, волчьи ягоды — розовыми цветами, а небо — лазуревой одеждой.

И с каждым днем укреплялась клать весны, не той благовонной и спокойной, что приходит позднее исцелять раны, одевать изрытую землю, возвращать цветы, светить горячим солнцем и поливать теплыми слезами, а весны воинственной, вступающей в поединок со старой зимой и борющейся до тех пор, пока не победит ее.

Горячий ветер пролетал вверху среди разорванных облаков, град рассыпался стеклянным горохом, в небесах грохотало, на земле шумело, стремительно неслись освобожденные воды, сталкивались разорванные льдины, ручьи вырывали посевы, буря ломала деревья.

Страшная была эта весна, опередившая весну зеленую; от нее прятались звери, запирались люди в своих жилищах, а птицы,

слишком ранние гости, погибали от холода и голода.

В один из таких вечеров молодой весны после пронесшейся только что грозы над Вислой выглянуло солнце и осветило закатными лучами военный лагерь.

Громадное пространство кверху от разлившейся реки было завалено горами человеческих тел. На пригорке с одной стороны виден был почти опустевший лагерь, а внизу на лугу и полях длительная борьба оставила повсюду следы смерти и разрушения. С левой стороны виднелись беспорядочные группы людей, с криком убегающих от гнавшихся за ними конных рыцарей.

В некоторых местах бой еще продолжался. За убегающим Маславом, у которого шлем слетел с головы, и красноватые волосы развевались по ветру, гнался неукротимый Вшебор. Беглец иногда оглядывался назад, конь его устал, товарищи оставили его. На поле битвы их было только двое: побежденный мазур и разгоряченный победой Долива. Левую ногу с острой шпорой он прижимал к брюху коня, чтобы заставить его бежать скорее. Но и конь Доливы напрягал последние усилия, догоняя убегающего. Они готовились сразиться смертным боем, когда неожиданно из зарослей выскочила притаившаяся там кучка людей и бросилась на помощь убегающему.

Вшебор очутился один лицом к лицу с несколькими нападавшими.

Убегающий остановился, а догонявший его, видимо, колебался, не зная, какое выбрать направление; теперь роли их переменились. Маслав, воспользовавшись своим положением, бросился на него, а Вшебор вынужден был спасаться от него; лицо его покрылось краской, глаза заблестели.

Убегать от побежденного, побитого, от изменника! Убегать, чтобы спасти свою жизнь!

Он оглянулся вокруг, но не увидел никого из своих. Все разъехались в разные стороны, преследуя бежавших, он был один. Оставалось только одно: или пожертвовать жизнью, или позорно спасти ее!

— Убегать от Маслава...

Но взбешенный неудачей мазур был не один, к нему присоединилось неожиданное подкрепление, и они гнались за ним все сразу.

Вшебор держал в руке сломанное копье, сбоку висел погнутый щит, панцирь его был весь исколот, и сам он был сильно утомлен боем, продолжавшимся весь день.

В нескольких шагах показался Белина с небольшим отрядом и смотрел на него... Мстительное чувство загорелось в его душе. Маслав должен был наказать Вшебора за него. Для этого достаточно, чтобы Томко отступил назад и не торопился с помощью... Долива пал бы от руки мазура, а невеста его была бы свободна...

Черная мысль, как молния, промелькнула в его голове и пронзила его в самое сердце. Пусть гибнет тот, кто хотел отнять ее у него... Пусть гибнет!

Вшебор все оглядывался, не пошлет ли ему судьба помощи. Он заметил неподвижно стоявшего Томко и в душе сказал самому себе:

— Этот скорее добьет меня, чем спасет.

Белина все стоял, чувствуя, как вся кровь загорается в нем, а в голове назойливо повторяется:

— Пусть гибнет!

Маслав со своими людьми уже настигал Вшебора. И в тот же миг черная с кровавым завеса спала с глаз Томко, в душе его все прояснилось, согретое лучшим чувством, и он бросился на помощь Вшебору с криком:

— За мной!

Мазуры, окружив Вшебора, старались поранить его коня, потому что сам он еще оборонялся обломком копья, но вдруг, как гром и буря, налетел на них Томко... Маслав, уже готовившийся нанести удар противнику, зашатался сам от удара меча, и все его воины тотчас же разбежались в разные стороны. Вшебор был спасен, но, ослабев от полученной в бою раны, упал с коня.

Все это происходило на поле сражения, в месте, где убежавшие пруссаки и поморяне могли, вернувшись, окружить их или добить; надо было поспешно уходить отсюда к своим.

Белина слез с коня и с помощью двух вооруженных воинов, которые были с ним, подняли Доливу и снова посадили его на коня... Пришедший в чувство Вшебор молча приглядывался к своему спасителю, словно не веря, что видит его перед собой. Белина также не говорил ничего и только указал рукой по направлению к лагерю.

В эту минуту подъехали еще воины, намереваясь броситься в погоню за убежавшими. Мшщуй заметил бледного и окровавленного брата. Они давно уже не разговаривали друг с другом. Он увидел также рядом с ним Томко и остановился удивленный, вопросительно глядя на него.

Белина взглядом же отвечал ему.

— Где король? Не знаете ли, где король? — стали спрашивать подъехавшие. — Где наш государь?

— Я не знаю, — отвечал Белина. — Сначала я сражался рядом с ним, но потом нас разделили. Он бросился в самую гущу!

— Где Маслав? Маслав убит... А кто видел его труп?.. — говорили другие.

— Он спасся с небольшой горстью людей, некому было гнаться за ним! — слабым голосом отозвался Вшебор. — Я последний бился с ним. Он уже был без шлема и весь в крови.

— А в какую сторону он ушел?

Им показали рукой направление, и несколько наиболее ретивых пустилось в погоню.

— Где король? — кричали другие, подбегая к группе приостановившихся всадников. — Что нам победа, если его не будет у нас...

— Где король? — раздавались крики по всему полю битвы.

Но никто не мог сказать, что случилось с королем.

Солнце заходило в таком кровавом зареве, как будто облака отразили в себе эту битву, во время которой ручьями лилась кровь. Чернь, находившаяся при лагере, как хищные птицы, сбегалась со всех сторон и грабила трупы. Из лагеря доносились торжествующие и насмешливые возгласы.

То и дело подъезжали всадники и спрашивали:

— Где король?

— Маслав убит?

Вшебор медленно ехал по направлению к лагерю, поддерживаемый двумя воинами. За ним с понуренными головами ехали Мшщуй с Белиной. Что толку было в этой победе, если король заплатил за нее своей жизнью? Навстречу им показались вдали старый Трепка, граф Герберт и русский воевода Йеловита.

Кони их ехали шагом, и они, сидя в понуром молчании, с опущенными головами поглядывали на трупы, устилавшие поле битвы. Их молчание и весь вид говорили о том, что они искали короля и нигде не находили его.

— Он бился, как лев! — сказал Йеловита. — Я видел это собственными глазами... Он геройски рубил врагов, и там, где он показывался, все разбегалось перед ним.

— Я видел его раненым! Из его руки текла кровь, — сказал граф Герберт.

— Кто же был с ним? Как могли оставить его? — спросил Трепка. — Верная дружина ни на шаг не должна была отходить от него!

Старик был в сильном волнении.

Мимо них проезжали раненые, проходили пешие, потерявшие в битве коней.

— Не видели ли вы короля?

Все видели его в начале битвы, когда он еще молился, стоя на пригорке и измеряя взглядом все эти полчища в три раза сильнее врага: диких поморян, в крепких железных доспехах, пруссаков с палками для метанья за поясом, Мазуров с огромными щитами и всю эту страшную, крикливую, дикую орду, которая рассчитывала окружить королевские войска и уничтожить их, видели также многие, как он, помолившись, бросился навстречу войскам Маслава и долго гнал за самим вождем, которого легко можно было узнать.

К концу сражения, когда победа явно клонилась на сторону поляков, русских и императорских полков, когда дрогнули и начали отступать даже непоколебимо и стойко державшиеся пруссаки, когда все пришло в замешательство и трудно стало различать своих от врагов — король неожиданно исчез. Никто не знал, кто остался с ним и в какую сторону он заехал. Рыцарство, обеспокоенное его исчезновением, разбежалось во все стороны, до самых границ поля сражения, многие шли, склонившись к земле и осматривая груды наваленные одно на другое тела.

Страшно горевали те, что привели с собою молодого государя и невольно обрекли его на гибель.

В это время из-за Вислы слышались торжествующие клики, как будто возвещавшие о новой победе. Вдали показалась медленно

двигавшаяся группа людей; Трепка и все остальные бросились в ту сторону.

Все сразу узнали верного Грегора, шедшего впереди всех и помогавшего нести носилки из ветвей, на которых лежал раненый или труп, покрытый окровавленным плащом. Рядом с носилками шел ксендз, прибывший вместе с королем, и каждое утро, на рассвете, совершавший богослужение. Когда рыцари приблизились, они тотчас же узнали в лежавшем короля...

Он был весь в крови, но черные глаза были открыты, и губы кривились полустрадальческой-полублаженной улыбкой. Король взглянул на Трепку и произнес слабым голосом:

— Хвала Богу! Мы победили!

Но, произнеся эти слова, он потерял сознание. Носилки поставили на землю, и все, встав на колени, принялись приводить его в чувство водою. Только теперь заметили, что за носилками тянулась кровавая дорожка, и сам король был весь в крови. Нечего было и думать о том, чтобы нести его в лагерь, в палатку, надо было тут же на месте поскорее омыть и перевязать раны.

Одни побежали за повязками, другие — за хлебом и вином. Грегор, отстраняя всех, сам осторожно поворачивал израненное тело, снимая доспехи, расстегивая платье, с материнской нежностью и заботливостью отирал лоб и старался угадать все желания своего воспитанника.

Придя в сознание, Казимир обвел всех взглядом, улыбнулся и шепнул еще раз:

— Победа за нами!

Тут же, на поле битвы, перевязали королевские раны. Они были тяжелые, и много вытекло из них драгоценной крови, но для жизни они не представляли опасности.

Настала уже ночь, и месяц взошел над лесом, когда Грегор снова взялся за носилки и направился с ними к лагерю. Король, почувствовавший себя сильнее после нескольких глотков вина, данных ему графом Гербертом, оглядывал поле и тихо спрашивал о судьбе своих рыцарей.

— Милостивый государь, — сказал Трепка, — мы еще не считали своих и не знаем, кто жив, а кто погиб; мы думали только о тебе, ты исчез от нас, а с тобой погибло бы все...

— Я перестал быть вождем, — сказал Казимир, — когда почувствовал себя воином. Я сам не знал, что со мной сделалось. Помню только, что, когда конь мой был убит и я упал вместе с ним, я увидел над собой лицо Грегора и его меч, которым он размахивал вокруг, защищая меня. Он на руках вынес меня, ослабевшего и раненого, в более безопасное место, и ему я обязан жизнью.

Грегор, который с угрюмым видом стоял, склонившись над королем, не отвел глаз и не сказал ни слова... Трепка снял перед ним шапку и подал ему руку.

— Высшая честь принадлежит тому, кто спас нам дорогого государя.

Грегор, снова взявшийся за носилки и молча шедший впереди, не повернулся на эти слова и, может быть, даже не слышал их.

Лагерь уже был близко; королевские слуги, завидев носилки, бежали навстречу с плачем и криками, испугавшись, что несут тело короля.

Но как же велика была общая радость, когда все узнали о спасении его. Со всех сторон съезжались рыцари, возвращавшиеся с погони, и сходились раненые, которых оставили на поле битвы, считая убитыми, а они пришли в чувство и сами явились в лагерь; возвращалась и чернь, грабившая трупы.

Зажигались огни, всюду слышались радостные голоса и песни. Не оставалось сомнения в том, что поражение, нанесенное Маславу, было решительной победой короля. Этой победой он был обязан вовремя подоспевшим русским отрядам, а также шестистам рыцарям императорского отряда и собственному войску, сколько его нашлось во всей стране.

Бой продолжался почти целый день, потому что Маслава, превосходившего королевские войска численностью, не так-то легко было победить. Пруссаки и поморяне бились мужественно, мазуры тоже не отставали от них, и до самого вечера неизвестно было, на чьей стороне будет успех, и только в последней стычке, когда сам король во главе своего лучшего рыцарства бросился на Маслава, его главные силы расстроились и отступили.

В палатку короля приносили вести отовсюду; начальники отрядов собрались здесь на совете; сюда же вносили добычу, знамена и изображения языческих богов, оружие, брошенное на поле битвы,

копья и мечи. Целыми грудями навалили около палатки эту жалкую добычу, но неизмеримо более ценным, чем весь этот хлам, было поражение человека, бывшего причиной всей этой войны и виновником всех несчастий в стране.

Неподалеку от палатки короля находилась небольшая палатка, где расположились Вшебор с Топорчиком и Каневой. Сюда принесли израненного и ослабевшего Доливу. Рыцари перевязывали друг другу раны и, несмотря на боль и утомление, настроение у них было почти веселое, — такой радостью наполняло их сердца сознание одержанной победы.

Только Вшебор выглядел угрюмым и печальным среди своих веселых товарищей.

Слуги разносили пищу и напитки, какие только могли достать. У графа Герберта нашлось даже вино.

— Что тебя так удручает, что ты и нос повесил? — заметил Канева, всегда отличавшийся хорошим настроением духа.

И он слегка подтолкнул Доливу.

— Ран и ушибов я не чувствую, — отвечал Долива, — меня мучает другое.

— Может быть, доспехи натерли? Так я дам тебе жиру, это поможет.

Вшебор опустился на подушки, подложив руки под голову.

— На что мне твой жир? — ворчливо отозвался он. — Другая забота у меня на сердце.

— Ну, так я знаю. Хочется тебе поскорее жениться на Касе! Подожди, уже теперь недолго. Мы уже разбили наголову Маслава, скоро настанет мир, и мы все поженимся! И я бы не прочь!

— Что ты там болтаешь глупости! — рассердился Долива. — Ты знаешь, кто меня спас, знаешь? Маслав упился бы теперь моей кровью, если бы не...

— Белина тебя выручил! — докончил Канева. — Ну, и что же?

— Да ведь он — мой враг, мой враг! — сказал Вшебор. — Мне было бы приятнее биться с ним, чем быть ему обязанным жизнью.

— Всею виною эта несчастная Кася Спыткова, — с улыбкой заметил Канева, — потому что вы оба за нею ухаживали. Правда, что если бы на месте Томко был кто-нибудь другой, то непременно сказал бы себе: «Пусть Маслав его убьет, а девушка будет моя».

Вшебор стремительно поднялся на подушках:

— Вот это-то и мучает меня! — крикнул он. — Вот теперь ты угадал. Я чувствую, что, если бы я был на его месте, а он на моем, — он ударил себя в грудь, — ни за что не пошел бы его спасать. Значит, я хуже него...

— А он глупее... — рассмеялся Канева.

— А теперь я еще должен ему поклониться и быть ему братом на всю жизнь!

— И он будет ездить к тебе в гости и скалить зубы перед твоей супругой.

Оба помолчали немного.

— Уж лучше бы меня зарубили эти мазуры, чем быть ему обязанным жизнью, — прибавил Вшебор.

Другие посмеивались над ним.

Всю ночь шла беседа, и в лагере до рассвета никто не ложился; чернь и слуги искали добычи на поле битвы, возвращались и снова уходили... Надо было подумать о том, что делать дальше.

Решено было завтра до рассвета выслать войско, чтобы занять Плоцк.

Отовсюду приходили вести, что Маслав, разбитый наголову, должен был бежать вместе с пруссаками, следовательно, непосредственной опасности не предвиделось, но надо было воспользоваться плодами победы и расстройством вражеских войск.

Весь следующий день считали убитых и сносили их на костры; многие утонули в Висле, но и без них насчитывалось тысячи трупов. Немало воинов пало и в королевском войске, и им готовили погребение по христианскому обряду.

Весна была еще черная, деревья не отзывались на ее зов, и только молодая травка украшала луга зеленью. Стаял лед, исчезли снежные покровы, дождь уничтожил последние остатки почерневшего снега и освободил из оков то, что лежало под ним.

С юга летели птицы, в полях и лесах просыпалась шумливая жизнь. Заспанный медведь, исхудавший за время зимней спячки, шел на охоту.

Из ульев вылетали пчелы на первые цветы, прохаживались аисты, вступая во владение лугами. Орлы и ястребы летели в небе...

Из глубины лесной чащи вышла, тревожно оглядываясь, старая женщина, опирающаяся на посох... Стан ее согнулся, губы посинели, седые волосы в беспорядке падали на плечи. Измятая и испачканная толстая сермяга прикрывала грубое, черное от грязи белье, ноги были босы, а за плечами не видно было ни узелка, ни мешка. Она шла, подпираясь посохом, не разбирая дороги и не раздумывая, шла, как будто ведомая какой-то непреодолимой силой.

Если на дороге попадалось бревно, она перелезала через него, даже не пробуя обойти, если был ручей, прямо в воду, не ища перекладыны. Что-то влекло ее, что-то гнало вперед куда-то, куда стремилось сердце. Так прошла она сквозь зеленую чащу, пробралась через болота. Ночью ложилась на мокрую землю и засыпала мертвым сном. Волки подходили, смотрели на нее и, не дотронувшись, скрывались в лесу; медведи глядели на нее, присев на землю, и следили за ней взглядом, когда она шла; с ветки над ее головой зелеными глазами всматривалась в нее дикая кошка, но не двигалась с места. Стада зубров паслись на лугу; они поднимали головы и разбегались, завидя ее.

Проголодавшись, она срывала травинки и жевала их; иногда ладонью зачерпывала воды и проглатывала несколько капель. И так шла она уже много дней, шла, чувствуя, что все ближе и ближе цель ее странствий...

Лес расступился, в долине дымятся хаты, на холме — господский дом, около него хлопочут люди.

Старуха остановилась, оперлась на посох, и смотрит... втянула воздух... села. Кровь выступила из ее босых ног, она смотрела на них, но боли не чувствовала. Приближался вечер, до деревни было еще далеко, но она не спешила. Отдохнув, поднялась снова и медленно пошла вперед. Иногда она останавливалась, потом снова шла. Что-то толкало ее вперед и в то же время тянуло назад; она и хотела идти, и как будто чего-то боялась. Кругом было пусто. Две черные вороны сидели на дубу и ссорились между собой; то одна, то другая срывались с места, хлопали крыльями и угрожающе каркали... Старуха взглянула на них... Втянула глубже воздух; что-то оторвалось в ее груди, какое-то далекое воспоминание; она в изнеможении опустилась на землю. Слезы потекли из ее глаз, побежали по морщинкам, как ручейки по вспаханному полю, добежали до раскрытого рта и исчезли в нем. И

она выпила свои слезы. Оперлась на руку и стала покачиваться из стороны в сторону, как ребенок, укачиваемый матерью. Не старалась ли она усыпить собственные мысли?

Становилось темно, до деревни было далеко, в поле пусто: только вороны каркали, летая над нею.

Старуха прошла еще несколько шагов, потом легла на землю и прижалась к ней лицом. Может быть, жаловалась на что-нибудь старой матери-земле, потому что слышны были глухие стоны. С криком поднялась и снова упала.

А тьма сгущалась.

Над лесами, из-за черных туч, показался серп месяца, красный, кровавый, страшный, как вытаращенный глаз, из которого сочится кровь... Он поднимался все выше и выше по небу. Черная тучка перерезала его пополам, он выглянул из-за леса, словно раненый, огляделся вокруг, побледнел и пожелтел. Старуха поглядела на него и кивнула головой, как старому знакомому... И, казалось, хотела сказать ему:

— Посмотри, что со мной случилось!

Но месяц, не отвечая ей, поплыл дальше; она презрительно махнула на него рукой, встала и побрела дальше.

На пригорке против господского дома стоял огромный высохший дуб. Это был только труп прежнего дерева. Кору с него содрали, весь он был опален снизу, ветер обломал ветви, и только несколько толстых сучьев отделялись от ствола, как обрезанные руки. Две вороны уселись на нем, продолжая ссору. На самом толстом суку висело что-то. Легкий ветер раскачивал этот груз, и он поворачивался, как живой. Это был труп человека с красноватыми волосами на поникшей голове, которые развевались по ветру. На лбу виднелась корона, сплетенная из соломы. Открытые глаза были пусты: их выклевали вороны. И тело его было страшно изуродовано людьми или зверями; мясо черными клочьями отставало от костей.

Внизу два бурых волка, сидя под деревом и задрав пасти кверху, поджидали, скоро ли ветер сбросит им добычу. Ждали терпеливо, высунув из пасти голодные языки. Иногда какой-нибудь из них поднимется, завоюет, толкнет товарища и снова сядет спокойно, задрав голову кверху. Вверху вороны, а внизу волки спорили из-за трупа, который медленно крутился по воле ветра.

Старуха шла, и вдруг взгляд ее упал на повешенного. Она остановилась, вздрогнула, сильнее оперлась на посох и рассмеялась громким, страшным диким голосом, и эхо из чащи леса повторило этот хохот. Волки бросились в сторону, вороны улетели. Уселись немного подальше. Старуха подошла ближе, приглядываясь к труп.

Подошла к самому дереву, посох поставила, сама села и, оперев руки на коленях, опустила на них голову. И снова засмеялась. А слезы текли по извилинам морщинок и забирались ей в рот.

Сук, на котором висел труп, трещал и скрипел, словно жалуясь, что ему приходится держать такую тяжесть. Старуха мокрыми от слез глазами смотрела на мертвеца, и месяц присматривался к нему, не сводили с него глаз волки, а ночь все окутывала черным покровом.

Стемнело... Старуха снова раскачивала головой, а из уст ее лилось тихое-тихое пение, как поют матери над колыбелькой засыпающего ребенка.

Долго пела она, глядя вверх, и, устав, плакала до тех пор, пока в груди не стало дыхания, а на глазах — слез... Тогда, впорив в него неподвижный взор, она сидела молча, не двигаясь с места.

В это время в лесу послышался далекий шум — летел король-ветер! Черные тучки несли его по небу.

Старуха обрадовалась ему, глаза ее заблестели.

Зашумело и в долине, труп нагнулся и начал метаться по воздуху.

Ветер так закружил его, что корона упала, волосы развеялись, полы сермяги раздулись широко, это был танец смерти повешенного! И старуха, глядя на него, взялась за полы своей сермяги и принялась кружиться вокруг дерева, распевая все громче и быстрее и прерывая себя смехом.

Волки завyli, подняв кверху пасти, а ветер дул все сильнее.

И, казалось, все кружилось в этом танце смерти, принесенном ветром: труп, старуха, вороны в воздухе, волки, бегавшие вокруг дерева, и даже тучи на небе, из-за которых то показывался побледневший месяц, то снова прятался за них. Свист ветра в ветвях деревьев и в сухих тростниках болот походил на звуки какой-то дикой музыки.

Старуха, напевая себе под нос, все кружилась с какой-то бешеной быстротой, вдруг что-то затрещало наверху, она остановилась.

Труп повешенного сорвался с сука и упал к ее ногам.

Старуха остановилась над ним... месяц выглянул из-за туч...

Она медленно подошла, села под деревом и осторожно положила себе на колени голову с выклеванными глазами.

И в ту же минуту снова вспомнила колыбельную песенку, затянула ее и заплакала.

Вороны, сидя на дереве, каркали над ее головой, волки придвинулись ближе и стали обнюхивать труп. Теперь он вполне созрел для них — этот дубовый плод!

В темноте четыре разбойничьих глаза сверкнули перед старухой, отнимавшей у них добычу, — блеснули белые зубы. Взгляды их скрестились. Она взяла палку и погрозила им.

— Прочь, собаки, от княжеского тела, вон ступайте! — хриплым голосом закричала она. — Не знаете разве, кто это? Это плоцкий князь! Король Маслав! А! Он мой сын! Мой сын! Прочь, проклятые собаки, вон убирайтесь!

Волки отступили, старуха была смелее их, защищая дорогое ей тело... Голову она положила к себе на колени и что-то бормотала про себя.

— Так ему суждено было погибнуть! Так! Все он имел, а захотел еще большего! Еще ребенком он так ко всему тянулся. Враги не смогли, так друзья повесили! Ха, ха, я-то знала, что так и случится!

Она опять закачала головой и заплакала. Взглянула в лицо месяцу, словно спрашивая у него совета.

— Правда ведь? Мы не дадим его на съедение волкам? Мать вырастила, мать похоронит... А кто мать похоронит? Волки съедят... — Она засмеялась. — Ну и на здоровье!

И, положив голову мертвеца на землю, она встала, отряхивая седые волосы... Взяла посох и пошла прямо на волков, отгоняя их, как собак...

— Не можете подождать, паршивые собаки! — говорила она им. — Отдам вам за него свои кости. Его не отдам!

И подняла палку; волки, попятившись назад, прилегли на земле. Она с улыбкой взглянула на месяц.

— Ну, помогай! — сказала она ему.

Стала на колени подле трупа, запустила в песок костлявые руки, отбросила мох и сухую траву и начала копать землю.

Сначала работа шла медленно; песок сыпался обратно в яму, тогда она стала отбрасывать его далеко в сторону. Рыла поспешно, обеими руками, разравнивала землю, выбрасывала ее далеко от себя.

Иногда бросала взгляд на труп и тихонько шептала:

— Не бойся, я устрою тебе гладкую постельку, найду и камень под голову и оберну его полотном, засыплю тебе глаза сухим песком, чтобы не болели... Будешь спать спокойно, как в колыбельке!

Задохнувшись от усталости, она отдыхала немного стоя на коленях, потом снова принималась за работу. Яма увеличивалась, расширялась и углублялась.

Месяц заглядывал в нее одним боком, другой закрывала тень от дуба. Старуха все спрашивала у месяца совета.

— Князь мой, брат мой, достаточно ли глубоко? Может быть, надо еще глубже? Волки тоже умеют глубоко рыть землю, но подождите же! Вместо камня я лягу сама, а как меня съедят, так уж его не захотят есть...

Еле дыша от усталости, она снова села отдохнуть, уронив на колени окровавленные руки. Роя яму, она наткнулась пальцами на корни, и пока вырывала их, поранила себе пальцы, а когда и пальцы не могли справиться, стала рвать зубами.

— Что это была за жизнь! — говорила она, продолжая рыть могилу. — Ох, какая жизнь! Ребенок бегал босиком, а потом ходил весь в золоте, командовал тысячами, а некому было вырыть могилу! Вот тебе корона... корона...

На земле лежала сделанная в насмешку соломенная корона, старуха отбросила ее подальше. Яма была уже достаточно глубока, она влезла в нее, разгребая кругом осыпавшуюся землю; песок был мягкий, и рыть было легко.

Когда голова ее едва выделялась над землей, она высунула ее и зашептала, обращаясь к мертвецу.

— Подожди! Еще не готово! Мать стара, руки у нее застыли.

Месяц все плыл по небу и постепенно опускался. Старуха все еще рыла, напрягая последние усилия, — потом начала утаптывать ногами дно ямы.

Поздно ночью, когда ветер стих и месяц куда-то скрылся, она вылезла из могилы, задыхаясь от усталости.

— Князь мой, господин мой! Постель твоя готова. Есть в ней и камень, завернутый в полотно, а на дне моя сермяга. Иди...

Говоря это, она обеими руками охватила труп и, почувствовав его около своей груди, которая когда-то кормила его, прижала его к ней и долго не могла отпустить, лаская, как ребенка, и сам плача над ним, как ребенок...

А над могилой стояли два волка, и четыре волчьих глаза блестели во тьме.

Месяц спрятался, наступила темнота; старуха вскочила и потащила труп в могилу. Он скатился с края ямы и упал на дно лицом к земле... Старуха влезла за ним, чтобы уложить его на вечный отдых, и с огромными усилиями повернула лицом кверху. Закрыла ноги, поцеловала в лоб.

— Спи, спи! — тихонько шепнула она. — Здесь хорошо, никто тебе не изменит...

Она взялась руками за края ямы, мягкий песок осыпался вниз; волки щелкали зубами.

— Ну, подождите! — сказала она. — Что обещала вам, то и сделаю. Ведь до утра еще далеко.

Бросила последний взгляд на сына и начала засыпать его песком, сыпала поспешно, с нетерпением, почти с яростью, работала руками и ногами... И все поглядывала вниз.

Лицо еще виднелось, ей жаль было засыпать его; но наконец закрылось и оно.

— Спи спокойно!

Песок, как живой, выскальзывал из-под ее ног и из ладоней, падая вниз и заполняя яму, остался только след вскопанной земли и утоптанное место под дубом...

Старуха, окончив работу, тяжело вздохнула и оглянулась вокруг.

Над лесами уже светлело, и среди разорванных облаков любопытно выглянула бледная звездочка утренней зари.

Старушка шепнула.

— Кому вставать, а мне надо ложиться... Прощай и ты!

Рассмеялась, вытянулась во всю длину на свежем песке, одну руку подложила себе под голову, другой закрыла себе глаза, вздохнула тяжело и уснула.

Волки сидели и смотрели издали. Один встал и подошел поближе, потом снова сел в ожидании, другой тоже подошел.

Первый стал в головах, другой в ногах; оба, ворча, о чем-то переговаривались. Старуха спала.

В небе рассветало, розовело и светлело.

Двое мужчин шли от усадьбы в лес.

— Смотри-ка, висельника сняли с дуба!

— А что, нет его?

— Это ветер обломал сук и сбросил его.

Они боязливо подошли и остановились. Один из них в ужасе вскрикнул:

— Смотрите! Да он был чародей! Мы повесили мужика, а здесь лежит баба, которую разорвали волки.

Оба постояли в раздумье.

— Да, он был чародей! — повторил другой. — Хорошо сделал Кунигас, что замучил его и повесил! Сколько наших погибло из-за него! Чародей и есть!

И они пошли в лес.

Долго белели под дубом кости старухи, а ветер перебрасывал соломенную корону.

## VI

За несколько дней перед битвой, которая дала Казимиру победу и корону, в Ольшовском городище было великое смятение. Захворал старый Спытек.

Весна, которая зовет других к жизни, его тянула в могилу; он чувствовал, что не увидит более зеленых деревьев. Его душил насыщенный воздух, и ночью он лежал в жару, а днем дремал. Был неспокоен и рвал на себе одежду.

Все заботы Собека его раздражали, он не выносил болтовни жены, слезы дочери были ему неприятны. И он всех гнал от себя прочь.

Ганна Белинова, хотя и была на него в обиде, жалела его и приносила ему всякие снадобья и лекарства, но старик ничего не хотел и от всего отказывался.

— А зачем же мне жизнь, — бормотал он, — калеке? На коня не могу сесть, топора не могу поднять, света не вижу. На что мне жизнь?

Зашел к нему отец Гедеон со словами утешения; он выслушал его, покачивая головой, но исповедался, принял благословение на смерть и просил не беспокоить его больше. В последнюю ночь Собек, по обыкновению, сидел подле него; в полночь запел петух; больной зашевелился и подозвал к себе слугу.

— Старик, — сказал он едва слышным голосом, — не могу умереть. Послушай, вынь у меня все из-под головы, мне легче будет умирать.

Слуга, плача, послушался его и вынул все, что у него было под головой. Спытек вытянулся во всю длину, скрестил руки на груди, закрыл глаза, и прежде чем занялся день, он лежал уже холодный и окостенелый.

Прибежала Марта, распустив по плечам волосы, ломая руки, громко причитая и страшно плача, так что голос ее слышался по всему замку. Пришла заплаканная Кася, а за нею все остальные женщины; послали за плачеями, чтобы причитали над телом.

В тот же день начались приготовления к христианскому погребению. Дубовый гроб, по всей вероятности, заготовленный Белиной для самого себя, он отдал старику, крышку забили, гроб перенесли на пригорок в лесу, ксендз Гедеон совершил обряд похорон, и все обитатели замка отдали покойному последний долг.

В городище никто не почувствовал горечи утраты, напротив, без него всем стало спокойнее, плакал только старый Собек.

Госпожа, которая накануне так кричала и разливалась слезами, сидела теперь в раздумье и вздыхала. На третий день она уже смеялась, но, опомнившись и сама себя устыдившись, тотчас же всплакнула.

Кася ходила печальная.

Все ждали вестей от своих, Белина — от сына, Спыткова — от будущего зятя.

В течение нескольких следующих дней в голове Марты Спытковой зародились новые мысли: ей стало казаться, что было бы жестокостью насильно выдать Касю за Вшебора: «Что ж, если девушке полюбился другой, и тот, другой, тоже ее любит и сам человек хороший да и родители — почтенные люди! Какое дело королю до

моей дочери? Покойник мог дать слово за нее, потому что мужчины ведь ничего не понимают в этих вещах! А почему бы мне самой не выйти за Вшебора? Он так жал мне руки, что в жар кидало, и смотрел такими глазами, словно съесть хотел. Это он за Касей из ревности приволокнулся. Не было бы Каси, так он непременно женился бы на мне».

Так рассуждала сама с собой пани Спыткова, а однажды вечером, когда Ганна Белинова под села к ней, она заговорила с ней по душе:

— Пошли Бог вечный мир моему покойному мужу, — тихо сказала она Ганне, — но при жизни тяжело мне с ним было. Ой, рука у него была железная! Да и Касю мне жаль, что он так легко отдал ее по первому слову короля. Девчонка не любит Вшебора, хотя я ничего не могу сказать против него, но я-то знаю, что ей нравится кто-то другой.

И она как-то странно покачала головой.

— Вы думаете, что я ничего не вижу? Хе, хе! Кася худеет, плачет по ночам, а кто виноват? Я знаю, я-то знаю...

Она улыбнулась и сказала на ухо Ганне:

— Это все Томка ее очаровал! Дай ему бог здоровья!

— Но ведь все кончено, вы дали слово королю, — шепнула Ганна.

Спыткова отрицательно покачала головой.

— Эх, все бы это устроилось, — сказала она, — только я не смею вам признаться.

— Ну, ничего, говорите, — спокойно сказала Ганна, глядя ей прямо в глаза, — говорите, пожалуйста, ведь вы знаете, что я ваша приятельница...

— Только чтобы об этом никто не знал, — беспокойно оглядываясь, говорила Спыткова. — Знаете ли вы, что когда Доливы спасли нас с Касей в лесу, то ведь мы все думали, что мужа моего нет на свете. И я была как будто вдова. Всю дорогу до городища Вшебор шел подле моего коня и глядел мне в глаза. Да если бы вы только видели, как смотрел! А когда помогал мне слезать с коня, так сжимал мне руку, что я вся обливалась румянцем. Он никогда не был влюблен в Каську, а только в меня. Он просто хотел через нее приблизиться ко мне...

Ганна все еще с недоверием качала головой.

— И даже потом, моя Ганна, — продолжала рассказывать вдова, — никогда не старался увидеть Касю, а всегда вызывал меня, и,

как бывало, станет внизу, а я наверху, да как начнет говорить, а сам с меня глаз не сводит! Мне иной раз, как молоденькой девочке, стыдно было! Ну, что тут еще говорить! Что же делать, милая Ганна, когда он такой упрямый и так влюблен? Уж пошла бы я за него, чтобы только человек не мучился!

Удивилась Белинова, а Марта шепнула ей на ухо:

— Пусть бы только ваш женился на Касе!

У матери, крепко любившей сына, далее лицо просветлело, и она молча обняла Марту за шею.

Между семьей Беликов и Спытковой завязалась самая горячая дружба.

С того времени как войска ушли из Ольшовской долины, о них не было почти никаких известий. Иногда заезжал какой-нибудь заблудившийся по дороге шляхтич, ехавший к королю, и приносил с собой услышанную где-нибудь новость. Белина мало надеялся на успех и очень тревожился. Повсюду шли разговоры о больших силах Маслава, и хотя русские обещали прислать помощь, но нельзя было рассчитывать, что она подоспеет вовремя.

Каждое утро старик-хозяин поднимался на возвышение над воротами, смотрел в долину и слушал.

Не едет ли кто-нибудь? Не раздастся ли топот копыт? Нет! Все тихо вокруг! Только лес угрюмо шумел, да плывут в небе облака; иногда из лесу выбежит дикая коза, осмотрится вокруг черными глазами, топнет сухой ножкой и умчится.

Однажды утром старик спустился с вышки над воротами и, медленно перебирая ногами, пошел к дому. Теперь около рогаток почти не было стражи; девушки, стиравшие белье, как раз собирались развесить его на солнце, потому что весенний ветер и солнце покрывают загаром человеческие лица, но белят полотно. В это время старая Эля взглянула в сторону леса.

— Ай! — крикнула она. — Смотрите-ка, смотрите, вон скачет, как бешеный, какой-то всадник прямо к городищу! Смотрите, он пригнулся к шее коня и гонит его во всю прыть. Ой, ох, наверное, бежал из боя — наши разбиты!

И все женщины крикнули в ужасе:

— Ай, наши разбиты!

— Наши разбиты! — разносилось по всему городищу, и девушки, бросив мокрое полотно, побежали на женскую половину, крича:

— Наши разбиты!

Одни бежали к воротам, другие — на вышку над воротами, все смотрели в долину.

А там скакал что есть духу всадник, то и дело подгоняя коня. Заметив стоявших на валах, он стал знаками что-то объяснять им. Всадник летит во весь опор, вот он уже близко. Старый Белина узнал в нем сына и возблагодарил Бога за то, что он остался жив.

— Ганна! Томко жив! Это он едет! — крикнул он.

Мать молитвенно сложила руки. Оба затаили дыхание. Вот уж слышен топот коня, вон он под воротами, на мосту... Въехал и, на ходу соскочив с коня, бросился к ногам родителей.

Поодаль стояла бледная Кася; он взглянул на нее, дыхание у него перехватило, схватился рукою за грудь. Молчание его, казалось, подтверждало догадку о поражении.

Но вдруг из уст его вырвались первые слова:

— Маслав разбит наголову!

— А король?

— Король тяжело ранен! Все поле усеяно трупами! Бой был упорный, долгий, жестокий, смертельный, но в конце концов чернь не выдержала — бросилась в бегство.

Все стали на колени и, сложив руки, поблагодарили Бога.

— Осанна! — подняв руки кверху, возгласил отец Гедеон.

Великий страх сменился столь же великою радостью. Все плача, обнимали друг друга, а ксендз тотчас же повел всех к алтарю.

Когда он окончил молитву, все окружили Томко; сестра так и повисла у него на шее, мать гладила его по голове, а Кася тайком от людей переговаривалась с ним взглядом, значение которого он только один понимал.

Спыткова никогда еще не была с ним так нежна, как сегодня, и все закидывали его вопросами, слушали внимательно и не могли наслушаться...

Весь день с утра до вечера он рассказывал, но и этого было мало, и как только он поднимался с места, его удерживали и упрашивали: говори еще!

И только вечером Здана завладела им: выбежала к нему во двор и обняла его.

— А Мшщуй? — тихо спросила она.

— Мшщуй здоров и храбро бился, — отвечал Томко — Посылает тебе шелковый платок; уж не знаю, где он его раздобыл и прилично ли тебе принять его. Если он не взял его у убитого мазура, то, верно, купил у русина.

Платок был очень красив, но не ради него зарумянилось лицо Зданы. Она быстро схватила его, спрятала, чтобы не увидели люди. Слезы выступили у нее на глазах.

Томко тяжело вздохнул.

— Послушай, Здана! Я знаю, что Кася обручена с другим, и мне не следует думать о ней, но я не могу перестать любить ее... Вот здесь нитка жемчуга для нее, отдай ей тихонько, чтобы мать не заметила. Слез моих прольется в десять раз больше, чем здесь жемчужин!

Он не мог продолжать и помолчал, стараясь овладеть собой.

— Что же делать? Видно, не судьба, — закончил он. — Если бы не я, Вшебор грыз бы теперь песок, а Кася была бы моя. Я спас его из рук Маслава!

И Томко поник головой, как бы сожалея о своем добром поступке.

— Он мне и спасибо не сказал! Только поглядел на меня таким взглядом, словно съесть хотел.

Здана слушала одним ухом, а сама все любовалась своим платком и прижимала его к груди.

— А знаешь ли, что Спытек умер? — сказала она.

Днем как-то не довелось спросить о нем, да и супруга его не вспоминала о покойнике, и теперь Томко вскрикнул от удивления.

— Да неужели?

— Умер, бедняга! Спыткова теперь вдова. И кто знает... Еще многое может измениться... Такая стала с нами ласковая, так с мамой подружилась!

Луч надежды проник в душу молодого воина. Здана пожала ему руку и, зажав жемчуг в руке, побежала к Касе.

Прошло несколько недель; на деревьях распускались почки, над речкой зазеленели лозы, и черемуха уже развертывала свои листочки, когда однажды к воротам замка подъехали братья Доливы.

Томко, стоявший случайно в воротах, приветливо поздоровался с Мшщумом, а на Вшебора даже не взглянул. Зато Спыткова, узнав о его приезде, оделась, как на праздник, и вышла к нему. Касе она позволила остаться в горнице, и та со слезами заперлась у себя.

Прекрасная вдова встретилась с будущим зятем на втором дворе. Он кинул взгляд позади нее, нет ли где ее дочери, но его приветливой улыбкой встречала только мать...

— Знаешь ли ты о моем несчастье? — сказала она, тотчас же сделав печальное лицо. — Умер мой муженек! Осталась я сиротой! Не знаю, что делать, не знаю, кто позаботится о бедной женщине!

И, говоря это, она взглянула прямо ему в глаза и взяла его за руку, словно забывшись от великого горя.

Вшебор все еще высматривал Касю; но он не смел спросить о ней, а вдова совсем не упоминала о дочери.

— Если бы вы видели, как он умирал, — рассказывала она о покойном муже, — так тяжело ему было умереть... И перед смертью хоть бы сказал мне доброе слово!.. Пусть Бог мне простит, но жизнь моя с ним была тяжелая...

Мшщуй с Томком пошли искать Здану. Ее не трудно было найти. Как будто случайно, она пошла на валы с девушками, которые расстилали на траве пряжу. Она стояла среди них, вся зарумянившаяся, засунув в рот конец фартучка, головку опустила, а глаза из-под опущенных ресниц уже издали выследили Мшщую. Маленький уголок шелкового платка выглядывал из-под белой рубашки.

А когда он подошел к ней, то в первую минуту ни он, ни она не могли вымолвить ни слова, и Томко, стоявший поблизости, отчетливо слышал биение их сердец, а потом тихий смех — Здана убежала к девушкам.

Кася, сидя в темном чулане, горько плакала, прижавшись головой к стене.

Между тем Вшебор должен был выслушивать излияния вдовы. Наконец он решился спросить о Касе.

Мать опустила глаза, видно, ей был неприятен этот вопрос.

— Да ведь она еще ребенок, — сказала она, — и что-то плохо себя чувствует. Даже не знаю, что с нею.

И так вышло, что в этот день Вшебор не видел Каси и был очень этим встревожен и зол прежде всего на мать.

Отсюда братья Доливы предполагали ехать на свои земли; в стране наступило спокойствие, и все спешили к своим домам, хотя они и были разрушены; надо было заново отстраиваться, налаживать хозяйство, собирать разбежавшихся крестьян и заставить их приняться за работу. И тот, и другой очень спешили вернуться, а уехать не могли.

Вшебор ходил, повесив нос, да и Мшщуй не лучше себя чувствовал. На второй или на третий день по приезде, посоветовавшись с Томком, он пошел к матери Зданы и с низким поклоном попросил у нее руки ее дочери.

Ганна Беликова не отличалась многоречивостью, услышав то, о чем она уже догадывалась, она покачала головой и отвечала так:

— Здана еще так молода! Рано еще ей думать о муже. Да мы и не отдадим ее прежде, чем Томко женится.

— Милостивая пани! Да может ли это быть?

— Это воля моего мужа! — сказала Ганна. — Вот пожените Томко, тогда увидим...

Мшщуй понял, в чем дело, и вечером набросился на брата.

— Ты все еще думаешь о Касе.

— Ну, разумеется! Ведь мы уже обручены! Вот ксендз даст нам благословение, и я заберу ее с собой в наш дом.

— Дома-то еще нет, — возразил Мшщуй, но не в этом дело. Дом можно быстро поставить. Хуже всего то, что Кася слышать о тебе не хочет.

— А мне какое дело! — отвечал Вшебор. — Пусть только отдадут ее мне, мы уж как-нибудь поладим.

— Послушай, Вшебор, если бы у тебя было хоть сколько-нибудь разума, ты бы не женился на ней, — сказал Мшщуй. — Взял бы лучше Спыткову, а с ней — половину ее имений и еще то, что она получит с Руси. Та с тебя глаз не спускает...

Вшебор страшно рассердился.

— Вот еще выдумал сватать мне старую бабу! — вскричал он. — Я тебя насквозь вижу и понимаю, чего тебе нужно. Ты хотел бы взять Здану, вот и стараешься подслужиться к ее родным, а я должен за тебя расплачиваться. Не дождешься этого от меня!

Вшебор, не отвечая, улегся на землю и закрыл глаза, давая понять, что не желает продолжать разговор.

Доливы все еще не уезжали; каждый день Спыткова вызывала Вшебора и болтала с ним, пока ему не надоедало ее слушать, но ее очень сердило, что он вместо того, чтобы делаться все более нежным, становился все молчаливее и угрюмее.

И однажды он прямо спросил ее, когда же будет свадьба.

— Чего же так спешить? Ведь еще совсем недавно у нее умер отец, — отвечала Спыткова. — Разве вы забыли? Еще вдове-сироте можно простить, если она не выждет до срока каких-нибудь шести недель, а уж дочери — никак нельзя не выдержать.

Делать было нечего — приходилось ждать. Стараясь развеселить его, вдова болтала, шутила, смеялась, сверкала глазами и белыми зубами, и в конце концов ей удавалось вызвать у него улыбку.

В это же самое время подготовлялась страшная измена; Вшебору рыли яму, а он и не подозревал об этом.

Хуже всего то, что и сама пани Спыткова, воспылав любовью к дочери, которую она неожиданно открыла в себе, если и не принадлежала к числу заговорщиков, то знала о заговоре и смотрела на это сквозь пальцы.

И кто знает, не втянули ли в этот заговор и самого отца Гедеона? А уж Белины приложили все усилия, чтобы он удался. Задумали похитить Касю!

В трех милях от Ольшовского городища, в глубь страны, у Белинов был кусок земли, деревня и господский дом. Каким-то чудом он уцелел от погрома; из него только взяли все, что можно было увезти.

Старая усадьба была теперь всеми оставлена, потому что после поражения Маслава чернь, боясь мести, смиренно сидела по своим углам, и все возвращалось к прежним порядкам. Томко в сопровождении нескольких вооруженных воинов выехал в Борки, которые отец отдал ему во владение, и сам осмотрел их.

Там было тихо и спокойно, как в могиле. Усадьба была совершенно заброшена; в жилой дом свободно залетали птицы, забегали куницы и лисицы, но стены были целы. Люди, которые еще недавно дерзко грабили, разрушали, убивали, теперь присмирели и делали вид, что они ни о чем не слышали и не ведали.

За то время, что Томко провел в Борках, он наслушался там всяких чудес. Приходили к нему деревенские люди, кланялись ему в

ноги, вздыхали, охали, жаловались на плохие времена и потихоньку шептались одни на других.

— Вот Мутка — тот, правда, ходил с этой чернью, у него полны чуланы награбленного добра, да и Турга не лучше его. А я все время дома сидел да грыз сырую репу.

А потом приходил еще кто-нибудь и доносил на первого:

— Кисель всему виною, а теперь притаился и представляется, что ничего не знает.

Томко не судил и не обвинял никого, все осмотрел, отдал распоряжения и поехал назад в городище, не признаваясь никому, кроме отца, куда ездил.

Доливы все еще не уехали; каждый день собирались в путь и все не могли выбраться.

Мшщуй ждал, чтобы ему пообещали отдать Здану, Вшебору — Касю.

Братья относились друг к другу с полным равнодушием; вечером, сходясь вместе в горнице, почти не обменивались ни взглядом, ни словом, позевывали и ложились спать.

Однажды, когда они только что проснулись, но еще не вставали, во дворе послышался страшный крик и жалобные причитания, как будто кто-то умер или был близок к смерти.

Вшебор вскочил и стал прислушиваться. Он сейчас же узнал голос Спытковой, никто не умел так звонко голосить, как она. Он поспешно оделся и выбежал во двор.

Посреди красного двора стояла Спыткова, одетая, как всегда, очень нарядно, и в отчаянии ломая руки, в которых был белый платок, как будто нарочно приготовленный для вытирания слез, плакала.

— Спасите меня бедную! Помогите мне — сироте! Похитили дочку мою — единственное сокровище! Кася моя дорогая! Где ты теперь! Ох, доля моя несчастная!

Тут же стояли старый Белина и Ганна, Здана и все женщины, было много слуг и служащих; все смотрели на вдову, слушали ее причитания, но никто не двинулся с места.

Не было только Томко.

Вдруг, как буря, налетел Вшебор.

— Что с вами, милостивая пани, что случилось?

— Ах, что случилось! Несчастливая я сирота, Касю мою, единственную мою радость, которую я берегла, как зеницу ока, Касю мою похитили!

— Как? Где? Когда? Кто такой? И на ваших глазах? Среди белого дня? — вскричал Долива.

— Ничего я не знаю, ни кто, ни когда! Не знаю ничего! Пропала, словно в воду упала! Нет моего утешения...

Спыткова снова заплакала и прикрыла глаза платком. Вшебор, повинувшись первому побуждению, побежал в конюшню за конем, глаза его засверкали жестоким гневом.

— Убью! — кричал он. — Знаю я, кто это мог сделать, знаю. Не будет ему пощады! Догоню, убью, живым не уйдет он от меня, хоть бы скрылся под землю, добуду его из-под земли! Не уйдет он от меня!

Но, сообразив, что он один не может броситься в погоню, побежал назад в горницу за Мшщумом.

Мшщуй, хотя двери остались открытыми и он слышал все, вовсе не спешил вставать; он лениво взялся за рукав своего кафтана и высунул босые ноги из-под шкуры.

— Вставай, скорее! На коня, за мной! Похитили мою невесту. Мы должны догнать! Я убью насильника!

— А ты знаешь, кто ее похитил? — небрежно спросил Мшщуй.

— И ты еще спрашиваешь? Ты! Разве ты сам не знаешь? Кто же мог это сделать, если не Томко Белина? — крикнул Вшебор.

— Может быть, и он, — спокойно отвечал брат. — Значит, если ее похитили и она пошла за похитителем, не позвав никого на помощь, по доброй воле, — что же ты-то с ума сошел, чтобы скакать за ней? Что тебе в ней? Да люди будут в глаза тебе смеяться, что ты взял ее после другого, оставил себе чужие огрызки!

— Убью насильника! Убью! — зарычал Вшебор. — Кровью смою свой позор!..

— Убьешь его за то, что он спас тебе жизнь? — возразил Мшщуй. — Да неужели же твоя жизнь не дороже какой-то там девчонки?

Мшщуй посмеивался равнодушно; ему-то хорошо было смеяться над чужой бедой! В это время в открытую дверь вбежала Спыткова.

— Вы хотите гнаться за ними? Ах, я несчастная! Еще и вас убьют! Не пущу я вас! Безумный человек, вы готовы бить и убивать всех ради

девушки! Да он вас убьет! А у меня нет никого на свете, кроме вас! Не пущу я вас! Делайте со мной, что хотите!

Эти слова Спытковой и спокойствие брата охладили Вшебора.

Он бросился на лавку с опущенной головой, скрепя зубами, бормоча сквозь зубы проклятья, ерошил и рвал на себе волосы; кулаки у него сжимались, глаза выскакивали из орбит, пот горячими каплями выступал на лбу, ногами он бил о землю.

— Гнаться за ними не буду, но из этого дома мы должны сейчас же уехать! Меня здесь встретило не гостеприимство, а измена. Я знать их не хочу! Вставай, Мшщуй, уедем отсюда! Я не буду спать под одной кровлей с ними, не хочу есть их хлеб.

— Ну и поезжай, — сказал Мшщуй, — только меня оставь в покое, я не могу с тобой ехать, потому что у меня захромал конь, да я и не желаю уезжать. К чему мне спешить?

Спыткова слушала этот разговор, не отходя от несчастного Вшебора; она даже под села к нему на лавку и ласковым голосом заговорила с ним:

— Я отрекусь от неблагодарной дочери! — говорила она. — Не пущу ее к себе на глаза! Но что же делать? Что сделано, того уже нельзя поправить! Кто знает, где они теперь, и, наверное, ксендз благословил их... Да вы успокойтесь, давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Ведь вы же не можете оставить меня здесь одну, осталась я совсем сиротой, и кто же позаботится обо мне в моем вдовстве, если не вы?

Услышав, какой оборот принимал разговор вдовы с братом, Мшщуй поспешно набросил на себя плащ и пошел осмотреть своего захромавшего коня, предоставив их друг другу.

Так они просидели на лавке часа два — никто им не мешал. Порешили на том, что Вшебор непременно уедет из городища, но только... за ворота. А там подождет Спыткову и вместе с ней поедет в Понец.

Она так мило упрашивала его, так умела и всплакнуть, и глазами блеснуть, что Вшебор наконец сдался.

По-видимому, дорога в Понец была вполне безопасна. Собек уже два раза ходил туда на разведки и уверял, что никогда еще не было там так спокойно, как теперь. Много людей разбежалось, и убытки были

огромные, но не так, как в Борках, да и повсюду в стране, все уже возвращалось к старым порядкам.

Вдова непременно хотела вступить во владение именем мужа и распорядиться там, как хозяйка, а в помощь и в защиту себе она везла Вшебора, чтобы братья Спытека не исключили ее из общего наследия.

Она внушила ему, что он должен взять на себя заботу о ней, потому что покойник именно ему хотел верить опеку над своей семьей и даже завещал ей это.

Каким образом ей удалось уговорить потрясенного всем происшедшим Вшебора, чтобы он сопутствовал ей, это осталось ее тайной, но в результате Долива согласился.

Он тотчас же, ни с кем не прощаясь, выехал из городища, велел разбить себе палатку на лугу и до следующего утра поджидал в ней Спыткову.

Весь этот день Спыткова провела в приготовлениях к дороге и в прощальных разговорах с Белинами и остальными своими товарищами по заключению в замке. Она болтала не переставая, шептала что-то на ухо то одной, то другой, всех обнимала, плакала и смеялась, вздыхала, молилась, торопилась укладываться, о Касе же не было и речи.

Рано утром в сопровождении небольшого отряда, данного ей для охраны, Спыткова двинулась в путь к Понцу вместе со своим опекуном, который всю дорогу молчал, как отравленный, и был зол и бледен.

Через несколько дней после этого Мшщуй, оставшийся в городище из-за своего коня, торжественно обручился со Зданой, и на этот день Кася с мужем приехали из Борков. Так как свадьбу нельзя было справить так, как полагалось по обычаю, то решено было отпраздновать оба эти события вместе тогда, когда Мшщуй приедет за Зданой. Прежде всего надо было устроить мягкое гнездышко, чтобы ввести в него золотую пташку. Так окончилась двумя свадьбами осада Ольшовского городища, надолго сохранившаяся в местных преданиях.

Прошло еще несколько месяцев... Король Казимир совершал победоносное шествие по стране, в которой он восстанавливал порядок и спокойствие, укреплял христианскую веру, радостно приветствуемый всем населением.

Шутливое сватовство Спытковой в присутствии русских послов начинало приходиться к осуществлению после победы, одержанной с помощью Руси.

Из Киева получили обещание выдать за молодого короля дочку Владимира — Доброгневу, которая должна была пополнить истощенную казну богатым приданым.

Чехи по приказанию папы и под угрозами Генриха понемногу оставляли все завоеванные ими земли. Возвращалось духовенство, и заново освящались костелы.

Бог снова взглянул милостивым оком на выдержавшую столько тяжелых испытаний страну.

Приближалась осень, и окрестные леса зазолотились желтыми листьями, когда Белины стали рассылать приглашения родным и соседям на торжественное празднование свадьбы сына и дочери.

Мшщуй, который жил отдельно от брата и имел собственное хозяйство, а с братом после того дня, когда он счел его чуть не изменником за его расположение к Белинам, виделся редко, почувствовал своим долгом, едучи на свадьбу, явиться к старшему брату как к главе семьи и попросить у него благословения.

Отправляясь к нему, он заранее был уверен, что встретит неласковый прием. Но он готов был на все, лишь бы совесть его была спокойна сознанием выполненного долга перед старшим братом.

У Вшебора, который всегда горячо брался за всякое дело, уже многое было налажено за это короткое время. Жилой дом был уже весь отстроен, а в хозяйственных пристройках было много коней и псов, слуг и всякого вооружения.

Он как раз возвращался с охоты, когда брат подъезжал к дому.

— Пришел к вам с поклоном, рушником и караваем, — сказал Мшщуй. — Не смею просить вас на свадьбу в городище, потому что знаю, что вы гневаетесь на Белинов, на меня и на Касю, но не откажите как старший брат благословить меня.

Говоря это, Мшщуй встал на колени перед старшим братом, как перед отцом, и склонил голову.

Вшебор обнял его за плечи и молча поцеловал.

— Пусть Бог благословит! — коротко сказал он. — Пойдем со мной в дом. Ты меня совсем забыл, а я, ты знаешь, не люблю кланяться тем, которые меня забывают.

— И я тоже, — отвечал Мшщуй. — Мы, брат, одной с тобой крови.

Оба рассмеялись веселее... Вошли в горницу. Вшебор приказал подать меду, хоть молодого, потому что старый выпила чернь, но крепкого. Чокнулись братья.

Но разговор долго не клеился.

— Ну, а что бы ты сказал, — буркнул Вшебор, — если бы и я тоже женился?

— Милый мой брат, я пожелал бы тебе счастья, как самому себе.

— Ну, так и пожелай, — рассмеялся старший брат. — А знаешь ли, на ком я женюсь? Да на Спытковой! От своей судьбы не уйдешь. Околдовала меня ведьма! Красота и молодость скоро проходят! Вдова, правда, не так уж молода, но еще хорошо держится и сумела взять меня за сердце. Если кто почувствует, что его любят, то уж и сам полюбит из благодарности! А баба страшно в меня влюбилась!

Подумав, Вшебор прибавил:

— А что бы ты сказал, если бы все три свадьбы отпраздновать сразу?

— Чего же лучше! — воскликнул Мшщуй. — И началась бы в мире и спокойствии новая жизнь!

Братья поцеловались.

— Завтра же поедem к моей бабе! — сказал Вшебор. — Если я ей скажу, что мне так хочется, она сделает все, как я пожелаю. Она пошла бы за мной в огонь и в воду. Ну, значит, завтра на рассвете едем в Понец, заберем мою бабу, а возы я тотчас же следом за нами вышлю в городище!

Как решил Вшебор, так и сделали; двинулись в путь к той несчастливой долине, в которой все пережили такие страшные дни.

Три свадьбы были отпразднованы в воскресенье. Погода благоприятствовала торжеству, съехалось много рыцарства, и дом старого Белины выглядел теперь совсем иначе, чем раньше.

В большой горнице внизу, в которой в тревожные дни собирались все главные участники обороны, теперь были поставлены столы для гостей. Шум веселья и громкие возгласы разносились по обоим дворам замка.

Был уже поздний вечер, и празднество становилось все более шумным и оживленным, когда вдруг все — и гости, сидевшие за

столом, и молодежь в соседней комнате — вздрогнули от неожиданности и испуга.

У ворот замка раздался громкий и какой-то необыкновенный, никем не слыханный звук трех труб... Рога и трубы соседей были всем уже известны, их можно было легко распознать, но тут было что-то совсем новое и страшное.

В горнице все повскакали с мест, поспешно хватаясь за мечи; невольно вспомнилось всем недавнее страшное время. Все бросились к воротам. Белина уже стоял на возвышении над ними, но, едва взобравшись, он проворно спустился вниз, приказывая раскрыть ворота настежь.

— Король, король! — раздавались крики в замке.

Это был, действительно, сам король. Он стоял лагерем неподалеку от городища. Ему сказали, что в замке справляют целых три свадьбы сразу, и государь пожелал повеселиться в кругу своих верных слуг и дружины.

Вся горница сразу наполнилась народом, потому что всем хотелось поглядеть поближе на своего дорогого короля. Заняв приготовленное ему место, король снял свою соболью шапку и осмотрелся вокруг.

— Хозяин! — сказал он. — Не думайте, что я приехал к вам только как гость, нет, я явился сюда как судья. Здесь есть виновные, которые должны предстать передо мною на суд.

Король сделал знак старому Трепке, и тот начал свою речь такими словами:

— Да, милостивый государь не может простить того, что его воля и его приказ не были выполнены. Подойдите ближе, подлежащие королевскому суду, вы, Марта, вдова Спытека, вы, дочь Спытека, Катарина, и ты, Томко Белина! По воле государя, дочь Спытека должна была достаться Вшебору Доливе, вы дали ему слово и не сдержали его!

Хоть Трепка говорил все это далеко не грозным тоном, все переглянулись между собой и не знали, что сказать и как поступить. Тогда Томко, взяв за руку жену, сиявшую в тот день великим счастьем и радостью, подошел к королю и опустился перед ним на колени.

— Если и есть тут виновные, то только я один. Пусть же и наказание падет на меня одного!

Подошел и Вшебор и поклонился королю.

— У ног королевских прошу за него; он спас мне жизнь! А вот доказательство того, что я не пострадал из-за него: сегодня я повел к алтарю ту, с которой стою перед тобой...

Король улыбался.

— Хорошо было бы, если бы все были грешны только таким непослушанием! — сказал он, весело смеясь. — Но все же без наказания нельзя этого оставить! — прибавил он, делая знак одному из своих приближенных.

Тот выступил вперед и подал королю золотые цепи.

— Чтобы вы всегда помнили о своей вине, — сказал он, — носите вот эти цепи и как только взглянете на них, думайте обо мне.

Все встали на колени перед Казимиром, а он возложил цепи по очереди женщинам и мужчинам. Радостные клики зазвучали в замке, а король, взяв кубок из рук хозяина, выпил за здоровье новобрачных.

И день этот сохранился в преданиях, и память о нем передавалась из поколения в поколение, как и воспоминание о страшных днях тревоги и ужаса, за которые он был щедрой расплатой.

**Кунигас**

В замке крестоносцев в Мариенбурге звонили к вечерне. Благовест небольшого колокола то тихий, то грустный, то ленивый раздавался по замковым подворьям. Порою он затихал, порою гудел громче, смотря по тому, как и куда относили его порывы ветра.

Часовенка, с открытыми настежь дверьми, была еще почти пустая и совсем неосвещенная. Время было позднее, осеннее; сумрак пасмурного дня окутывал замковые здания. Среди полусвета, полутьмы очертания их принимали фантастические образы; часть их терялась в темноте и расплывалась во мраке; некоторые же резко выделялись, наполовину освещенные последними лучами дня и пламенем горевших лампад и свечей, образовавших яркие круги на дымном фоне. Местами открытые ворота зияли, как черные пасти; местами застывшим и жутким в своем безмолвии пожаром горели решетчатые окна, освещенные багровым светом искусственных огней, в отблеске которых мелькали черные людские тени.

Замок казался угрюмым и хмурым, как тюрьма. В молчании, медленно, тоскливо, двигались по внутренним дворам фигуры рыцарей, челядники в куцых одеждах, парни с остриженными волосами.

Привыкшие в определенный час исполнять определенные обязанности, эти люди ходили, как безжизненные призраки, как колеса таинственного механизма, покорного безмолвным приказаниям.

Страшная тишина прерывалась только временами воем цепных собак или ржанием лошадей в конюшне. Но и эти существа, тоже как бы освоившиеся с безмолвием монастыря, вскоре утихали.

Над этой величавой тишиной царил призрак торжественной тоски и мощи, присущей всем деяниям людей, совершаемым без огласки, в тишине, под давлением могучей силы духа.

Всякий шум, поднимаемый вокруг да около человеческих стараний, лишает их оттенка неотразимой силы, признаком которой является добровольный обет молчания.

Среди этих стен ничего не было слышно, кроме глухого звона, сзывавшего братьев на молитву. Иногда сквозь тяжелую пелену тумана

налетал порыв осенней бури, весь пропитанный сыростью и влагой, и, ворвавшись в узкие проходы между стен, выл, издеваясь над уставной тишиной.

В часовне, где перед алтарем теплилась спускавшаяся с потолка лампада, едва освещавшая стены, покрытые надписями и погребальными хоругвями, лениво собралась на вечернюю молитву немногочисленная кучка наиболее набожных рыцарей. Патер в капюшоне стоял у ступеней алтаря и торопливо, вполголоса, точно исполняя тяжелую повинность, читал молитвы, сонный и рассеянный. Старейшие из братии, стоявшие в своих покрытых резьбой ложах, собирались больше ради хорошего примера и по обязанности, нежели из ревности к вере, и не проявляли особенного усердия и склонности к молитве. Некоторые из них, склонившись друг к другу головами, перешептывались; другие, скрестив руки на груди, с тоскливою покорностью судьбе ждали, по-видимому, конца службы. Один, опершись о высокую спинку скамьи, погруженный в думу, с закрытыми глазами, не то уже дремал, не то готовился заснуть.

Из глубины сумрачной часовни трудно было распознать тех, которые, собравшись на зов колокола, столпились у дверей, не придавая особого значения самому богослужению.

Свет лампы бросал узорчатые блики на бронзу и позолоту образов, на церковную утварь и бахрому хоругвей. Колеблущееся пламя, колыхаясь в струе воздуха, вздрагивало язычками, как живое существо, и то взлетало выше, то изгибалось в сторону, попеременно освещая и погружая во мрак очертания людей и священные лики икон. Казалось, что оно одно было одарено здесь волею и жизнью. Все же остальное спало, немое и окаменелое.

На краю резной скамьи, среди унылого ряда белых плащей и черных ряс, выделялось только одно характерное, привлекавшее внимание, лицо. Капризный свет лампы внезапно озарил его пучком лучей, и оно резко выделилось среди глубокой, окружавшей его, тьмы.

Это был мужественный облик человека, закаленного жизнью. Годы обратили его в бронзовую маску, всю испещренную морщинами, как иероглифами, начертанными рукою прошлого, неразборчивыми и таинственными. Открытый высокий лоб был собран в складки, пересеченные поперечными темными морщинами. Такими же складками была изрыта переносица между густыми разросшимися

бровями, нависшими над глазными впадинами. Там, в глубине, под сильно выдающимися надбровными дугами светилась пара глаз, чрезвычайно благородной формы и разреза, когда-то, несомненно, украшавших и без того прекрасное лицо. Но теперь и здесь, повсюду, расходились во все стороны гусиные лапки, переходившие ниже в складки щек, немилосердно безобразившие углы рта. Темные еще усы и борода были местами тронуты серебристой сединой. Свет лампы, бросающий резкие тени, как бы подчеркивал особенности этого лица, точно высеченного мощными ударами резца.

Общее впечатление было угрюмое, суровое, гордое и спокойное, в сознании внутренней, непреоборимой силы. Обычная одежда монашеского ордена закрывала могучую грудь и плечи, спускаясь широкими, как бы небрежно брошенными, складками. Во всей фигуре не было видно никакой рисовки, а сукно носило явные следы долгого употребления и всяческих превратностей.

Глубоко втянутые губы не открывались для молитвы, а по хмурому челу нельзя было судить, молилась ли душа. Глаза то бесстрастно останавливались на безразличных предметах внешней обстановки, то пристально следили за присутствовавшими в часовне, как за полноправными членами ордена, стоявшими в первых рядах, так и за толпившимися у порога полубратьями. От этих глаз ничего не могло скрыться; эти взоры пронизывали мрак и словно грозили, что обнаружат все в нем скрытое.

По некоторым признакам можно было заключить, что этот свидетель, но не участник общей молитвы внушал присутствовавшим и робость, и почтение. И, подобно тому, как его взгляд переходил от одного к другому, так взоры всех украдкой обращались в его сторону. Челядь инстинктивно сторонилась, пряталась за выступы стен, чтобы не попасть под этот взгляд, пронизывающий и грозный.

На неподвижном лице рыцаря-монаха не отражались никакие впечатления. Черты рыцарски красивого лица неизменно носили печать гордости, казавшейся врожденной и унаследованной вместе с кровью, а уживавшееся рядом с гордостью смирение монаха являлось маскою и принуждением.

Не видно было, чтобы с положением рыцаря были связаны какие-либо особые значение и власть, отражавшиеся на его лице. В ложе братии он занимал последнее место: крайнее в конце скамьи.

Оттуда он смотрел, следил...

Вечерня близилась к концу; глухим рокотом отвечала паства в ложах на возгласы капеллана. Наконец он припал на одно колено, повернулся и, опустив голову, медленным шагом направился в ризницу.

Тогда все встрепенулись; проснулся вздремнувший монах, а челядь торопливо высыпала на двор.

Остался на месте только тот неподвижный рыцарь, обернувшись лицом к алтарю. Проходившие мимо к выходу из часовни не обменивались с ним поклоном: отвернувшись, они торопливо, с неумело скрытой тревогой, проскальзывали к дверям. Ни один не оказал остававшемуся малейшего знака уважения, хотя, видимо, он внушал страх.

Часовня почти опустела, когда и он наконец тронулся с места и тяжелым шагом направился к двери, у которой замешкалась небольшая кучка челяди. Среди нее, расспрашивая о чем-то, стоял брат-госпиталит, человек уже немолодой, седой, скорый на слова и дело, вспыльчивый и горячий. Он нетерпеливо оправлял и одергивал плащ, докучливо сползавший с плеч. Рыцарь остановился рядом с монахом, а челядь и батраки разбежались в стороны.

Из мощной груди раздался мужественный, сильный, хотя несколько глуховатый, голос. Звук его был так своеобразен, что резко выделился бы из тысячи других голосов. Как вся фигура рыцарствующего монаха, так и голос его был внушительен и не терпел противоречия.

Он обратился к монаху-госпиталиту, остановившему на нем беспокойный и блестящий взгляд.

— Что с молодым Юрием? — спросил он.

— Болен, болен, — скороговоркою ответил монах, быстро поводя плечами и явно не желая вступать в длинные объяснения.

Спрашивавший испытующе взглянул на него. Брат-госпиталит засуетился, торопясь уйти, но, заметив, что рыцарь подвигается с места, не посмел.

Тот повторил вопрос:

— Болен? Все болен?

Вертлявый монах в ответ быстро закивал головой. Потом задумался и заговорил:

— Все болен! Да! Трудно даже сказать, чем, знаете, брат Бернард, немало болезней насмотрелся я за свою жизнь, а такой не знаю и лечить ее не умею.

И опять собрался уходить. Но Бернард схватил его за руку.

— Повремени немного, — сказал он, — я знаю, что ты всегда торопишься, а все-таки, скажи, что с Юрием?

— Что с Юрием? — досадливо и с полуусмешкой ответил госпиталит. — В том-то и дело, что мы этого не знаем. Ответить трудно. Признаки болезни налицо, а ухватиться за нее, понять ее — нельзя. Малец вдруг обессилел, похудел, пожелтел, затосковал, потерял вкус к еде... а пожалуй, даже к жизни. Часами сидит, как окаменелый, уставившись в стену, в окно, в пол, в потолок...

И госпиталит опять быстро задержал плечами.

— Молодости нужен воздух и движение; я подумываю, не взять ли его с собой, не посадить ли на коня — да в поход, в широкий свет, на люди? Изменить образ жизни, устроить в замке одного из комтуров... дать немного свободы?.. — спросил рыцарь.

Монах, слушая, только потряхивал головою.

— Пробуйте, что и как хотите, — сказал он, — из своей аптеки я все, что можно, уже перепробовал. Не думаю, чтобы ему можно было помочь... Сесть на лошадь ему не позволят силы... Жизнь в пограничной крепостце, где денно и ночью надо быть настороже... Какой же это отдых?.. Но, впрочем, я не знаю... — оборвал разговор брат-госпиталит и опять собрался уходить. Но Бернард еще раз удержал его за плащ.

— Как вы думаете? Не угрожает ли болезнь его жизни? — спросил он.

— Если бы он был постарше, — сказал монах, с неудовольствием отодвигаясь от Бернарда, так как торопился, — то легче было бы судить, умрет он или выздоровеет. Но в отроческом возрасте, одаренном одновременно и необычайной выносливостью и неожиданными капризами здоровья, никогда нельзя знать наверняка, одержат ли молодые силы верх или угаснут от едва заметного ветерка, как гаснет плохо разгоревшаяся свечка у лампадки.

— А было бы жаль, — пробормотал Бернард, — воспитывали с малолетства... рассчитывали на него...

Брат-госпиталит, мысли которого были далеко, с трудом расслышал последние слова.

— Брат Бернад! — закричал он с силой, как бы не совладев со своей порывистой натурой. — Поверьте мне, я человек старый и видел виды! Кровь не переделать: она напоминает о своих правах. Сколько ни ухаживай за дикой птицей, один конец: как только отворил окно и она услышит голоса сородичей... непременно упорхнет.

— А чтобы не упорхнула, ей подрезают крылья! — пробурчал Бернад и еще тише, наклонившись к уху госпиталита, добавил:

— Не проболтался ли кто-нибудь? Не выдал ли тайны его происхождения? Быть этого не может!

И он угрожающе взмахнул рукой.

— Кто? Каким образом? — перебил брат-госпиталит. — Кроме нас немногих, связанных присягою молчать, ни одна живая душа не посвящена в тайну. Ни единая! Никакие догадки не помогут. Юрий, сам наравне с прочими, уверен, что его ребенком привезли сюда из Германии.

— Так! — возразил Бернад. — А младенческие воспоминания? Престранные бывают порой случаи. А если где-то там, на дне души, у него таится память о детских годах? Неуловимая, как сон?

Госпиталит потряс головой.

— Это стерлось! Столько прошло времени! — сказал он. — Никто не помнит своего младенчества, а он попал к нам почти бессловесным.

— О нет, о нет! — возразил Бернад. — Он уже говорил! А дьявольскую, дикую варварскую речь, на которой он лепетал, едва-едва с большим трудом удалось выбить у него из головы уже впоследствии угрозами и искусным воспитанием.

— Да успокойтесь же, он не помнит ни полслова, — молвил брат-госпиталит, — ничего подобного ему не может прийти в голову. Причину болезни надо искать в другом. В чем именно? А кто его знает... То тело угнетает душу, то душа тело... а страдают и то и другое вместе. И не знаешь, что лечить, тело или душу. Так они друг с другом связаны!

— Надо рассмотреть, что поражено сильнее, душа или тело.

— Так! — усмехнулся брат-госпиталит. — Разве человеческое око может заглянуть так глубоко? Эти бездны доступны только Божией

благостыне.

С этими словами госпиталит отошел от дверей часовни, побрякивая связкою ключей, висевшей у пояса, желая дать понять Бернарду, что спешит и что у него много дел.

Брат Бернард, не задерживая спутника, шел с ним рядом. Лазарит, удивленный, оглянулся. Тогда Бернард, заметив изумление на лице госпиталита, объяснил ему:

— Хочу сам повидать юношу. Ничего особенного не случится, если я вместе с вами зайду в больницу.

Госпиталит опять усмехнулся.

— Ведь вам, — сказал он, — всегда и всюду все открыто. Поступайте, как вам кажется лучше.

Из часовни в больницу надо было пройти через другой, лежавший ниже, дворик. Расстояние было порядочное. В тесных проходах среди стен становилось темно, но свет, местами падавший сквозь окна, освещал дорогу.

Бернард шел молча, глубоко задумавшись. Тяжелые мысли не мешали ему, как бы нехотя, заглядывать по пути в каждые полуоткрытые двери, в каждое освещенное окно, оборачиваться ко всякому прохожему, попадавшемуся навстречу, и пристально к нему присматриваться. Казалось, что он действовал скорее в силу давнишней привычки, нежели ясно выраженной воли, потому что шел он, глубоко погруженный в собственные мысли.

Монах, побуждаемый живостью своей природы, ежеминутно опережал его и должен был соразмерять свой шаг с тяжелой и медленной поступью Бернарда, так как служил ему проводником. Наконец они вошли в сени, из которых вправо открывались двери не в общие палаты, вмещавшие большую часть больных и раненых, а в несколько малых помещений, предназначенных для орденских братьев и начальства.

Вошли. Первая темная комната была пустая; из второй, сквозь щели снизу у порога и вверху у притолки, проникал слабый свет. Отец-госпиталит потихоньку отворил дверь и, не входя сам, хотел пропустить вперед Бернарда. Но тот, в свою очередь, предложил ему войти первым.

Госпиталит повиновался.

Маленький, вертлявый человечек вошел в тесную каморку, освещенную лампадой. Помимо постели и небольшого столика, на котором стояла тарелка с нетронутой едой и накрытый кружкой жбан с питьем, в келье помещались всего-навсего только лавка в глубине окна да пара стенных полок.

Постель, твердая и узкая, была застлана шерстяным одеялом. Поверх него, спустив ноги на пол и обхватив руками голову, сидел юноша, лет так около семнадцати, не по летам высокий, но чрезвычайно истощенный.

Волосы, коротко остриженные, светлые, торчавшие дыбком, взъерошенные, обрамляли довольно красивое лицо. При входе посетителей больной поднял голову. Скорбное выражение его лица невольно возбуждало глубокую жалость. Глаза были ввалившиеся, щеки впалые, губы стиснуты, а лоб наморщен. Затаенное горе придавало красивым чертам юноши привлекательное, но в то же время угрожающее выражение. Из-под опущенных век рвалось наружу лихорадочное нетерпение, досада и признаки внутренней, упорно подавляемой борьбы. Под скромную одежду, полумонашескую, полурыцарскую, под платьем, плотно облегавшим тело, ясно выступало крепкое сложение, с широкой костью, при чрезвычайной худобе и хилости.

Увидев посетителей, юноша невольно нахмурил брови и вскочил, почтительно склонив голову; но зашатался и должен был ухватиться за стол.

Брат Бернард, лицо которого было по природе суровое и строгое, делал напрасные усилия придать ему более мягкое выражение. Полон добрых чувств, он подошел к молодому человеку.

— Что же это? Слышу, что вы все еще хвораете? Нехорошо! Что с вами? Отец Сильвестр не мог мне объяснить!

Юноша, опустив глаза, молчал.

Госпиталит тем временем посмотрел на нетронутую пищу, на неопорожненный жбан с питьем и пожал плечами.

— Не болит ли что-нибудь? — спросил он озабоченно.

— Нет, ничего, — ответил юноша коротко и холодно.

— Что же с вами?

Ответ на второй вопрос заставил себя долго ждать.

— Я обессилел, — молвил наконец с трудом больной.

— Как же случилось, что пропали силы? — продолжал допытываться Бернард.

Тем временем брат-госпиталит, стоя у стола, машинально и нетерпеливо барабанил по нему пальцами и глядел в потолок, всем видом своим показывая, что не верит в пользу расспросов и не придает им ни малейшего значения.

— Не знаю! — тихо пробормотал больной, вздыхая.

На этом, казалось, разговор должен был закончиться, так как юноша не проявлял ни малейшего желания быть откровенным, а Бернард не умел снискать его доверия. Что же касается брата-госпиталита, то у него не было желания помочь Бернарду.

Все молчали. Бернард, призадумавшись, счел за лучшее окончить разговор нравоучением:

— Надобно, дитя мое, — сказал он, — молиться Богу и Пресвятой Матери Его, чтобы они, по благости своей, восстановили твои силы! И сам ты также должен бороться с упадком сил, стряхнуть с себя безволие, стараться не падать духом. Враг рода человеческого расставляет сети и душе, и телу человека. Молитва отгоняет его козни.

Во время этой речи юноша стоял недвижно, по-прежнему опустив глаза, и не было заметно, чтобы слова Бернарда произвели какое-либо впечатление. Он был, как каменный, и только дрожь, пробежавшая по телу, свидетельствовала о напряжении души. Нравоучение он принял молча. Бернард долго смотрел на него испытующим взглядом, но так же молча. А брат-госпиталит добавил:

— Не хочется ли тебе чего-нибудь? К чему у тебя охота? Говори. Выпить или съесть? Природа людям так же, как и животным, подсказывает порой спасительные, инстинктивные желания.

Опять долго пришлось ждать ответа.

— Иногда хочется воды, — ответил юноша слабым голосом и явно против воли, — ни к чему другому у меня нет охоты.

На том кончились расспросы. Брат Бернард что-то пробормотал, обнадеживая мальчика, советуя ему отдыхать, спать, лежать... и устремился к выходу.

Госпиталит, медленно идя следом, украдкой посматривал на юношу, который по-прежнему стоял у своей постели. Потом пожал плечами и также вышел.

Больной, как только дверь закрылась, опустился на кровать и, облокотившись на колени, задумался с закрытыми глазами, как раньше, до прихода посетителей.

Лампадка, брызгая маслом, горела слабым пламенем, которое то вспыхивало и вытягивалось длинным язычком, то совсем опадало в глиняную чашечку, где плавала свечильня. Шаги удалявшихся братьев заглохли очень скоро, и все вновь погрузилось в гробовую тишину. Где-то далеко скрипнула раза два дверь, и лазарет не то заснул, не то вымер, все в нем онемело.

Больной не лег, хотя время, назначенное для отдыха на сон грядущий, давно уже прошло. Временами он подымал голову, к чему-то прислушивался; потом закрывал лицо руками и в полудремоте продолжал сидеть в бесстрастной неподвижности.

К порогу приближались осторожные, неслышные шаги; дверь медленно открылась, и в келью скользнула какая-то закутанная в плащ фигура. Очевидно, Юрий поджидал пришельца, потому что встал с кровати и лицо его оживилось: на нем блеснула радость и что-то похожее на чувство.

На пороге стоял подросток одного возраста с больным или несколько моложе. Лицо у него было заурядное, некрасивое, но кроткое и в данную минуту оно все светилось внутренним сердечным состраданием. Коротко остриженные волосы, грубая одежда, плохая кожаная обувь, черты лица, даже сутуловатое и неуклюжее телосложение, выдавали его простонародное происхождение.

В сравнении с больным, лицо которого отличалось тонкими, барскими чертами и почти женственною красотой, облагороженною чьей-то посторонней кровью, гость был грубоват и производил впечатление чернорабочего. Только доброта, разлитая в чертах лица, скрашивала уродливую внешность, делала ее приветливой и освещала грубый, неотесанный облик парня.

Больной, увидев вошедшего, улыбнулся. Тот подходил несмело, со знаками почтения, на цыпочках, ступая осторожно.

— А что? — спросил он шепотом. — Не лучше вам?

Он говорил на плохом немецком языке, с чуждым, протяжным ударением.

Больной покачал головой, сел на постель, а гостю указал на лавку, так как другого сиденья не было. Тот присел на самый кончик, едва

касаясь телом.

— Говори же, — сказал, морщась, больной, — говори о том же, о чем говорил вчера. Когда я остаюсь один, то думаю и думаю, и все больше вспоминаю. Так! Ваш язык, судя по тем нескольким словам, которым ты научил меня, я знал с детства. Одно слово вызвало из забвения целый ряд других, потонувших в глубине сознания и там заглохших. Они говорят, будто привезли меня сюда сиротою из Германии, но лгут. Твой язык, — я слышал его в детстве и говорил на нем, — язык литовский, и я, значит, по всей вероятности, литвин... как ты!.. Теперь, когда я вглядываюсь во мрак прошедших лет, мне вспоминаются все новые подробности. Туман рассеивается...

Малец, сидевший на скамье, приложил палец к губам и тревожно оглянулся на дверь. Он вздыхал и потирал лоб.

— А! — вздохнул он. — В несчастливый час проговорился я о прошлом! Какой толк о нем раздумывать? Какая польза вам, если вы узнаете свое прошлое? Что раз попало в их руки, то уж не уйдет. Посмотрите-ка на меня. И меня также ребенком взяли из какой-то хаты, тащили, как скотину, на привязи за лошадью; пригнали сюда, окрестили, обстригли, приказали служить... и служу! Идут войной на мой народ, велют нести щиты и мечи... иду, несу. Смотрю, как льется моя кровь, как гибнут братья... Все так и кипит во мне, слезы заливают очи... но я один и нет сил сопротивляться!

Юрий слегка приподнялся на постели и, морща брови, сжав кулаки, сказал:

— Ведь можно убежать!

— Куда? Как? — перебил напуганный парень. — И какая нам была бы от того польза? Там нас не приняли бы и не узнали. Того гляди убили бы как рыцарских приспешников, которым не дают пощады. Приходится служить... и в то же время ненавидеть. Такая наша доля... а свою судьбу не переспорить.

Он задумался, а потом снова продолжал:

— Вот они вас когда-то вывезли из Литвы, воспитывали и баловали, кормили и одевали, как панское дитя, да разве они теперь позволят вам сбежать? Да они смотрят за вами в оба... и чуть что... о-хо-хо-хо!

И он рукой провел себе по горлу, как бы снимая голову.

Юрий глубоко задумался.

Разговор на время оборвался. Потом больной стал спрашивать парня, как по-литовски разные обиходные слова: мать, отец, брат, дом, огонь? Вслушиваясь, он хватался за голову, хмурился, а глаза метали искры.

Парень удивлялся, сгорал от любопытства, вздыхал, ломал руки и поминутно напоминал больному, что нельзя громко разговаривать.

— Был ли здесь старый Бернард? — спросил он наконец. — А что он у вас делал? Он никуда проста не ходит. Его посылают на разведки, когда другие не могут докопаться. Хитрый он и старый; как взглянет, так насквозь и видит. В замке он как будто ничего не значит: такой же брат, как прочие; сам не начальство, с начальством не знается, держится в сторонке. И должности у него никакой нет... а все старшие его боятся, что хочет, то и может. Всюду вотрется, дверей перед ним не закрывают; подсматривает, подслушивает, догадывается. И как взглянет на кого, так мурашки и побегут по коже. Не напрасно подослали его к вам... Не проговорились ли вы о чем-нибудь?

На этот вопрос Юрий только презрительно и гордо пожал плечами.

— Ого! — сказал он. — Ни слова из меня не выжали!

— Госпиталит, — продолжал парень, — тот грубиян, притворяется сердитым, лается, дает пинки... но сердце у него доброе. Бранит больных, которые не хотят выздоравливать, а ходит вокруг них и день и ночь, как мать родная. А этот!.. Иной раз, как взглянет... так, кажется, и съест глазами!

Больной уже опять погрузился в свои мысли, но вдруг, точно проснувшись, закричал:

— Кунигас? Кунигас?

— Да, да! Так у нас зовут самых что ни на есть больших панов, — отозвался парень.

— Я хорошо помню, — сказал Юрий, ударив себя рукою по лбу, — что так звала и уговаривала меня женщина, ходившая за мною в детстве.

Малец, весь обратившись в слух, вскинул руки; а потом, закрыв ладонью рот, знаком показал больному, что лучше замолчать. Он даже вскочил с испугу.

— Ради бога, ради бога, тише, тише, — шептал он. — Меня уже дрожь зашибает! Если бы они догадались, что вы вспомнили об этом с

моей помощью, конец мне... Да и с вами бы что было! Тихо, государик мой! Молчите!

Юрий думал, облокотившись на руку. По морщинам, избороздившим лоб, можно было видеть, как работала в нем мысль, усиливаясь воскресить из мрака прошлого давно померкшие воспоминания. Пот каплями струился по его вискам.

— Литва! Литва!.. — повторял он раз за разом. — Говори мне о Литве. Ты наверно должен помнить ее лучше чем я, ты видел ее, ходил по ней вместе с ними. Меня же они редко когда выпускали за ворота. А в дальние походы, хотя я и просился с ними, раньше чем открылось, кто я, они не хотели брать меня. Уверяли, что я слишком молод, велели ждать... Литва! — повторил еще раз Юрий, пристально вглядываясь в парня; а тот вздрагивал, слыша это имя, и добродушное лицо его подернулось печалью. — Литва... расскажи мне о Литве!

Подросток горестно задумался, сжал руками голову и стал раскачивать ее медлительным движением. Наконец со стоном, вырвавшимся из глубины души, начал говорить.

— Литва! Ой, Литва! Иной край, иные обычаи, иной мир и люди! Она, как живая, у меня перед глазами, и назойливо напоминает о себе в снах! Столько лет прошло, а я, как бы вчера, чувствую еще на шее веревку, за которую меня тащили. Литва, кунигас мой, где она? Где теперь такая Литва, которая не видела еще меча крестоносцев? Литва, какую сотворили ее для нас боги? Здесь, в заливах, куда ни посмотри, везде работа человека; а человек портит Божье дело. Там не то. Растут непроходимые леса, безбрежные пущи; а по ним бродят дикие звери и такой же дикий человек. И зверь, и птица, и человек, и дерево — все родные братья. Медведи говорят с людьми, собаки с птицами и друг друга понимают. По-братски друг друга убивают, но по-свойски разговаривают:

«Лось перебранивается с охотником; и кукушка распевает девкам песни, а девки у кукушки учатся. Даже ветер и буря, и те воют понятным для нас воем... А когда заскулит дуб Перкуна, вейдалоты слушают и объясняют...»

«О, сударик мой, и что за жизнь там, какая свобода в лесах и в полях! Какие песни, и какой серебристый смех, звучат там, где не побывали крестоносцы! А там, где они прошли, прошла с ними смерть».

«Правда, там нет ни таких одежд, ни утвари, ни каменных домов. Там все на распашку, двери хат стоят настежь, земля — для всех. Бог всюду царит свободно: живет где хочет... так же человек... Вся земля вдоль и поперек не размежевана, а лес бесхозый. А кунигас сидит на высоком городище, только для того, чтобы видеть, не подходят ли издалека враги; а государствует он, чтобы защищать от них народ. За то дают ему отсыпное и подымное».

Парень задумался, а потом прибавил:

— На Литве нет людей, как здесь, которым грех взглянуть на женщину или пошутить с девкой. Наши вейдалоты и вейдалотки гуляют на свободе; жениться и выходить замуж им невольно, но смеяться и распевать могут всласть. Ходят с венками в волосах, приветно улыбаются друг другу и всему миру. Мы сидим здесь взаперти, как скот в хлеву; на Вышгород не впускают даже старой бабы, чтобы рыцари не вспомнили о девках... Ой, Литва! — вздохнул он. — Кунигас мой, мир иной и лучше здешнего... Только для нас он на запоре!

Юрий сидел молча; оба вздыхали.

— А помнишь ты Литву? — спросил больной.

— Я-то? Да лучше вашего, — ответил парень. — Меня взяли из лесу от убитых отца да матери не махоньким; я уже и по земле ходил и на деревья лазал, как кот. Я бы убежал, да только, когда меня спустили с привязи, было уж слишком поздно. Вначале конюх их зацепил меня петлей и потащил с собой, окровавленного и избитого, а я выл, как волк, от боли и со страху. Потом нас всех, изловленных, позапирали в клетки; а мы клетки подожгли, чтобы сбежать... Не помогло... переловили... Стали тогда бить и мучить, чтобы заставить забыть родной язык и песни и научиться болтать по-ихнему... Только я глубоко запрятал все, что принес в душе из лесу... и этот клад им удастся вырвать только с жизнью. Они не отучили меня любить свое, но научили лгать...

При этих словах он усмехнулся, дико и коварно.

— Спросите их обо мне! Скажут, что лучше и послушнее мега нет на свете парня! А я что? Я кланяюсь им в землю, целую подола их плащей, восхваляю их, благодарю, смеюсь... пусть думают, что я невесть как счастлив. А что у мега в душе — то мое!

И полунараспев, полуворча, прибавил:

— Кто знает? Кто там знает? Кунигасы еще не перевелись; народу — тьма. Может быть, придет черед и на Литву, встрепаются и ее сыны...

Юрий не ответил. В голове его шумело и ходило колесом: «Кунигас! Кунигас!»

Лампада стала гаснуть и шипеть. Парень, встревоженный, вскочил, боясь опоздать. Он подошел к задумавшемуся больному и низко склонился перед ним.

— Кунигас мой, — шептал он, стараясь поймать руку Юрия, — не убивайтесь. Немужское дело — хныкать. Мужчине пристойно излить свой гнев, женщине — свою тоску. Она поет о ней и облегчает душу, когда душа исполнена страдания. Мы же должны носить его в себе, как яд. Жить надо... почему знать? Да, почему знать? — повторил он. — Придет наш час и засияет день над детьми Литвы!

Юрий взглянул на парня и слегка хлопнул его по плечу.

— Иди! — сказал он. — Пора! Госпиталит никогда не ложится и часто бродит по ночам. Что, если он тебя застанет? Возвращайся восвояси; а завтра, если удастся улизнуть, приходи опять рассказывать мне о Литве. Ты первый открыл мне, кто я такой, и разбудил во мне уснувшие воспоминания. Сон ли это? Или память о былом? Или дьявольское искушение?

— Дьявольское? — недоверчиво засмеялся парень. — У нас на Литве нет дьяволов, а только меньшие боги, слуги на большого Бога, то добрые, то злые, как Он прикажет.

— Молчи, безумный! — воскликнул Юрий. — Не путай божественное с человеческим! Что ты можешь знать!

И он опасливо, украдкой, осенил грудь крестным знаменем.

Но этого движения Рымос не заметил. Он поспешно выскользнул через полуоткрытую дверь и, как мышь, тихо прошмыгнул в общую лазаретную палату, на свою пустую койку.

## II

Мариенбургский (Мальборский) замок — хотя позднее его достраивали, увеличивали и заканчивали — уже в то время имел, в общих чертах, тот величественный вид, о котором многие из нас могли судить по его развалинам, раньше, чем безвкусица, внесенная неумелой реставрацией, вдохнула призрачную жизнь в омертвелый труп.

На самом гребне горы стоял Вышгород (Hochburg), первая, по времени, постройка, в которой помещался костел, подземное кладбище (пещеры, катакомбы) и капитул ордена. Ниже, отделенный глубоким рвом, находился средний замок, где протекала повседневная жизнь крестоносцев. Еще ниже, к лугам и речке Ногат, тянулись нижнезамковые поселения, с хозяйственными постройками и жилищами для челяди, оруженосцев и прислуги.

В те времена ходила слава, что все три ограды, ставшие впоследствии столицей монашеского ордена, отказавшегося от борьбы с неверными на востоке, были соединены между собою, на случай опасности, подземными ходами, потайными лестницами, секрет которых был известен только высшему начальству ордена.

Для ежедневных совещаний, в которых участвовали Великий магистр ордена, великий комтур, маршал и казначей, а по временам и некоторые из старших рыцарей, служил средний замок. Собирались в так называемом рыцарском зале, своды которого опирались на единственный гранитный столб.

В этом-то зале на другой день после описанных событий сошлось все начальство ордена. Члены совещания восседали на каменных скамьях, вокруг огня, пылавшего на огромном очаге.

Виднелись только белые плащи да рыцарские заостренные черты лиц, с угрюмым выражением, сведенными бровями, щеками в глубоких складках, с широкими грудными клетками, как бы созданными для доспехов и к доспехам привыкшими.

Почти братское сходство лиц находило объяснение в общности происхождения — ибо в те времена в орден принимались только немцы — в дворянской крови и образ жизни, налагавшем на всех одну

печать. И тем не менее почти каждое из мужественных лиц, дышавших глубокою нравственною силой и царственным величием, принимало резко индивидуальный характер, как только дело касалось жизненных интересов ордена.

Великий магистр стоял ближе к огню. Он был человек строгой и суровой внешности, но с неприятным выражением лица. Глаза его беспокойно бегали, он кусал губы, морщил лоб и, хотя находился среди своих присных и ближайших, все же, по-видимому, посматривал на них с недоверием.

Неразлучный спутник Великого магистра ордена, недавно приставленный к нему компан (товарищ), ни на минуту не оставлял магистра, с тех пор как фон Орселен был убит мстительным Эндорфом. Теперь он стоял поодаль, у самой двери, которая соединяла маленькое зальце с собственными покоями магистра.

Компан был самый младший из присутствовавших: юноша, с быстрым взглядом и красивой внешностью. Он умышленно держался в стороне, как бы не обращая внимания на начальство, в совещаниях которого не смел принимать участия.

Стоя на страже, он не мог отойти от своего поста.

Звали его граф фон Хеннеберг.

Магистр Людер, кроме нервного лица и великого высокомерия, опиравшегося на княжеское происхождение, ничем особенным не отличался.

Лица великого комтура, маршала и казначея, сановников, входивших в состав тайного совета, были гораздо выразительней и заставляли думать, что, хотя исполнительная власть была в руках магистра, власть направляющая — целиком принадлежала этим трем советникам, спокойным, исполненным самоуверенности и проникнутым сознанием великой миссии, выпавшей на их долю.

Сверх Великого магистра и остальных, только что упомянутых сановников присутствовал также рыцарь Бернард, с которым мы познакомились вчера. Одет он был так же, как в часовне; так же старался, по-видимому, стусеваться и подчеркнуть, что не имеет официального положения и значения, и сидел в темном уголке, на лавке, притворяясь немым и равнодушным зрителем.

На лице магистра Людера явно отражались кроме беспокойства утомление и скука: как бы протест против насильственного

привлечения на заседание, тогда как он нуждался в отдыхе.

Разговор велся вполголоса, как бы в виде предисловия к общему совещанию.

Комтур несколько раз, собираясь приступить к делу, взглядывал на компан Хеннеберга. Видя, что многозначительные взгляды остаются втуне, он подошел поближе, пошептался, и компан медленно исчез за дверью.

Магистр Людер нетерпеливо толкнул ногой полено, скатившееся с очага, осмотрелся и пробормотал:

— Говорите... начинайте... слушаю!..

— Лучше всего, если тайну, имеющую великое значение для ордена, доложит и объяснит вам брат Бернард, — сказал великий комтур, взглянув на рыцаря.

Магистр, насупившись, бросил грозный взгляд на сидевшего в углу орденского брата. По выражению лица легко было заключить, что он не любил Бернарда.

При упоминании своего имени тот медленно привстал, как бы равнодушный ко всему происходившему, и мерным шагом подошел к группе у камина.

Все молчали, а Бернард собирался с мыслями, но вполне спокойно, хладнокровно. Эти несколько шагов по направлению к Великому магистру, всей своею внешностью выражавшему неодобрение, не произвели, по-видимому, на Бернарда никакого впечатления. Он был поразительно уверен в своих силах.

— Говорите же, брат Бернард! — подтвердил маршал.

— Дело важное, — сказал Бернард, — и никто не знает его лучше меня. Надо что-нибудь предпринять, время не терпит. Я хочу говорить о том отроке, литовском княжиче, которого мы с лишком десять лет тому назад отняли у матери и воспитали с сокровенной целью. Я был его блюстителем и по моему совету мы вырастили его здесь, чтобы со временем воспользоваться им как орудием для избежания кровопролития. Мальчик...

Великий магистр пожал плечами, покачал головой и перебил:

— Невелика была заслуга — выкормить этого дикого волчонка. Какой в нем толк? Лучше было б размозжить ему голову о первую сосну.

Брат Бернард презрительно засмеялся, как будто не понял насмешки.

— Может пригодиться, — сказал он равнодушно. — Мать, вдова, владеет на границе полосой земли; там у нее хорошо укрепленный город, овладеть которым трудно. Она очень тоскует по сыну... Кто знает... Ребенком мы воспитали его в христианской вере, и он привязался к нам: вот и готовый для нас союзник и вассал. Сдается мне, что цель заслуживает затрат, сделанных на воспитание...

Магистр вторично пожал плечами и рассмеялся.

— Я бы предпочел иметь на городище несколько сот рыцарей да несколько тысяч верных жителей, чем одного такого заложника. Мать успела переболеть горем и забыть о сыне. На самого же — плоха надежда: кровь может в нем заговорить. Тогда весь расчет не стоит и десятка копий.

Сверкнув глазами, Бернард несколько не смутился. После Великого магистра стал говорить маршал, поглядывая то на рыцаря, то на своего главу. Среди высших представителей ордена скромный брат пользовался большим уважением; только магистр относился к нему пренебрежительно.

— В то время, когда ребенок достался нам, — сказал маршал, — совет ордена был того мнения, что пленника необходимо воспитать и сделать из него рыцаря. Ныне же надо использовать то, что нам досталось в наследство от прежних лет.

— Не утаю, — сказал спокойно Бернард, — что возникли новые затруднения. Там, где дело касается ордена, нестыдно сознаться в ошибке, даже следует. Воспитание юноши шло до сих пор чрезвычайно удачно, так что именно теперь можно бы было попытаться предложить матери, ценою возвращения сына, уступить ордену полоску земли. Например, потребовать за него Пиллены. Он христианин, преданный вере; вернувшись на Литву, стал бы служить не ее интересам, а нашим.

Заключение брата Бернарда пришлось, по-видимому, по душе всем начальствующим, переглянувшимся между собою, как бы в знак одобрения. Только Великий магистр ордена продолжал стоять у камина, с таким же презрительным и неубежденным видом, как раньше.

— В такие подходы я не верю, — проворчал он с неудовольствием, — моя сила в мече, победа — в войне. Спорить с Польшей, с Литвой, с Поморьем, препираться словами, нести свои жалобы на суд апостольского престола — все это волокита. Теряем даром и время и деньги. К чему нам это? Весь мир — вдоль и поперек — к нашим услугам. Для Крестовых походов против язычников стекаются к нам рыцари из Германии, Англии, Франции — одним словом, со всего христианского мира. В них наша сила, и другой нам не надо. Воевать, таская детей, — пустая забава.

Никто не противоречил взглядам магистра; но, равным образом, ни один из присутствовавших не поддержал брошенного Бернарду упрека. Начальники стояли молча, а когда магистр повернулся к ним, то легко уразумел, что хотя никто не был против него, но зато никто не был и на его стороне.

— Все средства хороши, которые ведут к цели, — сказал после продолжительного молчания великий комтур, — не будем же легкомысленно отвергать тех, которые даны нам самим Провидением.

Магистр пожал плечами.

— Кто затеял, пусть доводит до конца, — прибавил он, взглянув на Бернарда, — что сделано, то нельзя вернуть назад.

— Действительно, я спас этого ребенка и на него рассчитывал, — перебил Бернард.

— Ну, так и делайте с ним, что хотите, — проворчал магистр, не давая Бернарду окончить.

И Великий магистр повернулся лицом к огню, как бы не желая, чтобы хладнокровный Бернард видел его омраченное лицо.

— При моих предшественниках, — начал он, — хотя я и не отрицаю их заслуг, понаплодились Эндорфы. Каждый хотел командовать по-своему, каждый гонялся за личными заслугами, тогда как, по уставу, у орденских рыцарей не должно быть ни собственного платья, ни своего коня, ни славы, ни значения. Всяк и делал, что ему взбрело на ум; но впредь этого не будет.

Бернард медленно ответил:

— Если вы ставите мне в упрек то, на что согласился весь капитул, то созовите совет, пусть меня судят. Я предстану пред судилище, не буду уклоняться. Назначьте наказание, посадите на хлеб и на воду, а то и вместе с Эндорфом...

Магистр отвернулся с искаженным от гнева лицом.

— Довольно! — сказал он. — Чтобы отдать под суд, не надо вашего согласия. И хотя вы, заурядный рыцарь, приобрели здесь вес и значение, не подобающие вашему званию и степени, хотя вы мешаетесь во все и хотите всем командовать, я... вас не боюсь... нет, не боюсь!

Бернард поклонился гордо и смиренно в одно и то же время.

— Ничего не присваиваю я такого, на что не имел бы права каждый рыцарь. Я всегда повиновался и повинуюсь орденской власти.

С этими словами брат Бернард поклонился сперва магистру, потом остальным присутствовавшим и удалился через дверь, выходящую в пустую еще трапезную. Шаги его долго слышались по каменному полу, и мерный отзвук их не стал поспешнее после столкновения с орденским главою.

Великий комтур, бывший, вместе с маршалом, первым представителем власти после магистра ордена, подошел тогда со знаками глубокого чинопочитания, не без робости, вплотную к Людеру, который продолжал смотреть вслед удалявшемуся Бернарду.

— Ваша милость, — сказал он мягко, — отнеслись к нему с предубеждениями. Вы обошлись с ним чрезвычайно резко. Мы привыкли уважать его. Заслуги его перед орденом велики и длятся много лет. В особенности же необходимо принять во внимание, что капитул неоднократно предлагал ему высокие выборные должности, а он их отвергал.

— Так! — возразил магистр. — Он предпочитал, не имея ни звания, ни определенных обязанностей, вмешиваться в дела управления, быть соглядатаем и тайным воротилой. Ни над собой, ни рядом с собой, я не потерплю секретного сотрудничества.

Высшие орденские чины обменялись взглядами, а великий комтур, считая, вероятно, дальнейшие пререкания с начальством неудобными, прекратил спор.

Конечный оборот, данный разговору, омрачил чело Людера. Возможно, что он раскаивался в неосмотрительных речах, напрасно выдавших его тайные намерения. И, обернувшись к маршалу, он стал расспрашивать о подробностях готовившегося набега на Литву.

Ему подтвердили, что все готово, но что необходимо обождать наступления морозов, которые скуют болота и трясины.

Великий комтур кстати сообщил о подходивших из Германии дружин добровольцев.

Однако успокоительные новости не развеселили магистра. Он продолжал хмуриться, как будто еще не совладал с гневом против Бернарда.

Мгновение спустя, пройдясь раз и другой по маленькому залу, он остановил взгляд на двери, выходящей в его личную молельню и опочивальню: на той самой приснопамятной двери и проходе, в которых был убит Орселей... взглянул и с легким поклоном всем присутствовавшим удалился в свои покои. Ожидавший за порогом компан Хеннеберг распахнул перед ним дверь.

Остальные также стали собираться восвояси.

— Магистр несправедлив к Бернарду, — вполголоса молвил казначей, — он, очевидно, мало его знает.

Все согласились, кивая головами.

— Действительно, он муж, заслуживающий уважения и имеющий высочайшие заслуги перед орденом, — прибавил маршал, — все, так или иначе, проникнуто себялюбивыми поползновениями: все мы люди... Он же никогда ни о чем другом не думал, кроме как о возвеличивании ордена, о его блеске, и почти отрекся от всяких человеческих желаний с тех пор, как надел орденское платье и сжился с ним...

— Он не ищет для себя ни славы, ни значения, — прибавил комтур. — Людере впоследствии оценит его.

— А за Бернарда можно поручиться, — сказал, улыбаясь, маршал, — что он никогда не будет вторым Эндорфом. И не только неспособен на убийство, но сам себя с готовностью принесет в жертву ордену.

Огонь понемногу совсем погас в камине, и начальство стало расходиться.

Великий комтур очень близко принял к сердцу, что Бернард ушел обиженный несправедливыми упреками. Прямо из рыцарской залы он направился в его келью, но не застал Бернарда.

Келейка, которую старый рыцарь занимал, по молчаливо закрепленному за ним праву, один, тогда как многие другие жили по двое, была совершенно лишена каких бы то ни было удобств, делающих жилище комфортабельным. Чисто монашеским убожеством

дышали ее голые стены, твердый кирпичный пол, частью только прикрытый плетеною из тростника рогожею; постелью служили чуть ли не нары; в углу валялась конская збруя, не украшенная, по старинному уставу, ни единой побрякушкой.

Тогда как у других рыцарей всегда бывало в кельях кое-что, говорившее о личных вкусах, привычках и капризах, келья Бернарда служила лучшим доказательством, что жил в ней человек, равнодушный ко всему мирскому. Самый строгий взор не нашел бы в ней ничего, идущего вразрез с первоначальными суровыми правилами ордена, значительно смягченными уже в описываемое время. С уважением осмотревшись в комнате анахорета-воина, комтур уже собирался удалиться, когда вошел хозяин. На лице его не видно было никаких следов гнева или возмущения за понесенную обиду. Он возвратился, явно занятый совсем иными мыслями, и, увидев на пороге великого комтура, с почтением его приветствовал. Они вместе вернулись в холодную каморку.

— Брат Бернард! — обратился к нему без всякого вступления орденский сановник, стараясь говорить веселым тоном. — Я пришел утешить вас. Людер вас не знает и очень ревниво оберегает свою власть; надо извинить его.

— От всего сердца! — воскликнул, улыбаясь, Бернард. — Дело не в нем и даже не во мне. Все мы служим единой великой цели, мы орудия: пусть орудия портятся и гибнут, лишь бы цель была достигнута.

— Святые речи, — подтвердил комтур, — поступайте так, как говорите.

— И не думаю в чем-либо поступиться, — возразил Бернард, — для меня главное, что Великий магистр предоставил мне полную свободу действий. Доведу начатое до конца; если же не удастся...

— А почему бы могло не удалиться? — спросил комтур.

Бернард слегка сдвинул брови.

— Потому, — сказал он, — что все человеческие начинания непрочны; что сильнейший может стать жертвою песчинки, если, не заметив ее, поскользнется. Так и я... Воспитывал мальчика, растил себе на радость, а теперь...

— Болен?.. Выздоровеет... — равнодушно сказал комтур.

— Брат-госпиталит ни за что не ручается: сохнет парень, — возразил Бернард, — я хожу, слежу, ничего не вижу, но чувствую, как будто тень пала на молодую душу: больно не тело; он весь изменился; боюсь...

Бернард не окончил.

Великий комтур, собираясь уходить, положил руку на его плечо и весело сказал:

— А я ничуть за вас не опасуюсь, ни за ваши планы. До свиданья. И ушел.

В комнате было почти совсем темно. По уходе комтура двери отворились, и мальчик принес лампадку, заслоня огонь ладонью.

— Где Швентас? — спросил тихо Бернард. — Ты звал его?

Слуга в ответ только кивнул головой и удалился. Не присев ни на минуту, рыцарь большими шагами стал ходить по комнате, явно кого-то поджидая. Как только в коридоре раздавались шаги, он останавливался и прислушивался.

Внезапно дверь открылась. В комнату ввалилось маленькое, толстое, неуклюжее существо, напоминавшее во мраке скорей медведя, нежели человека; сопя и испуская стоны, оно согнулось в три погибели и ожидало, точно прикованное к полу.

Вспыхнувшая ярче светильня лампы, позволила ближе присмотреться к этой странной человеческой фигуре.

Круглое, большое, веселое, загорелое лицо, обросшее снизу редкою растительностью, не отличалось ничем, разве заурядным и довольно внушительным уродством. В нем не было ничего характерного: обычное простонародное, состарившееся в тяжких трудах лицо; закаленное, приниженное и привыкшее к своей доле.

Широкоплечий, с грубыми руками, сильной грудью, толстыми, как пни, ногами, человек этот всей своей приземистой внешностью, как бы вытесанный из одного обрубка, мало чем отличался от животного. И на что мог пригодиться умному Бернарду такой слуга, место которому было в стойле, у коней?

А все же Бернард с оживлением вышел ему навстречу и заглянул в глаза.

Швентас ответил на его взгляд, и тусклые зрачки его сверкнули, если не умом, то хитростью и изворотливостью, которых незачем было скрывать от глаз хозяина.

Ясно, что в этой бесформенной колоде таилось нечто, обросшее слоем мяса и скрытое под толстой кожей.

Глаза выдали его, и он опустил их в землю.

С юродивой усмешкой и льстивой и радостной в одно и то же время Швентас нагнулся, поймал кончик белого плаща Бернарда и униженно поцеловал.

Он ждал приказаний.

— Ну, в путь-дорогу! — приказал шепотом Бернард и приложил палец к губам.

— Добре, отец родной, в дорогу, так в дорогу! — хриплым голосом ответил Швентас на ломаном немецком языке с сильным чужим акцентом. Говоря, он все время смеялся и скалил ряд мелких, острых зубов. — В дорогу, так в дорогу! — повторил он. — Разве я когда-нибудь отнекиваюсь по болезни, как другие? Я всегда готов: палку в руки — и ступай!.. Э?.. Но куда? — спросил Швентас, с любопытством сверкая глазами.

Бернард помолчал.

— А если бы на Литву? — шепнул он.

— О, а! Что же в том особенного? — рассмеялся Швентас. — На Литву, так на Литву! Не бывал я там, что ли?

— Не только пробраться надо на Литву, но и вернуться целым: в том-то вся и штука, — прибавил рыцарь, — надо сходить, какую требуется, умненько разведать подноготную и доложить мне.

Швентас вместо ответа ударил себя в грудь.

— Но берегись! — молвил Бернард. — Берегись, литовская ты бестия! Смотри, когда выскочишь на волю, не пустишь во все тяжкие, не вернись к дикой жизни и языческим обычаям! Если изменишь ордену, достану тебя из-под земли и повешу, как собаку!

Старик качнулся всем телом и чуть не подскочил, услышав грозный окрик Бернарда. Он стиснул кулачища и поднял руки.

— Точно вы меня не знаете! — закричал он почти гневно. — Мало ли я ходил туда для вас? Не раз и не два, а десятки раз, высматривая, подглядывая и возвращаясь с верными сведениями. Что мне, сладко, что ли, с этими дикарями да язычниками? Разве вы не знаете моей жизни, моего сердца? Ведь я сам дался вам в руки, чтобы мстить своим до конца жизни, пока дух в теле. Повесили они меня; только вот мать перерезала веревку. Девку мою отняли, хату спалили, и

все несправедливо. Они мне не братья и не кровь моя, а враги. Потому-то я и передался вам.

Рыдания заглушили его слова; успокоившись, он закончил:

— Куда идти, отец родной? Лишь бы крови у них выщедить, пойду, всюду пойду!

Бернард больше не раздумывал. Он нагнулся и спросил:

— Знаешь, где Пиллены?

Холоп головой и бровями показал, что знает.

— Там сидит...

— Старая Реда, жена кунигаса, — перебил Швентас, — та самая, у которой отняли и убили малютку-сына. Бешеная баба: одна троих мужчин стоит. Залезть к ней — все равно что в осиное гнездо либо в муравейник.

Бернард взглянул на говорившего.

— Не хочется? — спросил он.

Швентас засмеялся, широко раздувая щеки.

— Я не боюсь ни ос, ни муравьев, — сказал он, — на что же дал нам Бог ум и хитрость?

При этих словах он сделал перед собой руками какой-то знак.

— В Пиллены надо не только пробраться, — молвил рыцарь, — но и пожить там. Реда, верно, оплакивает сына; думает, как и ты, что он убит. А что, если он жив?

Швентас снова стал смеяться.

— Жив? О! О! За живого можно взять хороший выкуп! — сказал он, мотая головой, и прибавил, понизив голос: — Все равно, жив либо нет, можно всегда подобрать ей мальчика под масть и возраст... через столько лет не разберется...

— Может быть его и не убили, когда взяли, — продолжал рыцарь сдержанно. — Слушай же, Швентас, как ты... ну... что ты о себе скажешь?

— В Пилленах-то? — молвил, раздумывая, старый парень<sup>[3]</sup>. — А как знать?... Да как случится!

— Скажи, что ты из пограничных мест, кем же ты будешь? — спросил Бернард.

— Как «кем»?.. Ну... нищим, ворожеем, может быть, бродягой?

— Расскажи ей, будто слышал от людей, что ходят слухи в замках крестоносцев о том, как немцы вырастили ее дитя, и что оно живо.

Швентас забил в ладоши.

— Я их оболгу как следует, не бойтесь, — прибавил он со смехом.

Бернард задумался. Дальнейшее надо было хорошо обмыслить. Ему не хотелось совсем довериться полудикому посланцу, а тот пронырливыми взглядами, казалось, проникал ему в душу, а по лицу его блуждала хитрая усмешка.

Бернард прошелся взад и вперед по комнате.

— Ну, пока довольно, — сказал он, — ступай, делай, как сказано, и смотри в оба, как она примет вести, как откликнется на них ее сердце. Она — мать.

— Она баба! — поправил Швентас. — Но я много о ней слышал. Жажда мести давно сделала из нее мужчину. Она только одной и дышит мезтью за того ребенка.

— Тем лучше, — перебил Бернард, — а что будет, когда узнает, что он жив?

Швентас закрыл рот обеими руками и, точно разговаривая сам с собой, стал трясти и ворочать головой. Трудно было разобрать, смеялся ли он или удивлялся, или беспокоился. Может быть, смеялся, но смех был не такой радостный и откровенный, как раньше.

Бернард подошел к нему и еще раз повторил все, что ему внушал. Хлоп, кивая головой, поддакивал каждому слову, а оживленный взгляд доказывал, что он хорошо понял свою роль. Когда Бернард закончил, Швентас еще раз ухватил подол его плаща и поднес к губам. Потом поклонился почти до земли, повернулся и выкатился вон из комнаты.

Бернард остался один. Его не взволновали ни слова Великого магистра, несомненно, обидные для кого бы то ни было, ни распоряжения, данные Швентасу в столь важных обстоятельствах. Ничто не возмутило спокойствия рыцаря, закаленного долгими годами послушания. Он уже опять ходил взад и вперед, обдумывая какое-либо иное начинание во славу ордена, и, стараясь сосредоточиться, временами останавливался, проводя рукою по лбу.

Постучали в дверь... Бернард удивился столь поздним посетителям, однако пошел и отворил. На пороге, осторожно и медленно переступая, показался с костылем в руке сторбленный и очень старьй человек, одетый в орденское платье. На нем была монашеская ряса без плаща, без креста, без иных отличительных

эмблем; но с первого же взгляда чувствовалось в посетителе сознание собственного достоинства, как бы заявление о правах на нечто, ему не предоставленное.

Из-под черной скуфейки, которую посетитель не снял при входе, серебрились белые, как снег, волосы; коротко подстриженная бородка и седые усы обрамляли красивое лицо, изрезанное глубокими рубцами.

Один из них кровавой лентой пересекал нос и щеки; другой глубоким шрамом зиял на виске. Одну из ног, полупарализованную, старец грузно влек за собой; костлявые пальцы рук были опухлы и искривлены.

Весь он представлял развалину; но развалину красивую, вызывающую уважение. Уголки рта, изборожденные морщинами, сохранили гордое и мужественное выражение. Но к гордости примешивалась горечь, дышавшая сарказмом и тоскою.

Гость был старейший из рыцарей-крестоносцев, подвизавшихся на литовской границе: Курт, граф Хохберг, родом с Рейна. Несколько десятков лет тому назад, после семейных неурядиц и бурной жизни, он выбрал себе уделом борьбу с язычниками и остался здесь на всю жизнь.

Израженный в боях, неоднократно остававшийся лежать на поле битвы в числе павших, всегда искавший смерти и чудом от нее спасавшийся, он потерял всякие земные связи и точно прирос к своему каменному гробу. Братья неоднократно хотели избрать его комтуром или казначеем; сам он, несомненно, мог претендовать на звание Великого магистра; однако, подобно Бернарду, он всегда отрецивался от бремени начальственного положения и почти в равной с Бернардом степени горячо интересовался только судьбами немецкой колонии меченосцев в этом крае, близко принимая к сердцу ее интересы.

Но Бернард жил еще кипучей деятельностью; Курт уже только жаловался и ворчал да усердно выслеживал всякие измышленные новшества. Старинные заслуги заставляли братию выносить его причуды, хотя порой он подносил им слишком печальные истины.

Старый граф редко выходил из своей комнаты а осенью или зимою, когда в особенности ныли поломанные кости, он целыми днями просиживал у камелька, закутанный мехами. Визит его к

Бернарду был событием, и тот сейчас же догадался, что приход графа связан с нападками Великого магистра.

Курт счел долгом, раз брата постигло огорчение, прийти к нему с выражением сочувствия.

— А что! А что! — воскликнул он с порога. — Мастер Людер показывает зубы! Не терпит, чтобы кто-либо, помимо него, смел проявлять здесь инициативу! Уж придрался к вам!

Бернард равнодушно пожал плечами.

— Жаль мне вас! — продолжал шепелявить монотонно старец. — Жаль сердечно!.. И конца этому не будет! Молодые станут теперь переделывать на свой лад наш старый орденский устав, пока не обратят святые правила в посмешище!

И дрожащею рукой он делал в воздухе угрожающие жесты. Бернард, видя, с каким трудом он держится на больных ногах, пододвинул ему единственную скамейку. Курт сел со стоном.

Хозяин знал, что будет: предстояло выслушать от начала до конца все, что накопилось в измученном сердце и наболевшей голове старого крестоносца за много лет молчания.

— Помню, — начал граф, отплевываясь и не давая Бернарду сказать слова, — другие времена, других людей... помню исконный устав наш, такой, каким принесли его сюда из Палестины... одно только могу теперь сказать: его ведут к гибели! Бога уже нет... устав в пренебрежении... рыцари разбойничают... Разврат! Заносчивость!.. Чем дальше, тем хуже!

— Будущее представляется мне далеко не таким мрачным, — начал Бернард.

— Потому что ты сам слишком добр! — перебил его Курт. — А по-моему, дела очень плохи! Моим глазам не суждено уже увидеть... но орден падет, как мул в пустыне, отягченный золотом; и вбронны выключают ему бока и растащат внутренности...

Бернард собирался выступить в защиту ордена, но старик не дал ему сказать слова.

— Ты мало помнишь былые наши годы, — начал он, — времена были иные, лучшие. Дух был иной; мы на самом деле были рыцарями Креста Господня и настоящими монахами... а теперь мы рыцари-разбойники! К походу мы готовились постом; шли, величая в песнях Богородицу; не надо нам было ни удобных постелей, ни золотых цепей

на шее, ни вина для подкрепления в пути, ни компанов, ни толпы слуг для несения оружия и тяжестей. Все были равны... а ныне?!

— Мы и теперь не чувствуем неравенства, — молвил Бернард.

— Вот тебе и на! — вставил Курт. — А откуда взялись серые плащи! У кого в восходящем поколении нет четырех гербов, ведь должен носить серый? А такой же дворянин, как и другие! Герб гербом... а кто небогат и кому никто не ворожит из сильных, так будь он расхрабрец, а на него напялят серый! А эти серяки дерутся лучше беляков!

— Вот тебе на! — повторил еще раз, ворча, старик. — Давно ли Великий магистр завел компанов... а теперь уже всем белоплащникам они понадобились... да не по одному; одного будет скоро мало. В давние времена только в великие праздники давали кубок подкрепительного, а теперь его разносят флягами по кельям. Прежде ни у кого не было даже собственного одеяния, а теперь ни один белый не пойдет в гости без шейной цепи, а у иных туго набиты сундуки. Прежде нельзя было слова молвить с женщиной, а теперь?.. Хе! Теперь у начальства по городам завелись лапушки...

— Отче! — перебил Бернард с упреком.

— Брате! — сказал старик. — Я не лгу и не осуждаю, а говорю правду, как Бог свят! И только потому, что у меня сердце разрывается, потому что любил и люблю святой орден Креста Иисусова и гнушаюсь орденом Бааловым...

Он вздохнул.

— Какой конец! — воскликнул он после нескольких минут молчания, вперив в пол угасшие зрачки. — Такой же, какой постиг храмовников! Возможно, еще худший! Короли польстятся на наши богатства, а папа отречется от своих заблудших сыновей.

— Но ведь, слава богу, мы еще не богоотступники и не идолопоклонники, как тамплиры, — возразил Бернард.

— Формально, нет, на деле — да! — воскликнул старец. — Кто не живет по-Божьему, тот отступил от Бога.

Измученный, Курт задыхался и прижал руку к бурно колыхавшейся груди.

— Благодарю вас за сочувствие, — вставил, пользуясь перерывом, Бернард, — только я не так уж близко принимаю к сердцу слова

Людера. Пусть действует и думает, как хочет, я буду продолжать начатое дело.

— А я свое, — сказал старик, — смелые речи также на что-нибудь да пригодятся, раз уже не хватает сил в руках.

Он вздохнул и спросил более мягким голосом:

— Что ж значит? Гневается из-за того юнца, которого вы воспитывали по-человечески и по-христиански и поступили вполне разумно! Он и этого понять не хочет!

И Курт засмеялся иронически.

— На беду он у меня расхворался, — сказал Берnard.

— Поправится! — ответил равнодушно старец. — В его возрасте болезнь не страшна. Пусть подрастет. В нем бунтует кровь. Посадить его на коня и дать перебеситься!

— Отец-госпиталит сказал, что на коня ему уже не сесть, — грустно молвил Берnard.

— Отдайте его на службу кому-нибудь из комтуров: пусть будет ему немного повольготней, — пробурчал старик.

— Я также о том думал, — сказал Берnard, — давал такие же советы...

И не кончил... Старик явно не придавал болезни особого значения. Он, который сам перенес столько и остался цел, не мог понять, чтобы какая-то болезнь могла угрожать жизни. Он торопился всласть наворчаться и нажаловаться на все, что стало ему поперек горла в замке.

Берnard слушал больше из уважения, нежели из сочувствия огорчениям старца; он дал ему высказаться, позволил выплакать горе. А когда Курт собрался уходить, потому что начал мерзнуть в комнате Берnarда, тот взял его под руку и по коридорам проводил в собственную его келейку.

В стенах монастыря все кругом притихло; наступил час успокоения; белые рыцари ложились спать, и только челядь еще продолжала хлопотать.

Берnard, проводив Курта, не вернулся в свою комнату, а после минутного раздумья вышел на двор и направился в нижний замок, где находился госпиталь. Здесь жил великий госпиталит и его помощники. Берnard знал, что не только в такие поздние часы, но иногда и всю

ночь напролет усердный и подвижный старичок Сильвестр не ложится отдохнуть.

Никто никогда не знал, в какое время он спит и когда просыпается. По старинным орденским правилам он ложился одетый, часто ухитрялся вздремнуть сидя, а когда прислуга думала, что он заснул, Сильвестр внезапно появлялся со светильником в руке у постелей больных или в таких местах, где должны были дежурить при них служители.

Избрание Сильвестра на единственную в ордене выборную должность, на которой удостоенные доверия избранники имели право никому не отдавать отчета ни в своих действиях, ни в своих расходах, было в высшей степени удачно. Выбор, павший на него, был так справедлив, так единогласен, что даже те из его собратьев, которые завидовали свободе действий брата-госпиталита, не смели осуждать в чем-либо Сильвестра.

Он был воплощенным христианским милосердием. Вид людских страданий смягчал его сердце и делал его безгранично чутким и податливым, а так как в болезнях люди бывают более сами собой, чем в иное время, то Сильвестр лучше знал своих пациентов, нежели вся остальная братия. И, зная их, не негодовал, а глубоко сожалел о них.

Хотя Бернард во многом был не похож на брата-госпиталита, однако уважал его, как и все прочие.

Было истинным чудом, что он застал старичка в его келейке, пахнувшей какими-то восточными бальзамами и наполненной множеством различной утвари, одежд, полотен, склянок и горшочков.

Сильвестр отдыхал, но беззвучные шаги Бернарда все же разбудили его, и он вскочил. Привыкший спать урывками, он всегда сразу приходил в себя: проводил рукою по лицу, и признаки дремоты исчезали.

— Надоедаю вам? Не правда ли? — сказал Бернард, входя. — Простите! Меня гнетет тревога о том мальце.

Госпиталит развел руками, давая понять, что не может сообщить ничего утешительного.

— Но ему не хуже? — спросил Бернард.

— И не лучше, — шепнул старик.

Гость пытливо смотрел на озабоченное лицо хозяина.

— Нет, не лучше! — повторил Сильвестр. — Вчера я не был еще вполне уверен в происхождении болезни: от крови ли она или от духа? Ибо источники болезней двоякие. Сегодня же я, кажется, не ошибусь, если скажу, что причиною болезни — тоска по чему-то...

— Но по чему? — пытливо подхватил Бернард.

— Трудно разгадать, — ответил монах, — юность, как вы знаете, полна неразрешимых загадок. Во Франции говорят, что, когда молодые вина бродят, старые им вторят в бочках, а когда лозы зацветают, сок, выжатый из ягод, бурлит с тоски в лоханях.

Он сразу замолчал.

— Да говорите же, говорите! — стал просить Бернард, живо заинтересованный неоконченной параллелью.

— Вы же знаете, кто он такой, — зашептал Сильвестр. — Кто знает, не закипает ли в нем кровь литвина, когда родимому гнезду грозит беда?

— Но ведь он ничего о себе не знает! — воскликнул рыцарь.

— А если, ничего не зная, он все же чувствует в душе, кто он такой?

— Как же это может быть?

— А разве кто-либо из нас знает, что может и чего не может быть? — спокойно возразил Сильвестр. — *Sunt arcana rerum*<sup>[4]</sup>, — сказал он, как бы про себя.

Бернард задумался.

— Сегодня он был не так спокоен и молчалив, как вчера, когда мы были у него вечером, — продолжал госпиталит, — он метался в тесной камерке, как в клетке; на лице был румянец, в глазах лихорадочный блеск. Издали мне послышалось, будто он что-то напевал, а когда я спросил о песне, он зарекся.

Брови Бернарда насупились.

— Ксендза бы ему да молитву, — сказал он, — душа у него в смятении. Пошлем к нему отца Антония.

Госпиталит не возражал.

Разговор прекратился, потому что в мыслях они были не согласны друг с другом. Бернард вернулся к себе в келью, не выразив желаний повидать юного питомца.

### III

У подножия холма тихо струится старый Неман. Он веками промыл себе глубокое русло и спрятался в нем. Пусть весна несет с собою половодье, пусть дожди мечут сверху на откосы потоки воды, он, старик, никогда не оставит свое ложе, не распалится гневом на прибрежные луга, не совершит набег на соседние нивы. Только на поверхности его гуляют курчавые волны, водовороты да белая пена, которая, как танцовщица, вертится на одном месте и разлетается в пыль о камни. Изредка вода подымается, будто чему-то грозит... но скоро, покорная року, возвращается вспять, спешно катя свои волны к морю по проторенному пути.

Молодые реки шалют, он — никогда: старый батюшка-Неман всегда добр, как родной отец.

Здесь он со всех сторон опоясал песчаную косу и пригорок, приник к ним, точно преисполнен любви и желания быть им защитой. Оно и понятно: на пригорке стоит старинное литовское городище, едва ли не такое же древнее, как сам батюшка-Неман, оберегающий его от напасти. Только теперь, когда немцы стали глубоко внедряться в чужие земли, малое городище обратилось в сильную крепость. Литвины видели, как строились немцы и кой-чему от них научились. Прежде здесь не нуждались в таких окопах и стенах: достаточны были вал да частокол. Ныне от закованных в железо врагов не спасают и каменные кладки... Впрочем, кому придет на ум лепить и ставить мурованные стены, когда Господь Бог вырастил твердые и толстые, как скалы, дерева?

Страшно было даже издали взглянуть на Пиллены. Казалось, что только исполины могли нагромоздить тяжелые колоды, в обхват человека, связанные в лапу, точно сращенные одна с другой. Никто раньше не покушался на Литве строить стены такой вышины. Если бы поставить друг на дружку десять человек, то и тогда они бы не дотянулись доверху. И сколько бы ни ходить, нигде бы не найти ни ворот, ни окон, ни малейшей щели. Все было точно вытесано из одного целого куска.

Только посреди огромного сруба высился громадный деревянный столб, с верхушки которого, взглядевшись, можно было видеть на многие мили вдаль, луга, поля, леса и Неман; как он величаво изгибается, течет, дает излучины, чтобы везде, где нужно, защитить родную землю, напоить народ, принести на волнах челн, приволочь водою камень.

Замок стоял на горке, а горка образовала остров, соединенный с твердою землей только узенькой перемычкой. Да и самую косу Неман иной раз возьмет да и зальет водой, точно отовсюду опояшет свое детище руками.

Здесь же, под защитой замка, как грибы, толпятся на земле избушки, хаты, шалаши, землянки: целый мирный городок, пустеющий перед войной, так как жители его спасаются в Пиллены. То там, то здесь, растет среди солнца старая ракета или уцелевшая от бора осиротевшая сосна. Над водой сплелись ветвями густые дебри лозняка, а среди них то здесь, то там виднеются ракиты, точно стерегущие расшалившуюся детвору.

Старая ракета стоит, как ветеран, помнящий страшные побоища, оставившие на ней свои следы. Ствол, нередко смолоду искривленный бурями, разбитый молнией, весь в трещинах от засухи, дуплистый, изъеденный червями, полугнилой, и ветер пронизывает его насквозь. А корни, как судорожно скрюченные пальцы, цепляются за землю, а на пальцах, точно раздувшиеся жилы, выросла узловатая кора...

Голова утрачена... ее давно сорвала буря; выросли только юные побеги, прикрывшие зарубцевавшиеся раны. С одной стороны торчит оголенная от листвы ветка, точно рука, протянутая за подаянием; с другой — сук, как обнаженная от мяса кость. Вокруг пня молодое поколение внуков. И ветви, и сухая поросль, и валежник, и дуплистые стволы, все сплелось в чудовищно-дикую картину. Не то умирает, не то возрождается к новой жизни; не то валится, не то стоит, не то сохнет, не то живет... а по ночам пугает и животных и людей. А здесь, в Пилленах, со стороны земли таких ракет не одна и не две, а целый ряд, как сторожевое войско! Издали кажется, будто великаны вышли на защиту городища... А те, которых ветер положил влоск<sup>[5]</sup>, так что расселись желтоватые их внутренности, прильнули к самой земле и дают молодую поросль...

Было утро, не то осеннее, не то зимнее; серое небо, резкий ветер, кругом все мертво, тишина и ни живой души. Даже в хатах и клетях не было видно жизни.

Одна из верб, стоявшая совсем на отлете, прапрабабка остальных, со стволом, разодранным пополам в длину, вся раскоряченная, казалось, проявляла больше жизни, чем остальные. У ее торчавших поверх земли перепутанных корней как будто развевалось что-то, а за этим лоскутом или завесой не то примостился зверь, не то приютился человек.

В поселке из одной из землянок выглянула женщина, заметила существо, копошившееся у ствола, посмотрела, покачала головой и опять скрылась.

Тогда из той же двери вышел человек, одетый в вывороченный полушубок, и стал внимательно присматриваться к трепыхавшемуся на ветре лоскуту. Потом взял стоявшую у притолоки палку с кремневым наконечником и осторожно, тихим шагом, пошел к раките.

Чем ближе он подходил, тем яснее видел сидевшего в дупле маленького, толстого человечка, одетого в простую сермягу, в ушастой шапке, с торбой на спине и узелками у пояса. Из-под надвинутого на лоб козырька виднелось круглое, загорелое, старое, некрасивое лицо. Почти вровень с головой торчали сутуловатые плечи, а ниже какая-то толстая, бесформенная колода, с парой человеческих рук, и ноги, опутанные лохмотьями и кусками кожи.

На земле лежала толстая дубинка, а возле нее серый мешок.

Отдыхавший под вербой все время бросал вокруг пытливые взгляды. Он видел и женщину, которая первая его заметила, и подходившего теперь к нему мужчину. Но отнюдь не испугался. Он ютился и жался к вербе, точно к матери. Весь свернулся в клубок, засунул пальцы за пазуху, втянул голову между плеч и равнодушно глядел на подходившего.

Вслед за хозяином вылез из землянки и уселся на пороге рыжеватый пес со взъерошенной шерстью. Собака постояла, потянула воздух, залаяла и заворчала. Потом после минутного колебания пошла вслед за хозяином, все ускоряя шаг, как будто торопясь ему на помощь.

Чем дальше, тем больше ерошилась и становилась дыбом ее шерсть; глаза выпятились, губы поднялись, обнажив оскал зубов.

Хозяин оглянулся на собаку и крепче стиснул палку, так как у псов хороший нюх: сразу чувствует врага.

Только враг ли это? Видом он был литвин, а хотя приближавшийся хозяин хатки явно питал недружелюбные намерения, пришелец не принимал мер к самозащите: не делал никаких попыток ни к нападению, ни к обороне.

В нескольких шагах от вербы и хозяин, и пес остановились, хозяин оперся о палку, собака села, подняла морду и завыла.

— Дурной знак!

Сидевший на земле пришелец зашевелился, вытащил руки из-за пазухи, вытянул ноги и встал. Он оказался маленьким, толстым, неуклюжим, сильным, но совсем не страшным человеком.

— Ты кто такой? Что тебе здесь надо? — спросил пилленский житель.

Странник сначала добродушно рассмеялся.

— Не видишь, что ли? Чего спрашивать? — отозвался он веселым голосом. — Я бедный свальгон; туго нам пришлось: даже такие, как я, вынуждены таскаться по миру, нищенствовать да побираться... Много забрали у нас немцы и народу, и земли... Вуршайтам и свальгонам<sup>[6]</sup> теперь смерть: хоть с голоду помирай, а делать нечего. Если где и уцелел священный дуб, так наших вокруг него, что муравьев; сколько ни нанесут жертвенных даяний, все съедим, и того мало... Да разразит Перкун наших гонителей!

Собака, прислушиваясь к голосу свальгона, не переставала выть, так что поселянин, обернувшись к ней, должен был пригрозить ей и заставить замолчать. Сам же он не знал, что сказать свальгону.

Правда, и в прежние времена достаточно бродило по свету таких ворожеев, гусяров и наемных жрецов, перекочевывавших из усадьбы в усадьбу, из поселка в поселок. Их встречали гостеприимно, так как всегда находилось то то, то другое, что надо было либо освятить, либо очистить, либо разрешить, либо посоветовать. Теперь же такие побродяги очень уж размножились, так как много священных дубов и урочищ было уничтожено; служители их рассеялись по всей земле и так зачастили к поселянам, что посещениям их не так уж очень радовались.

— А ты откуда? — спросил хлоп, надумавшись.

— Лучше спроси, где я не бывал? — ответил свальгон. — Хожу я больше здесь, по Неману, так как тут родился; бывал и в Пилленах, но давно... Сколько свадеб вам сыграл, сколько песен на них понапевал!

— Хм! Свальгон! — проворчал поселянин. — Свальгон, говорите, значит, свальгон вы и есть... только почему ты не одет как свальгон, нет ни пояса, ни...

— Чему ж тут удивляться? — живо подхватил свальгон, осторожно подходя к хозяину. — Ограбили меня немцы на границе и повесили бы, кабы я не дал себя крестить. Бросили в воду, и я спасся.

— Вырвался из немецких рук! — изумился пилленец. — Это диво! Они никому не дают пощады, ни молодым, ни старым, и хотят всех нас перебить. А тут еще свальгон...

И туземец недоверчиво покачал головой.

— Я им не обязан жизнью, — объяснил пришелец, — не уцелеть бы мне, если бы не всемогущий Перкун. Когда они бросили меня в воду, раздался какой-то треск... немцы испугались, не засада ли... мигом разбежались, а я выплыл.

Собака уже не выла, а только ворчала.

Свальгон, подняв дубинку, мешок и узелки, лежавшие у ног, подошел к поселянину, вполне уверенный в гостеприимстве, о котором даже не просил.

Оба пошли к хате.

— Присяду обогреться, — сказал свальгон, — когда вы подошли, я стучал от холода зубами. Раненько собирается зима. Хотите, сумею спеть любую песню и погадать потрафлю: на пиве, на воде, на воске, как кто хочет. Болезни заговариваю... скотинке помогаю...

Хлоп не отвечал, но и не гнал навязчивого гостя. Они потихоньку приближались к хатам и мазанкам, из которых выглядывали и выходили люди, выбегали собаки, а за ними босые и полуголые ребята.

Околица, до того безлюдная, вдруг оживилась. Всем было любопытно поглазеть на чужого человека, хотя бы даже на такого же литвина, как они сами.

Рядом была граница, за которой хозяйничали и грозили немцы; всякому хотелось знать, не принес ли бродяга известий о готовившемся нападении, захвате или хотя бы зарубежном настроении. Люди, шатающиеся век по свету, обыкновенно много знают.

Те, которые заметили, что странник направляется к мазанке Гайлиса, потянулись туда же всей громадой. Не такие теперь были на Литве счастливые времена, как в старину!

Правда, всегда бывали у Литвы враги; но они не забирались в глубь страны. Там, за пущами, за трясиными, были еще благословенные края, не выдавшие вражеской ноги. Здесь с незапамятных времен осели люди, как в гнезде, почти не зная о зарубежном крае. Тут росли священные дубы и божьи рощи; текли живые и лечебные источники; царил мир и раздавались над лугами и лесами выкрики литовских женщин и бубенчики у подола литовских девушек, мешавшие им схорониться. Теперь же много изменилось, с тех пор как крестоносцы осели железным станом над границей и стали воевать, опустошать и всячески тревожить землю братьев-пруссов, и горных, и низинных.

В самых непроходимых пущах нельзя было от них укрыться; священные урочища подверглись осквернению: выжгли Ромнове, вырубил Баублисы, избивали и изгоняли население. Всегда приходилось быть на страже, держать ухо востро, при малейшем подозрительном шуме уходить либо стекаться под защиту старых городищ.

Потому пограничные округа постепенно пустели; земледельческие общины переселялись за болота и леса, а кунигасы сидели только в городах, вооруженные с ног до головы, вечно начеку, готовые до последней капли крови оборонять могилы предков и наследственные земли.

Все понемногу изменилось под натиском врага; свобода, исстари царившая в лесах, пала жертвой первая, так как война властно ставила вождей и требовала беспрекословного повиновения от подвластных. Тоскливая завеса опустилась на страну...

Те, которые еще недавно ничего не знали и не хотели знать о соседях и о чужбине, настораживались при малейшем шорохе, долетавшем с запада. Появление ободранного свальгона, которого никто не знал в поселке, возбудило любопытство: ведь и от него можно было узнать новинки.

Как только свальгон вошел с Гайлисом в его убогую лачугу, наполовину вросшую в землю, с очагом по середине, на котором пылал на камнях неугасимый огонь на домовом жертвеннике, а вокруг

лежали вместо лавок принесенные с поля глыбы валунов, так вслед за хозяином и гостем стали ломиться в двери ближайšie соседи. Внутренность лачуги была такая же печальная, как ее внешность, видом напоминавшая большую кротовину.

Дым, с трудом выбивавшийся через небольшое отверстие над очагом, стлался сине-серым пологом между крышей и стенами.

То же помещение служило и людям и домашнему скоту, как бы составлявшему часть семьи. В глубине стояла корова с теленком, пара исхудалых волов и две маленькие, приземистые, толстенные лошадки, уже одетые зимней лохматой шерстью. За ними, по-соседству, лежали черные и коричневые овцы, а под ногами доверчиво прогуливались куры и гуси. Все население явно свыклось друг с другом: и люди и животные. Они понимали друг друга, сторонились, а в суровые зимы грелись, сбившись в кучу. Босые и полуголые дети сосали иной раз ярк наперебой с ягнятами. И волы и дети одинаково повиновались голосу хозяина и хозяйки. А собака одинаково сторожила всех, оберегая младенцев от зверей, а зверей от издевательства подростков.

По одну сторону избы, на стенах, тщательно проконопаченных мхом, висели всякие хозяйственные орудия и приборы; другие были расставлены на палках; а то, что подороже, было спрятано в углу, в осыпях зерна и кадах. Под крышей сохло всевозможное зелье: от болезней, худобы, чар и дурного глаза. Небольшой стол и скамьи, вместо которых большей частью употреблялись камни, были грубо вытесаны из бревен. За маленькой полуоткрытой дверцей виднелась низкая кладовка, а в ней орала, разобранные телеги и колеса.

Свальгон уселся поближе к огню на камне; отпустив наушники, завязанные узлом под подбородком и расставив руки, грел их перед очагом, протягивая над слабо горевшим пламенем.

Заметив это, маленькая девочка, с любопытством глядевшая на странника, подбросила на очаг несколько сухих ветвей, чтобы согреть пришельца.

Гайлис пошел в далекий угол хижины зачерпнуть пива, которое велел дочурке подогреть. Все молчали, не решаясь заговорить с озябшим странником, смотревшим осовельми глазами на огонь, в глубокой думе, как будто на душе его лежала тяжесть.

Когда пиво слегка согрелось, Гайлис подал его гостю и спросил:

— А не слышать ли что о проклятых немцах?

— А разве бывает так, чтобы о них ничего не было слышно? — проворчал старик. — Разве они могут хоть день просидеть спокойно? У них, как в улье: без устали, жужжат да суеются... Мало ли что болтают люди: говорят: придет зима, замерзнут топи, и немцы тут как тут...

Гайлис вздохнул.

— О, если б не наш замок да не княгиня, которая должна и хочет защищать его, — сказал он, — и нас при себе держит, то мы давным-давно бы разбрелись по пуще.

Свальгон прислушался.

— Э? — спросил он. — Значит, вы без кунигаса?

— И есть, и нет его... — промолвил Гайлис, — старик-отец кунигасовой вдовы давно лежит и не встает... Муж помер от ран, полученных в сражении; молодого сына схватили и убили немцы; она рядит и судит здесь одна, под стать и мужу и вождю... Разве без нее кто бы удержался на границе? Сумел бы выстроить такую грозную твердыню?

— Диво-баба! — буркнул свальгон.

— Не таковская была она при жизни мужа, — прибавил другой поселянин, — только когда немцы отняли у нее единственного ребенка-малолетку да убили мужа, месть сделала ее воякой... Люди помнят, как она по целым дням певала да рядилась, да сынка цветами убирала, да на руках носила... А как не стало у нее хозяина да мужа, да ребенка... так она и сделалась как будто и не женщина, а страшная-престрашная, точно богиня с неба...

— Чудеса над чудесами! — перебил свальгон. — Давненько я об этом слышал; однако хоть и говорят, будто крестоносцы отняли ребенка, а только не слышать было, чтобы они его убили!.. Много, бают, таких мальцов воспитывается у них в замках; а потом их направляют проливать родную кровь...

Гайлис недоверчиво покачал головой.

— Пустяки болтают, — сказал он, — разве мы не знаем, как они расправляются в походах? Никому не дают пощады!.. Молоденьких девчат — и тех подержат несколько дней в лагере, а потом зарубят... детям разбивают головы о печи... стариков насмерть давят лошадьми... даже креститься не дают и издеваются над теми, которые просят помилования...

— Тех, кто постарше, правда: сам видел, как они с ними расправляются, — сказал свальгон, — но малюток-мальчиков они порой берут живыми, и хотя в хлеву, а все-таки выращивают...

— Наша кунигасыня, Реда, — подхватил один из стоявших у дверей, — знала бы, что сын жив!.. Она мстит за его смерть...

Свальгон тряхнул головой.

— Матери должны бы лучше знать судьбу детей, а если и не знать, то чувствовать... А я все-таки скажу, что слышал, и не раз, как люди говорили, будто ее малыша оставили в живых... Один у них старик сжалился над младенцем, взял его к себе и сделал немцем...

Гайлис вздрогнул и воздел руки к нему.

— О, Перкун, всемогущий боже! — воскликнул он с негодованием. — Разрази их молнией и громом!.. Родного сына готовы они натравить на мать... а грудь сына подставить под меч матери!! Да разверзется под ними мать сыра земля!!

Свальгон весь затрясся... рот его искривился... он замолк.

У порога, среди собравшейся толпы, стоял все время молчавший посетитель, вокруг которого остальные немного расступились и выказывали знаки уважения. Одеждою он мало разнился от прочих. На нем был полушубок, кожаный пояс, суконные штаны и теплые, на меху, кожаные валенки; на голове остроконечный шлык, обрамленный лисьим мехом; в руках железная секира... Немолодой, с круглым лицом и выдающимися скулами, выцветшими, но зоркими глазами, он одновременно казался и воином и княжеским дворовым человеком.

Он внимательно прислушивался к рассказу свальгона о сыне вдовой Реды, а когда тот закончил и все замолкли, он продвинулся от порога поближе к середине хаты и уселся на камень рядом с прищельцем.

Оба пристально взглянули друг другу в глаза. Свальгон первый поздоровался... потом притворился равнодушным и уставился глазами в огонь... Однако временами искоса с любопытством разглядывал соседа...

— А давно ль ты слышал эту сказку о нашем мальце? — спросил сосед.

— О, не сегодня и не вчера, — бесстрастно сказал свальгон, — а удивительней всего, что я слышал то же из разных мест и много лет подряд...

— Диво!! — буркнул собеседник. Потом помолчал.

— Хм... — прибавил он, — что я вам скажу: наша Реда и ее старик-отец, калека Валыугис, очень любят людей, знающих старинные сказки да песни... Надо бы вам заглянуть на княжий двор... там и напоят и накормят лучше, чем здесь, у бедняков... и угостят и подарками осыпят... Реда таровата... Пусть бы рассказали вы ей еще раз все, что знаете...

Легко было заметить по невольному телодвижению старого свальгона, что он вздрогнул от радости... даже глаза у него заискрились... Однако он немедленно придал лицу смиренное и приниженное выражение.

— Ай, батюшки! — воскликнул он. — Где уж мне, обтрепанному бедняку, добираться в кунигасовы хоромы... ничком мне там ползти, не иначе... ни я, ни моя одежда не по хоромам... Боюсь я...

Дворовый сильно ударил свальгона по колену и засмеялся.

— Не повесят и голову не снимут... Ты не немец и немцем не пахнешь... Вот если б Реда почуяла в тебе изменника или немца безъязычного, так лучше ей не попадайся в руки!.. Раз как-то, по ее приказу, двух крыжаков-рыцарей, как были закованы в железо, так, в доспехах, живьем и бросили в огонь и сожгли... а у такого, как ты, убогого свальгона, никогда волоска на голове не тронут...

Несмотря на такое поручительство, бродяга побледнел и задрожал... может быть, от холода... и хотя смеялся словам дворового, но в глазах у него была тревога...

Собеседник, уговаривавший свальгона идти на княжий двор, локтем вывел его из задумчивости.

— Ну, — сказал он, — пораскиньте-ка умом да идите за мной, я провожу.

Свальгон еще колебался; мгновение спустя, собравшись с духом, он привстал, охая и вздыхая...

— Ну, что уж! — сказал он. — Велите, так пойду...

Встал и провожатый.

— К Реде, значит? — спросил Гайлис.

— Конечно! — ответил дворовый. — В замке нечем позабавиться. И девки, и бабы, и все, сколько нас есть, все порассказали, что знали и чего не знали, раз по десяти...

Свальгон старательно собрал свои узелки и торбы; стоявшие у порога расступились... Они вышли...

Узкая тропинка вела со стороны берега, по перемычке, соединявшей землю с замковым пригорком, к городищу... Но не было видно, куда, собственно, она могла прийти... За низенькою частью расходилась во все стороны целая сеть протоптанных тропинок, теряясь среди камней, мхов и скудной, тронутой осенью, травы.

Нигде не было ничего похожего на дорогу к замку: ни даже ворот. Дворовый шел, не обращая внимания на тропинки, прямо к земляному валу, скрывавшему от глаз часть огромного замкового сруба. Свальгон старался поспеть за своим провожатым и незаметно для него зорко всматривался в окружающее.

Так дошли они до самой насыпи, высокой и крутой, среди которой в беспорядке лежали здесь и там огромные поленья валуны. В предупреждение оползней были повбиты в землю сваи и доски, концы которых торчали местами из песка.

Дальше пришлось идти вдоль вала. Дворовый, ушедший далеко вперед, остановился и подождал... а когда свальгон догнал его, то дворовый схватил его за плечи и толкнул... и... не успел свальгон опомниться, как очутился в глубоком мраке... Вал, как бы чудом развернулся перед ними... Они стояли в пропитанном сыростью подземном ходе... Кругом ни зги... Вожатый, держась все время руками за плечи ворожея, подталкивал его вперед...

— Смело! — сказал он. — Расставь руки, нащупай стену... не упадешь...

Темное подземелье дало поворот влево... потом вправо... свальгон чувствовал, что идет под гору... снова подымается... Вот вдали как бы забрезжил свет... точно висевшие во мраке светящиеся нити... Это оказались щели в не особенно плотно сколоченных дверях. Свальгону стало легче на душе, когда он ощупал доски. Но отворить их он не мог, и только спутник вывел его на божий свет.

Они стояли посреди неширокой дороги, в конце которой виднелся второй ряд окопов, а за ними частоколы... а высоко над частоколами замковые срубы...

По дороге дошли они до вторых ворот, перед которыми стеной были навалены груды валунов, совершенно скрывавших вход. Только

когда они перебрались через камни, спутник свальгона постучал, и маленькая дверца отворилась.

Первым вошел проводник и ввел за руку свальгона, иначе стража не впустила бы чужого человека. К тому же, огрызаясь, бросилась вперед свора сторожевых собак, почуявших пришельца. За дверцей опять потянулся темный подземный ход, приведший обоих путников во внутренний двор укрепления.

Только здесь свальгон мог вблизи разглядеть твердыню, возведенную как бы нечеловеческими силами. Срубы стен вздымались на недостижимую высоту: гладкие, твердые, они, казалось, могли противостоять любому нападению. Глубоко пораженный свальгон присматривался с уважением и страхом.

Вверху, на равных промежутках, виднелись черные прорезы, точно окна. На выдающихся местах балках висели толстые, как рука, канаты и витушки.

Вправо и влево от крепостного сруба, как глубокое корыто, тянулся просторный двор... На нем толпой стоял народ; собравшийся к раздаче дневного пайка, и теснился около столов, на которых были расставлены деревянные чашки и огромные глиняные миски, из которых вырывался пар.

Никому не могло бы прийти в голову, что в этом безмолвном городке сосредоточен такой сильный гарнизон. Свальгон легко мог убедиться, что люди были молодые, отборные, крепкие и закаленные... В толпе расхаживали десятники, для порядка; но начальствовали они по-отечески, мягко, со смехом и ласкою, с шутками и прибаутками.

Пришелец, может быть, охотно бы замешкался, чтобы лучше осмотреться, но дворовый не позволил и потащил за собой. Они подошли к длинному, низкому строению, срубленному из сосновых бревен, которое стояло под самыми валами, наполовину скрытое за ними. Над крышею, из дымоходов и в щели между дранками, выбивался дым... В углу сутились бабы в белых повойниках и девки с распущенными косами... На пороге стояла подбоченясь тучная, красная, немолодая женщина, вся обвешанная янтарными бусами.

Она пристально всмотрелась в свальгона.

— Матка, — обратился к ней дворовый, — вот голодный ворожей, которого я сцапал на дороге для нашей госпожи. Накормите его да

напоите, чтобы развязать ему язык: пусть споет да порасскажет...

Хозяйка отошла в сторонку и указала рукой направо.

Они вошли в огромную избу, посреди которой, как обычно, горел огонь. Вокруг очага, кольцом стояли гладкие, как на подбор, тесно сдвинутые, камни. На пороге свальгон заколебался, когда увидел собравшееся общество... Народу была тьма, и совсем особенного пошиба. В глубине избы, весь, до самых пах затянутый в жреческое опоясание, в длинном одеянии, обшитом у подола козьей шерстью, возлежал старый вейдалот, с огромной бородой... А рядом с ним сидел какой-то широкоплечий прус, вооруженный с головы до ног, с палками за поясом, и такой растительностью на лице, что сквозь нее едва виднелся кончик носа и блестящие глаза. Слегка сутуловатый, он был весь зашит в покрытую заплатами из разных мехов одежду, шерстью вверх... Кроме этих двух, в избе было еще два старца жреческого типа, в кожухах и с дубовыми венками. Они все время пристально смотрели в огонь и сидели неподвижно, ничего не видя и не слыша.

В сторонке, со связанными назад руками и колодой на ногах, лежал на камнях человек. По внешности нельзя было судить, кто он: преступник или пленник... Костлявое лицо, обтянутое желтоватой кожей, придавало ему вид трупа среди живых людей...

Среди присутствовавших вертелись малыши и хлопотали девочки-подростки, подававшие и убиравшие миски и ковши; а распоряжалась всем тучная баба, появлявшаяся временами в дверях.

В избе стояли дым, гам и духота; пахло едой и различными приправами: можжевельником, разными травами и пригорелым жиром. Из закоулков птицей вырывались порой слова песни и, как птица, с перепугу, забивались опять в угол.

С приходом незнакомца все взоры обратились в его сторону. Некоторые пододвинулись, чтобы рассмотреть его поближе; другие окликали дворового, спрашивая, где он подцепил чужого человека?

Свальгон, смущенный, присел на первом свободном камне; а так как девочка сейчас же подсунула ему миску с кушаньем, он жадно взялся за еду, предоставив спутнику отвечать на вопросы. Очень может быть, что свальгона не столько мучил голод, сколько неуверенность, что делать дальше. Раз он назвал себя свальгоном, приходилось вести себя соответствующим образом, а тут, на беду, стал приглядываться к

нему вайдалот, точно собираясь попытать его. Ведь были же они одного поля ягода.

Теперь со всех сторон посыпались вопросы. Пока он ел, трудно было отвечать; можно было отделяться полусловами... да и то не клеилось.

Стал он рассказывать, где бывал, что видал... но нашлись такие, которые бывали там же и начинали спорить... Бедного свальгона бросало в пот... приходилось лгать и изворачиваться.

Туго ему было... но вдруг он спохватился: стал издеваться над спорщиками и в ответ послышались смешки. Настроение, бывшее довольно мрачным, сменилось более веселым, и все почувствовали благодарность к чужаку, внесшему в беседу немного смеха.

— Вот диво! — говорил он. — Побывали там, где и я, а не видели того, что я! Сколько людей, столько глаз: мне раз случилось видеть волка, а брат говорит: баран! — С этими словами он вытер рот, отодвинул миску и закончил литовской поговоркой: — «Сдох медведь, ховайте трубы».

Кто-то опять задал каверзный вопрос; ему свальгон ответил пословицей: — «Из мякины не вымолотить сору».

Отделавшись от недоброжелателей, свальгон взялся за ковш и его оставили в покое...

Некоторые стали уже выходить на двор; другие, сидя и лежа у огня, начали дремать. Ворожей также притворялся, что его клонит в сон и под предлогом дремоты уклонялся от разговоров.

Так прошла большая половина дня, и странник успел хорошенько отдохнуть. Дворовый человек, с которым он пришел, исчез, и вернулся только вечером.

— Теперь пора, — шепнул он, подходя. — Реда уже знает, что я привел кого-то, кто знает песни старые да были... Пойдемте...

Свальгон поправил на себе одежду, засунул в угол торбы и молча пошел за провожатым.

На другом конце избы, на каменных подвалинах, стояли кунигасовы хоромы; вся разница была лишь в том, что они были срублены из более мягкого леса, в лапу, а не в шип, гладко оструганы, лучше конопачены и защищены у потолка настилом от холодного дождя.

Когда Свальгон со спутником перешли через порог, обычная вечеринка была уже в разгаре. Посередине, ярко растопленный смолистою лучиной, горел огонь. Вокруг, все в белом, пели за пряжей молодые девушки. В глубине избы стояла женщина с суровым и угрюмым, как ночь, лицом, не очень большого роста, но сильная и стройная. Хотя одета она была, в основном, как все женщины, с вдовьей кичкой на роскошных волосах, общий вид ее, выражение лица, телодвижения делали ее похожей на мужчину. Пояс был также мужской, точно ей было не внове опоясывать бедра мечем.

Она стояла, уставясь глазами в огонь, точно прислушиваясь к песне... как изваяние из камня... Люди, бывшие в избе, держались поодаль, не смея встретиться с ней взглядом... а если ненароком и случалось, то смельчак сейчас же со страхом опускал глаза.

Дальше, за ее спиной, там, где было уже не так светло от полыхавшего огня, на высоком ложе, устланном мехами, что-то шевелилось. Иногда на фоне черных шкур появлялось длинное бледное лицо, посреди которого черным пятном вырисовывался широко открытый рот... Голова, как привидение, то поднималась, то вновь опускалась...

Это был дряхлый Вальгутис, отец Реды, который, как говорили, иногда еще пробуждался к жизни, пел, вещал, передвигался, на часок точно набирался сил, а потом вновь на целые месяцы впадал в сонливость и безмолвие.

Девчата тянули старинную песнь:

«Пошел, пошел батька на красный двор, гремит золотыми ключами, будит раненько сыновей...

— Вставайте, дети, подымайтесь, сыновья! Гей же! Двор наш окружен врагами... сестер ваших чужие увели в неволю...

Хоть и поздно мы пойдем в погоню, да наутро догоним, войско вражье рассеем, сестер отобьем, в стане их найдем...

Нетрудно нам узнать их... волосы у них золотые, а в волосах зеленые ленты, а на лентах венки из руты. А на темных венках золоты-цветочки.

Сестрицы любимые, девушки мои милые! Откуда у вас цветочки золотые?

На войне, на великой, среди ратных людей, там мы добыли наши золотые-цветочки»...

Песнь окончилась... Кунигасыня, такая же неподвижная, продолжала, казалось, слушать. Это значило, что девушки должны петь дальше. Они опасливо взглянули на свою владычицу, пошептались, и из уст в уста полетело приказание, а старшая, запевала, мигом завела новую песню:

«Сестрица милая! Что ты так печально опустила головку на ручку и не поешь?

Как же мне петь песни? Как же быть веселой? Потоптали мой садочек, ввели меня в убыток: руту растоптали, розы оборвали, лилии поломали, росу поотряхали.

Не ветер ли дул с полночи?.. Не река ли разлилась? Не Перкун ли возгремел?.. Молоныю бросал?

Нет, и ветер не дул, и река не разлилась, и Перкун не грохотал, и перуны не били в землю...

Пришли из-за моря бородатые люди, вышли на берег, поломали садик. Потоптали руту, оборвали лилии, отрясли росу. Я и сама-то едва от них укрылась, под веточкой руты, под темным веночком».

И опять песнь смолкла... А Реда все стояла, слушала. Свальгон глядел на нее и видел, как при упоминании о бородатых людях брови ее нахмурились, а щеки дрогнули.

Девушки также, может быть, заметили, что песнь печально отозвалась в душе их повелительницы; ибо, как только печальный напев оборвался, старшая затянула другую песню, более веселую, живую, не тоскливого напева:

«Милое солнышко, божия дочка! Где ты так долго замешкалось? Зачем нас оставило? У кого загостилось?

За морями, за горами грело я озябших пастушков, стерегло сироток убоженьких.

Милое солнышко, божия доченька, кто разводит тебе по утрам огонь? Кто стелет вечером постель? Две у меня верные служки: утренняя звездочка раскладывает на рассвете огонь, вечерняя стелет постельку... а деточек у меня много рассыпано по небу и богатств много, сверкающих золотом»...

Кунигасыня Реда все стояла, все слушала ненасытным ухом, а девушки пели песни за песнями, все новые. По временам на постели подымалось бледное лицо старого Вальгутиса, с выпяченным лысым

теменем и широко открытым черным ртом... и снова опускалось, исчезало...

Свальгон смотрел, слушал... и с ним творилось что-то дивное. Он вошел в хоромы с тревожным чувством, коварством, лисьим выражением в маленьких глазах. Можно было думать, что вся обстановка, все, что он видел и слышал, возбуждало в нем злобу, что в глубине души у него кипели нечистые намерения... Только с такою целью и мог пробраться сюда Швентас, тот самый Швентас, которого крыжаки послали на разведку, — Швентас, который, по собственным словам, долгие годы только и жил мыслью о мести за отнятое счастье, за угрозу смерти от руки братьев, от которой он едва спасся... Потому он столько лет служил злейшему врагу Литвы, рыцарям-крестоносцам; исполнял для них обязанности соглядатая, обо всем докладывал, водил в сокровенные убежища, предавал им братьев и радовался ручьям пролитой крови.

Но за все эти годы Швентас ни разу не отважился забраться в литовские поселки, в хаты, в семьи, которые могли бы напомнить ему собственную, и много лет не слышал литовских песен. Теперь родная песнь впервые опять зазвучала в его ушах и нашла отклик в сердце. Теперь его высохшее сердце, так долго жаждавшее дикой мести, замкнутое для иного чувства, обезумевшее... вдруг дрогнуло в груди, так что он схватился за него рукой и опротивел самому себе. В нем проснулся другой человек, давным-давно забытый...

Песнь напомнила ему детские годы, юность, мать, сестер и невесту, которую отняли... К новой любви его не тянуло... и слезы полились у него из глаз. Сердце наполнилось невыразимую тоскою по Литве... Он ослеп ко всему прошлому... Ненавистный когда-то родной мир властно встал перед душой и громко требовал:

— Разве ты не мое дитя? Чья кровь струится в твоих жилах? Чем виноваты пред тобою братья, не сделавшие тебе зла? Ведь тех твоих обидчиков, запятнавших кровью твою душу, уже нет в живых? А ты ведешь врагов в сердце собственной семьи, служишь тем, которые ее рвут на части, питаешься собственной кровью!

Свальгон плакал.

Слышал ли он слова песни? Понимал ли их? Он и сам не знал... Его околдовали самые напевы, когда-то слышанные там, у колодца, в лесу и в поле, когда девчата возвращались с грибованья... У него перед

глазами стояла, как живая, мать, вызванная из могилы песнью и говорила:

— Ты ли это, которого я вспоила грудью? Чем я провинилась пред тобою?

Швентас встряхнулся и отер глаза; ему казалось, будто в него вошел кто-то чужой, приказывал и распоряжался. Он хотел было бороться с ним, но новый властелин душил его, давил на мозг, захватывал дыхание:

— Я здесь хозяин! — кричал он. — Покоряйся!

Свальгон встал и сделал несколько движений, так как ему казалось, что все это тяжелый сон. Перед глазами мелькали у него светлые и темные пятна... в комнате было невыразимо душно... Песнь смолкла, ничего не было слышно, но напевы все еще дрожали у него в ушах и в сердце.

Случилось чудо! За песнями, недавно петыми, встали со дна души другие песни, давно забытые, не отдававшиеся в его ушах от малых лет, от колыбели... Они тянулись длинной вереницей, бесконечным рядом, просыпались от забвения, и дрожали в них голоса матери, сестер и... нареченной.

Старый, одичавший, он ужаснулся тайне своей души...

Глаза его обсохли, он с радостью ушел бы прочь, подальше, чтобы не слышать предательских напевов, вернуться в замок, к немцам... но что-то приковывало его к месту, ноги вращались в землю...

Дворовый, который его привел, и прочие с удивлением посматривали на чудака: он маялся, точно пораженный неведомою хворью... А во всем виновата была песнь...

Наконец Швентас перестал бороться с одолевшей его силой и покорился. Он прислонился к стене, закрыл глаза и видел совсем не то, что его окружало, а давно умерший мир, будто сотканный из нитей золотой кудели, которую разматывала песнь-чародейка... Он совсем утратил чувство времени и места... Вот перед ним в лесу лачуга... рядом большой камень, на котором иногда сидел отец, порою сестры сушили плахты, а сам он рядом строил из мелких камешков лепянки. Невдалеке река... а над ней, поникшие головками, золотые бубенцы и какие-то другие, большие белые мелькающие кисти... Он вспомнил обстановку ужина... купанье... вишневый садик рядом с хаткой, двор

и колодец, и протоптанную от него вверх по берегу желтую тропинку...

Никто из согрешивших перед ним не вышел из мрака прошлого и не явился перед его духовными очами... они куда-то сгинули и не смели показаться... Приходили только те, кого он любил, протягивали к нему бледные, вздетые из могилы руки и умоляли:

— Не будь врагом нам!

Свальгон так утонул в мечтах, что, когда отзвучала последняя песнь, в его ушах все продолжали звенеть и петь голоса давно умершего прошлого, так что дворовый должен был вернуть его к сознанию здоровенным пинком в бок, вообразив, что свальгон от утомления вздремнул.

Открыв глаза, он увидел невдалеке стоявшую Реду, разглядывавшую его с любопытством. Тогда он сделал попытку вновь разбудить в себе демона мести; но, поискав его в сердце, убедился, что месть отлетела...

## IV

Взгляд этих женских глаз был ужасен. Когда взоры их встретились, Швентас затрясся... Что, если она проникла в тайны его души?

Реда, молча, осматривала его с головы до ног. Казалось, ей нелегко было признать ворожея, свальгона, в этом невзрачном, противном на вид, человеке.

— Откуда родом? Как сюда попал? — спросила она.

Свальгон несколько ободрился. Он вспомнил, что удачнее всего защищался и выпутывался в трудных обстоятельствах смешком да шутками.

Потому он сделал веселое лицо, осклабился и, низко кланяясь повел такую речь:

— Матушка-княгиня, родом я из бедняков, которых боги от колыбельки в свет погнали, чтобы им никогда не жилось спокойно. А в путь-дорогу сунул мне Прамжу в торбу песенку да ворожбу, да сказку, а сказка лучше правды... Вот с тех пор и мыкаюсь по свету... без притона... где сяду, там и дом, а назавтра о нем надо позабыть да искать другого.

Княгиня смотрела и прислушивалась. Хриплый голос ворожея не очень-то был ей по сердцу, и лицо ее сделалось угрюмым. Она чувствовала фальшь в словах пришельца.

— Бродяжничая по миру, ты, наверно, много чего понабрал в торбу... Там у тебя, должно быть, полно разного добра... Ну, выпей ковш да и говори, что знаешь.

— Ой, матушка-княгиня! — ответил Швентас, кланяясь. — Где уж мне угнаться богатством за вашим двором! Все-то уж тут сказки порассказаны, все-то песни перепеты... стыдно мне тягаться со своими.

— А ворожить умеешь? — спросила Реда.

Свальгон вздрогнул и задумался. Он как будто что-то вспоминал.

— Ворожить? Матушка-княгиня! Ворожить? — повторил он тихо и с опаской. — Да разве люди ворожат? Не ворожат ни пултоны, ни вейоны<sup>[7]</sup>, ни канну-раугицы<sup>[8]</sup>, только бог ворожит их устами. И рог

сам не заиграет, пока человек не затрубит. Часами бог вселится в самого что ни на есть лядащего бродягу и вещает... только как вот залучить к себе этого самого бога?

— Должны уметь и упросить, — сказала Реда, — это ваше ремесло... А на чем ты ворожишь?

— Матушка-княгиня! — робко сказал свальгон. — И по ветру, и на воде, и на пиво... как кто. Я простой буртиникас<sup>[9]</sup>... иной раз случается видеть и в воде...

Кунигасыня кивнула головой. И тотчас две девушки, которые, по-видимому, прислушивались к разговору, встали и побежали к колодцу. Зазвонили на передниках бубенчики; проснулся старый Вальгутис; белая голова его приподнялась с постели, а из горла раздались какие-то хрипящие звуки.

Реда повернулась к отцу, подошла к постели и, укутав старца, уложила его, как малое дитя, и велела спать.

Тем временем девушки принесли уже ведро свежей воды и поставили его перед свальгоном. Он дрожал и с тревогой смотрел то в воду, то по сторонам.

Кунигасыня подошла. Швентас долго хранил молчание...

— Матушка-княгиня, — спросил он слабым голосом, — что ты хочешь видеть?

Реда задумалась угрюмо.

— Если умеешь вызывать души умерших, — сказала она тихо, — то вызови из Анафиелас<sup>[10]</sup> мое дитя... его убили немцы... и пошло оно к отцам без погребальных обрядов, без костра, без песен, без одежд и без оружия! Как отогнало оно там от себя злых духов? Добралось ли оно до предков? Или все еще блуждает по склонам стеклянной горы, не имея сил на нее взобраться?

Свальгон опустил голову. Случилось с ним что-то такое, чего он сам не понимал. Ему почудилось, будто кто-то вошел в него и хочет говорить. Он сам не знал, что сейчас скажет... Хотел сжать губы... прикусить язык... и не смог.

В ведре воды... о, чудо! — привиделось ему юношеское лицо... лицо, которое он где-то недавно видел... бледное, тоскливое... Его глаза так пристально впились в глаза свальгона сквозь зеркальную гладь воды, что Швентас не мог вынести их блеска.

Редда ждала... из глаз ее выкатились две слезы и побежали по щекам.

— Матушка-княгиня! — воскликнул свальгон против воли. — Там наверху, на стеклянной горе, нет твоего дитяти; нет его и у подножия, где блуждают души несчастливых. Сын твой жив и бродит по свету...

Из груди матери вырвался крик, которому вторил другой, оттуда, где лежал Вальгутис... голова его приподнялась и опять исчезла.

— Человече! Не обманывай меня! Я уже оплакала память его слезами! — закричала Редда.

— Он жив, — медленно повторил свальгон, — он жив, я его вижу...

— Где же он?

— Во власти тех, которые его похитили.

Редда вскрикнула с негодованием.

— Выкормили его! Натравили на своих!.. Перелили в его жилы свою кровь! Враг! Враг! Мой сын, мой Маргер!.. Нет!.. Они его убили! — выкрикивала она громко, с ударением. — Убили!

— Жив, а не убили! — повторил свальгон.

С этими словами он закрыл рукой глаза, затрясся и упал на землю, показывая знаком, чтобы убрали ведро с водой. По мановению повелительницы прибежали девушки, схватили ведро, и, так как мороженая вода не годилась для других надобностей, понесли ее к святым ключам.

Немного отдохнув, свальгон встал; ему полегчало, когда он не видел перед собой воду, но Редда стояла, чего-то выжидая, и смерила его взглядом с головы до ног.

— Матушка-княгиня! — начал он извиняющимся голосом. — То, что мне привиделось в воде, я слышал и от людей на свете божием... сын твой жив... На границе давно говорят об этом... многие верят, что он жив...

— Но с какою целью стали бы растить его проклятые? — возразила Редда.

Швентас, понемногу набиравшийся храбрости и уже остывший, бормотал:

— Немцы злые и премудрые, и Бог у них сильный: царит далеко и широко по свету... Жадные на землю, падкие на власть, как же не смекнуть им, что за сына кунигасыни можно взять великий выкуп?

— Давно потребовали бы! Для того незачем воспитывать ребенка, — сказала Реда, — не в том дело: они хотят утолить злобу свою, вырастить дитя, чтобы оно покусало мать...

Свальгон замолк и задумался. Реда долго глядела на него и хотела уже уйти, но что-то в выражении лица свальгона удержало ее. На безмолвном и застывшем лице ворожея отражалась какая-то духовная борьба, не решавшаяся вылиться в словах.

— Матушка-княгиня, — отозвался он смиренно, — а посылала ли ты в волчью яму заглянуть и послушать, не сидит ли в ней твой сын?

— Зачем было посылать? — отвечала Реда грустно. — Я не верила, что он жив, да и теперь не верю; да если бы и так, то какой в нем толк? Молодой волчонок, возвращенный с псами, наверно, научился лаять...

Свальгон что-то пробурчал.

— Матушка-княгиня! — молвил он. — Дознаться бы, по крайней мере, на что можно надеяться или о чем плакать? Я бродяга... не раз и не два тайно пробирался в отвоеванные земли, а наших там и по трущобам полно... и по их замкам закабалено... Для них свальгон дороже золота, так как приносит на подошвах литовскую землю. Прикажи... и я пойду искать твое дитя.

Реда бросила на Швентаса гордый и удивленный взгляд.

— Ты?

— Да, я, — повторил Швентас, — а как мне его узнать?

Глаза матери наполнились слезами, и она в отчаянии заломила руки.

— Как его узнать? Его?.. Он был хорош, как солнце! Золотистые волосы!.. Ни малейшего изъяна... Только дива, с колыбели, отметила его... по стороне сердца, под ухом, черная горошинка (родинка)... Ворожеи говорили, что это к счастью... а судьба решила, что к смерти!..

Она расплакалась, закрыла лицо руками и, не желая больше разговаривать с свальгоном, пошла к постели своего отца.

Тогда девицы, как будто поняв ее тоску, не ожидая приказанья, переглянулись и затянули песнь:

«Вчерашним вечером, под вечер, пропала у меня овечка. А кто поможет отыскать мою единую овечку?

Просила я утреннюю звезду... “Мне недосуг, — сказала она, — к вечеру должна я приготовить солнцу ночное ложе...” Пошла я к месяцу, и он отослал меня ни с чем... “Меч рассек меня пополам, — сказал он, — скорбит моя душа...” Побежала я к солнышку, а оно в ответ: “Проищу я девять дней, не найду и на десятый”».

Лучина, горевшая на очаге, понемногу гасла, а последняя песнь, замирая, отзвучала едва слышным вздохом.

Дворовый мигнул зазевавшемуся свальгону, что пора идти. Кунигасыня Реда припала к ложу отца и, закрыв лицо руками, лежала в слезах или погруженная в тяжкие думы. Девушки бесшумно встали и, унося кудели, придерживали подола опасок, чтобы не звенели бубенцы.

Швентас вышел с проводником на двор. Кругом царила тишина, и укрепленный город казался еще более необычным. На небе, наполовину освещенном лучами месяца и звезд, он производил впечатление исполинской черной отвесной кучи, неприступного утеса, бока и ребра которого местами серебрились полосками лунного света...

Люди уже спали в шалашах. По двору ходила только стража с бердышами, беззвучно двигавшаяся во тьме, как призраки покойников на кладбище.

Свальгон переступил порог избы с душою, полною отзвучавшими напевами, опьяневший от всего слышанного, взволнованный до глубины души, дрожащий.

Все, что он видел вокруг себя, представлялось ему теперь в ином свете. При мысли, что он должен вернуться на службу к немцам, предавать своих, его охватывала дрожь. Чувство мести, которое он так долго холил, вдруг обратилось в прах, а в ушах его раздавались песни матери, сестер и юных лет... Года, которые он прожил в забвении о своей родине, казались ему сном.

За что он мстил? У него отняли возлюбленную? Но кто был в этом виноват? Она ли?.. Обидчики ли?.. В этом он далеко не был теперь уверен. Он сейчас же воспытал мезтью... Ему помешали... Начали преследовать... Не он первый, не он последний... Все они, возлюбленная, насильники, давно в могиле... Умерли, нет ли, но для него они были теперь тленом. Жива была одна лишь бессмертная мать — Литва... Он увидел здесь ее юношеский облик, услышал

девические песни... Как же быть ему теперь подручным палачей, собирающихся удавить Литву?

Такие мысли обуревали свальгона, когда он возвращался под навес, где ему указали место на ночь. Улегшись, он долго боролся сам с собой, пока не заснул; а когда отяжелевшие веки сами собой сомкнулись, он заметался в тревожных сновидениях... Наконец и они потонули в непроницаемой тьме...

Когда Швентас проснулся, разбуженный суетой встававших от сна людей, то уже светало, и женщины и челядь городища хлопотливо сновали за утренней работой.

На покрытых золою очагах вспыхнула свежая лучина, всколыхнулось пламя. Ставили горшки. Женщины за работой напевали. Петухи приветствовали криком утреннюю звезду, как алмаз, горевшую в одиночестве на небе; все сестры ее, бледные от утомления, попрятались в безднах неба.

Проснувшись, Швентас долго лежал, ясно ощущая свою двойственность: старого изменника и вновь обретенного сына Литвы. Ему казалось, что оба они ополчились друг против друга в его душе и собираются помериться силами; но старый испугался и куда-то сгинул.

Что же теперь делать? Он пришел, чтобы шпионничать за Редой, а оказался у нее на службе. Не хотел повиниться в прошлом, но и не мог упорствовать в вине. Он вылез из соломы, на которой провел ночь, и пошел в гостиную избу, где был накануне вместе с прочими. Здесь уже раздавали прихожему люду молоко и пиво, и громкий смех и говор стояли в воздухе.

Свальгон присел в сторонке, поджидая дворового, который его привел. Тот пришел нескоро.

— Хорошо мне здесь у вас на даровых хлебах, — сказал ему Швентас, — но мало кому я пригодился. Я привык бродяжничать, и в четырех стенах мне душно. Пустите меня; но, прежде чем уйду, хочу поблагодарить Реду... и сказать ей кое-что.

Дворовой не перечил. Кунигасыня Реда была на дворе, и удивленный свальгон издали заметил, что она сама управляется с дружинниками, стоявшими, для обороны, в замке.

На голове, поверх повойника у нее был шлык, а у опояски меч. Движения ее напоминали воина, готового хоть сейчас на коня и в бой. Она переходила от дружины к дружине, расспрашивала людей, одних

бранила, другим отдавала приказания. Днем лицо ее показалось свальгону совсем иным: его можно было бы назвать еще прекрасным, если бы года не наложили на него печать угрюмого страдания.

Швентас стоял с непокрытой головой и поджидал, пока она окончит смотр ратным людям. Он смотрел и изумлялся; а когда она грозила и громила, сам начинал труситься. Не раз доводилось ему переносить жестокости и суровые кары крестоносцев; он должен был преклоняться перед ними с проклятиями в душе. А голос Реды звучал так по-семейному, по-матерински, что если бы она приказала ему повеситься на первом суку, он побежал бы и сам надел бы себе на шею петлю, и не допустил бы мысли, что Реда могла быть не права. Он все бы вынес от ее руки... даже смерть...

Реда подошла к свальгону, а он низко склонился перед ней.

— Матушка-княгиня, — сказал он, — я птица перелетная!.. На одном месте не сидится. Пойду на границу... на Неман, а потом... и сам не знаю. Стану справляться о твоём дитятке...

Глаза Реды сверкнули.

— Не раз случалось мне бывать в немецких городках, — продолжал он, — и кто знает... может быть, который из богов приведет меня... и шепнет на ухо? А след уж я найду...

Кунигасыня сдвинула брови и смотрела, долго не находя слов...

— Да хранит тебя добрый Альгис! — сказала она слабым голосом. — Иди! Ищи! Но я не верю, что мой ребенок жив. Если же все-таки найдешь его, но окрещенного в немецкую веру, если увидишь, что он нам враг... то... пусть даже заметишь у него горошинку за ухом и признаешь кровь, то... ничего не говори: ни ему обо мне, ни мне о нем... Не хочу такого сына!

Опустив глаза в землю, она постояла молча, но потом вдруг, точно спохватившись, что свальгон может уйти, унося в памяти сказанное, она добавила со страстной поспешностью:

— Нет! Нет!.. Пусть... если даже бы они его испортили на свой лад... и ни он меня, ни я его... не могли бы понять... то... нет — хоть глазком хочу его увидеть!..

Свальгон молчал.

— Но... через столько лет... не может быть... — говорила она сама с собой, — не вернут мне боги сына!.. Иди, добрый человек! — прибавила она громко.

— Все говорят, что он жив... и сам я видел его вчера в воде... Духи являются нам иначе: слепыми; а тот был зрячий... Найдем его, матушка-княгиня!

Он отвесил ей земной поклон, а она молча отошла. Дворовый завел его назад в избу и приказал наполнить ему торбы. Потом другой дорогой провел опять в ров между валами, протащил вслед за собой сквозь темную лазейку и долго молча шел с ним вместе, ощупью, так что свальгон, измученный, не раз должен был отдыхать, прислонившись к влажным стенам подземелья.

Было душно, не хватало воздуха... Прошло немало времени, пока не потянуло свежестью и не показался серенький просвет... Проводник остановился. У стены стояла лесенка, по которой свальгону пришлось лезть из подземелья. Отверстие оказалось закрытым сверху тяжелой досчатой дверью. Приподняв ее с трудом, свальгон очутился посреди громадной кучи хвороста, сквозь который с трудом пробрался... Наконец он ощутил под ногами твердую, мерзлую землю и стал оглядываться по сторонам, чтобы немного разобраться... Место оказалось опушкой леса, на порядочном расстоянии от городища. Вдали виднелись Пиллены: только горный замок и деревянный сруб, а копошащихся у подножия людей нельзя было рассмотреть.

Утомленный свальгон бросился на землю, чтобы передохнуть после странствия под землю. Надо было также поразмыслить, что делать. Он достал из торбы кое-что съедобное, подкрепился, пораздумал и, поднявшись, направился к порубежному Неману.

Несколько недель прошло уже со дня отправления его из Мальборга. Впрочем, Берnard и не предполагал, что он вернется скоро. Наконец утром, когда рыцарь, по обыкновению, обходил все закоулки и задворки, он увидел Швентаса, сидевшего на камне у кошюшен. А так как Швентас знал, что должен объявиться немедленно по возвращении, Берnard остановился, наполовину изумленный, наполовину гневный.

Батрак не торопился ни с докладом, ни с приветом. Лицо его было равнодушно-безнадежным и не предвещало ничего хорошего.

Не спрашивая и не распекая, Берnard только подошел к нему вплотную и воззрился на него острым, как нож, взглядом.

— Я только что вернулся, — печально пробормотал Швентас.

Бернард знаком велел ему следовать за собой: не место было разговаривать среди двора. Холоп пошел, но медленно и неохотно.

Когда дверь кельи захлопнулась за ними, крыжак резко окрикнул своего подвластного:

— Говори, что сделал?

— Ничего, — коротко ответил Швентас.

Тот обдал его взглядом, полным презрения. Бернард, издавна изучивший своего слугу, привыкший к обычным его речам и способу выражаться, почуял что-то неуловимое и необъяснимое. Молнией промелькнула у него мысль: «Неужели через столько лет он мог предать?»

— Говори! — прикрикнул он.

Болтливый по природе, Швентас долго тер теперь голову руками и собирался с мыслями.

— Был в Пилленах, — начал он. — Что ж? Мать не верит, что сын жив! Забыли о нем... что ли... не знаю! Я им твержу, что он, может быть, вовсе не убит, что ходят слухи... а они надо мной смеются.

— Ты был в Пилленах? Тебя впустили в город? — воскликнул Бернард, задетый за живое. — Рассказывай, что видел на этом дровяном дворе! Наши подъезжали на судах, делали разведку со стороны Немана... куча, говорят, сосновых бревен, поваленных горой; только подпалить — и выкурим зверье...

Свальгон покачал головой.

— Нужно быть железным, чтобы подкрасться к этому костру, — сказал он, — не так легко туда пройти... и не очень-то легко займется сруб огнем.

— Кто там верховодит? — перебил крыжак.

Свальгон понурил голову.

— Старый там есть Вальгутис, — пробормотал он, — ну, и кунигасыня Реда.

— Так... вдова... да какой из нее там толк? — оборвал Бернард.

— Какой толк? — усмехнулся Швентас. — Она там всему делу голова...

Крестоносец засмеялся.

— Ты спятил, — сказал он.

Швентас замолчал. Некоторое время они оба смотрели друг на друга, ничего не говоря.

— Ну, рассказывай, — начал Бернад, — что видел?

Холоп, явно раздосадованный, вдруг стал сыпать словами, точно стараясь сразу от всего отделаться:

— Что видел? Ну, толстые стены, валы, частоколы, много разных людей, большие силы... Женщину с мечом, смелую, как мужчина. Хорошо, что ушел оттуда целым.

— И так перепугался, что не посмел ни глядеть, ни говорить, — перебил крыжак. — Ты на старости лет стал глупой скотиной, нет от тебя никакого толку. Только твоего и дела, что ходить за лошадьми да убирать навоз.

Хорошо, что крестоносец не заметил улыбку, искривившую губы батрака.

Швентас промолчал.

Бернард еще раз напрасно попытался извлечь из него что-нибудь. Швентас продолжал молчать или отвечал полусловами. Было ясно, что он потерпел неудачу. Правда, он не изменил, потому что вернулся... но... бывший когда-то таким расторопным и хитрым соглядатаем, Швентас на этот раз пришел ни с чем.

Однако Бернад не хотел запугать его криком, а старался получить хоть какие-нибудь дополнительные подробности об опасном путешествии своего лазутчика.

— Когда ты говорил ей, — допытывался он, — что ребенок, быть может, жив, смотрел ты ей в глаза, не менялась ли она в лице? Не вздрогнула? Не была взволнована?

— Не верит! — повторил Швентас.

Бернард задумался.

— Гм, — сказал он, — может быть, нашлись бы доказательства... да ты-то уже чересчур выдохся.

Холоп не возражал, постоял немного у порога, а потом, отпущенный неласковым ворчливым словом, вышел.

Когда он, сторбленный, измученный, едва плелся по направлению к конюшням, ему повстречался брат-госпиталит Сильвестр. Сострадательному брату довольно было встретить последнего из батраков, больным или страдающим, чтобы не пройти мимо. Швентас даже не заметил монаха, а только почувствовал ласковый удар по плечу.

— Что ты так плетешься, как будто за спиной у тебя две меры жита? — воскликнул он.

— Устал... промерз... напала хворь... — пробормотал Швентас.

— С чего это ты так?

— Посылали... — неохотно ответил парень, — подошла зима... опухли ноги...

И он почесал себе затылок.

Госпиталит пристально к нему приглядывался.

— Ну, ступай дня на два на больное положение; немного отдохнешь...

Швентас обрадовался, но боялся, что скажет Бернард.

— Не смею, — пробурчал он.

— Я приказываю, — крикнул бойкий старичок, — ступай вниз, к рабочим... если будут силы, то немного прислужись там... и пользу принесешь, и грешное тело побалуешь.

И госпиталит указал рукой на нижний замок. Батрак поклонился и пошел. Отдых в тепле, на лучшей пище, которая давалась всем больничным, ему очень улыбался. А Бернард?.. Пусть себе посердится... Швентас не очень-то теперь об этом беспокоился.

Попасть в лазарет, хотя бы и по приказанию брата Сильвестра, было совсем не так легко. Правда, он был здесь хозяином; но безграничное мягкосердечие его было всем известно, а также чрезмерная поблажливость, а потому помощниками ему назначали людей, которые умели быть построже.

Лазаретные палаты в начале зимы всегда бывали переполнены, в особенности же предназначенные для рабочих и для челяди: там не пустовал ни единый уголок.

Когда явился Швентас, которого немцы не любили и обзывали медведем и животным, старший над палатой, увидев вновь прибывшего, не хотел и слышать о его приеме.

Напрасно ссылался Швентас на приказание Сильвестра...

— Ложись в навоз и там проспись, — кричал смотритель, — здесь для тебя нет места!..

Но наперекор всем именно потому, что его не принимали, Швентас решил остаться. Он не возражал, но прислонился к стене и не двинулся с места.

Надсмотрщика это раздражало. Он попробовал браниться... не помогало. Швентас добился, что его сердитым подзатыльником всунули в палату.

— Лезь, лентяй, нечистое животное, гниль литовская! — орал надсмотрщик. — Жри и жарься... только дармоедствовать я тебе не дам. Ступай служи!

Лазаретная работа не пугала Швентаса, а потому он не перечил. Его тотчас заставили разносить миски с едой, подавать воду, сторожить, подтоплять печи... Кстати выкроили ему и дневной паек и дали возможность обогреться.

Сильвестр пришел нескоро... жаловаться было некому да и не на что...

Вечерю Швентас разносил с таким уверенным видом, как будто век ничего другого не делал. Спать завалился в кухне и спал до света. А наутро никому и в голову не приходило гнать его. Госпиталит явился к первому завтраку, увидел Швентаса в пылу новых обязанностей, улыбнулся ему и нашел, что все в порядке. А так как должность служки в палате для рабочих показалась Сильвестру лишнею, то он взял Швентаса с собой наверх, в помощь при рыцарском и чужеземном отделениях.

Вечером сам Сильвестр дал ему маленький кувшинчик, миску с крышкой и указал на двери, чтобы снести в соседнюю палату. Швентас шел, с любопытством разглядывая по сторонам, так как никогда еще не бывал в этом помещении.

Переступив порог соседней комнаты, он уже собирался поставить миску на стол возле больного, когда, взглянув, весь задрожал, так что едва не выронил из рук кувшина... и стал как вкопанный.

Перед ним сидел юноша с бледным лицом и грустными глазами.

Швентас стоял, смотрел и готов был убежать со страху.

— Что с тобой? — спросил больной и отвернулся. И в тот же миг Швентас увидел на обнаженной шее, под левым ухом, родинку с гороховое зернышко, о котором говорила Реда...

Сдавленный крик вырвался из его груди.

Юрий с возраставшим недоумением смотрел на незнакомого слугу.

— Что с тобою? — повторил он.

У Швентаса едва хватило сил поставить на столик миску и кувшинчик, и он уже пал на колени и стал целовать ноги юноши, но говорить не мог.

Юрий пятился, полагая, что имеет дело с сумасшедшим. Тем временем холоп пришел в себя, встал и, беззвучно смеясь во весь рот, не отрывал глаз от родинки на шее отрока. Юрий все еще ничего не понимал, пока Швентас, схватив его за руку, не прижался к ней жесткими губами и не пролепетал:

— Кунигас!

На лице юноши выступил румянец; он встал во весь рост и приложил палец к губам...

— Как ты узнал? — шепнул он.

Швентас закрыл рукою рот, продолжая смотреть в оба на молодого человека. Он вспомнил, что пора вернуться к исполнению обязанностей, но на прощанье еще раз поднес к губам белую руку Юрия, засмеялся и убежал, как сумасшедший.

Больной остался опять один, не понимая смысла приключившегося. Откуда мог знать этот человек, что он княжеского рода? Может быть, он также литвин? Или кто-нибудь выдал тайну?

Подозрение падало на того мальчика, который приходил по вечерам. Потому Юрий ждал его прихода и, едва пригубив содержимое кувшина, стал загадывать, скоро ли все уснет и явится Рымос.

Пришлось ждать дольше, чем обыкновенно. Но наконец раздались тихие, крадущиеся шаги, и на пороге появился верный Рымос. Юрий с большим оживлением выбежал к нему навстречу, стал рассказывать случившееся и выговаривать за неосторожную болтовню.

— Я? Да разразит меня Перкун, — воскликнул Рымос, — если я сказал хоть одно слово!.. Я... чтобы я вас предал!

Больной описал внешность человека, приносившего вечерю, а малец, который знал всех в замке, тотчас догадался, что это был Швентас.

— Никто другой, как негодяй Швентас, — закричал он, — верный прихвостень немцев! Столько он нацедил нашей крови, что его можно было бы в ней утопить! Он собака! Только, кажется, будто у него сорвалось с языка: на самом же деле он умышленно закидывает удочку или хочет запугать. Может быть, кто-нибудь о чем-нибудь

догадывается и посылает эту бестию, чтобы устроить западню и заманить родною речью! Не поддавайтесь!

— Быть не может, — возразил Юрий, — глаза у него были полны слез.

— Подлая змея: он и всплакнет за кусок мяса и кружку пива! — возмутился Рымос. — Ничему не верьте. Он давно им служит; выведывает для них, ведет куда им надо...

Юрий предался печальным мыслям, а Рымос весь дрожал от страха.

— Тайна раскрылась! — шептал он. — Кто их знает... Может быть, нас подслушивали... Обоих нас ждет страшное наказание. Видели вы мрачные подземелья, которые тянутся под всем замком, точно второй город в тартарах?.. Там не амбары и не кладовые, и не сокровищницы... а глубокие колодцы, в которых медленно умирают люди без воздуха и света. Ночью, когда на дворах тихо, из-под земли долетают стоны и слышен звон цепей. Если кто из рыцарей в чем провинится, то ночью его судят, а на другое утро, хотя ворота всю ночь на запоре, его уж нет... виновный исчезает и никогда не видит больше света божьего.

При этих словах Рымос с ужасом оглянулся по сторонам.

— О, — прибавил он, — есть и другие доказательства, что в этих ямах, ключи от которых всегда у магистра ордена, должны быть люди! На кухнях постоянно готовят отвратительное варево, после исчезающее, хотя никто к нему не прикасается... В одной из зал открывается в полу камень, и на веревке опускают в эту яму хлеб, воду и еду. Так шепотом передают из уст в уста те, которым довелось видеть.

Юрий слушал, сдвинув брови.

Рымос явно ошалел от страха: хватался за голову, стонал, тревожно посматривал по сторонам, прислушивался...

— Если кто-нибудь нас выдал, то беда! — прибавил он. — Неминуемая беда! Очевидно, Швентас попросту подослан, чтобы подловить нас!.. Мы погибли!..

И он вдруг вскочил.

— Я не стану ждать, пока меня поймают, — закричал он, — попробую бежать: все равно ведь погибать, авось спасусь!

И он взглянул на Юрия, который продолжал стоять в раздумье.

— Ничего такого нет, — шепнул он, поразмыслив. — Этот Швентас, быть может, и негодяй, но в данном случае не притворился. Никто не мог подслушать нас. Надо ждать...

Рымос жадно слушал.

В эту минуту раздались в соседней комнате тяжелые, но осторожные шаги. Малец в ужасе едва успел вскочить и залезть под кровать Юрия, когда тихонько, с лицом расплывшимся в улыбку, вошел Швентас.

У порога он умоляюще сжал руки и в экстазе, с благоговением смотрел на Юрия, повторяя шепотом:

— Кунигас...

Потом приблизился со знаками глубокого почтения и скороговоркой стал что-то сообщать ему на литовском языке. Юноша с любопытством и духовной жаждой прислушивался к чуждым звукам, а под конец потрянул головой и ответил по-немецки:

— Я твоих речей не понимаю.

Швентас на минуту замолк, пораженный удивлением; поразмыслил и начал снова на своем ломаном немецком языке:

— Разве ты не знаешь? Ты литовский кунигас, с Немана. Они ребенком отняли тебя у матери.

— Как же ты можешь знать? — возразил Юрий.

— Я?.. Да я сам узнал только недавно, — ответил старый парень.

Он застонал, подпер голову рукой и молча стал ее раскачивать.

— Чем я был! Что со мной сделалось! — бормотал он про себя. — Они так же взяли меня на войне, но я сдался сам, так как свои хотели меня повесить, а я жаждал мести. Столько лет! Столько лет я нес у них позорную службу! И думал, что так и придется сдохнуть в их берлоге... Что со мною случилось!.. Ой, княжич ты мой милый! Голубчик сизый! Не поверишь, что я скажу, потому что я сам еще себе не верю! Столько лет душил я в себе литовскую кровь... и все напрасно! Вот недавно... послали меня опять на разведку, на Литву... Пошел я... Что поделаешь? Такое мое уж было ремесло! Убирать навоз в конюшнях и подводить под нож своих... А что со мною стало?.. Пошел я на Литву и забрался в замок... в большой замок: привели меня в Пиллены к кунигасыне... Вот и встал я, по-прежнему высматривая, золотой ты мой боярин! А как начали петь литовские зачарованные песни, как начали заливаться... так и полились из очей слезы, а сердце каменное

размякло, и из крыжацкого слуги я стал опять таким же, каким был смолоду... Послали они меня по своим делам, а вернулся я со своими... И все от песни... Соколик мой, что песнь! Не песнь, а вода живая, и я омыл в ней свою грязь... вода святая!

Он говорил плача и стеноя, с такой искренностью, что Рымос, боявшийся его и не доверявший, был до глубины души растроган и невольно высунул голову из-под кровати.

Швентас увидел и перепугался. Но достаточно было нескольких литовских слов, и старый батрак рассмеялся. Звуки родного языка производили теперь удивительное действие на его смягчившееся сердце. Он протянул подростку руки и жадно, забыв о Юрии, стал говорить с ним по-литовски. Швентас обнимал Рымоса и покрывал поцелуями его лицо.

Юрий, давно отвыкший от родного языка и едва помнивший пару слов, стоял, переводя взгляд то на одного, то на другого.

— Он — кунигас! — говорил Швентас. — Я узнал его по черной горошине под левым ухом, на самой шее.

Рымос выполз из-под кровати, также подошел взглянуть на родимое пятно и всплеснул руками. На глазах у Юрия стояли слезы.

— Говорите так, чтобы я вас понимал, — произнес он умоляюще, — ведь Рымос знает, что я должен был забыть родной язык: они умышленно исторгли его из моего сердца и заменили своим. Сжальтесь надо мной и говорите так, чтобы я вас понял!

Швентас поцеловал у него руку...

— Тихо, тихо! — сказал он. — Теперь нас уже трое... Э! Будем же держаться друг за друга! Что-нибудь придумаем!

И он лукаво закивал головой.

— Кто знает, чего-чего мы не устроим? Мне сдается... что мы вернем своего кунигаса родному краю... а тогда и нам незачем будет здесь гостить. Давайте обмозгуемте-ка это дело!

Глаза у Юрия горели; он ударил Швентаса по плечу и спросил:

— Кто говорил тебе о родных? Как ты узнал, что я кунигас? Знаешь ты мою семью? Где мои родные?

— О, о! Долгонько было бы рассказывать, — буркнул старый парень, — да и ни к чему вам это: подождите малость. Надо обдумать, как отсюда вырваться: это поважнее!.. Из замка нелегко уйти на

волю... а в поле как укрыться да попасть к своим... за Неман?.. Прямо хоть змеей ползи на брюхе!

Рымос, привыкший во всем бояться крестоносцев, перед могуществом которых трепетал, воскликнул:

— А что будет, если нас поймают! Только кости наши забелеют среди поля! И где только их нет, этих крыжаков? Или их стражи? Их соглядатаев и полубратьев, и мирских сестер, и всяких немецких побродяг, собирающихся сюда со всего света на добычу!

Швентас по-прежнему лукаво усмехнулся.

— Велика их сила и кишит здесь ими, как в муравейнике, — сказал он, — но их можно перехитрить и с числом их совладать. Один человек одолеет и обманет сотню, когда у него закипит на сердце. Часто они так надеются на свою мощь, что смотрят, а не видят. Недаром я служил им столько лет: знаю я все их ходы и выходы.

Когда он говорил, вдали, в монастырских переходах, послышался какой-то шорох... все стухнули... Первым выскользнул за двери Швентас... так тихо, как будто згинул и сквозь землю провалился... Вслед за ним мгновенно испарился Рымос, а Юрий, впопыхах задув лампадку, бросился на ложе и притворился спящим.

Рядом с Мариенбургом росло местечко, возникшее под его охраной и стенами. Как и прочие поселки на завоеванной земле, оно было заселено выходцами из различных немецких областей: из Прирейнских провинций, из Тюрингии, Саксонии, Франконии, Баварии и др.

Известно, что орден, в который первоначально принимали только немцев, притом из состоятельных дворянских семей, обратился впоследствии в сборище людей, которым либо нечего было терять на родине, либо же искавших приключений и добычи. Из таких же элементов состояло и население приорденских поселков: в большинстве это были люди горячего темперамента либо типичные искатели приключений, мечтавшие разбогатеть за счет язычников.

Многие из владетельных князьков, каковым был и настоящий Великий магистр Людер, при вступлении в орден брали с собой весь свой придворный штат, всех служащих, толпы ремесленников из родного края. Им давались даровые земельные наделы; орден отпускал пособия на обзаведение; наделял их привилегиями и допускал некоторое самоуправление. Немецкое рыцарство, принадлежавшее к высшим слоям общества, постоянно нуждалось в искусных мастерах: жестянниках, оружейниках, золотильщиках и других кустарях, которых нельзя было найти в дикой стране. Так заселялись орденские местечки: вначале работающими немцами, за которыми потянулись и лентяи, рассчитывающие существовать за счет потребностей и вкусов, которых орден официально чуждался и не признавал.

Позавелись и песенники, и скоморохи, и всякая услужливая шантрапа, на проделки которой орденское начальство глядело сквозь пальцы. Завелись веселые дома... будто бы для челяди и проезжего люда... а что творилось в этих трущобах, не слишком-то интересовало местных блюстителей порядка и благочиния. Все друг друга покрывали, потому что за каждым водились грешки. Таким образом местный уклад жизни целиком опирался на обычай взаимных поблажек и укрывательства.

В замках во всей строгости царил монашеский устав. И там частенько случались послабления, но все же соблюдался внешний decorum. Но за стенами замка крестоносцы вольничали.

Тогда как в стенах орденского замка никогда и ни под каким предлогом не смели показываться женщины, даже пожилые, в местечке их жило множество, под разными названиями и вывесками.

Рыцарство в мирное время отправлялось на охоту и ловитву<sup>[11]</sup> вдоль берегов Ногата<sup>[12]</sup>, объезжало лошадей, предпринимало увеселительные поездки, а на возвратном пути нередко останавливалось в местечке и проживало там. Кое-кто, конечно, знал об этом, но не смел сплетничать на белоплащников.

Мелкопоместное дворянство, отличавшееся от родовитых рыцарей серыми плащами, пользуясь номинально одинаковыми правами в ордене с отпрысками знати, не смело так резко нарушать уставы. Для «серых плащей» существовал гораздо более суровый режим.

Нарушением устава со стороны титулованных членов ордена, особенно благоприятствовали гости-крестоносцы, целыми партиями прибывавшие по несколько раз в год из Англии, Франции, Германии и прочих стран. Ради этих чрезвычайно прибыльных для ордена гостей, ибо они привозили с собой обильные пожертвования на борьбу с язычниками, устраивались пирушки, разные потехи, турниры и охоты. А так как все орденские части не были обязаны соблюдать устав, то последний применялся к их понятиям и вкусам. Начальствующие совершенно освобождались на это время от всяких стеснений; а раз допущенные послабления удерживались и после отъезда посетителей.

Рыцари светских орденов вносили в замок разнузданность языка, многие выезжали в поход против неверных в сопровождении многочисленного штата, в состав которого входили также женщины, остававшиеся в местечке и нередко поселявшиеся в нем на веки...

Потому население в призамковых местечках носило совершенно отличный от прочих отпечаток. Во главе переселенцев были кустари, ремесленники и рукодельницы, а за их спиной стояла масса лиц, живших за счет людских пороков, как паразиты, гнездящиеся на зараженном теле.

Харчевен была тьма, начиная от простых корчем, в которых напивалась пивом замковая челядь и кончая хорошо обставленными

винницами, поставлявшими белоплащникам дорогие отборные «пигменты», то есть крепкие вина, настоянные на сахаре и пряностях.

В трапезной крестоносцев, если когда и появлялись в будни подобные пигменты, то в очень ограниченном количестве, дозволенном уставами и то в тесных кружках соратников. В харчевнях вина подавались в неограниченном размере: кто сколько мог платить...

Были в местечке и такие люди, о прозвании и занятиях которых никто ничего не знал. Они проживали то под названием родни такого-то, то называли себя состоящими под покровительством таких-то или их семьи. К таким загадочным особам, издавна поселившимся в Мариенбурге, принадлежала также некая Гмунда Левен, уже немолодая женщина, выдававшая себя за родственницу одного из белоплащников, Зигфрида фон Ортлонна.

Этот Зигфрид, перекочевавший сюда с берегов Рейна, человек уже преклонных лет, с надорванными силами, пользовался большим почетом за какие-то прежние заслуги перед орденом. Его влияние служило ширмой дому Гмунды, который занимал в городе совершенно обособленное положение, как неприступный остров, в дела которого не смели вмешиваться ни полицейские, ни городские власти: никто из них к Гмунде не заглядывал и ничего от нее не требовал.

И не только старый Зигфрид навещал ее гостеприимный кров; собирались к Гмунде и другие крестоносцы, забавлявшиеся там до поздней ночи. Тогда как в замке игра в кости — да и всякая другая, кроме шахмат и шашек, была воспрещена, всем было известно, что у Гмунды открыто стояли на столах кубки для метания костей и шла игра вовсю. Непристойно было также крестоносцам коротать время в женском обществе, а у Гмунды всегда было полно женщин. У Гмунды Левен постоянно проживали по две, по три «племянницы», приезжавшие из Германии и туда же отбывавшие по прошествии некоторого времени. Кроме того, она держала многочисленную женскую прислугу. И никто не вмешивался в это ее занятие.

Наружность у старухи-содержательницы была в высшей степени почтенная: строгое лицо, все в складках и в морщинках, стиснутые губы. И за челядью она присматривала, будто бы с величайшею суровостью. А когда она порой появлялась на пороге дома в белом накрахмаленном чепце, широко развевавшемся над головою, с оборками, в черном платье, обшитом галунами, опадавшими на плечи,

с мешочком и связкою ключей у пояса, проходившие мещане кланялись ей до земли, а мещанки с любопытством присматривались к ее нарядам, чтобы позаимствовать привезенные из немецких краев моды. В костеле, который Гмунда посещала очень аккуратно, у нее был собственный молитвенный приступочек<sup>[13]</sup>, обитый бархатом и всегда стоявший вплотную к алтарю... а когда она шествовала на излюбленное место, все перед нею расступались. На ходу она шуршала юбками и позванивала цепями и запястьями, которыми вся была обвешана.

Горожане знали, что через Гмунду и Зигфрида можно было всего добиться в замке у магистра ордена. Положение ее было настолько прочное, что, хотя отличавшиеся строгой жизнью, как, например, Бернард и некоторые другие, отзывались о ней с презрением и не хотели знать, ничто не могло поколебать ее влияния, вот уже у третьего подряд Великого магистра.

Усадьба Гмунды стояла среди города, недалеко от нового костела, но была так со всех сторон отгорожена и обособлена, так затенена деревьями, что нелегко было дознаться, что в ней делается. Редко кто входил в усадьбу через главные ворота. Зато две укромные калиточки с боковых сторон ограды работали на славу. По вечерам, часто глубокой ночью, после громогласного приказа тушить огни у Гмунды все еще светилось, и никто не смел сказать ей слова.

Короче говоря, это был привилегированный вертеп.

Уже лет пять прошло с тех пор, когда после одного победоносного набега на Литву, учинив жестокую резню, крестоносцы забрали множество юных пленников, из числа которых несколько десятков осиротевшей детворы было приведено в Мариенбург, кончать жизнь в заточении.

В плен забирали только мальчиков, и лишь случайно уцелела среди них одна десятилетняя девочка по имени Банюта. Остатки сорванной одежды, нежная кожа, золотистая лента в волосах заставляли думать, что ребенок происходил из состоятельной семьи.

Вначале, как только объявилась эта девочка, старики из крестоносцев начали настаивать на том, чтобы эту «гадину» немедля окрестить, а затем убить. Старый Зигфрид сжалился над плачущим и перепуганным ребенком и, сам не помня, каким образом, однако вырвал его из рук палачей и добился разрешения отдать девочку на

воспитание Гмунде. Та, хотя и нехотя, согласилась кормить ее на кухне, как собаку, отбросами еды.

Начали с того, что девочку насильно окрестили и назвали в честь чтимой в ордене святой, мощи которой находились в Мариенбурге, именем Варвары. Гмунда с отвращением взялась за воспитание малютки, которую считала истую дикаркой, неподдающейся приручению.

И, действительно, Банюты были совершенно иные, нежели у ее мещанских сверстниц, привычки и повадки. Она была гораздо развитее своих ровесниц, смелее, взрослее и отважнее; сверх того, она отличалась большою гордостью и упорством. Когда ее секли, она теряла сознание, но стискивала зубы и не кричала.

Безо всякого ученья она усвоила, или инстинкт ей подсказал много чего такого, что вызывало всеобщее удивление. Необычайно ловкая и сильная, она, как кошка, взбиралась на самые высокие деревья, лазила через заборы, закапывалась в землю и так закрывалась листьями, что ее не могли найти. Она очень ловко обходилась с самыми дикими животными и не боялась их. Позже, когда несколько освоилась с новым положением, объезжала крыжацких лошадей и справлялась с ними лучше заправских конюхов.

Когда ее стали учить разным женским рукоделиям, ей нужно было меньше времени, чем другим девушкам, чтобы усвоить все маленькие навыки и ухватки; способности были у нее блестящие, но охоты мало. Сидеть в четырех стенах было для Банюты пыткой; при первой возможности она убегала на двор и исчезала. Частенько находили ее высоко на дереве, притаившейся среди листвы и так опутанной омелой, что ее почти не было заметно. Приходилось мириться с ее причудами, так как невозможно было сломить ее упорства; к тому же она отличалась необычайной работоспособностью, была чрезвычайно полезна по хозяйству и с годами расцветала пышной красотой. Даже Гмунда стала понемногу к ней привязываться.

Мужчины, встречавшие ее случайно на дворе, восхищались ее красотой, несмотря на отсутствие нарядов. Уговорить ее одеться по-немецки было чрезвычайно трудно.

Долго, долго она ни зимой, ни летом не хотела обуваться. О платье не могло быть даже речи: Банюта постоянно ходила в длинной рубашке, в овчинном полушубке, с волосами, заплетенными в две

длинные косы. Из украшений любила только янтарные и коралловые бусы; может быть, потому, что они напоминали ей детские годы. А так как от Гмунды трудненько было ждать такого баловства, то Банюта сама низала ожерелья из шиповника, разных ягод и цветов либо убирала голову венками, сплетенными из любимых зеленых листьев. По странной случайности, когда ее взяли в плен и сорвали с нее все украшения, никто не заметил у нее на пальце медного кольца. Потом кольца не отняли; а так как руки у Банюты с годами пополнели, и колечко стало тесным, она надела его на шнурок и стала носить на шее под рубашкой.

Маленькие немки издевались над нею и передразнивали, называли дикой кошкой, но в глубине души завидовали ее красоте, расторопности и силе. Маленькая, гибкая, ловкая, слабенькая с виду, Банюта поднимала большие тяжести, а удар ее маленькой ручки мог сойти за удар камнем.

Она поневоле научилась языку, на котором все вокруг трещали; но старания заставить ее забыть литовский говор были совершенно бесполезны. Она забивалась в угол, пряталась и пела литовские песни или же разговаривала сама с собой на языке, которому научила ее мать.

Банюта и в костел ходила, и молилась, но все видели, что она не отреклась от своих богов. В христианском храме душа ее исполнялась трепета, и она убегала при первой возможности. Одним словом, Банюта была неприрученным существом, только наружно ошлифованной дикаркой, выжидавшей случая упорхнуть в родимые леса. Уже минуло пять лет, с тех пор как ее привезли в Мариенбург; из ребенка она обратилась в прелестную девушку, с огромными голубыми глазами. Все, что только могла, она переняла у немок; но не забыла и не отказалась ни от чего, что принесла с собой.

Понятливостью и умом она оставила далеко позади себя всех сверстниц.

В первые годы Гмунда и племянницы старались выпытать у Банюты кое-что о прошлом. Но она только качала головой и уверяла, что ничего не помнит; разве только что ее ограбили и побили, когда брали в плен. От прошлого остался у нее на правой руке рубец от раны, который она каждый день разглядывала и берегла, точно дорогую память.

Послушная, понятливая, иногда в минуты усталости равнодушно ласковая, Банюта ни к кому не питала сердечной склонности... никому не поверяла своих мыслей, даже не жаловалась. Взгляды же, которые она тайком бросала на окружавших, были полны отвращения и ненависти.

Несмотря на дикость и странное поведение, Банюта всех очаровывала красотой и необычайной прелестью; мужчины не отрывали от нее глаз, так что Гмунда даже сердилась на их навязчивость. Банюта же, наоборот, старалась никому не попадаться на глаза и охотно пряталась в укромных уголках, но, будучи на положении прислуги, должна была частенько показываться, даже против воли.

Никто не мог бы предсказать, как сложилась бы в будущем судьба этой литвинки, ни за что не хотевшей онемечиться. Тем временем все любовались ею, и даже старый Зигфрид, давно равнодушный к женским прелестям, не мог отвести от нее глаз, когда она ему прислуживала.

Не трудно отгадать, как познакомился с Банютой Рымос, исполнявший иногда обязанности оруженосца при одном из белоплащников. Он как-то долго оставался при конях под забором Гмунды; а по странной случайности по другую сторону, где-то спрятавшись в кустах, Банюта, пользуясь, что о ней временно забыли, вполголоса тянула литовские песенки.

Рымос с бьющимся сердцем ловил знакомые напевы. Он прижался к тыну и, улучив минуту, так же, вполголоса, пропел следующую строфу песни. Банюта вскрикнула... в миг была уже на заборе и, вся дрожа, искала глазами того, кто был внизу... Начался разговор... Рымос, обеспамятев, вперил в нее глаза и от радости едва не забыл о лошадях... В нескольких словах они рассказали друг другу все, что помнили из прошлого... Банюта, услышав, что ее зовут по имени, соскользнула с забора и исчезла... С той поры Рымос всеми правдами и неправдами напрашивался обслуживать коней у забора Гмунды, а в плетне вскоре отыскался закрытый лопухом пролом, через который было очень удобно разговаривать, когда девушке удавалось вырваться.

И Рымос и Банюта с наслаждением упивались звуками запретной речи, которая была для них дороже жизни. Рымос влюбился в девушку,

она над ним смеялась. Банюта была слишком горда, слишком хороша собой, слишком молода, чтобы ободранный, истомленный парень мог возбудить в ней что-нибудь кроме жалости. Но... они говорили друг с другом о Литве; Банюта помнила ее гораздо лучше; учила его тому, что он забыл: рассказывала о богах, о священных обрядах, о святых источниках, о домашнем обиходе; и распоряжалась Рымосом, как старшая, строго-настрога приказывая, чтобы он и в мыслях не имел отрекаться от родного прошлого или забывать его.

Рымос влюбился бы насмерть и был уже очень недалек от такого настроения. Но при первом же намеке девушка нахмурилась и не хотела слушать.

— В неволе не до любви, — сказала она. — Сердце на замке...

— Ну, так достанешься какому-нибудь немцу; они очень на тебя точат зубы.

— Пусть точат: никому не удастся укусить. А вернусь к своим, вернусь!.. А дома мать или отец найдут мне суженого под стать; он будет сидеть на вышгороде и владеть большими землями.

Так мечтала девушка.

Рымос был в ее глазах слугой, рабом. Она к нему благоволила только потому, что с ним одним могла перекинуться запретным словом... А когда они вдвоем пели потихоньку свои песни... то оба плакали...

В усадьбе Гмунды Банюте становилось все хуже. Прежде ей было гораздо свободнее, хотя работы было больше. Правда, работы стало теперь меньше; но зато Банюту взяли в горницы, заставили рядиться, а немцы, собиравшиеся к Гмунде выпить и поиграть в кости, чем дальше, тем умильней поглядывали на Банюту.

У служанки, не желавшей надевать нарядные платья и сваливавшей на других свои обязанности, когда ей приказывали идти прислуживать гостям, происходили столкновения с хозяйкой дома. Банюта сопротивлялась молча; старая барыня била ее по лицу и кричала.

Упорства девушки нельзя было ничем сломить. По вечерам, когда в комнатах становилось шумно и Банюту намеренно посылали то в одну, то в другую, где, как она знала, ее подстерегали немцы, никакие силы не могли заставить ее повиноваться. Другие немки были бы, может быть, и рады... они смеялись над ней... а она молчала.

Обо всем, что творилось у Гмунды, Рымос знал со слов Банюты; когда она рассказывала, он скрежетал зубами, как дикий зверь.

— Там, в замке, удирают, как от нечистого, и крестятся, когда увидят брошенный на камнях бабий фартук, — говорил он злобно, — а здесь... здесь им все позволено... а на войне ведут себя, как истые скоты...

Как-то вечером, когда паренек пробрался, по обыкновению, к своему кунигасу, а говорить уж было не о чем, он стал распространяться о Банюте. Но еще раньше он успел прожужжать о кунигасе уши девушки, так что та не раз с любопытством допытывалась у него о Юрии.

Юрий, воспитанный с малых лет в строгих монастырских правилах, слышал очень мало о женщинах и еще реже видел их в глаза. Одной из любимейших тем орденских проповедников были повествования об изгнании из монастырских стен женщин-искусительниц. Они метали на них громы, предостерегали от сетей и старались внушить ужас от общения с женским полом.

Монашествующие из крестоносцев очень часто избирали предметом своих рассуждений женщину; ибо рыцари в походах подвергались всякого рода искушениям, против которых их следовало вооружить и укрепить. Потому Юрию больше всего доводилось слышать о женщинах в костеле, и все его познания о них он черпал из этого источника.

Женщину он представлял себе существом лукавым, извращенным, помощницею и пособницею сатаны, подстерегающею мужчин, чтобы лишить их вечного блаженства; воображал, что все они одарены волшебной и дьявольскою властью и очарованием змеи, усыпляющей взором свою жертву. Воочию он видел очень мало женщин, потому что его с детства воспитывали среди стен, вход в которые был закрыт для другого пола. Святые мученицы, изображенные на иконах: святая Варвара, святая Катерина и родственница магистра Лтодера, святая Елизавета, которых в те времена чтили преимущественно перед прочими — были довольно привлекательны, хотя и нарисованы не особенно искусными художниками. Что касается Богородицы, то ее изображали строгой и страдающей. Из всей этой путаницы мимолетных впечатлений и внушений в воображении юноши сложилось странное представление о сущности прекрасного пола: весь

он подразделялся на две категории — священномучениц и приспешниц дьявола. Потому Юрий одновременно боялся женщин и сторал от любопытства узнать их ближе.

Но совершенно иначе стала рисоваться ему женщина на фоне рассказов язычника Рымоса, образовав наложение позднейшей формации. Рымос говорил о женщине, как о верной спутнице мужчины, о его помощнице, на плечах которой лежала вся тягота домашнего хозяйства. Смолоду веселая шалунья у колодца, и в работе, с песнью на устах... позже неутомимая хозяйка и мать семейства, после того как ей пропели свадебные песни. Литовские жены Рымоса были окружены для Юрия чарующею прелестью и заставляли забывать о приукрашенных страшилищах монастырских проповедников разных Далилах и Иезавелях.

И разговоры с Рымосом не только пошатнули установившиеся у Юрия понятия о женщине, но и затемнили ясные когда-то религиозные представления и усвоенные истины христианской веры.

Подобно тому, как облик литовской женщины вытеснял в сердце Юрия монастырские о ней представления, так и религиозная жизнь Литвы поборола в нем те понятия о божестве, с которыми он свыкся в замке крыжаков. Кровь и полузабытые впечатления детства влекли его в лоно язычества, но великие и чистые евангельские истины, к которым он привязался душой, не казались ему менее ясными. Оба мира, по-видимому, враждебные и поборающие друг друга, старались объединиться в нем и примириться.

Вездесущие боги Литвы, с которыми люди жили за панибрата, являвшиеся верным в тысяче образов, восхищали его. Но и тот Единый Бог, пострадавший за мир, проливший Свою кровь за людей, давший завет всепрощения, повелевший любить врагов, как братьев, не перестал быть Богом Юрия. Он не хотел отречься ни от богов своей родины, ни от того христианского Бога, который к тому же одолевал остальных богов и распространял свое владычество над всем миром.

В мыслях Юрия только тогда возникали сомнения, когда он начинал сопоставлять недвусмысленные евангельские истины, не допускающие кривотолков, с поступками слуг Распятого, носившими на груди Его знак. Кому и когда прощали что-либо крестоносцы? Кого они любили по-братски?

Дикие нравы слуг были непонятны Юрию перед лицом их Господа. Он невольно вдавался в странные допущения и толкования. И так, закон был одно, а жизнь другое? На почве ребяческих умствований разрастались сомнения и равнодушие; ему не хотелось думать о том, что казалось малопонятным.

Когда-то усердный к молитве, Юрий стал относиться к ней очень небрежно.

По мере знакомства с языком, песнями, бытовыми преданиями, казавшимися ему чем-то давно известным, знакомым, но позабытым, Юрием все более и более овладевала любовь к Литве, стремление повидать ее ближе, вернуться к своим.

Но помыслы его казались несбыточными. Ни Рымос, ни Юрий не знали ни страны, ни дорог, ни средств, с помощью которых можно было бы освободиться из плена. Швентас, частенько навещавший теперь обоих и нечаявший души в своем кунигасе, очень бы хотел помочь ему, хотя бы ценою собственной жизни. Но и тот только вздыхал, повторяя одно, что нет возможности вырваться из рук крестоносцев.

Они предавались безумным, несбыточным мечтам; строили удивительные, точно вычитанные в сказках, планы бегства. Но Швентас только качал головой и презрительно отплевывался.

Рымос, когда они оставались вдвоем, развлекал Юрия и учил его всему, что рассказывала Банюта, у которой и память была лучше, и сведений было больше. Постоянно говоря о Банюте и расписывая ее на все лады, Рымос так распалил воображение кунигаса, что уже не было возможности его успокоить.

Госпиталит, постоянно внимательно следивший за болезнью юноши, легко заметил явные признаки улучшения. Правда, Юрий проявлял некоторое беспокойство и лихорадочное возбуждение, бывал сам не свой. Но силы прибывали, и возвращался вкус к жизни, хотя и ненормальный. По мнению Сильвестра, лихорадочное возбуждение было все же лучше, чем продолжительная апатия, которой он опасался более всего. Первый же раз, когда Бернард спросил о здоровье Юрия, Сильвестр ответил вполне определенно:

— Болезнь, по-видимому, идет на убыль; есть некоторая перемена, а это много значит. Теперь необходимо постараться, чтобы хворь не вернулась. Предшествующий образ жизни, слишком строгий в таком

нежном возрасте, был причиною болезни: в этом нет ни малейшего сомнения; потому подумайте, как быть. Старикам доживать век на Вышгороде, в четырех стенах — прекрасно; молодым расти среди них — тесновато.

Бернард не ответил, потому что никогда ничего не делал, не подумав; однако ясно было, что не пренебрег советом.

Он пользовался вполне достаточным влиянием, чтобы располагать судьбою Юрия. Выговор, сделанный Бернарду Великим магистром ордена при стольких свидетелях, уже на следующий день оказался только дипломатическим шагом нового орденского главы. Наутро он послал за Бернардом своего компаня<sup>[14]</sup>.

Бернард, верный закону послушания, немедленно отправился к магистру, так как выше всего ставил обет монашеского повиновения и никоим образом не хотел от него уклоняться.

Он полагал, что с глазу на глаз магистр сделает ему еще более строгое внушение, однако застал его в очень мягком настроении.

Людер, накануне еще такой неприступный, ласково поздоровался с Бернардом и сам замкнул на ключ двери кельи, чтобы не могли подслушать.

— Брат Бернард, — сказал он, — вы один из столпов ордена, вам знакомы его нужды, и вы лучше знаете, нежели кто-либо иной, как все у нас разваливается. Вы были козлом отпущения за вину других. Вас, человека заслуженного и пользующегося уважением, мне пришлось призвать к порядку за мнимое самоуправство, чтобы заставить остальных повиноваться. Объясняю вам все это, чтобы вы не сочли меня несправедливым. Вы поймете, что я сделал и с какою целью. Вся надежда моя на вас, и я рассчитываю, что и под моим началом вы так же горячо будете служить ордену, как при моих предместниках.

«Много отступлений от строгостей устава придется устранить. Меня не страшит судьба Орселена; я не боюсь ножа убийцы, ибо жизнь моя в руке Божией. А если для чего-либо нужна моя кровь, то почему бы ей и не пролиться? Я боюсь совсем другого: умаления и пренебрежения со стороны тех самых главарей ордена, которые выбрали меня магистром не ради моих заслуг, а имени... а теперь надеются, что за избрание я отплачу подачками. Вы же, скромный труженик, — прибавил он, протягивая Бернарду руку, — помогайте

мне, но не дайте никому заметить, что мы с вами союзники и единомышленники».

Пока магистр Людер говорил, черты его лица, которые были вчера такими будничными и ничем не выдающимися, осветились вдохновением и рассудительностью, которые он, видимо, скрывал от большинства.

— Нам предстоит много работы, брат Бернард, — прибавил он, вздыхая. — Подобно тому, как у рыцарей-храмовников, которых покарал перст Божий, так и у нас орденский устав забыт, а место его заняли своеволие и вольнодумство. Во-первых, мы не ходим в Боге, не имеем Его всегда перед глазами, а отсюда пошло все прочее. Мы слишком рыцарствуем и недостаточно монашествуем. То, что представлялось нам спасением: наплыв чужеземцев, та особая любовь, с которой льнул и льнет к нам мир, — они-то нас и губят. На десяток храбрых и боголюбивых рыцарей приходится сотня развратных пришельцев-разбойников, которые попросту участвуют в войне с язычниками, потому что она не налагает никаких пут. Нам приходится с почетом принимать этих забияк, поить их, угощать, а они вносят к нам заразу. Поэтому, брат Бернард, трудитесь по-прежнему: приглядывайтесь, прислушивайтесь, действуйте так, чтобы оградить орден от упадка. А если вам нужна будет поддержка, придите ко мне негласным образом.

Бернард, обрадованный, поблагодарил за доверие и за разъяснение. Людер же, услышав шаги компаня, сразу переменял тон и проводил Бернарда грозным ворчанием.

Итак, Бернард, поддержанный начальством, снова приступил к своей малоприметной деятельности.

Однако усилия обоих, и Бернарда, и Великого магистра, были совершенно бесплодны: задержать разруху было невозможно. Таких, как они, идеалистов было несколько против всей массы крестоносцев, которых жизнь, военное ремесло и необходимость новых и новых завоеваний для обеспечения и упрочения границ научили вероломству, двуличию и политическим жестокостям. А политиканство, как всегда, отразилось и на нравах. Насилие над нравственным законом в одной сфере влечет пренебрежение к нему во всех остальных. Столько было нарушено договоров, разорвано трактатов, поднято на смех обещаний и честных слов, данных Польше, Литве, Поморским панам... чего же

было стесняться с орденским уставом и другими второстепенными условностями?

Орден, бывший в своей основе орденом лазаритов или госпиталитов, то есть имевший целью проводить в жизнь основы христианского милосердия, мог бы удержаться. Но в качестве завоевательного братства Христовым именем он отрицал учение Того, имя Которого носит.

Итак, залог распада таился уже в самой природе его чудовищных задач.

Брат Бернард после первого бестолкового доклада Швентаса еще несколько раз пытался добиться от него сведений. Но в конце концов счел его глупым и неспособным и больше о нем не вспоминал. Юрий же по-прежнему представлялся ему орудием, которое можно использовать во славу ордена. Но как? Он еще сам не знал.

Как христианин, воспитанный в строгих правилах веры и, по-видимому, к ней усердный, Юрий, по соображениям Бернарда, мог бы даже, выпущенный на свободу, быть апостолом христианства на Литве. Вместо кровавых жертв орден мог бы с его помощью заручиться сторонниками и союзниками. Бернард думал, что апостольство было бы лучшей и наиболее здоровой политикой; но, к сожалению, она совсем не соответствовала общераспространенным среди крестоносцев взглядам и понятиям.

Чем он рисковал, если бы попытался? Однако, пораздумав, Бернард в конце концов сам усомнился: а что, если Юрий, выпущенный на свободу, подпадет под влияние семейной обстановки и изменит ордену? Воспитанный в недрах ордена, посвященный во многие дела, прост, как зритель и свидетель, он мог быть и вредным, и опасным... Потому крестоносец колебался и решил подвергнуть Юрия дальнейшему искусству, а главное, соответствующим образом привить ему любовь к ордену.

Но со всем этим он запоздал.

Узнав от лазарита Сильвестра, что юноша, по-видимому, поправляется, Бернард в тот же день пошел навестить его.

И действительно, он нашел в нем перемену: на лице играл слабый румянец; Юрий был оживленнее, не так упрямо-молчалив.

Обычно слишком строгий, Бернард, ради своего много обещавшего воспитанника постарался придать лицу возможно больше

мягкости, даже нежности... Фамильярно уселся на лавке под окном, лицом к юноше, там, где по вечерам обыкновенно усаживался Рымос, и начал говорить с отеческою добротой, тщательно обдумывая каждое слово.

— Вижу, что ты на самом деле поправляешься, — сказал он, — возблагодарим же Господа! Верь, что я желаю тебе только добра и многого жду от тебя ордена ради: хотелось бы, чтобы ты был ему со временем опорой. Приходящие к нам из мира всегда вносят с собой мирские помыслы, от которых им не очиститься и не омыться. Тебя же Бог сподобил возрасти здесь от малых лет, вдали от погибельных влияний.

Юрий слушал, опустив глаза. Бернард смекнул тогда, что взял слишком напыщенный для подростка тон и переменял тему разговора.

— Да тебе, быть может, душно и тоскливо в этих четырех стенах, к которым мы, старики, привыкли? Говори же! Больным многое прощается!

Юрий поднял глаза. Действительно, малость малая свободы казалась ему очень соблазнительной, но он не решился высказаться. Однако Бернард мог заметить, что коснулся больного места.

В те времена сверх орденских рыцарей, горожан и переселенцев-землеробов, привлеченных для заселения завоеванных земель, владельцы которых либо пали жертвами войны, либо разбрелись по свету, понаехало из разных концов Неметчины немало обедневшего дворянства, становившегося ленниками ордена. За последние годы осело таким образом около Мариенбурга, Кролевца (Кенигсберга) и в их округах много десятков помещичьих семей. Первыми переселенцами были дворянские роды Пинау, Муль, Штубех, Брендис, Мюккенберг, Эвер и др. Все они теснились в соседстве городов, служивших им убежищем в напасти.

Между Мальборгом и Жулавами, неподалеку, осел в своей усадьбе, названной Пинауфельдом, один из лучших колонистов, Дитрих фон Пинау. О нем он первый вспомнил Бернард. Ему казалось, что если отдать юношу на поруки старому Пинау, то он будет и под приглядом, и вздохнет свободней, и здоровье свое поправит, и избегнет опасности подпасть под вредное влияние.

Дитрих фон Пинау с пожилой супругой и двумя сыновьями — помощниками по хозяйству, жил на расстоянии часа, без малого,

ходьбы от замка. Будучи всем обязан ордену, так как приехал сюда чуть ли не голым, на одном возу при нескольких вьючных лошадях, старый Дитрих имел теперь богатое хозяйство, а потому был рад услужить чем-либо своим благодетелям. Юрий мог бы набраться у него сил, пожить всласть вдали от угрожающих соблазнов.

Самое семейство Пинау не понимало иной цели жизни, кроме накопления богатства. Люди работающие, скупые, они вели трудовую, полную лишений жизнь и не могли испортить мальчика.

— Знаешь что? — сказал наконец Берnard. — Мне кажется, что не вредно было бы отпустить тебя на время полечиться деревенским воздухом. Если хочешь, я поговорю с Пинау, у которого под самым городом есть жалованное поместье, чтобы он взял тебя на хлебником. Его молодежь любит охоту, можешь и ты с ними поохотиться. А старик, хоть и неграмотный, видел свет...

Говоря, крыжак пристально смотрел Юрию в глаза и, уловив робкий благодарный взгляд, добавил торопливо:

— Так, значит? Я испрошу разрешение магистра и замолвлю за тебя словечко у старика Дитриха: он будет носиться с тобой, как с собственным сыном.

Юрий вспыхнул, привстал и поблагодарил. А Берnard, обрадованный, тотчас же вышел.

И действительно, малость обещанной свободы сильно взволновала в первую минуту юношу. Ему казалось, что он сумеет воспользоваться случаем... но как?.. Этого он еще не знал. Возможно, что вдали ему рисовалось бегство, о котором они мечтали днем и ночью.

Только поразмыслив, Юрий сообразил, что придется расстаться с Рымосом и Швентасом, что он опять будет окружен одними немцами, которых все больше ненавидел. Но данного слова не вернешь.

Остаток дня он провел в тяжёлых думах и в борьбе с самим собой, протомившись до самого прихода Рымоса. Что касается Швентаса, то тому не удалось вырваться в этот вечер к своему кунигасу, хотя совет старого холопа был бы весьма кстати.

При первом же упоминании о вероятном отъезде Юрия в усадьбу Пинауфельд Рымос испустил отчаянный вопль и заломил руки. Только несколько одумавшись, он сам подсказал Юрию, что ссылка в деревню, под самым Мальборгом, могла иметь свои хорошие стороны.

— Кунигас мой, — молвил Рымос, — ведь не под замком будут держать вас в Пинауфельде? Посылают вас туда на отдых! Им самим достаточно возни с хозяйством: они и день и ночь хлопчут и трудятся, так что вы будете ходить и ездить куда вздумается. Кто помешает вам наведаться и в город? И в Мариенбург?

Юрий же носился совсем с другою мыслью: он собирался выпросить для себя в помощь какого-нибудь паробка и выбрать Рымоса. Однако и тот и другой сообразили, что такая просьба могла бы навести на след их отношений и выдать тайну. Рымос струсил, а Юрий колебался.

Мальцу трудновато было бы урваться из замка в Пинауфельд. Швентас как более опытный и проницательный слуга легче справился бы с такой задачей. Потому Юрию приходилось рассчитывать, главным образом, на посещения Швентаса. А ему очень хотелось сохранить обоих своих приспешников, связанных с ним единством происхождения и склонностей. Он во многом рассчитывал на их помощь и в присутствии обоих не чувствовал себя таким одиноким. Рымос клялся Перкуном и всеми известными ему богами, что сохранит верность; а если бы Юрию понадобилась служба, то выражал готовность исполнить что угодно.

На другой день Бернард молчал об отъезде в Пинауфельд. Юрий встал с постели и прохаживался, а Сильвестр с сияющей улыбкой зашел его проведать. Лазарит нашел у юноши значительную перемену к лучшему, так что решил в душе самым энергичным образом поддерживать намерения Бернарда.

Но Бернард и сам хлопотал о выезде.

Он был очень занят мыслью расположить к себе Юрия и привязать его таким образом к ордену. У него не было представления о том, что делалось в сердце молодого человека. Потому Бернард всячески старался возможно тщательнее и удобнее устроить юношу в этом первом его самостоятельном шаге в жизни, так чтобы не нанести ни малейшего ущерба его самолюбию. Он в тот же день достал для Юрия из складов трапперов, то есть от ордена плащеносцев, подходящее одеяние, конскую сбрую, плащ, легкое оружие и сам направился в конюшни присмотреть лошадь, достойную такого седока, как Юрий. Подумал и о конюхе: на хуторе не могло быть свободных

рук и получить там слугу было бы очень трудно. Женской же прислуги крыжак побаивался.

И вот ему пришла мысль, что Швентас, мало к чему пригодный, но верный слуга и доносчик, будет очень кстати в качестве холопа в распоряжении молодого человека.

Литовского происхождения парня Бернард нисколько не боялся: недаром Швентас за много лет столько раз доказывал свою ненависть к родному племени.

Итак, случилось нечто непредвиденное, то есть именно то, чего больше всего хотелось Юрию: к нему приставили в соглядатаи и спутники неотесанного Швентаса.

Три дня спустя Юрий, в сопровождении Бернарда, а позади обоих, смеющийся во весь рот Швентас, на здоровенной, неуклюжей кляче ехал чудным зимним утром в Пинауфельд, где должен был провести несколько месяцев.

На юноше впервые был надет серый плащ с черным полукрестом.

Лицо у него было еще грустное и бледное, но в глазах уже светилось что-то вроде предчувствия грядущих благ.

## VI

Начиналась весна. Солнце пригревало. На Пинауфельдском хуторе после зимнего отдыха кипела работа и необычайное оживление. Старый Дитрих, похожий больше на работающего холопа, нежели на своих предков — рыцарей, которыми гордился, в коротком полушубке, высоких сапогах, в меховой шапке на лысой голове, с необычайными для его лет проворством и горячностью хлопотал около хозяйства, бранился и ругался беззубым ртом, подгоняя батраков и обоих взрослых сыновей, не менее отца погрязших в интересах землероба.

Весна приближалась гигантскими шагами и нельзя было позволить ей обогнать очередную работу. Приходилось наспех сеять, пахать, унаваживать, исправлять повреждения, сделанные разливом Ногата, восстанавливать и укреплять снесенные валы.

Старый Дитрих фон Пинау был совсем особого закала, раз он отважился перебраться сюда с берегов Рейна, где растерял отцовское наследие и не мог ужиться на оставшемся клочке земли из-за вражды с соседями. Человек он был горячий, не знавший удержа, всегда и во всем пересаливавший. Молодость он прожил очень бурно: грабил на больших дорогах, брал в полон купцов, передрался со всеми соседями... даже жену взял силою, с мечом в руке, похитив из повозки на проезжем тракте. Он так неистовствовал, что в конце концов все на него надели. Вся околица держала его замок, как в осаде; а он временами прорывался сквозь железное кольцо и лупил соседей...

Под конец ему самому надоела такая беспутная жизнь. Он обеднел, постарел, и если б не жена и не дети, то, вероятно, принял бы постриг. Когда пришлось уже так туго, что он не знал, что с собой делать, до него дошел слух об ордене, о завоеванных землях, о том, что их раздают в лен за ничтожную плату и службу. А так как он и на старости лет был таким же бесшабашным, как и в молодости, то за бесценок спустил все то, что имел, и потянулся в Пруссию.

Все, кто дома хотел отделаться от смутьяна, понадавали ему рекомендательных писем. Немецкие выходцы были крестоносцам очень желательны. Пинау был первым. Осанка его была

доказательством, что он не из щепетильных, и ему выделили добрую площадь земли под самым Мариенбургом.

Дитрих взялся за полевое хозяйство так же страстно, как когда-то разбойничал и безумствовал, будучи рыцарем. Орден доставлял все, в чем в начале чувствовался недостаток. Вместе с сыновьями и несколькими побродягами-швабами старик принялся за оборудование нового Пинау. Земля была девственная, плодородная, благодарная и в первые же годы дала прекрасный урожай, продать который было нетрудно. Неожиданный успех поддержал дух предприимчивости. Оба сына старого Дитриха, плоть от плоти его, были ему дельными помощниками. Но зато в Пинауфельде только и было разговоров, что о выгодных и приносящих хороший доход предприятиях.

Старуха-мать с такой же старой служанкой были единственными представительницами женского пола в доме. Дел у них было по горло, и обе забыли о рыцарских замашках. По вечерам, когда все население Пинау садилось за длинный стол — а вместе со всеми и Юрий — разговор шел только о полях, о новинах<sup>[15]</sup>, о житье, о сене, о скоте и очень редко об охоте и ловитве. Петр и Павел, сыновья старика, иногда выезжали на полеванье с гончими, да и то лишь когда не было что делать или за чем присмотреть.

Вся работающая семья и пила и ела наравне с батраками. Домашние нравы отличались грубостью, и за день можно было всласть послушаться брани и отборных ругательств. Когда старик возвращался с поля сердитым, он не стеснялся срывать гнев не только на слугах, но и на жене. Та не оставалась в долгу. Сыновей, уже взрослых, отец частенько угощал палкой. Дома никому от него не бывало покоя; а когда наступали праздники, развлечения нередко были горше горчайшей работы и кончались пьянством и синяками.

Пинау, обязанный ордену возрождением к жизни, преклонялся перед ним, как перед властелином, ленником которого был. Когда Бернард сообщил старику, что ему пришлют на поправку юношу, орденского питомца, Дитрих поклялся, что будет смотреть за ним, как за собственным сыном. Такая клятва, положим, говорила очень немного, но сверх того старик обещал, что жена будет кормить выздоравливающего самыми лучшими, которые только найдутся в доме, кусками и что Юрию будет всего вдоволь. Петр и Павел взялись развлекать его. Гостю отвели светлую комнату, постлали удобную

постель... одним словом, устроили ему райскую жизнь. А надзор за ним был поручен Швентасу.

В первые дни вся семья Пинау заметила, что робкий, молчаливый юноша не очень-то смакует их жизнь; и чем больше они старались ему угождать и прислуживать, тем пугливей и угрюмей он становился. После тихой монастырской жизни домашнее пекло семьи, действительно, было для Юрия невыносимым; и ничто не могло так питать в нем ненависть к немцам, как вид этого дома, в котором, как в котле, вечно кипели и зло и добро.

Напрасно члены семьи старались первое время понравиться Юрию и втянуть его в свой образ жизни. В конце концов они приписали его нелюдимость болезни и оставили в покое. Он стал пользоваться полной, неограниченной свободой, а это ему только и требовалось. Он приходил, уходил, уезжал верхом со Швентасом в любое время. К нему присматривались с любопытством и удивлением и заговаривали с большой осторожностью, чтобы не надоест.

По воскресеньям и праздникам серые плащи частенько пробирались из Мальборга в Пинау, чтобы поиграть в кости и покутить. Приглашали и Юрия, но он являлся с большим отвращением. Зато Швентас проводил у него целые дни и, убрав лошадей, садился у порога на землю и шепотом учил говорить политовски.

Они советовались друг с другом, что предпринять, как вырваться из неволи.

Тем временем зима подходила к концу, занималась весна... Сначала непрочная, она появлялась и исчезала... Каждым ясным деньком Юрий пользовался для прогулок верхом. Иногда в сопровождении Швентаса, иногда один.

Юноша попеременно ездил то в одну, то в другую сторону, чтобы познакомиться с окрестностями и иногда забирался довольно далеко. Позже всего он набрался смелости ездить по направлению к Мариенбургу, который ежедневно был у него перед глазами. Попасть в Мариенбург было бы легче всего, но каждый раз его охватывал страх. Он боялся быть замеченным, боялся доноса и опять заточения в замке.

В течение зимы Бернард несколько раз наведывался в Пинауфельд, чтобы проведать, как здоровье питомца. Он видел, что

Юрий поправляется, но по-прежнему молчалив и грустен, а потому оставлял его здесь, чтобы он понемногу окреп.

Зимой отец и сыновья Пинау постоянно присматривали за юношей; с наступлением же весны мало кто оставался в усадьбе. Юрий и Швентас были совершенно предоставлены собственной воле и могли делать что вздумается.

Та цель, к которой оба стремились — освобождение из крыжацких тисков — оказывалась, однако, настолько трудной, несмотря на знакомство Швентаса с краем, что они не смели и думать привести ее в исполнение. Батрак, будь он один, конечно, решился бы на бегство; с его внешностью легко было проскользнуть переодетому мимо дозоров, а пойманному выйти сухим из воды. Но молодость, внешность, неопытность, живость Юрия привлекли бы всеобщее внимание.

Жизнь в Пинауфельде, с глазу на глаз со Швентасом, оказала на юношу чрезвычайное влияние; он с возраставшим нетерпением и лихорадочностью горел желанием воочию увидеть Литву и распалялся все большею ненавистью к немцам, которую разжигали рассказы спутника. Юрий торопил Швентаса спешить с бегством, которое тот все откладывал и отсрочивал под теми или иными предлогами.

Состояние завоеванной прусской земли в высшей степени затрудняло бегство. Исчезновение Юрия было бы тотчас замечено, и о нем немедленно сообщили бы всем комтурам для учинения розысков. Туземных жителей, пруссов, было немного; по дорогам, в местечках и загородах сидели немецкие колонисты. За всякими бродягами и проезжим людом был установлен самый строгий надзор в ограждение от шпионов, проникавших из Польши, воевавшей в то время с орденом, а также соглядатаев из Литвы, готовой к внезапным набегам. На всех перекрестках стояли крыжацкие бурги, а путь по бездорожью через леса был небезопасен из-за разбойничьих шаек язычников, все еще окончательно не истребленных.

Швентас, хотя и не отчаивался, что удастся улучшить удобную минуту, однако откладывал бегство и отговаривался под разными предлогами.

Юрий тосковал, сам не зная о чем. В сердце и перед глазами неотступно была у него Литва. Молодость бурлила и требовала деятельности, а жизнь без цели казалась мукой.

Как-то вечером, дрожа, как в лихорадке, он один собрался проехать верхом. Швентас стоял в воротах и спросил, куда он. Юрий оглянулся по сторонам, не зная, что ответить. Вдали виднелись башни мариенбургского замка. Юрий придержал коня, на минуту задумался, потом соскочил на землю и, передавая повод Швентасу, сказал капризно:

— Пойду пешком, так будет свободней.

Холоп молча отвел лошадь, а Юрий направился к городу.

Он был несколько знаком с расположением местечка, так как из Вышгорода оно было видно, как на ладони, да и в прежние времена юноше не раз случалось бывать в городе с разрешения начальства. Почему именно в данную минуту ему вздумалось пойти туда, он и сам не знал. В предместье вела довольно топкая дорога, обросшая по сторонам низкорослой ивой и кустарником. Никого на ней не встретив, Юрий не успел и оглянуться, как скорым шагом добрался до первых деревянных домиков, окруженных садиками. В этой части города еще не встречалось настоящих улиц; каждый строился, как и где хотел. За усадьбами колонистов-землеробов стали показываться кузницы, жилища ремесленников, мастерские, домики с лавчонками, в которых откидные ставни служили одновременно прилавками.

Одежда Юрия, состоявшая из простого черного кафтана, без всяких отличительных значков, такая же, как у большинства тогдашних горожан, не привлекала ничьего внимания. Таким образом он мог свободно углубиться в путаницу улиц, направляясь к рынку и к костелу.

Он не решался сам себе признаться, что влекло его в эту часть местечка. Но рассказы Рымоса о доме Гмунды и о красавице Банюте, которую ему уже давно хотелось видеть, направляли шаги его туда, где находилась заветная усадьба. Он надеялся, что, может быть, удастся посмотреть юную литвинку.

Положение дома и калитки, около которой он очутился, были известны ему со слов Рымоса. Далекими обходами Юрий подошел к самому забору и, заметив лошадей, а при них доезжачих<sup>[16]</sup>, стал разглядывать, не увидит ли Рымоса. Он был почти уверен, что Рымос здесь. В молодости случаются порой такие необъяснимые предчувствия.

И действительно, Рымос лежал под забором, низко протянув к нему голову, так что не видел Юрия, не узнал его и не догадывался о его присутствии, когда тот подошел уже вплотную. Сердце юноши затрепетало, когда он услышал тихий напев литовской песни.

Лежавший на земле малый не верил глазам, когда Юрий, ударив его по спине ладонью, назвал по имени. Рымос вскочил, но, увидев кунигаса, успел еще крикнуть Банюте сквозь отверстие в заборе:

— Кунигас!

За изгородью что-то зашуршало... и в тот же миг уже успевшая взобраться на забор девушка алчными глазами искала того обещанного, о котором уже столько слышала.

Инстинктивно Юрий взглянул вверх, и в ту минуту, когда Банюта появилась на заборе, в расцвете девичьей красоты, в венке, вся зарумянившаяся, глаза кунигаса уже искали ее там.

Увидев друг друга, оба онемели, взаимно залюбовавшись. Ни Банюта не опустила взора, ни Юрий не вздрогнул под ее упорным взглядом. Упоенные, они пожирали друг друга глазами, а Рымос, следя за ними снизу, стоял, как окаменелый... не то с перепугу, не то от ревности.

Живое существо, подобного которому он никогда не видел и не встречал, сестра по крови, несказанной красоты, произвела на Юрия неизгладимое впечатление. Ему казалось, что он где-то видел ее раньше... что она была предназначена ему судьбой... и чувствовал к ней непреодолимое влечение.

Банюта была также очарована: в глазах ее светилась радость, на губах блаженная улыбка. Как ребенок, не умея лгать и не зная, что такое ложь, она протянула ему руки и перегнулась через забор. И хотя уста ее молчали, все существо красноречиво говорило: «Приди! Возьми меня! Пойдем!»

У Юрия восторг чередовался со страхом; он дрожал и оглядывался по сторонам. Все рассказы об обольстительницах — дочерях сатаны, пришли ему на память... но... разве это обольстительница?.. Дочь Литвы, полуребенок... изгнанница... сиротка?..

Рымос, встревоженный продолжительным молчанием обоих, дернул кунигаса за кафтан, а Банюте указал вниз, под забор, место, у

которого сам лежал минуту тому назад: здесь у них был пролом для песенок и разговоров. Там и Юрий мог приглядеться к ней поближе.

Первая поняла Банюта и с гибкостью ящерицы соскользнула вниз. Юрий уже ждал... Рымос, покорно взяв за повод лошадей, отошел на несколько шагов.

Благодаря Швентасу Юрий мог уже разговориться по-литовски. Забытый язык, как схороненное зерно, вышел на поверхность из недр души, в которой был под спудом.

Разве можно передать беседу, похожую на воркование молодых голубей? И была ли то беседа?.. Я не знаю... Смешки, полуслова, птичье щебетанье, не песни, а мурлыканье, взгляды... едва ли все это можно назвать музыкою речи...

Несомненно, было что-то дикое, животное в этом обмене получувственных, полудушевных, ничем не сдерживаемых признаний, помехою которым была только девичья стыдливость и невинность неопытного юноши. Девушка потягивалась, старалась быть красивой, закидывала голову, изгибалась, как приникшая к ветке птица... ее белые зубы, голубые очи, чарующая красота движений, еще невиданная Юрием прелесть новизны заменяли вначале членораздельную речь...

— Кунигас! — повторяла Банюта раз за разом.

Юрий кивал головой на ее слова и тихо произносил ее имя... Она смеялась, вслушиваясь в его чуждое произношение... Краснела, не знала, с чего начать... и вдруг, точно осененная, затянула вполголоса литовскую песенку, а юноша, очарованный, заслушался.

«Там, в садочку, мать-и-мачеха цветет, там, в садочку, зацветает тмин; и куда ни обернется красна-девица, зацветают на пути алые цветы.

По зеленому лужку идет красна-девица, в белых рученьках несет девичий венок. Темный мой веночек, веночек рутяный, далеко пойдешь со мной, далеко!

Будь здорова, матушка родная, будь здорова! Отец родимый, будь здоров, отец мой! Братья милые, будьте и вы здоровы! Сестры дорогие, прощайте и вы также!»

Окончив грустную песенку, девушка всплакнула. А Юрий вспыхнул от прилива бодрости.

— Не прощайся! Не надо! — воскликнул он. — Мы к ним вернемся!

— Нет, — ответила Банюта, взглянув на Юрия, — сгинем в этих клетках! — и вздохнула.

— Я освобожу тебя! — воскликнул Юрий с юношескою отвагой, сам не зная, откуда пришла уверенность в спасении.

Банюта вплотную прижалась к отверстию в заборе и спросила:

— Как?

Но Юрий, обуреваемый потоком мыслей, не сумел ответить. Он наклонился к ней.

— Мы убежим, — сказал он, — и я возьму тебя с собой!

Самонадеянность, которою дышали его слова, вызвали на лице девушки румянец счастья. И она подняла руки в знак благодарности.

Может быть, разговор их принял бы теперь более жизненный оттенок, если бы Рымос не цыкнул в знак опасности. Юрий вскочил и, увидев приближавшегося Зигфрида в сопровождении двоих товарищей, очень весело настроенных, поспешил скрыться за угол ограды.

Банюта исчезла. Крыжаки, напевая, вскочили на коней, а стремяна поддерживал им Рымос. Начало смеркаться, на небе зажигались звезды. Юрий, не смея опять подойти к забору, поспешно пустился назад в Пинауфельд.

Он шел, чувствуя небывалый прилив сил жизни и сладких, невыразимых упований. Как человек, взглянувший на ослепительное пламя, долго хранит во взоре блеск его лучей, так и Юрий неотступно видел пред собою прекрасное лицо Банюты.

Перед ним открылась новая жизнь... Вчера еще он мечтал о бегстве только ради себя самого, теперь надо было думать о том, как взять с собой свое сокровище. Какую цену могла иметь для него свобода без Банюты?

Сам почти не зная каким образом, он вышел из предместья на ту же самую тропу и беглым шагом поспешил на хутор.

Как ни торопился Юрий, наступила уже ночь, когда он вернулся в Пинауфельд. Швентас, беспокоясь, ожидал его в воротах, а домашние, крикливо, как всегда, садились ужинать, громко высказывая догадки о том, как и где мог заблудиться юноша, ушедший из дома, пешком и еще не вернувшийся. Побаивались даже, не приключилась ли с ним беда.

Когда Юрий явился на пороге, молодые Пинау приветствовали его веселым смехом, а старик — воркотней и вопросами, что случилось, почему он не вернулся вовремя.

Юноша лгал, и довольно неумело. Ему не хотелось сознаться в своем побеге в город. А потом он сочинил, что, заблудившись в зарослях, по ту сторону болот, не мог найти дорогу.

Возможно, что ему и не поверили. Но старый Дитрих не хотел настаивать, а молодые иронически посмеивались, когда Юрий сел за ужин. Разговор вскоре перешел на хозяйство, на волов, на лошадей, так что юноша вскоре незаметно скрылся и пошел к себе, где его ждал Швентас.

Ему Юрий также не хотел признаться, Где был, что видел и какое впечатление произвела на него молодая девушка. Упомянул только, что встретил за городом Рымоса.

— Слушай, Швентас! — сказал он. — Если ты не лжешь, повторяя каждый день, будто тоскуешь по своим сородичам, и если в самом деле хочешь мне помочь до них добраться, то не надувай! Поразмысли хорошенько, приступай к делу, а не то я решусь на безумный шаг и не снесу головы.

Швентас тяжело вздохнул.

— Пока я здесь, на хуторе, — прибавил Юрий, — уйти легче. Если, как сегодня, я бы не вернулся к вечеру, меня бы долго ждали, потом послали бы искать, не растерзали ли меня звери... Они нескоро догадались бы, что я сбежал, и мы успели бы пройти нимало... А после, когда и меня и тебя засадят в замок, тогда, даже если бы удалось уйти, скоро поднимется тревога и пошлют в погоню...

Швентас поддакивал, но ломал руки. У него давно созрела мысль, взлелеянная исподволь, в которой он еще не смел признаться. Он хотел сначала подготовиться и убедиться, что осуществление ее возможно. Бегство сухим путем было почти немислимо. Швентас мечтал о большой лодке, в которой можно было бы спуститься ночью по Ногату в море, а там, вдоль берегов, добраться до границ Литвы. Но ему давненько не приходилось иметь дела ни с лодками, ни с веслами. О рукавах реки и ее устье он имел очень слабое понятие, да и то с чужих слов. А все же полагал, что с помощью судьбы, в которую Швентас верил, бегство водой было единственно осуществимым. Плавал он, как рыба. Как всякий полудикий человек, он умел плавать, не учась, и

думал потому, что должен уметь и Юрий. Значит, спастись они могли бы в любом случае, да и трудно выследить бежавших по воде... Носясь с такими мыслями, Швентас частенько бродил по берегу Ногата, заблаговременно присматривая лодку, которую можно было бы похитить; о том, чтобы добыть ее иным путем, не могло быть даже речи.

Однако, не будучи еще уверен в исполнимости намеченного плана, он ничего не говорил о нем Юрию. Промолчал и на этот раз.

— Рымоса мы также должны взять с собой, — прибавил Юрий, поторапливая Швентаса, — подумай и о нем... и кто знает, — прошептал он, — придется, может быть, забрать еще четвертого.

Батрак вспыхнул:

— И одному-то, кунигасик, трудно, — сказал он, — вдвоем еще трудней, втроем почти уж невозможно, ну а четверых я не берусь тащить!

И он горько засмеялся.

— Ой, молодо-зелено! — ворчал Швентас. — Мало вам унести свою голову, надо вам, кунигасику, целый поезд, чтобы полегче выследили да всех разом и прикончили!

— Ведь втроем или сколько нас там будет, — возразил Юрий, — легче защищаться.

— Когда дело дойдет до защиты, — насмешливо вставил Швентас, — лучше самим влезть в петлю да повеситься. И чего вам еще вздумалось: воевать!

Юрий молчал.

— Ну, Рымос... положим, — сказал батрак. — А кто четвертый?

Юрий вспыхнул и продолжал молчать.

Дошлый старик вычитал в этом румянце все, что требовалось, и догадался, точно знал наперед, о ком шла речь.

— Не хотите сказать, не надо, — заметил он, — знаю и без вас. Рымос прожужжал вам уши девкою от Гмунды... либо вы сами где-нибудь ее увидели. У молодых только на уме, что бабий фартук, а, по моему, баба выеденного яйца не стоит, и сам я из-за бабы лоб расшибать не буду и вам не позволю.

Оба пристально взглянули друг на друга, и Швентас был уверен, что не ошибся. — Красных девок на Литве не оберешься! — прибавил он.

Юрий не хотел ни откровенничать, ни спорить. Он просто промолчал.

— Как ты там хочешь, — сказал он, отвернувшись, — но всячески промышляй о бегстве. А если ты раздумал, я пушусь один очертя голову...

— Жаль вас: задаром пропадете, — спокойно возразил Швентас, — потерпите малость, старый холоп кой-что придумает... Завтра, — прибавил он, — я наведаюсь в замок.

Он не сказал, зачем ему надо было в замок. На самом деле он хотел узнать, когда должен состояться, давно втайне подготовлявшийся, великий поход против Литвы. Швентас собирался предупредить о нем своих сородичей, так как теперь с таким же рвением предавал крыжаков, с каким раньше им служил. К тому же он предполагал, что в суматохе, неизбежной при спешных сборах, легче будет уйти тайком и незаметно.

К началу похода ожидалось в гости рыцари из Германии, Франции и Англии. Украдкой в замке готовились к их приезду, а крестоносное рыцарство ликовало, так как присутствие посторонних элементов всегда служило поводом для новых послаблений, а иногда и временного упразднения монастырских правил.

Правда, тогдашний магистр Людер предупредил всех о строгом соблюдении устава. Однако не было такой власти, которая фактически была бы в состоянии, в минуты всеобщего подъема, наблюдать за точным исполнением формального закона, отнюдь не обязательного для гостей.

Швентас знал по опыту, что обычно делалось в замке накануне крупных предприятий, когда за всеми столами восседали иноземцы и, разгоряченные предстоящим боем, опьяненные вином и жаждой крови, они, как пчелы, шумным роем бросались вон из замка в переметку с монашествующим рыцарством и шли в сечу, как на пир.

Множество прислуги и разноязычной челяди, суতোлка сборов совершенно упраздняли всякое чинопочитание, и в Мальборге нескоро воцарялся обычный строй. Такими днями легко было воспользоваться и исчезнуть сразу и бесследно, ибо остающиеся всегда склонны думать, что сбежавшие ушли в поход со всеми прочими. Швентас сильно рассчитывал на эту суматоху. Беспокоил его только случайно подслушанный разговор, во время которого Сильвестр уговаривал

Бернарда взять Юрия с собой в предстоящий набег. В замке, по-видимому, продолжали держать в тайне, когда должны собраться гости, и начаться сборы. Но старшие, по некоторым признакам, заключали, что ждать долго не придется.

Приказано было держать овес в готовности, насыпанным в мешки; счетом стояла в бочках наготовленная солонина; слуги уже разлили в дорожные бочонки мед и вино. В среднем замке чистили и прибирали гостинные покои. Великий магистр чуть ли не ежедневно принимал каких-то выборных людей. Прибывали незнакомцы с грамотами и орденскими знаками.

Как только Швентас вошел в замок, он тотчас заметил большее, нежели обычно, оживление.

Предлогом вернуться послужила ему часть конской сбруи, выданной для Юрия помощником трапера. Разузнав все, что ему требовалось, Швентас собирался уже в обратный путь, когда по дороге встретил Бернарда, неутомимо сновавшего по всем углам и закоулкам.

Тот был очень удивлен возвращению батрака и остановил его.

— Как ты смел оставить барина? — спросил он.

— Он сам послал меня, — отвечал холоп спокойно, показав новые удила.

Бернард взглянул и нахмурился.

— Можно бы временно попользоваться старым, — молвил он, — так как я скоро заставлю вас вернуться в замок. Как здоровье Юрия? Поздоровел? Окреп?

— А почему мне знать? — стал отговариваться батрак. — Когда видишь каждый день, не замечаешь перемены. Старый Дитрих жалуется, что улучшения не видно. Мрачен, молчалив, грустит... Каков был, таков и есть... Мало от него будет радости...

Бернард выслушал его презрительно.

— Видно, тебе понравилось в Пинау, — сказал он насмешливо.

— Разве мне может быть где-нибудь хуже или лучше? — возразил холоп и повел плечами. — Вся разница лишь в том, кто бьет по шее...

Крыжак отошел на несколько шагов, а потом добавил:

— Скажи своему барину, чтобы живо собирался: достаточно поспрадовал; в семье Пинау он мало чему хорошему научится.

Швентас усмехнулся.

С такою-то дурною вестью спешил он назад на хутор, но не застал там Юрия. Тот теперь чаще, нежели случалось прежде, уходил из дому пешком, особенно по вечерам... Батрак имел на этот счет свои подозрения, но молчал.

В этот день Юрий вернулся, когда уже совсем стемнело, усталый и запыхавшийся, и более взволнованный, нежели когда-либо. Швентас лежал, поджидая, у порога. Увидев Юрия, он привстал с обычной насмешливой улыбкой на лице.

— Я с поклоном от Бернарда, — сказал он, — так всегда бывает: кого не хочешь встретить, на того прямехонько наткнешься. Так и я. Бернард расспрашивал о вашем здоровье; я сказал, что вы еще больны: но все это не помогло и скоро придется возвращаться в замок.

Глаза Юрия заискрились.

— Швентас! — воскликнул он. — Раньше, чем нужно будет возвращаться, я должен уйти, хочешь не хочешь...

Ничего не отвечая, батрак с выражением полного смирения лег на землю, скорчился, заложил руки под голову и глубоко вздохнул.

— Ты слышал? — повторил юноша.

— Кунигасик! — пробормотал Швентас. — Я слышу даже все, чего вы не говорите; как же может быть, чтобы я пропустил мимо ушей то, о чем вы без нужды кричите во весь голос? Старый Швентас сделает, что можно, а вы идите спать.

На другой день батрака не было на хуторе; он не вернулся и к обеду, не пришел и к вечеру. Юрий, как только начало смеркаться, направился в город. Теперь он чуть ли не ежедневно в сумерки приходил к заветному забору. Почти всегда Банюта уже ждала его; иногда приходил и Рымос, а тогда влюбленные чувствовали себя в большей безопасности, потому что он стоял дозором у калитки...

В тихих беседах с девушкой Юрий все порассказал ей, что знал и думал. Оба, с ребяческой самонадеянностью, порешили убежать; и бегство казалось им тем более неотложным, что Банюта со слезами на глазах жаловалась на дерзкое обхождение гостей, от которых Гмунда ее не только не защищала, но за чопорность преследовала бранью и грозила плетью.

У Юрия роились в голове самые безрассудные мысли о том, как уберечь девушку. Даже собственное бегство занимало его менее, нежели судьба голубоокой, златовласой Банюты. Она была первой его

страстью, всепожирающею и ни с чем не желавшею считаться. Одно предположение, чтобы кто-нибудь мог отнять его сокровище, повергало Юрия в неистовство и бешенство...

А Швентас все оттягивал... Юрий готов был бросить его и на свой страх скрыться в лесах с Банютою и Рымосом... Но что потом? Он и представить себе не мог, как быть дальше.

Так было и в этот день. Вернувшись к вечеру, Юрий решил поторопить Швентаса, чтобы он во что бы то ни стало назначил день для бегства. Но батрак вернулся очень поздно, крайне утомленный, и на первые же речи кунигаса, шепнул, приложив палец к губам.

— Скоро...

Но больше ничего не хотел сказать.

Опять прошло несколько дней. И вот однажды, в полуденное время, когда на хуторе не было никого, кроме старухи Дитрих и служанки, на дворе верхом появился Бернард. Он приехал один, без конюха, а так как все были на полевых работах, то он никого не мог дозваться, чтобы подержать коня.

Старуха Дитрих вышла, причитая и кланяясь; она объяснила Бернарду, что все на работе, в поле, а молодой крыжак с холопом также куда-то отправились.

Бернард поморщился. Не хотел даже сойти с коня, раз в доме были только бабы, и велел старушке передать Юрию приказание вернуться в замок. Потом повернул лошадь и уехал.

Юрий, который в это время крадучись возвращался тою же дорогою на хутор, узнав издали Бернарда, скрылся в лозняке, чтобы избежать встречи. Сердце его билось в предчувствии беды. Он ускорил шаг и поторопился к дому. Старуха Дитрих, как только его увидела, стала звать его, чтобы поскорее передать приказание Бернарда.

— Барчук! — сказала она. — Приезжал за вами брат Бернард, зовет вас завтра в замок. Да-да, завтра, завтра! — повторяла она. — Как Бог свят, и да поможет мне святая Варвара! Так и сказал — «завтра». Сама слышала: приказал вам завтра явиться...

Юрий стоял, как вкопанный; сердце его было полно гнева: настойчивость старушки раздражала юношу, и он полунасмешливо спросил:

— Завтра? Так ли? А не сказал, в какую пору дня?

— Нет... но ясно сказал: «завтра»; а лицо у него было мрачное и лоб наморщен. Так завтра, значит, и чем скорей, тем лучше...

— Хотели бы отделаться от нас! — прибавил Юрий.

Старуха повела плечами.

— Э! — сказала она. — Не слишком вы нам надоедали... Что и говорить!.. В последнее время редко, когда вас видели на хуторе... Да и что в том удивительного? Нескоро придется вам опять так повольничать: ведь замок, что твоя тюрьма...

— Конечно... — буркнул Юрий.

— Итак, завтра, — повторил он про себя, входя в свою комнату... Он в отчаянии стал ломать руки... Швентаса еще не было; он пришелся поздно... Работники, смеясь, уже на дворе объявили ему, что завтра придется распрощаться: весточка эта скоро облетела хутор, и Швентас знал все подробности о приезде и приказе Бернарда, когда входил, грустный, к кунигасу...

Не успел тот сказать слово, как Швентас махнул ему рукой, что незачем распространяться.

Юрий бросился к нему в отчаянии. Батрак был огорчен, но совершенно хладнокровен.

— Говорят! — воскликнул Юрий. — Что нам делать?

От надоедливости юноши в Швентасе заговорило природное литовское упрямство. Он умышленно молчал, потирая голову и уши.

— Что делать?.. Возвращаться в замок! — пробурчал он.

Юрий отскочил, гневно сжимая кулаки.

— Предатель! — закричал он.

Литвин смолчал.

— Что ж ты молчишь? — вспыхнул Юрий.

— Кунигасик, — начал Швентас, — когда вы так страшно и по-княжески бурлите, разве вы станете слушать, если я скажу даже что-нибудь разумное? Сначала успокойтесь.

Пристыженный юноша постарался, по возможности, остыть.

— Так-то, кунигасик мой! — продолжал Швентас. — Поедем спокойненько в замок: убежать завтра — значило бы сложить головы на плахе... Не бойтесь: мы уйдем, и уйдем в полной безопасности, когда Швентас подмигнет и скажет: теперь пора...

Юрию так не хотелось возвращаться в замок, что он почти впал в отчаяние. Швентас дал ему побесноваться всласть и только временами

в утешение подшептывал:

— Кунигасик мой, мы улизнем из замка, как только все будет готово... Может быть, втроем... А надо, так и вчетвером...

При слове «вчетвером» он лукаво взглядывал на Юрия и усмехался.

Хотя Швентас и не был посвящен в тайну прогулок Юрия, однако он считал правильным, что Юрий воспользовался свободой, чтобы завязать знакомство с пленницей Гмунды.

На другой день Швентас стал покорно собираться: седлал коней, снаряжал вьюки, прощался с прислугою и батраками, когда заметил, что Юрия нет на хуторе. Несомненно, что он сбежал среди бела дня и, несомненно, в город.

Юрий всю ночь раздумывал о том, как бы в последний раз повидать Банюту, попрощаться с нею и сказать, что, как-никак, а он должен взять ее с собой, когда пора будет бежать.

Он почти до бела дня колебался, идти ли в Мальборн или нет. Наконец уже на рассвете, накинув плащ попроще, он, не выдержав, вышел за ворота. Когда Юрий добежал до окраинных домиков предместья, город едва начал просыпаться, в кузницах, мастерских и лавчонках только-только открывали ставни. Незаметно прошмыгнуть по улицам и через рыночную площадь, по которой немногочисленные богомольцы шли к ранней обедне, было гораздо легче, чем вызвать в такую пору дня Банюту и говорить с ней.

Плащ, покрой и цвет которого доказывали, что Юрий принадлежит к ордену, конечно, облегчал задачу. Но час был слишком ранний, и ворота дома стояли на запоре. К счастью, старая Гмунда сама их отворила по пути в костел, и Юрий незаметно проскользнул во двор. Здесь, правда, у колодца было немало девушек, пришедших за водой или полоскавших разное белье; но Банюты среди них не было. Он стоял, притаившись, за кустом сирени; ждал долго, с глубоким нетерпением, пока она не подошла к колодцу, держа в руках кувшин.

Остальные девушки в это время вернулись в дом, и Юрий подал Банюте условный знак, что хочет с ней поговорить. Та, увидев милого в такой неурочный час, перепугалась и подбежала впопыхах.

Лицо бедного кунигаса выдавало тревожное настроение его души.

— Банюся! — воскликнул он. — Я должен вернуться в замок... сейчас... сегодня! Не мог, не повидавшись!

Он крепко схватил ее руку.

— Засадят? — спросила она.

— Но я вырвусь и сбегу. Будь готова! Без тебя я не уйду, не оставлю в их тисках!

У Банюты заискрились глаза.

— Помни же, кунигас, — сказала она тихо, — и спеши! Иначе будет поздно, и ты найдешь где-нибудь под забором не меня, а труп мой! Они хотят моей гибели; каждый день приходится обороняться то хитростью, то силой... но со временем не хватит ни той, ни другой. А тогда... я всегда ношу при себе отраву, чтобы не пережить позора...

Слушая речи возлюбленной, Юрий пылал гневом, и рука его бессознательно так сжимала руку девушки, точно хотела размозжить ей кости. Банюта от боли побледнела...

Тогда только кунигас заметил, что мучит бедную, хотя уста ее все еще продолжали улыбаться... Он отпустил нывшую от боли руку и, кинувшись к молчавшей девушке, обнял за шею. Руки ее повисли на его плечах, и жаркое дыхание обоих слилось в первом поцелуе.

— Помни! — шептала девушка.

— Помни! — повторял, пылая, кунигас.

Они забыли все в объятиях друг друга, когда внезапно услышали за спиною шипящий, пронзительный, сердитый голос, поразивший их, как удар грома.

— Сюда! Ко мне! Ловите!.. Завела себе холопа, стыдливая девчонка, так робеющая, когда надо служить рыцарям!.. Словить его и в замок!..

Банюта оттолкнула кунигаса, а сама умчалась в сад. Юрий, чувствуя, что его схватил кто-то за плащ, с силой вырвался из рук преследовавших слуг, стряхнул их и, закрыв лицо, побежал к воротам, калитка которых была, к счастью, открыта. Позади слышался топот ног погони; раздирающие крики женщин и холопов... То и дело его хватили за полы плаща... Но Юрий был силен и ловок... На улице он вдруг круто обернулся и раньше, чем преследователи успели изменить направление погони, он убежал в противоположном направлении и скрылся за углом ограды... Три узенькие улочки расходились отсюда по направлению к предместьям; через заборы свешивались, одетые густою молодою листвою, ветви черемухи, сирени, вишни и березок.

Юрий побежал по первому же переулку в расчете скрыться раньше, чем погоня додумается, в которую сторону он побежал.

Хотя челядь Гмунды не оставила преследования, но кунигас, перескочив через забор, успел скрыться в одном из садиков, где, припав к земле, слышал, как холопы пробежали мимо, травя его со смехом и выкрикиваниями, как вора...

Только когда шум погони заглох вдали, юноша привстал, осторожно огляделся, оправил потрепанное платье, и окольными путями миновав предместье, вышел на дорогу к Пинауфельду.

Он шел полуживой от горя и тревоги за Банюту и за самого себя. Что ожидало ее от Гмунды? Что грозило ему самому в замке, если в дерзком нарушителе неприкосновенности Гмундовой усадьбы кто-нибудь узнал его?

## VII

Встречая что ни день вновь прибывавших во всеоружии гостей и братьев-крестоносцев, Мальборский замок был совсем иным, нежели несколько недель тому назад. Его молчаливые, унылые и мрачные стены надели необычную, праздничную личину. Ради иноземцев на них навели небудничную красоту. Их побелили и покрасили; ворота блестели головками свежечистенных гвоздей и металлических оковок; размякшие и избитые пешеходные мостки и переходы были засыпаны свежую щебенкой; размытые дождем и выщербленные валы наново насыпаны и утрамбованы. На Бабьей и на Черной банях вывешены хоругви, орденская и Великого магистра.

Стражу при воротах одели в блестящие доспехи и новые кафтаны. Дворы очистили и вымели, как комнаты; а ходившие по ним люди были принаряжены, как в праздник. И не только челядь, но и все начальство, появлявшееся то в окнах, то в крытых переходах, сияло блеском новых одеяний и веселым, ликующим, торжественным выражением лиц.

В среднем замке, там, где была большая зала дня приемов, в которой Великий магистр обыкновенно угощал гостей и происходили ежегодные собрания орденского капитула и совещаний, теперь толпились комтуры, начальство, заслуженные из рыцарей. Здесь же шли приготовления к большому пиру, не по монастырскому уставу.

В старину первые рыцари-лазариты и храмовники только три раза в неделю ели мясо; три дня молоко и яйца, а по пятницам только хлеб да воду. Садлись за стол попарно, а за трапезой читались жития святых. Остатки от стола отдавались бедным, а также десятая часть всего, что готовилось для рыцарей... И вино, и пиво раздавалось мерою... ели коротко и молча... А теперь!

Теперь со всего света свозили и скупали самые отборные приправы, употреблявшиеся только у владетельных князей; бочками ввозилось лучшее вино; простую монашескую утварь заменили серебряною и золотою, глину — дорогим венецийским<sup>[17]</sup> хрусталем; столы застилались белыми убрусами, расшитыми в узоры...

Все это проделывалось под предлогом показать мощь и богатства ордена ежегодно прибывавшим в замок почетным гостям, приносившим ордену материальную и нравственную помощь. В особенности же, с тех пор как Великий магистр перенес свою столицу в Мариенбургский замок, стали обращать особое внимание на представительство. Глава ордена соперничал чуть ли не с владетельными государями. Суровый устав сохранялся для полубратьев, сероплащников, прислуги и холопов; а на Высоком замке жилось и пировалось по-вельможному. Начальство понемногу привыкало к такой жизни; она сделалась потребностью; а в оправдание приводилось, что немецкий орден должен ослеплять мир своим могуществом, иначе утратит притягательную силу и значение, которые ему были, безусловно, нужны.

Умножалось стяжание богатств оружием и свободною торговлей; ширились границы отвоеванных и отторгнутых владений; казна ломилась от награбленного. Орден действительно становился силою и являлся представителем немецкой алчности к захватам. Монашеская ряса все более и более сползала с плеч, а под нею открывались стальные панцыри и окровавленные руки.

Стражи-лазариты обратились в разбойничавшие шайки христиан, именовавших себя почитателями Пресвятой Девы, слугами Христовыми, подданными Апостольской столицы, тогда как всеми действиями их руководило единое стремление к усилению немецкой мощи, овладевшее их мыслью и сердцами.

Они попеременно ходили на поклон то к кесарю, то к папе; поддавались кесарю, когда им грозили папы; прибегали к защите папы, если кесарь по-свойски расправлялся с их претензиями.

Самый орденский уклад показывал, чью он тянет сторону под предлогом защиты веры и обращения язычников.

Зал для приемов, в котором с раннего утра хлопотала многочисленная челядь, был приукрашен так же, как весь замок. Недоставало только женщин, чтобы сравняться с королевскою пышностью. Сиденья вокруг стола были устроены на лавках с подлокотниками и мягкими подушками; на полу лежали восточные ковры: стол был покрыт белыми убрусами, расшитыми по краю... Вдоль стен, на разных дубовых полках, лоснились огромные жбаны, искусно чеканенные чаши, кубки, выкованные в форме сказочных

животных. Ими была занята целиком часть стены от потолка до пола, так тесно, что не видно было дерева. На особом столе были приготовлены тазы, и бронзовые кувшины, и шитые полотенца, в ожидании рук, подлежавших омовению перед трапезой.

Стольник, подчаски<sup>[18]</sup>, служба обходили заставленные яствами столы, досматривая, все ли на местах, не надо ли чего добавить, приукрасить и принарядить великолепие орденского пиршества.

Ожидались гости, некоторые из них уже приехали и отдыхали в отведенных им покоях; других ждали с часу на час, так как гонцы заранее известили об их прибытии.

Походу на неверных должна была предшествовать, в силу освященного обычая, многодневная пирушка. Самая война обращалась в развеселую облаву, во время которой зверем бывали пруссы и литвины, а иногда и крещеные, давным-давно принявшие христианскую веру поляки. Крест не служил защитой от крыжацкого меча: только немецкая речь и германская кровь.

На этот раз орденские гости были: Людовик, маркграф Бранденбургский; Филипп, граф Намюр; граф Хеннеберг; несколько французов, жаждавших рыцарских подвигов; несколько австрийцев и один вельможный англичанин.

Иноземный вспомогательный отряд, насчитывавший уже с лишком двести блестящих шлемов, увеличивался со дня на день.

Каждый из владетельных гостей приводил с собой горсточку мелкого дворянства, такого же храброго и так же вооруженного, как сами сюзерены. По сравнению с полуголыми язычниками, едва кто чем вооруженными, железные рыцари запада стоили каждый десяти противников. Они были как бы самодвижущимися машинами, конными твердынями, о которые разбивались беззащитные толпы. От доспехов отскакивали стрелы; о стальную броню на груди рыцарей разлетались в щепы твердые палицы. Каждый поход был развлечением; поражения случались редко. А несчастные жертвы нападений могли отомстить за понесенные обиды, только собираясь в несметные полчища, которые облепляли рыцарей, как муравьи.

В названный день часть гостей собралась уже в маленьком зале с гранитною колонной. Прибывшие теснились вокруг Великого магистра. Шел веселый и громкий разговор. Было настоящее смешение языков, как в Вавилонское столпотворение. Одни говорили

только по-немецки, на разных местных наречиях, и не всегда могли понять друг друга; французы объяснялись с некоторыми по-латыни, а между собою на языках северной или южной Франции, родственных и все-таки различных. Англичанин коверкал немецкую речь; несколько полиглотов-рыцарей переходили от одной группы к другой и служили переводчиками.

Все почетные члены собрания были уже налицо. Поджидали только графа Намюра, который после вчерашней затянувшейся пирушки долго отдыхал. В эту минуту скромно и тихонько вошел Бернард и стал к сторонке. Никто не обратил на него внимания, хотя его величаяя фигура так резко отличалась от прочих выражением уныния, горя, почти боли, казалась такою чуждою и несовместимою с царившим в зале настроением радостного оживления, что, по-видимому, первый беглый взгляд на Бернарда должен был бы вызвать недоуменные вопросы: «Что принес с собою этот человек? Весть о каком несчастье? О каком грозящем бедствии?»

Большая часть крестоносцев привыкла, впрочем, к суровому обличью брата Бернарда, которого знали как строгого ревнителя устава и блюстителя этой строгости в других; потому его угрюмый вид большинству не показался странным. Ограничивались беглым взглядом, небрежным приветствием, и никто не торопился вступить в беседу с человеком, который именно теперь, сегодня, среди собравшегося общества и готовившихся сатурналий, вносил диссонанс и дисгармонию.

Некоторые, встретив его взгляд, поспешно уклонялись.

Гости с удовольствием слушали рассказы крестоносцев о первых временах водворения среди неверных и битвах с ними. Эти рассказы были облечены почти в сказочную форму с легендарным оттенком и приукрашены поэтическими вымыслами. Хвастались предшественниками, первой крепостью которых был старый раскидистый, обнесенный оградой дуб. В его ветвях нашли будто бы убежище пионеры первого захвата.

Литовский народ, геройски защищавший свою землю, своих богов, обычаи и стародавние святыни, рисовался в рыцарских рассказах сбродом не то полузверей, не то полудикарей. Старый Зигфрид, с лицом, пылавшим при воспоминании о молодости,

поддерживал мнение, разделявшееся большинством рыцарской братии, что не следует щадить этот бродячий дикий люд.

— Крестить? — восклицал он. — Но какой толк от их крещения? Все равно что кощунственно обливаться святой водой неразумное зверье! Увечная языческая слепота никогда не даст им узреть свет истинный... Даже у детей, взятых из колыбели, после взросления кровь начинает бунтовать, и они, как волчата, убегают в лес. Единственное средство — истребить их род. Я, — продолжал он, — никогда и никому из них не давал пощады, кто попадался мне под меч: крестил их мечом и кровью... *Ego te baptiso in gladio*: крещу тебя мечом и кровью!..

И старик смеялся.

— Говорят, будто опустеют земли, — добавил он деловито. — Ничего, найдем, кем их заселить. Довольно у нас родится детей; немало у нас безземельных. Там, где осядет наш переселенец, развеивается кесарское знамя; он расширяет владения апостольской столицы и Священной Римской империи. Землю эту мы получили в дар от пап, корешей и кесарей, которым по праву принадлежит весь мир; она наша; язычники владеют ею незаконно, значит, гони их в шею.

— Пытались и они, — перебил Лямперт из Мюльберга, — креститься... так для вида. Посылали посольства в Рим, отдавались в кабалу... да не выгорело: поздно! Земля уже наша!..

— Было и похуже, — сказал Ханс Вирнбург, — стали строить церкви, выписывать монахов, чтобы прятаться за их спиной, но мы выколотили из попов охоту водить нас за нос... Ха-ха! Ксендзов я вешал, а костелы жег!..

Все притихли. А Зигфрид добавил:

— Хороши, нечего сказать, были ксендзы, ставленники язычников... и какие могли быть у них церкви: Бааловы божницы... Бить, жечь, истреблять, учинять *tabula rasa*<sup>[19]</sup>, вот единственный способ борьбы. Прежде чем сеять, надо взрыть землю, не глядя... Зерно взойдет только на утучненной кровью ниве...

Бернард издали прислушивался к речам Зигфрида. На лице его не видно было ни одобрения, ни возмущения, ни желания противоречить: слишком часто приходилось ему слышать такие убеждения.

— Ныне, — отозвался Великий магистр Людер, — благодаря Богу и Пресвятой Деве Марии, покровительствующим ордену, мы со спокойным сердцем можем глядеть в будущее. Земли захвачено много; мы граничим с самым морем. Правда, борьба с Польшей и порубежные с ней споры продлятся еще долго. Хотя теперь Литва начинает быть заодно с поляками, положение наше настолько твердое, что мы сможем дать отпор их соединенным силам и сохраним завоеванные земли для апостольской столицы и империи... Конечно, при вашей благосклонной помощи, — добавил он, обращаясь в сторону гостей, а затем, отдельно, глядя на Людовика Бранденбургского, продолжал:

— Все христианские державы чувствуют, что должны нам помогать так единодушно, как шли когда-то в Крестовые походы для освобождения Святой земли. Наша здесь задача тождественна с задачей крестоносцев.

— Каждый меч и каждое копьё, прибывающие нам на помощь, — молвил Зигфрид, — равносильны поднесению в дар церкви Христовой одной квадратной мили отвоеванной земли...

— А земля здесь, — прибавил Ханс из Вирнбурга, — не плохая и не такая уж бесплодная, как кажется на первый взгляд... В большей части она хорошо родит под немецкою сохой... Зима, правда, здесь суровая, но в местностях, защищенных от резких ветров, родится на склонах даже виноград.

— Э? Да неужели? — рассмеялся один из французов. — В ваше вино не слишком-то мне верится, но рыбу и дичину очень уважаю.

— Я же с радостью угощу вас за обедом кубком старого меда, — перебил Зигфрид, — с которым не сравнится никакой пигмент...

— Пил и очень мне понравилось, — сказал француз, — только очень дает в голову.

— Ну, у нас головы покрепче, — заметил со смехом старый Зигфрид.

Бернард, все еще стоявший в стороне, хотя слушал, но в то же время ничего не слышал. Взгляд его скользил вдоль стен...

Маршал, как будто что-то уловивший в этом взгляде, подошел к задумавшемуся и сказал:

— Вы здесь единственный тоскующий... Мне жаль вас. Какая общая для всех беда опять обрушилась на вас одного? Доверьтесь мне:

вам чинятся обиды потому, что вы слишком охотно взваливаете на свои плечи чужую ношу.

Бернард только сильнее насупил брови.

— На этот раз, — ответил он загадочно, — я несу наказание не за грехи ордена, что было бы для меня большою радостью, но за собственный свой грех.

— Грех? — засмеялся маршал, недоверчиво взглянув на собеседника. — Вы смиренно покоряетесь постановлениям святейшего собрания: уничижаетесь, чтобы вознестись. Я не верю в совершенный вами грех.

— А все-таки ресçаві<sup>[20]</sup>, — коротко ответил Бернард и замолчал.

— Вы подстрекнули мое любопытство, — сказал Альтенбург, всматриваясь в Бернарда.

— Здесь не место откровенничать, — отрезал Бернард, — не хочу вам отравлять веселые минуты.

Пораженный тоном ответа, маршал схватил Бернарда за руку.

— Вкратце посвятите меня в то, что не должно быть для меня тайной. Дело, значит, важное?..

— Важное для меня и моей совести, — возразил Бернард, — для ордена оно имеет второстепенное значение.

С этими словами он, как бы желая избавиться от дальнейших объяснений, отошел на несколько шагов.

Маршал, не настаивая, проводил его глазами.

— Станный человек Бернард, — шепнул он подходившему Хансу из Вирнбурга, — отравляет себе жизнь, взваливая себе на плечи всеобщие печали... Что с ним сегодня?

Ханс нагнулся к уху маршала.

— Вероятно, чувствует за собой вину, — смеялся он, — что в свое время не очень-то благоговел перед добрыми началами, провозглашенными нашим Зигфридом, об истреблении язычников... Вот за эту свою...

Но здесь перебил его Великий магистр, обратившийся с чем-то к Альтенбургу, а потом раздался звонок, оповещающий, что все готово к пиршеству. Слуги распахнули двери, а Великий магистр первыми повел к столу маркграфа Бранденбургского и графа Намюра.

Блестящую картину представляло присутствовавшее рыцарство, снявшее в этот день доспехи и разодевшееся в пух и в прах:

великолепнейшие алые кафтаны, бархат, восточные шелка и золототканую парчу.

Среди пестревшей красками толпы белые плащи крыжакков, одетые начальствующими по случаю торжественного дня, их тяжелые золотые цепи резко выделялись своею простотой и величавостью. Особенной изысканностью отличался наряд графа Намюра; замечательный покрой, шитье, выпушки, точно разрисованные красками эмблемы, делали его предметом всеобщего внимания, а может быть, и зависти.

Сидевшие поблизости разглядывали узоры на шелку, вышитые у него на груди и на рукавах, и такие же шитые шелками остроумные девизы.

Владетельный бранденбуржец, одежда которого также была весьма роскошна, с презрительной усмешкой разглядывал наряд соседа, слишком бивший на эффект и чрезмерно женственный.

Возможно, что француза подняли бы на смех, если бы этот изнеженный, белолицый мужчина не был одним из храбрейших рыцарей и не доказал бы делом, что умеет выйти победителем из поединка даже с такими тяжеловесными исполинами, какими был окружен в данную минуту... На последнем турнире, устроенном экспромтом на дворе среднего замка, граф с необычайною ловкостью уложил всех своих противников.

За столом он был веселый собеседник, остроумный и меткий на слова, а некоторая доля свободоязычия никогда не доводила его до потери чувства собственного достоинства или до утраты горделивого самосознания, внушавшего почтение.

К нему обратились как к человеку сверходаренному и исключительному, своеобразному и непонятному. Он, со своей стороны, смотрел на случайных боевых товарищей с оттенком ласковой иронии. Они были для него представителями животной силы; он — воплощением ума и внешнего лоска, унаследованных от длинного ряда восходящих поколений.

Разговор продолжал вертеться около той же темы; на языке у всех была война с язычниками, с той только разницей, что старшие из рыцарей, наслышавшиеся в свое время о битвах с сарацинами, отождествляли их с местными неверующими. Последним приписывали полузвериный образ, служивший оправданием тех

ужасающих жестокостей, которые творились во время истребительной войны. Один из рыцарей даже утверждал, будто они настолько дики, что, взятые сосунком из колыбели, никогда ничему не могут научиться, ни вообще принять обличье человека.

Места за трапезой были распределены так, чтобы рядом с каждым из выдающихся гостей сидел один из рыцарей, на обязанности которого лежало занимать, угощать и подпаивать соседа. Старый Зигфрид уже готовился занять место рядом с немецким графом, когда внезапно быстро вбежавший в зал оруженосец сделал ему знак рукой...

Быть отозванным в такое время являлось неслыханным нарушением приличий, так что крестоносец сначала было отказался. Но несколько слов, сказанных шепотом на ухо, смутили его; он поторопился посадить на свое место другого рыцаря, а сам незаметно удалился.

И не только удалился, но даже едва вышел на двор, как спешными шагами побежал к воротам и, миновав стражу, а за нею и городские стены, стал тревожно осматриваться по сторонам. На лице его сменялись удивление и гнев, негодование и досада.

— Клянусь Богом! — ворчал он. — Неслыханное дело! Удивительная дерзость! Не давать мне покоя в такой час... Несносная баба!.. Уж и задам я ей.

И вот, когда он так метался, снедаемый негодованием, из-за угла выбежала в плаще светских полусестер монахиня, старая Гмунда. Увидев Зигфрида, она подбежала к нему, запыхавшись и ломая руки.

Не успел еще Зигфрид начать свое нравоучение, как старуха, которая была гораздо поворотливей, чем он, стала кричать ему в самое ухо:

— Выкрали девушку-литвинку!.. Убежала!.. Да, убежала, и мне некого послать вдогонку. Это ваших холопов дело... Негодница, если ей удастся скрыться, станет болтать по людям невесть что о моем доме... будет чернить меня и плести небылицы. Надо снарядить погоню! Людей давайте!

Она едва дышала от волнения, а Зигфрид молчал, нахмурившись.

— Хорошо же вы за ней смотрели! — прикрикнул он. — Значит, у нее находилось время заводить знакомство с нашими холопами и сговариваться с ними! А для нашего брата-рыцаря она порой не хотела

принести кубка вина! Хорошо же вы ее воспитывали!.. Снарядить погоню! — прибавил он. — Прекрасно! Но куда и как? По каким следам? Известно вам, по крайней мере, кто и чей он холоп? Вот Божье наказание!

— Кто мог ждать! Кто мог предвидеть! — кричала Гмунда. — А я-то в чем виновата? Кто уберется от вашей челяди?

— Когда же это было? — спросил Зигфрид.

— Когда! Когда! — повторяла старая особа, дрожа от нетерпения и злости. — Здесь целый заговор! Несколько дней тому назад ее накрыли утром в садике, обнимавшуюся с каким-то холопом... гнались за ним, ловили... нет, ушел-таки. Велела ее высечь, чтобы узнать, кто он такой: не выдала... Посадила ее в клеть на хлеб и на воду... Стала желтеть и худеть, так что я пожалела ее красоту. Велела выпустить и смотреть в оба. Сегодня утром, говорят, больна... ушла прилечь на сеновал. Около полудня пошли девушки наведаться, а ее и след простыл.

— Откуда же такая уверенность, что она сбежала с холопом? — прикрикнул Зигфрид.

— Да ведь их накрыли...

— Есть какие-нибудь доказательства? Видел кто-нибудь? — продолжал допрашивать крыжак.

Гмунда стала плакать; что-то лепетала, бросалась из стороны в сторону, жаловалась на судьбу. Зигфрид, торопившийся назад, к своим, терял терпение и ворчал:

— Посылать за ней погоню? Куда? Кого? Разве дело нашей челяди — разыскивать сбежавших девок?

Зигфрид так только говорил, однако было видно, что он не прочь оказать помощь Гмунде. Угроза, что девушка может разболтать по свету о порядках в доме Гмунды, заставляла и его задуматься.

В воротах стоял старший придверник, старый, грузный человек, с любопытством присматривавшийся, а может быть, и прислушивавшийся к пререканиям Зигфрида и Гмунды. К нему как к верному слуге Зигфрид обратился с укором по адресу холопов, угнавших у Гмунды девушку.

Привратник, опытный и много лет прослуживший в замке, покачал головой.

— Странное совпадение, — ворчал он, — у вашей сестры пропала девушка, а у нас сбежал ночью малец, сирота, которого воспитывал брат Бернард... а вместе с ним и тот негодяй-батрак, собачья-кровь литвин, которого бы я давным-давно повесил... А брат Бернард его держал, кормил и посылал шпионить.

Зигфрид напустился на привратника:

— Да ты не врешь? — воскликнул он.

— Как бы я стал говорить, если бы мы не обыскали раньше все углы и верхнего, и нижнего замка и не перетрясли бы все... Ведь и меня брат Бернард взял на допрос... метался и рычал, зачем я пропустил его в ворота... Я-то! Да у меня кот — и тот не выйдет без разрешения. Ну, а из нижнего замка, где около конюшен и лазарета вечно толкуются люди, то входят, то выходят, там можно вывести из замка сотню, и никто не догадается... Дураки они, что ли, чтобы лезть сюда, где попадутся, а не туда, где ворота настезь...

Зигфрид задумался, не желая выдавать перед придверником свои сокровенные мысли. А потому, обратившись к Гмунде, сказал ей шепотом:

— Иди домой, иди! Все, что можно, сделаем. Ночью удрали отсюда еще двое. Значит, нашелся след; ушли вместе, вместе их и словят, так как наверняка Бернард зевать не будет...

С этими словами Зигфрид отпустил сестру и быстрым шагом вернулся в залу пиршества.

Первые выпитые натошак кубки уже властно ударили в головы пирующим, так что из-за шума и крика нельзя было разобрать слова. Звенели чаши, как трубный звук, раздавался хохот; воздух был наполнен запахом острых приправ. Прислуга убирала первую очередь яств и собиралась подавать вторую. Огромные четверти дичины, горы жареной, вареной и тушеной птицы, плавающей в разных сногшибательных подливках... ко всему тянулись голыми руками и ножами, а охотничьи собаки грызлись под столом за брошенные кости.

Зигфрид, в поисках свободного места, нашел только одно, на самом конце стола, где примостился всегда скромный и старавшийся не быть на виду брат Бернард. Он-то Зигфриду и был нужен... Бернард сидел облокотившись и еще не принимался за еду, даже не вынул из-за пояса ножа, а весь казался погруженным в думу. Кругом смеялись, он же кручинился и тосковал.

Зигфрид наклонился к его уху.

— Слышали вы... знаете?.. — спросил он. — Говорят, ваш воспитанник исчез... убежал с каким-то батраком... А меня пробрала Гмунда за то, что наши холопы увели у нее девку... Кто ж, как не они?!

Бернард рванулся к Зигфриду.

— У нее была на воспитании литвинка? — спросил он, оживившись.

— Такая же, как ваш вое... — Но, встретив взгляд Бернарда, не закончил. Бернард знаком вовремя напомнил Зигфриду, что происхождение Юрия составляло тайну.

— Итак, ваш заложник убежал? — спросил Зигфрид.

— Исчез... не знаю... — пробормотал осторожный Бернард, — брат-лазарит посоветовал отдать его для излечения на хутор, к Пинау... а там его кто-нибудь опутал. А батрак... литовская скотина, — прибавил он, — полудикое животное... однако не предатель и столько лет верою и правдою служил мне... Непонятно!..

— Послали их искать? — буркнул Зигфрид.

— Да, негласная погоня, — молвил Бернард, — об этом не следует болтать. Все может оказаться глупой выходкой из-за девки. Правду говоря, побег от Гмунды меня утешил... Молодая кровь... горячая... подцепив кралю, он, верно, скрылся где-нибудь по соседству с Пинау. Перетрясут кусты — и найдут обоих... А батрак... дознался, верно, о побеге раньше всех и не сбежал, а просто ищет мальчика...

Зигфрид слушал, и беспокойство его улеглось.

— Вы думаете? — спросил он.

— Да, думаю, потому что иначе быть не может... Сбежать?.. Куда?.. Как?.. Ведь это невозможно, — сказал Бернард. — Мальца мы посадим под арест, на хлеб и на воду, девушку Гмунда проберет на свой манер...

— Значит, молчок... — закончил Зигфрид, принимаясь за еду.

Бернард, хотя старался сам себя уговорить и успокоить, все же был задумчив и угрюм. А так как была разослана во все концы погоня и лазутчики, то он с минуты на минуту ждал известий. А потому вопрошающими взглядами встречал каждого входившего слугу.

Но никто не подошел к нему в течение всего обеда. Известий не было. Подавали уже сладкое, когда наконец подбежал к Бернарду его

оруженосец Томхен. Но было видно по глазам, что он пришел не с доброй вестью.

Он наклонился к уху своего господина.

— Говорят, что нет и того литвина, которого иные звали Ромком, а другие Рымосом...

Бернард вздрогнул. Стало ясно, что все они сбежали вместе, будучи одной крови. Очевидно, сговорились раньше и совместно устроили побег. Он не столько жалел о неудавшихся расчетах, которыми тешил себя, воспитывая Юрия, сколько о самом юноше, занявшем место в его сердце. Конечно, скорбел он и о том, чего не мог уже выполнить через него во славу ордена. Теперь же, когда выяснилось, что, несмотря на все старания, юноша в душе остался все-таки литвином и сбежал, конечно, к своим единоплеменникам, неминуемая гибель Юрия тяжело ложилась на душу Бернарда.

В этой гибели он не сомневался. Каким образом он вырвется из рук крестоносцев, безнаказанно уйдет из пределов орденских владений?.. И перед глазами Бернарда неотступно рисовался образ красавца-юноши, на котором он строил столько упований... с разбитым черепом... с окровавленной грудью...

Да и сам он больше не жалел его. Раз он отступник — смерть ему. И разглагольствования некоторых собратьев перед пиром, что литовцев надо истреблять и избивать, показались ему теперь чуть ли не бесспорными.

— Всегда в них пробуждаются литовская кровь и дух, — говорил он сам себе, — взяли его ребенком, отучили от родного языка, вырос на слове Божиим, ничего не знает о своем происхождении, считал себя немцем, и вот... сатана все же уловил в сети свою жертву и забрал ее, хотя я думал, что вырвал ее из пасти дьявола для Бога...

Пока здесь, в конце стола, Бернард думал свои грустные думы, а Зигфрид, позабыв тревоги, старался вознаградить себя за упущенные яства, там, на верхах собравшегося общества, слышалось тихое вначале пение.

Песни исполнялись не божественные, как следовало у монахов, но светские, любовные, шуточные, веселые... Запевалами были посторонние, а затем, вздыхая, начинали вторить те, кто подолгу их не слышал и по ним скучал.

Великий магистр поневоле притворялся, что не слышит и не понимает.

С одной стороны вполголоса распевали о том, как выехал князь в далекие страны, к красной девице-душе; а с другой, наперекор, частили:

Подлетала птичка  
К милой под окошко  
Постучала нежно  
Носиком в стекло:  
Вставай, моя любя...

С третьей, точно на зло Великому магистру, и с косыми взглядами в его адрес, тянули: «Есть в Брауншвейте замок...»

Кто-то наконец видя, что без песен никак не обойтись, а любовные могут слишком взвинтить собравшееся общество, запел старинную, более пристойную для рыцарства и всем знакомую песнь Хильдебранда: «Как поеду я во широкий свет...»

Песнь эта заглушила все остальные и смело вознеслась под своды залы... Она никому не могла показаться зазорной, и, повествуя о делах давно минувших дней, баюкала сердца...

Граф Намюр, привыкший к более нежным и сладким напевам, вслушивался насмешливо и с любопытством... Англичане старались уловить смысл слов.

Пир окончился. Великий магистр встал первый, а за ним последовали в его покои наиболее почетные гости. Но большая часть пировавших осталась сидеть, обильно запивая вином бесконечный ряд чередовавшихся песен. Торжественная обстановка дня не давала возможности строго придерживаться ни уставных часов, ни трапезных правил... а гостеприимство заставляло не скупиться на хмельные напитки...

В открытые окна врывались благовонные дуновения мая... Рыцарство предвкушало упоение грядущих побед... а если бы кому удалось подслушать молодых членов ордена, о каких они мечтали трофеях, тот содрогнулся бы в ужасе...

Опьяневшие повествовали друг другу о неудобосказуемых зверствах, возможных и вероятных только в обществе людей, оторванных от семьи и от мира и павших до уровня скотов в порывах одичалой страсти... Под шумок они поддразнивали друг друга рассказами о беснованиях плоти, со смехом пререкались и похвалялись ими...

Тем временем Бернард, стоя у окна, смотрел вниз на тесный дворик замка... Он, по-видимому, обдумывал, что предпринять для поимки беглецов, а Томхена послал разыскать холопов, бывших при конюшнях вместе с Швентасом, чтобы подвергнуть их допросу. И как только Бернард увидел во дворе собравшуюся горсточку людей, он тотчас же поспешил к ним, потому что только перед самую пирушкой, а частью во время нее он узнал о бегстве Юрия, Рымоса, Швентаса и Банюты — и то лишь одни голые факты, теперь же хотел разузнать подробности.

Перепуганная челядь стояла в ожидании одного из тех, кого наиболее боялись в замке. Он подошел, как строгий судья, и велел выложить все, что они знали о Швентасе и Рымосе.

Вначале никто и ничего не хотел ни знать, ни даже о чем-либо догадываться. Но понемногу, из полсловечек, обнаружилось, что Швентас последние дни будто бы прихварывал, отлынивал от работы, слонялся по задворкам. Два раза заставляли его в разговорах с Юрием в темной подклети... А Рымоса еще ночью кто-то видел в замке...

Кунигас, после возвращения из Пинау не жил больше в лазарете, а в маленькой келейке на главном коридоре, недалеко от кельи Бернарда... Здесь нашли большую часть одежды и оружия, которое выдавалось орденом в пользование братии, ибо, по уставу, собственность не признавалась и старшие имели право в любое время отнять у младших даже носильное платье. Правда, устав применялся во всей строгости только к беднякам и меньшей братии, между тем как белоплащники-аристократы имели в своем распоряжении крупные суммы денег... И такие нарушения терпелись; на них смотрели сквозь пальцы.

В келье Юрия оказалось такое количество одежды, что, по-видимому, он убежал в легком исподнем платье и без тяжелых доспехов. Ни он, ни его товарищи не взяли лошадей. Ни в одних воротах они не были замечены привратниками; только Швентас, не

состоявший под особым присмотром, открыто вышел накануне с непокрытой головою и с кувшином в руке в госпитальные ворота... и больше не вернулся.

Бернард сам, несмотря на поздний час, отправился в город, чтобы попытаться разузнать, не видел ли там кто-нибудь кого из беглецов. Из боязни ли допроса, по истинной ли правде, но все горожане отвечали, что никого не видели. Томхен немедленно был верхом отправлен в Пинау, опросить местных жителей, не повстречались ли им сбежавшие. Но старый Дитрих вместе с сыновьями клялся, что со дня отъезда Юрия и Швентаса их не видали...

Суровый допрос был учинен у Гмунды. Пытали слуг и челядь, хотя именно здесь никого нельзя было заподозрить в близких отношениях и потаканию литовской девке. Гмундины дворовые не любили гордой и несговорчивой Банюты, которую ничем не могли смирить: ни истязаниями, ни угрозами, ни голодом.

Девушки, сверстницы Банюты, преследовали ее. Мужская челядь изводила. Трудно было допустить их соучастие. Когда и как Банюта вырвалась из-за высоких частоколов и замкнутых на ключ дверей? Этой тайны никто не разгадал. Вечером она была, несомненно, дома; ночью ни одна дверь не скрипнула; а когда далеко за полдень девушки пошли искать Банюту, ее и след простыл... Правда, она легко спускалась с чердака, перелезала через ограды, карабкалась на деревья и с них слезала... Хороших платьев, в которые ее наряжали для гостей, девушка не тронула. Они остались в целости в чуланчике под крышей. Она взяла с собой убогую сукманку<sup>[21]</sup> и самую потертую накидку.

Надвигавшаяся ночь положила конец разведкам и не дала напасть на след. Люди, посланные в разные концы, чтобы обойти или объехать все окрестности, стали по одиночке возвращаться лишь под утро... Нигде не было следа сбежавших, ни на дорогах, ни на хуторах... Опросы, даже обыски, не дали результатов... На другой день городской ночной сторож говорил, будто накануне ночью, по пути к городскому рынку, он встретил на дороге в Пинауфельд каких-то четырех людей, промелькнувших мимо него, как тени... один шел впереди, за ним двое, а позади как будто бы подросток... Возможно, что это были беглецы... Однако вторичный тщательный осмотр кустарников и зарослей вокруг усадьбы Пинау был одинаково бесплоден. Некоторым указаниям могла бы разве только послужить

жалоба рыбака, имевшего на Ногате, у берега, большую лодку: эту лодку у него в предшествующую ночь украли...

Немедленно по окончании торжественного пира, когда Великий магистр с компаном удалился в молельню и свои покои, Берnard послал просить об аудиенции. Здесь он, в горестном сознании вины, поведал о бегстве Юрия и о непостижимом заговоре литовских пленников, оказавшихся соумышленниками.

Людер принял эту вестъ довольно равнодушно, стараясь утешить глубоко опечаленного Бернарда предположением, что безумцы неизбежно должны погибнуть где-нибудь от голода. Если же чудом доберутся до своих, то ничем не смогут повредить интересам ордена.

— Брат Берnard, — сказал он, — не мучьте себя и не огорчайтесь, но на будущее время всячески предупреждайте возможность проникания в наш немецкий орден посторонних элементов. Не следует нам иметь ни челяди, ни батраков, ни слуг иных, кроме чистокровных немцев. Нас, слава богу, много, и в чужой подмоге надобности быть не может.

На этом Великий магистр оборвал было свою речь и собирался уже опуститься на колени, чтобы вознести вечернюю молитву к Богу, когда вдруг еще раз обратился к Бернаруду и шепнул:

— Если их поймают, то незачем щадить...

И провел рукой по горлу — знак, хорошо понятный Бернаруду. Тот низко поклонился и, когда Людер подошел к молитвенному подколенику, неслышно вышел.

## VIII

Дубы и липы, грабы и лещины окружали зеленую полянку среди густой пущи, прорезанную небольшим ручьем... Одинокими изгнанницами среди весенней зелени лиственного леса стояли пленные и стиснутые им со всех сторон две или три исполинские сосны да пара пихт, высоко вздымавших к небу темную хвою своих ветвей. Их обнаженные стволы стремились ввысь; ибо, заглушенные непроходимой чащей, они не могли дать боковых побегов... И сосны и пихты томились, как в неволе, и только сверху был открыт им доступ к воздуху и к свету.

Зато прекрасно себя чувствовали и пышно разрастались деревья-победители. Нигде не видно было следов насилий святотатца-человека над лесными властелинами. Даже бури не покушались на их целость, потому что не могли пробраться в эту глушь.

Солнце ярко освещало всю поляну. Но в лесную чащу, когда она бывала одета листвой, не проникал ни один луч и не обнажал тайн леса. Зелеными сводами, переплетенными крест-накрест, ширились ветви исполинов, оберегая холодок и свежесть пущи...

У опушки, на небольшом пригорке, под который весной подкапывался ручеек, обнажая от травы желтый песок и глину, стоял вековечный дуб — царь леса — и, может быть, отец всего подлеска. Верхушка дуба высилась над всеми остальными, а раскоряченные, порастрескавшиеся, толстые, как бревна, корни ширились далеко вокруг.

Один ли был то дуб или их три срослись в одну невероятную громаду?.. Разобраться было трудно. Никто не мог бы объяснить, кто так избороздил его кору. Удары ли перунов?.. Или рука времен? Борозды частью поросли мхом, частью травой и даже цветами. Они, как паразиты, уцепившись за края расщелин, свешивали книзу листья и побеги, как бы просясь на землю... Но под самым дубом не было ничего, кроме мха и редкой пожелтевшей травки...

На толстых ветвях дуба с трех сторон висели целые полотнища алого сукна, волочась концами по земле. Только с одной стороны открывался доступ солнечным лучам... На тонких сучках и веточках

пестрели бесчисленные расшитые полотенца, плахты, кокошники, передники. Некоторые еще белые и свежие, другие пожелтевшие; иные черные, облепленные грязью, висевшие отрепьями, погнившие до нитки. Местами среди лохмотьев и полотен ярко выделялись то ленточка, то красный пояс... Вдали, за дубом-исполином, широким кольцом изгибался высокий, прочный тын, спускавшийся к ручью. Перескочив через него, он замыкал со всех сторон часть лесной поляны. Тылом к лесу стояли высокие ворота крепкой постройки, крытые, с двумя калитками и лесенками по обеим сторонам.

С солнечной стороны ствола, там, где он рассекся пополам, в глубине дупла виднелась безобразная колода. Был то, собственно, комель другого дерева, вырытый из земли вместе с пнем. Наросты, корни, опухоли, трещины коры странными, естественными сочетаниями придавали всей коряге такой вид, будто над нею поработали человеческие руки. Между тем ее никогда не коснулись ни камень, ни железо. Игрою неведомой какой-то силы камень пока еще рос в земле, приобрел чудовидные, получеловеческие-полуживотные черты, придавшие ему внешность страшного, небывалого живого существа... Громаднейшая голова, со впадинами вместо глаз... разверстая пасть, а под ней включенная борода... надо лбом, выдававшимся вперед, как крыша, кудлатая копна волос...

Голова без шеи глубоко ушла в широченнейшие плечи; выпуклая, выпяченная грудь, худощавые, привешенные сбоку руки; а внизу, перекрученные, как канаты, корни торчали наподобие пары здоровенных кривых ног...

Хотя, несомненно, над созданием кошмарного чудовища не работала живая человеческая мысль, и только слепой случай придал ему облик живого существа, оно было полно немого красноречия, как сонное видение неоформленного бытия, окаменевшее на пороге жизни...

Когда люди вглядывались в это извлеченное из-под земли божественное идолице, ими овладевали трепет и тревога; казалось, будто черные глазницы могут видеть, широко раскрытый рот вещать, а руки метать молнии... Мох и остатки облупленной коры сливались на челе в грозные морщины; на щеках застыли складки иронического смеха... И колода, будучи немой, говорила понятным для человека языком...

Когда солнечные лучи и мелькавшие блики древесной листвы скользили по лицу бога, оно, казалось, двигалось, менялось, становилось то грозным, то жестоким, то насмешливым, то неумолимым... иногда спокойным или спящим. Идол просыпался, жил, наливался кровью и бледнел... А при ночных огнях точно приходил в движение... Стоял он лицом к солнцу, угрожал и вызывал на бой...

Дуб был святынею Перкуна<sup>[22]</sup>, а колода — чудотворным изображением языческого бога. Вся окружающая местность называлась святым Ромовом, новообретенным источником чудес и предсказаний. Ручей, омывавший корни дуба, был святым, а всякое зелье, произраставшее на поляне, чудодейственным... Даже воздух, насыщенный запахом листвы, давал жизнь.

Перед дубом, над ручьем, было сложено из искусно обтесанных колод нечто вроде большого и высокого костра, суживавшегося к вершине и окруженного перилами. На них висело алое сукно, местами сорванное и потрепанное ветром. С тыльной стороны вела на помост лестница: ибо здесь, взобравшись на верхнюю площадку, верховный жрец крече-кречейто, или эварто-крече, показывался народу и убеждал его ревностно хранить веру в своих богов и отвергать чужую... Случалось это в особые, торжественные дни, о которых заблаговременно оповещалось население, толпами стекавшееся к дубу.

Но и в повседневное время святое место никогда не пустовало. И теперь долина ручья кишела народом, в чаще леса мелькали огни костров, стояли стреноженные лошади, сновали люди в белых одеяниях. Из-за дуба синей лентой подымался к небу дым над сложенным из камней алтарем. Здесь был неугасимый жертвенник, святой огонь, вечно пламеневший и поддерживаемый смолистым деревом, живую листвой и приношениями верующих.

Несмотря на множество народа, над всей долиной царила торжественная тишина. Молчание нарушалось только шарканьем ног людей, ходивших вокруг алтаря, ржанием коней, рокотом лесов... Верующие говорили не иначе как вполголоса, из уважения к святыне, а двигались не топя ногами. Только жрецы да ручей осмеливались во весь голос возглашать хвалу литовскому богу... А так как после богомольцев, толпами прибывавших на поклонение святыне, долина бывала усеяна остатками еды, то над ней постоянно стаями носились

обитатели лесных вершин, перекликаясь разнообразнейшими голосами.

Вид на долину представлялся величественной, красочной картиной.

По одну сторону ее тесною толпой сидели вокруг угасшего костра сивобородые старцы и вели тихую беседу. Дальше, в глубь поляны, виднелись на отлете от толпы женщины и девушки, готовившие пищу для паломников. Они хлопотали вокруг огней, разведенных между большими камнями.

Отдельными кучками стояли мужчины, из разных концов и уголков земли, обмениваясь принесенными вестями. Молодежь, расположившаяся на опушке, вела себя несколько смелее: там слышались оживленные разговоры, тихий смех; иногда вызовы на состязание... Временами происходила как будто потасовка... но вскоре, вспомнив, где они находятся, смутьяны утихали, призывая друг друга к молчанию.

Ближе к костру, дубу и священному огню сновали различных степеней жрецы, здешние и пришедшие издалека. Тут были местные кривии, в белых одеяниях, с поясами и белыми жезлами в руках; вейдалоты в длинных кафтанах, обшитых белыми тесьмами и лоскутами; одни с венками на головах, другие — в руках; некоторые с пробритыми висками и в запыленных от дальнего пути одеждах.

Менее видные, бедно одетые, поместные вуршайтосы держались в сторонке, подальше от жреческого духовенства, с должным к нему почтением; а рядом с ними толпились сиггоноты, здоровенные мужчины свирепой внешности, на обязанности которых лежало заклятие жертв. Им приходилось резать у ступеней алтаря не только овец и коз, но и захваченных в походах пленников, которых сжигали на костре и добивали, когда они терпели муку...

За окружавшим священный дуб забором, широким станом располагались ворожеи, гусяры, бродячие певцы, буртиникасы, свальгоны и погребальный цех лингуссонов.

По их одежде, повседневной, ничем не разнившейся от сукман, в которых ходили жители на родине пришельцев, можно было отличить жрецов, горных и дольных местностей, выходцев из крайних пределов литовской Руси, соседей порубежных кривичей, обитателей лесов, болот и диких пущ... Все они, по крайней мере однажды в год,

должны были набраться сил у священного источника и у святого дуба, почерпнуть в них вдохновения и святой воды для лечения больных; захватить золы с жертвенного очага, листьев с дуба... Каждый приносил кривию или вейдалотам вести о том, что творилось в остальных святых урочищах, и уносил с собою приказания и напоминания.

Народ повиновался кунигасам, державшим меч железною рукой; но белый жезл криве, когда он помахивал им, не внушал страха, а двигал народными толпами благодаря какой-то непонятной силе. Так исстари велось, что высший жрец имел более значения, нежели оружие князей.

Ближе к священному огню, отдельно от других, за особой изгородью, расположились вейдалотки, блюстительницы священного огня, девушки, избравшиеся из среды красивейших, родовитейших и влиятельнейших семей. Все были одеты одинаково, в белое с зеленым. Все молчаливые, важные, недосыгаемые для мужчин. Они по трое выходили к служению у алтаря; каждая несла дрова и зеленую хвою... подходили к жертвеннику, поддерживали на нем огонь и, молча, уставившись глазами в пламя, ждали, пока не придет смена. Иногда затягивали потихоньку песню... Напев ее звучал всегда тоскливо, мерно, как жалобная песнь богам...

Вейдалоты, приставленные к дубу Перкунаса<sup>[23]</sup>, были почти постоянно заняты. Бродячие знахари приходили к ним за советом, больные за лекарством... Матери приносили детей, бедняки даяния...

Кревуле, старичок с седою бородой, небольшого роста, довольно тучный, утомленный, сидел обычно в стороне, под навесом у забора и, прислонившись, спал, пока кто-либо из вейдалотов не приходил с вопросом. Не сходя с места он разрешал сомнения и споры... Рядом с ним, через открытые двери клетки, покрытой дранковою крышей, видно было множество даров, принесенных Перкунасу. В проходах стояли горшки с медом, лежали круги воска, льняная пряжа, куски полотна, пояса и опаски, даже янтарные бусы и ожерелья из разноцветного стекла... Здесь же были кади с насыпанным зерном, а на вбитых в стену костылях висели освежеванные туши. Одним словом, и кладовая, и сокровищница...

От времени до времени приходили вейдалоты, приносили новые даяния и забирали все необходимое для пропитания.

Полное молчание, в котором протекала суетня у дуба, производило поразительное впечатление: казалось, что служат богу не люди, а безмолвные духи и тени. И на самом деле белые одеяния жриц и вейдалотов придавали им вид призраков.

А в стане богомольцев, когда начинал пищать ребенок, то даже ему мать затыкала ротик, чтобы он не нарушал священной тишины.

Таков был обычай, освященный и седою стариной и потребностью минуты, ибо Ромово и его святыни приходилось скрывать от крестоносцев; а песнопения могли навести на след...

Все урочище было опоясано тройным сторожевым кольцом... Вооруженная охрана стояла лагерем в долине, все жрецы были вооружены и готовы поднять меч в защиту своих святынь. В расстоянии нескольких переходов Ромово было опоясано второго цепью сторожевых постов... А вдоль опушки пущи тянулся третий ряд бдительных дозорных, извещавших об опасности громким уханьем и криком на птичьи голоса. В те времена немало священных дубов пало под немецкими секирами; много поуничтожали они таких Ромовых и повырезали вейдалотов; так что надлежало с особой бдительностью охранять последние убежища стародавней святыни.

Поэтому наиболее ценные сокровища: золото, серебро и медь — хранились в подземельях, тайно вырытых в лесу, местонахождение которых знали только высшие священнослужители...

Весенний день клонился к вечеру. Косые лучи заходящего солнца врывались на поляну, озаряя свежую зелень деревьев. Одни паломники собирались в обратный путь, другие располагались на ночлег, третьи только еще спешили занять место в стане, когда вдали раздался странный шум, а люди начали вставать из-за огней костров и сбегаться в одно место.

Старший вейдалот, Нергенно, обладавший очень острым зрением, издали заметил переполох. Он заслонил рукой глаза, долго присматривался и наконец послал мальчика сбегать и принести ответ, почему народ толпой сбегался к тому месту.

Ловкий Мерунас живо проскользнул между огнями и сидевшими вокруг них кучками людей. Белая опояска, полотнища, доказывала, что он принадлежит к числу служителей Перкуна, а потому все давали ему дорогу.

На опушке, посреди толпы народа, он увидел троих мужчин и девушку, с головы до ног окутанную белым покрывалом, из-под которого едва виднелась часть лица. В ту минуту, когда Меркунас уже приближался к группе, женщина в белом пошатнулась, как бы от страшной усталости, упала и легла на землю. Кто-то из толпы принес ей ковш воды для освежения.

Из троих мужчин один был молодой красавец, с виду рыцарь, со смелым взглядом, с повелительной осанкой, так, что его можно было бы принять за предводителя, если бы не отроческие лета и не едва покрытое пушком юности лицо.

За ним стоял низкорослый, толстый холоп, с огромной головой, сильный и широкоплечий, с посохом и мешками на спине. Еще дальше худощавый смуглый мальчик, в том возрасте, когда мужчина перестает быть ребенком, но еще не дорос до мужа. Он держался в стороне, опираясь на дубинку.

Одежда путешественников, их лица, утомленный вид показывали, что прибыли они издалека и прошли тяжелый, долгий путь. Пыль и грязь налипли на их ноги; одежда была рваная, помятая и полинялая, лица исхудавшие.

Лежавшая на земле девушка временами с любопытством подымала голову, окидывала взглядом голубых глаз долину, по направлению, где стоял дуб, и улыбалась. Но усталость снова заставляла ее опуститься на траву; и хотя вокруг стоял гул от голосов людей, назойливо глядевших на нее, у бедной слипались веки, и свинцовый сон овладевал ее сознанием. Хотя Меркунас на своем веку видал много пришлого люда, он в данном случае не был в состоянии определить по внешности, кто такие были вновь прибывшие. Их одежды, не то местного, не то иноземного покроя, ничего не говорили о происхождении гостей. А внешность и осанка юноши, главенствовавшего над остальными, имели в себе что-то незаурядное, изобличавшее привычки и замашки не литовского пошиба.

Этими путниками были Юрий — кунигас, Швентас, Рымос и Банюта.

Каким образом пробрались они через земли, занятые крыжацкими дозорами, сюда, в тихое, укромное среди лесов, Ромово? Все приставали к ним с расспросами, никто не понимал, как это могло случиться, а многие не верили их объяснениям.

Особенно не доверяли кунигасу, шептались, подозрительно осматривали, прислушивались к его литовской речи... А он говорил так, как будто начал учиться родному языку только накануне, искал слова и находил с трудом; а когда их не хватало, морщил лоб, сердился и терял терпение.

Прибывшие ничего не сумели объяснить — как сюда попали. Только Швентас отрывочными восклицаниями выражал удовольствие, что тяжелый путь наконец окончен.

Когда Мерунас подошел и стал расспрашивать, один из любопытных шепнул ему, что это беглецы из крыжацкой неволи; один из них называет себя кунигасом.

Тем временем Банюта, несмотря на множество разглядывавших ее людей, накинула на лицо платок и собралась спать на голой земле; тогда некоторые из присутствовавших, постарше годами, стали поговаривать, что следовало бы поручить Банюту которой-либо из женщин, чтобы та позаботилась о ней. Кто-то вышел из толпы и направился к пожилым бабам, сидевшим вокруг огней и готовившим ужин... Две встали, спешно подошли к Банюте и остановились в задумчивости и изумлении. Банюта спала... Одна из женщин опустилась на колени, осторожно сдвинула с головы платок и стала всматриваться в лицо лежавшей, охваченное мертвым сном.

Над ней шептались, но она не слышала; касались ее — не чувствовала. Дыхание было свободно; на щеках — лихорадочный румянец; а полуоткрытые уста жадно ловили воздух, приносящий жизнь, слабо теплившуюся в груди...

Женщины сжалились над ней, слегка приподняли Банюту и осторожно пошли со своею ношею к костру. Только раз приоткрыла она глаза, вздохнула, улыбнулась... и опять сомкнулись веки... Так, уснувшую, полуживую, они положили девушку, как малого ребенка, на приготовленную наскоро подстилку.

Рымос, почти так же утомленный, как Банюта, присел на траву, облокотился и задремал. Швентас лучше прочих перенес невзгоды путешествия; он держался на ногах, смеялся и присматривался к окружающему.

Кунигас также старался не поддаваться усталости, которая наложила печать на его лицо. Он жадно озирался и пожирал глазами все, что видел...

Все для него было ново, дивно, точно образы, воплощенные из сновидений детства. И все так резко отличалось от той обстановки, в которой он воспитывался и рос.

Крыжацкое дитя, приноровленное к их обычаям, он боролся с приобретенными жизненными навыками, чтобы приспособиться к другим... Дуб, видневшийся вдали; костром сложенные брусья; огонь на алтаре; вейдалоты в белых одеяниях; святыня под открытым небом; бог, поклонение которому было сопряжено с опасливым молчанием... все обуяло его страхом и тревогой. Он привык верить в другого Бога, склоняться перед Его служителями... В душе его еще звучали торжественные костельные напевы, слова молитв, проникавших до глубины души... Он еще колебался, отречься ли от того Бога для нового или обоих объединить в сердце?..

Мерунас, достав языка, вернулся к дубу, а весть о беглецах, переходя из уст в уста, сделалась достоянием всей долины. Вокруг спавшей Банюты столпились все женщины; вокруг кунигаса — мужчины. А старого Швентаса засыпали вопросами.

— Чего вы добиваетесь, как я попал сюда? — говорил он, выпив для бодрости поднесенного кем-то березового соку, — да разве я сам-то знаю, как мне удалось довести их в целости? Бог ли нас вел или какие духи?.. Верно только, что мой разум ни при чем... А еще менее их мудрость, — прибавил он, показывая на Рымоса и кунигаса.

И водой мы плыли, и сушей шли, и с голоду помирали... днями спали, по ночам тащились. В темноте нам волны освещали путь глазами... Приходилось питаться и птичьими яйцами, и сырыми грибами... Крыжаки обходили нас, точно мы были в шапках-невидимках, а медведи прокладывали нам путь к лесу... Ой-ой! Как все это перескажешь? Как поймешь?..

И Швентас глубоко вбирал в себя воздух, тер лоб и смеялся.

— Чудо случилось, да и только, — продолжал он, — а теперь дайте нам перебедровать; потому что тащились мы не день и не два, и не месяц... а так, что и счет дням мы потеряли. Менес<sup>[24]</sup> был разрублен пополам, когда мы выбрались из Мальборга, а вот теперь меч солнца снова распластал его... а мы только что пришли...

С этими словами Швентас, оглянувшись на Рымоса, так же, по его примеру, подобрал ноги и присел на землю.

Один только кунигас не думал об отдыхе.

Он стоял молча, когда Мерунас, возвратившись, показал на дуб, объясняя, что его зовут. Юрий уже собрался в путь, когда старый спутник, заметив его движение, встал, чтобы идти с ним вместе.

— Без меня вы, кунигасик, едва ли столкнетесь со святыми человеками, — сказал он, — ни они вас не поймут, ни вы их... Поплетусь-ка с вами.

Юрий шел храбро, не отвечая Швентасу.

Несколько вейдалотов ждали их у забора. Швентас, потирая лоб, обогнал своего кунигаса.

— Вы что за люди? — спросил старший вейдалот.

— Мы из кражацкой неволи, — ответил Швентас и прибавил, показывая на Юрия: — А знаете, кто этот?.. А это малец, отнятый у Реды Пилленской, когда был еще ребенком... Крыжаки едва не переделали его на немца... Но кровь проснулась... У него родинка, горошинка на шее... никто, как он!

Вейдалот всплеснул руками...

— С детства? У них? — воскликнул он, нахмуясь. — На что он нам теперь?

Юрий, догадавшись, о чем речь, поднял голову.

— Пригожусь, — сказал он коротко и гордо.

Вейдалоты посмотрели на него: осанка подтверждала слово. Они покачали головами и переглянулись. Швентас тем временем бестолково рассказывал о бегстве, пересыпая речь смехом и проклятиями. Рассказ его так был похож на сказку, что слушатели пожимали плечами.

Зашел разговор и о Банюте... А Швентас сам признался, что долго служил немцам, пока, как он выражался, сердце не перевернулось у него в груди...

Не зная, что делать с гордым, молчаливым и таким чужим для них пришельцем, вейдалоты направили Юрия к Кревуле.

А Банюта? Банюта спала... Сон ее был, как сон младенца в колыбели, знающего, что кто-то стережет его покой. Поодиночке приходили все бабы и девушки взглянуть на ее лицо; они качали головами и шептались...

Банюта спала... Порою из ее груди вырывался вздох, и, казалось, что вот-вот она проснется; но сон возвращался, и ночь расстилалась по земле, а девушка все продолжала спать.

Все женщины по очереди успели уже посмотреть ее по разу и по другому. Только старая Яргала, сидевшая неподалеку у костра, хотя ее звали и уговаривали взглянуть на спавшую, не хотела сойти с места и посмотреть на девушку.

— Не хочу, — говорила она, — и незачем. У меня разорвется сердце... Была у меня дочь в ее летах и сгинула... Зверь ли ее зарезал, немцы ли убили, не мог сказать мне ни один знахарь... пропала, как камень в воду.

И не пошла старая Яргала... Только, вспомнив прошлое, заплакала, оперлась на руку и затянула песенку, которой провожают в могилу девушек с венком на голове.

Остальные женщины отступились от нее. Так она сидела долго; но вдруг сердце ее точно дрогнуло... она зашевелилась, хотела встать, но снова села.

— Идти? Не идти? — говорила она сама с собой. — Зачем?.. Разорвется сердце!..

И она опять то садилась, то порывалась встать... что-то ее и гнало, и удерживало...

Наконец она метнулась, встала на ноги, но не хватило духу... И вот издалека до нее донесся тихий вздох... Вздыхала сквозь сон Банюта.

Полупогасший огонь костра, раздутый ветерком, бросил блики на лицо уснувшей. Яргала шла к ней, сначала медленно, потом скорее... Оглянулась вокруг себя, как будто застыдилась... Подошла, нагнулась, стала на колени, села.

Глаза старухи точно хотели выскочить из орбит, она невольно вытянула руки, приоткрыла рот... смотрела... и насмотреться не могла. Она дышала все порывистей, и слезы начинали течь из глаз.

— О, и она, золотая моя рыбка, была бы такую же, если бы жила! — начала она причитать тихонько. — Такие же косы были у нее янтарные, такие же губки алые, такой же лобик белоснежный... Дитяtko мое, дитяtko родимое! — повторяла она плача, так тихо, так сдерживая голос, что едва слышала сама, что говорила...

Спящая вздрогнула; глаза ее широко открылись: голубые, ясные. Она вперила их в старушку, смотрела, а на губах играла улыбка... Так они глядели друг на друга минуту ль, час ли?.. Все тело старухи трепетало, а Банюта не могла смежить веки.

В этот миг дыхание распахнуло сорочку на груди Банюты, и открылось колечко на шнурочке, которое она хранила...

И вдруг одновременно раздался двойной крик... Девушка протянула руки, а старуха схватила ее в объятия...

— Банюта! — вскрикнула мать и упала в обморок.

Женщины, издалека следившие за тем, что будет, прибежали в страхе, чтобы привести старуху в чувство и вырвать девушку из ее окоченевших рук. Но обе держались друг за друга крепко, как будто бы срослись... Банюта отыскала мать.

На эту весть сбежались все; разбудили спавших... Со всех концов спешили девушки... Приходили с расспросами мужчины...

— Яргала узнала дочь!

Некоторые относились к этому недоверчиво. Но Банюта уже рассказывала, что помнила о детстве, и за каждым словом старая всплескивая руками, восклицала:

— Голубка моя! Дитяtko мое!

Колечко было доказательством.

Креве, сидя под своею крышкой, слушал рассказ Швентаса. Он велел кунигасу показать родимую горошинку на шее; качал головой, не верил. Юрий смахивал, в его глазах, на крыжацкого шпиона, а Швентас разыграл роль обманутого дурака.

Посоветовавшись с остальными жрецами, старик велел без шума запрятать всех пришлецов в сарайчик рядом с дубом, покормить и приставить стражу. Сюда же притащили разоспавшегося Рымоса, который, едва дотащившись, опять свалился и снова погрузился в сон.

Юрий, плохо владевший языком, был как в путах. Он дивился, что та Литва, по которой он так тосковал, представлялась вблизи совсем иною, нежели издалека, когда он мечтал о ней по рассказам Рымоса.

Он несколько раз машинально хотел перекреститься... И воздержался. Душа его была полна тревоги и печали. Люди, которых он видел вокруг себя, казались ему дикарями... Наступала ночь. Костры в долине погасли; только под дубом горел огонь, и три девицы в белом стояли перед алтарем, подбрасывая лучину и щепу... Молчаливые, как изваяния, несли они ночной дозор...

А в зарослях вокруг на тысячи голосов переливался соловьиный хор, воспевая песнь весне...

Юрий то засыпал, лежа на подстилке, то поднимался и прислушивался. Никогда в жизни не приходилось ему слышать лесных напевов; они говорили языком, чуждым его слуху, но родным душе... Итак, начиналась новая жизнь... все прежнее предстояло позабыть и проклясть... И в душе его проснулась необъяснимая тоска по невыносимому, ненавистному прошлому... Там, на черном фоне повседневной жизни, как золотые звезды, сияли слова жизни и любви... дышали странным обаянием личности некоторых монахов, с которыми ему приходилось иметь дело, часто сострадательных, смиренных... А надо всем высилась в ореоле ласковой улыбки фигура лазарита, старика Сильвестра, склонившаяся над одром какого-либо страдальца.

Здесь же у всех лица были угрюмые, суровые... Сна как не бывало... он встал с тяжелой головой, задыхаясь в духоте... Да, он хотел найти мать... но напрасно искал он в памяти давно поблекший образ... его не было... все стерлось.

Швентас спал у его ног, как животное, всласть наевшееся и утолившее мучительную жажду... Рымос лежал, как труп...

Юрий встал... сквозь щели загородки он увидел ходившую дозором стражу. Далее, во мраке ночи, багровый дым и желтоватый блеск огня... и освещенный ими узловатый ствол и комель дуба, алые завесы, жертвенник и рядом с ним три вейдалотки...

По очереди то та, то другая, как сквозь сон, машинально вытягивала руку и подбрасывала топливо; ярче вспыхивал огонь, гуще подымался дым и снопами вылетали искры, то кружась и угасая в воздухе, то дождем падая на землю... Душа Юрия исполнилась тревоги... Ему стало тяжело дышать... Первые лучи майского рассвета серебрили небо... он открыл дверь шалаша и вышел...

На дворе кругом вповалку спали люди... стража посмотрела в сторону Юрия и ничего не сказала... Он стал бродить внутри ограды.

Все ворота были на запоре; о бегстве не могло быть и речи; ему не мешали ходить вокруг да около, но зорко наблюдали издали... Любопытство гнало его дальше и дальше. Он прошел между священным деревом и срубом кревейто и вдруг в полумраке раннего утра лицом к лицу столкнулся с идолицем Перкунаса.

Рассвет бросал издалека мигающие блики на бесформенную глыбу. Местами она истлела, и во тьме дупла сияла собственным

фосфоричным светом. Кунигас смотрел и не мог оторвать взора. Чудовищный нечеловеческий облик идола принимал в его глазах переменчивые выражения: но все было равно грозные, кровожадные, жестокие... Между тем как там изображения страдающего Бога, которые он видывал в костелах, были исполнены не одного долготерпения, но дышали любовью, ласкою и благостью. Тот Бог, был Богом всепрощающим, замученным людьми, залитый собственной кровью... А этот, глядевший на него из глубины дупла, казалось, жаждал, ненасытный, чужой крови и не знал, что такое милосердие... бог огня, бог разрушения, бог громов...

Кунигас, не умея выразить словами чувств, охвативших его при виде Перкунаса, трепетной душой познал разницу между ним и христианским Богом и содрогнулся сердцем...

Там по крайней мере с высоты амвона раздавалось слово всепрощения, милости, любви... здесь... царствовала месть. Там священнослужители, хоть изредка, а говорили, что все люди — братья; здесь все враждовали против всех.

Озаренная бледным светом голова Перкуна, с широко открытой пастью, алкала кровавых жертв... крушила их, казалось, в своих челюстях и питалась ими.

Кунигас стоял, тревожно всматриваясь в ужасную колоду, по которой, как по гнилушке, пробегали тлеющие искорки, вливая жизнь в неподвижное лицо страшилища... когда внезапно подошел к нему один из вейдалотов.

Это был молодой, красивый Конис, потомок благородной крови, которого народная молва прочила в близкие преемники крестуле, а может быть, и самому крестуле. В его умных, пламенных глазах горела жизнь, зажженная религиозным фанатизмом. Он знал о Юрии и о его судьбах и хотел лично от него дознаться некоторых подробностей. Подобно всем теснимым крестоносцами литовцам, Конис так же, как прочие защитники Литвы, жаждал проникнуть в тайны тех неведомых, вооруженных с ног до головы людей, которые обрушились с запада на его родную землю и с оружием в руках воевали ее, переворачивая все вверх дном. Юрий хотел молча избежать разговора и, поклонившись, пройти мимо. Но Конис ласково остановил его.

— Ты долго жил у немцев и в их вере, — начал он, — мог присмотреться к ним. Правда ли, что эти всадники сильнее нас?

Кунигас на мгновение задумался.

— К сожалению, да, — молвил он, — они сильны своим железом и оружием, сильны доспехами и богатством, сильны тем, что нет у них ни жен, ни детей, ни семьи. Они жрецы своего, тамошнего, Бога; но жрецы вооруженные, идущие на бой, чтобы покорить Ему всю землю...

Конис насупил брови.

— Кто же такой их Бог? — спросил он. — Как велико Его могущество?

Юрий задумался и опустил глаза. Многого запало ему в сердце, чему он научился у прелатов; потому он не хотел ответить прямо: неясная тревога мешала ему поносить имя Бога, Кого он еще так недавно исповедовал.

— Силен ли он, я не очень знаю, — ответил Юрий, — на то жрецы, чтобы знать такие вещи. Вероятно, небессилен, потому что дает силу исповедующим Его. Сколько земель покорили они уже под Его власть!

— Мечет он перуны? — спросил Конис.

— Нет, — ответил Юрий, — о нем постоянно говорят как о Боге милосердия и всепрощения.

— А никому нет от них пощады? — возразил Конис, пожимая плечами. — Здесь есть тайна, в которую тебя, по-видимому, не посвятили.

С этими словами он указал на дуб и на Перкуна.

— У нас, — начал он с воодушевлением, — нет ни милосердия, ни всепрощения. Наш бог — бог мести; он повелевает мстить и убивать, потому что он могуществен. Мы до последней капли крови жестоко и безжалостно будем защищать землю, которою владеем, он да мы. Мы сидели на ней много тысяч лет, она была нашей. По ней рассеяны могилы отцов и дедов. Сами боги дали ее нам в удел. Кто посмеет выгнать нас из гнезд?.. Смерть врагам!

И Конис поднял руку.

Кунигас смотрел и ничего не отвечал.

Рассвело, и в далеком стане началось движение.

Конис, несколько остыв, подошел ближе и, всматриваясь в Юрия, продолжал допрос:

— Скажи, кто их научил ковать железо? Кто им привил проклятые сноровки, которыми они нас побеждают? Говорят, будто они строят каменные города и заставляют срастаться камни? Откуда их богатства?

— Я видел все, что у них есть и что они умеют, — ответил Юрий, — но как они дошли до своего искусства, я не знаю. Их тьма-тьмущая разноплеменных народов; но все исповедают одного и того же Бога... Отсюда пошла их сила!..

— Так, — возразил Конис в задумчивости, — было и у нас такое время, когда единый криве правил всей землей Летувы<sup>[25]</sup>; но потом наплодилось много кривуль и кунигасов, и земля распалась и расползлась в куски... Но нынешний великий кунигас Гедимин соберет ее опять под свою высокую руку.

На лицо Кониса набежала тень, и он опять взглянул на Юрия.

— Клевещут на него, — прибавил он, — будто из страха перед немецким Богом он хочет покориться Его верховному жрецу... Говорят, что посылал к нему посольство... отдал дочь заложницею полякам... Дочь, может быть, и отдал, но богов литовских не предаст, иначе Литва отречется от него... Нет, нет! Гедимин хитрая лиса... он попросту хочет выиграть время, чтобы хорошо вооружиться...

Кунигас слушал, ничего не понимая. Конис горячился и говорил скорее и скорее, не заботясь о том, понимает ли его собеседник.

— Правда, чужая вера просачивается к нам отовсюду, — продолжал он, — от кривичей, от руссов... строят себе церкви, пробираются жрецы... Но тайком, скрываясь, иначе им грозит смерть... Не позволим основаться здесь чужим богам...

Конис замолк и опять обратился к Юрию.

— Говорят, будто ты сын Реды? — спросил он. — Вернешься домой, в Пиллены, на границу, в вотчину отцов?.. Помни же: обороняйся дельно, не дайся в руки немцам.

С этими словами он испытующе взглянул на Юрия.

— На твоём месте, — продолжал он, — я доверил бы охрану города другим... ты слишком долго жил среди крыжаков... не станет сил бороться с ними так, как мы...

— А почему? — спросил Юрий, снова почувствовавший себя литвином. — Разве от долгого сиденья в оковах можно привыкнуть к палачу, который нас сковал? Я научился ненавидеть свои путы!

Глаза у Кониса взыграли. Голос Юрия отозвался в его сердце, и он начал верить в силы пришлеца.

— Вероятно, ты научился также всем их хитростям? Знаешь, откуда они достают оружие? Как им владеют? Ты много можешь принести нам пользы.

Вокруг дуба наступало оживление. Небо на востоке загоралось, с минуты на минуту ждали солнца. Вокруг алтаря и дуба выстроился хор вейдалотов, буртыников, вуршайтосов и весталок, чтобы вовремя воспеть утреннюю песнь, гимн солнцу.

На жертвеннике, распаленный свежим топливом, высоко взвивался к небу столб яркого огня и дыма... Кунигас вспомнил о Банюте. Он тоскливо озирался и, не зная, что с ней случилось, решил разыскать ее. Юрий считал ее своей невестой и питал к ней братскую любовь... дрожал при мысли, что истомленная тяжелою дорогой Банюта могла тяжело захворать. Увидев стоявшего неподалеку Рымоса, он поспешил к нему; но парень знал только, что накануне девушки на руках куда-то унесли Банюту отдохнуть.

Юрий собрался уже идти на поиски, когда вдруг среди торжественной тишины, ничем не нарушавшейся после вчерашнего события, священнослужители запели гимн в честь Сауле-Лаймас<sup>[26]</sup> и Сауле-Перкунаса...

Впервые после гордых мальборгских храмов и покаянных песнопений Юрий услышал богослужбное песнопение язычников...

Они не смели петь во весь голос и полной грудью... иначе задрожал бы лес и откликнулся далеким эхом... песнь плыла, спокойная и грустная, как тихая вода... Юрий не понимал слов, но чувствовал ее таинственный, великий смысл, коренившийся во тьме веков...

Песнопения и псалмы, которые он раньше слышал в костелах, являлись творчеством вдохновенных людей, святых пророков... а эта песнь была безродная. Отцом ее был весь народ, а матерью седая древность. Она росла слово за словом, стих за стихом, ширясь с каждым поколением, чтобы оставить память о нем в потомстве.

Кунигас ничего этого не знал... но чутье подсказало ему, что творцом гимна был не человек, а весь народ. В его груди проснулись дремавшие воспоминания, и всколыхнулась кровь прапредков, от

которых он вел свой род. Слова ускользали от его понимания, но общий смысл гимна солнцу Юрий как будто осязал.

Из-за черной стены лесов, из-за лавы темно-синих туч выплыло в эту минуту Лайма-Сауле, и священный дуб весь пламенел в его лучах...

## IX

Поляна была еще полна отзвуков утреннего гимна, когда на ее опушке, у леса, стала собираться толпа любопытных женщин, поминутно нарастая, вокруг шалаша Яргалы, матери Банюты.

Все матери хотели видеть это чудо: девушку, вырванную из крыжацких рук и уцелевшую! Вчерашнюю сиротку, а сегодня единственную дочь боярыни, которая оплакивала ее столько лет...

Сложилась уже сказка, шепотом ходившая из уст в уста, будто Яргала легла спать, ничего не зная о судьбе ребенка, когда вдруг во сне явилась ей Лайма-Пани с горевшим, как солнце, ликом и шепнула ей на ухо: «Встань, иди! Окончились дни плача твоего, миг счастья для тебя настал: там, на голой земле, спит дочь твоя, Банюта!»

Пошла старуха-мать и нашла свою пташечку...

Яргеле чудилось, будто Банюту отняли у нее такую маленькой, что она не успела вынянчить ее... потому она всю ночь, взрослую, держала ее на коленях и, обняв, качала, напевала колыбельные песни, убаюкивала... А теперь?.. Теперь она не хотела, да и не могла вывести ее на люди, обтрепанную, истомленную, измученную. Она увела ее в шалаш, подальше от посторонних взоров, чтобы принарядить, раньше чем выпустить на божий свет.

Уложила ее головою на колени, расплела ей золотые косы и, тихо напевая, стала их расчесывать... целовала в лоб и в кудри... а слезы градом падали из глаз на улыбавшееся молодое личико.

А вокруг навеса надоедливо толпились женщины...

И чего только ни понадобилось девушке: расшитая сорочка и вышитый передник с бубенцами, и алый ноле, и янтари на шею, и застежки к вороту, и ленты в волосы, и венок на голову... Хотя девушка и в пути не потеряла темный рутовый венок, только он завял, пока она спала на голой земле... Потому женщины с материнскими сердцами бегали и сносили, кто что мог, каждая с подарками, теснились вокруг шалаша Яргалы и кричали:

— Вот исподница<sup>[27]</sup> для дитятки! Нате шнурок на шею... А вот сорочка белоснежная и опоясок, как кровь алый...

И бросали приношения под завесу шалаша... Каждая хотела чем-нибудь прислужиться, и все горели любопытством увидеть девушку.

Ровесницы готовились тотчас забрать ее и отвести к огню, к вейдалоткам, чтобы она принесла благодарение Перкунасу и Лайме. А в глубине шатра ревнивая мать все расчесывала дочке волосы, сплетала и расплетала косы, пела и причитала, не желая поделиться дитяtkом с людьми... Боялась, как бы не пожрали ее взором, не отняли опять.

Банюта смеялась и, подняв руки, гладила старуху-мать по лицу...

— Не бойся, теперь уж не отнимут!

А женщины чуть не силой порывались войти в шалаш.

— Отдавай нам дочку! — напевали они со смехом. — Выведи ее на солнце, покажи на свет!

И пришлось старухе-матери надеть Банюте и белую сорочку, и исподницу, и шнурки, и венок на голову... И с каждой вещью она вздыхала... потому что вот-вот надо будет выйти и поделиться счастьем... И она откладывала и любовалась...

Такой красавицей стояла перед ней Банюта!.. Кое-что сохранилось у нее от детства, но как все приукрасилось!.. Мать целовала руки дочери, поцелуями закрывала ей глаза и повторяла:

— Раскрасавица моя!

А за шалашом незнакомые сестрицы пели и кричали:

— Выходи скорей!

Потом стали дергать за полотнища навесов и покрикивать сердито:

— Подавай нам свою девку!

Старуха в последний раз поцеловала ее в лоб и рукой откинула полог.

Банюта стояла покрасневшая; ее приветствовали громким криком, как царицу... Не осталось у нее ни следа усталости и дорожных треволнений: поцелуи матери смыли все за одну ночь... Она сияла красотой и счастьем!..

Подскочили девушки и схватили ее за руки. Толпой вели ее через поляну к дубу. По пути кучками стоял народ; молодые поднимали ей навстречу руки, старые щелкали языком... Вейдалоты и вейдалотки уже поджидали ее у ворот ограды.

Был тут и красавец Конис в белом опоясании, с блестящим жезлом в руке, и венке из дубовых листьев. Он издали приглядывался к Банюте, а когда увидел ее во всем блеске красоты, то побледнел и задрожал всем телом... Из вейдалоток ни одна не могла сравниться с нею...

На немецком ли хлебе она так похорошела или от тоски по родине? Никто не знал, что обмыли ее и зажгли на щеках ее румянец материнские слезы и поцелуи. Она шла, как распустившийся на рассвете цветок, улыбаясь солнцу...

Все девушки обступили вместе с ней огонь. Вейдалотки вели Банюту, а следом шли вейдалоты и жрецы, и знахари, и даже сам рябой расплывшийся кревуля, опиравшийся на посох... Конис что-то нашептывал ему, а тот слушал и поддакивал, кивая головой.

Весталки обвели Банюту вокруг алтаря и дуба, а гуслеры кропили ее водой из священного ручья, обсыпали житом и благословляли.

Банюта шла, как в тумане... позволяла водить себя, сажать и поднимать... Яргала с трудом поспевала за дочкой.

В воротах поджидал ее красавец Конис и не пустил дальше.

— Я к дочери! — закричала старуха.

— Иди сначала к старому кревуле, он хочет поговорить с тобой...

Он здесь хозяин и всем распоряжается.

Старуха слегка насупилась, поворчала, однако подошла.

Кревуля стоял в сторонке, опершись о палку и ждал.

— Мать Яргала, — сказал он, — итак, после долгих лет боги вернули тебе дитя...

— Благодарение богам, вернули! — воскликнула Яргала.

— А ты, старуха, думаешь, пожалуй, что они для тебя старались? — спросил жрец.

Яргала ответила удивленным взглядом.

— А для кого же?

— Мы-то знаем, ибо нам открыты божественные тайны, — медленно вещал кревуля, — затем судьба и привела ее сюда, чтобы она здесь осталась. Если бы Лайма хотела отдать дочь тебе, то привела бы ее в твою хату. Ан нет! Велела ей прийти к своему жертвеннику.

Старуха в ужасе застонала. А кревуля постукивал палкой и поглаживал седую бороду, его маленькие глазки внимательно следили за отчаянием матери.

— Такова воля богов, — прибавил он, — твоя дочь должна остаться здесь, вейдалоткой у священного огня. Вот для чего даровали ей боги спасение из плена.

Яргала бросилась на колени. Банюта, стоявшая неподалеку, окруженная подругами, вскрикнула и онемела. С мольбой протягивала к матери дрожащие руки, ибо, едва успев найти ее, вновь осиротела. Вейдалотки велели ей молчать. А старый кревуля, которому трудно было стоять долго на больных ногах, обмотанных тряпьем, присел опять на лавочке под крышкой. Поставил рядом посох, взглянул в сторонку, где стоял рог с медом, пригубил его и продолжал вещать сосредоточенно и важно:

— Вот ты плачешь! А следовало бы благодарить! Нехорошо ей будет, что ли, ходить за святым огнем, всегда чисто одетой и с венком на голове? Что лучшего можешь ты дать ей в жизни? Выдать замуж? На неустанный труд, слезы и заботы?.. А здесь тишина, спокойствие, достаток... Люди уважают, боги благословляют... Всю жизнь пропоет, как пташка...

Банюта, слушая, все более бледнела. Наконец побелела, как рубаха, которую на нее надели... вся дрожала... а глаза закрылись веками, и под ними нависли серебрившиеся слезы... У матери занялось дыхание... Затряслись ноги, и она упала ниц, рыдая... Несколько поодаль стоял кунигас Юрий. Слушал и смотрел. Брови его вздрагивали, сблизилась, насупилась... лоб покрылся складками... он побледнел... все мышцы напряглись... Он сделал несколько шагов и подошел к кревуле.

— Отче, — начал он с трудом, коверкая слова, — то, что вы сказали, никак не может стать!

Кревуля бросил на него грозный взгляд.

— Да, не может, — молвил Юрий, — я вывел Банюту, спас ее из плена и принес сюда чуть ли не на руках. По праву она моя. Она дала мне слово, как невеста, а я ей. Боги не идут в долю с людьми, а я не уступлю!

Кревуля рванулся со своего сиденья.

— Тихо ты! Извращенный, онемеченный молоколо! Перкун на все имеет право: может отнять девицу, которую уже ведут в дом мужа! Молчи, прибудное отродье!.. Молчи... И не держай!..

И вновь упал на лавку.

Юрий хотел еще что-то сказать... Но ворожеи, схватив его под руки, стали тащить назад... Глаза Банюты приоткрылись... она не отрывала их от кунигаса и глядела на него, полная отваги, хоть и сквозь слезы.

Юрий после тщетных усилий вырваться из рук державших перестал биться.

Подошел молодой Конис.

— Никогда еще, — сказал он, — боги не изрекали своей воли так ясно, как теперь... неоспоримо... даже слепой поймет... прямо из неволи попасть туда, где быть ей предназначено судьбой!.. Здесь ей подобаает остаться на всю жизнь... Мы не можем поступиться собственностью бога... Когда листья падают с неба на алтарь, их нельзя сметать... и она, как лист, упала здесь, среди святилища...

— Но я первая ее признала и приютила... я! — кричала со стонами Яргала.

Она взглянула на дочь, но по знаку, данному жрецом, вейдалотки вырвали Банюту из рук девушек и перепуганную, упиравшуюся то волоком, то на руках, затащили в свою загородку и на запор закрыли за ней двери. Раздался слабый крик... и все затихло...

Кревуля опять пригубил рог, отер губы и погрузился в мысли... Конис осмотрелся, шепотом сказал несколько слов вуршайтосам, отыскал глазами кунигаса, которого задержали у ограды, и подошел к нему.

— Не противься воле богов, — сказал он тихо, — плохое было бы начало... Девочек у нас тьма... Если же кто коснется вейдалотки, то, будь он сто раз кунигасом, смерти ему не миновать...

— Но она не вейдалотка и не будет вейдалоткой, — ответил Юрий гордо, — она моя невеста. Я засватал ее в лесу, когда вел сюда; засватал при свидетелях... они здесь налицо... целовал в уста... поцелуями мы с ней обручились...

— Нет, — решительно возразил Конис, — свадьбы не было... Она будет вейдалоткой.

Они обменялись вызывающими взглядами, и Конис ушел, не желая продолжать разговор.

Яргалу, заливавшемуся плачем, бабы подняли с земли и силой вывели за ограду.

— Чего ревешь? С ума ты спятила? — уговаривали они ее. — Ведь это счастье! Экая, подумаешь, беда, что не выйдет замуж! Зато не будет и забот! Тоже, нашла счастье, выдать замуж! Кудель да горшки, да ведра, да стирка... В поле работа, в доме перебранка... Свекровь изводит, муж гуляет... А здесь она как сыр в масле покатается!.. Золотом ее осыплют... Молчи, старая, помалкивай!

И другие приходили с утешеньями да уговорами, но все напрасно... старуха заливалась.

Кунигас горел негодованием и рвал на себе одежду... Искал глазами Швентаса, но того не было поблизости... Опыт, вынесенный из прежней жизни, пригодился теперь Юрию... Он понял, что надо напустить на себя спокойствие и затаить поглубже гнев. Научившись у крыжаков лгать и молчать, он притворился равнодушным. Уселся на земле и послал Рымоса за хлебом и медом... и такую надел на себя личину, что казалось, будто он думает только о еде да старается наглядеться и послушаться...

Из-за ограды сквозь щели долго и внимательно следил за ним глазами Конис; убедившись наконец, что гнев Юрия улегся и остыл, он медленно приблизился к нему.

— С богами шутки плохи! — сказал он ему тихо. — Ум-разум — вещь хорошая. Не знаю, как у немцев, но у нас креве и кревуля по-прежнему считаются посланниками богов, возвещающими их волю на земле. Не следует им сопротивляться...

Юрий поглядывал на Кониса и ничего не отвечал... Принесли еду и питье, и, хоть он и не был голоден, но притворился алчущим и жаждущим, чтобы поскорей отделаться от Кониса.

Тот прибавил еще несколько наставительных речений, закончил разговор словами: «бог довершает все свои дела» — и удалился.

Рымос тем временем искал Швентаса, который после долгой разлуки с родиной не мог в досталь наболтаться с земляками. Он был нарасхват, и всем должен был рассказывать небылицы о крыжаках. Рымос с трудом нашел его и привел к кунигасу. Старый детина был подвыпивши, но весел и смотрел на все самым благодушным образом.

Кунигасу удалось отвести его в сторонку.

— Ты знаешь, что случилось? — спросил он.

— Как не знать! — засмеялся Швентас. — Люди говорят, что Банюте очень повезло.

Юрий насупился.

— И охота вам сохнуть по одной девке? — перебил холоп, предвидя, что скажет Юрий. — Мать вам сыщет в сто раз лучшую... А ну их! Не вам воевать с кревулем и вейдалотами, раз они ее облюбовали...

Итак, напрасно было говорить со Швентасом и ожидать от него содействия. Юрий переменял тактику.

— Слушай, — сказал он тихо, — я вижу, что мне здесь не доверяют и следят за мной. Боюсь даже, что меня не пустят, если я вздумаю удрать (в действительности Юрий и не думал оставлять Банюту). Я здесь немного отдохну, а ты ступай, извести мать... Скажи, пусть явится за мной...

Швентас испытующе взглянул на Юрия.

— Отсылаете меня одного?

— Отдохну, — повторил кунигас, — обожду здесь людей, которых мать пришлет за мной. Иди!

Холоп задумался, поскреб в затылке, но не перечил. Медленно отошел от Юрия и поплелся к становищу. А Юрий пошел назад в ограду, разыскал шалаш, в котором провел ночь, и лег. Верный Рымос растянулся у его ног. Банюты нигде не было, ни видно и ни слышно.

Девушки по-прежнему чередовались у огня и жизнь святилища шла обычной чередой.

Тем временем кроме баб плачущую Яргалу обступили вуршайтосы и свальгоны, подсланные вейдалотами. Они улещивали ее великими посулами и уговаривали не нарекать на волю Лаймы.

— Увидишь, как все будет теперь спориться у тебя в хозяйстве... и в доме будет полная чаша, и соседи станут уважать, когда дочь приставлена к священному огню. И в хате потеплеет: очаг жарче гореть будет...

Но старуха не хотела слушать.

— Вчера ведь дочки не было, — говорили бабы, — как же ты успела к ней привыкнуть?

— Ой! Лучше бы глаза мои ее не видели, и сердце ей не радовалось, чем так скоро потерять ее! Как сон, миновало мое счастье! — плакалась старуха.

Так прошел день до вечера. Солнце закатилось. Долина уснула.

Рымос выскользнул из шалаша, чтобы отыскать, по приказанию кунигаса, Швентаса; но уже не нашел его. Старик исчез.

На другой день Юрий сновал, ходил и изнывал, не увидит ли где-нибудь Банюту, не услышит ли ее голос... Но она исчезла, как в землю провалилась, и нигде ее не было. Неужели ее тайком переправили в другое место?

Нет, один только был огонь и дуб, и одно Ромово.

Никто не догадывался о чувствах Юрия: о том, как он страдал, как упрекал себя за то, что послушался Швентаса и направился прежде всего в Ромово. Юрий расхаживал с равнодушным на вид лицом, спокойно разговаривал с Конисом, не обнаруживал ни гнева, ни тоски. Но он считал дни, когда мог вернуться Швентас. Хотя счет был ненадежный: расстояний он не знал, дорог в Пиллены было несколько, Швентас был утомлен... Да и помех могло встретиться немало.

Когда в бору раздавался стук колес и приезжали новые поклонники в Ромово, сердце Юрия стучало: он высматривал, выпрашивал, не послы ли ехали от матери... Но тех не было, как не было.

Выйдя за ограду, Юрий садился у забора, смотрел в долину и раздумывал. Его грызла тоска. Да и самая жизнь в Ромове, пища, все, что он здесь видел, были ему не по вкусу...

В замке жить было легче; хлеб вкуснее, нравы не так дики... зато здесь была полная свобода, и он чувствовал себя среди своих. Но эти свои казались ему порой чужими и возбуждали отвращение. Когда они рассказывали о своих богах, о радостях, о домашнем быте, он не мог войти в их интересы, а иногда даже испытывал чувство брезгливости. Ему очень хотелось полюбить своих, но сердце стыло... Тяжко было Юрию: он не вполне порвал с тем, что оставил в прошлом.

Народ, вооруженный дубинами и камнями, без железных доспехов, полуодетый, почти голый, в звериных шкурах, сам представлялся ему иногда звероподобным. Крыжаки, в блестящих панцирях с цепями, были представительней. Но, конечно, нельзя было отождествлять Литву с толпой, собравшейся в долине. При дворе Гедимины непременно должно было быть иначе.

Уже семь дней прошло со времени ухода Швентаса, а из Пиллен все еще не было вестей... Не убили ли его в пути? Не растерзал ли его дикий зверь? Не утонул ли? На восьмой день бор загудел от топота

коней. Не отдавая себе ясного отчета, почему, кунигас вскочил: он был уверен, что приехали за ним. Он побежал навстречу; сделал несколько шагов, остановился, а из груди вырывалось бурное дыхание...

Из лесу выезжали люди на маленьких лошадках; все вооруженные, человек около шестидесяти. Впереди, также верхом, в блестящем шлеме, ехал кто-то с мечом у пояса... Кунигасу показалось, что в числе всадников он видел также Швентаса, который, сгорбившись над вязанкой сена, с трудом держался на спине коня... но, может быть, ему только показалось, что это Швентас.

Тем временем приезжие стали сходить с коней и располагаться в долине. Предводитель в шлеме некоторое время осматривался, сидя в седле, и как будто ждал чего-то... потом также спешился, отдал коня и вместе с тем, в котором издали Юрий узнал Швентаса, стал подходить к ограде.

Сердце юноши страшно билось: это были люди его племени, его подданные. Предводитель тотчас должен будет склониться перед ним как перед властелином и пасть ниц...

Теперь он видел, что другой, несомненно, Швентас: издали он указывал на кунигаса.

Юрий гордо выпрямился, вглядываясь в подходивших. Он уже ясно различал лицо того, который шел к нему в блестящем шлеме. Странное лицо: безбородое, безволосое, суровое, гордое и грустное, с горящими глазами. Оно было во власти какого-то непонятного Юрию чувства и все дышало ожиданием, безудержною тревогой. Он то шел, то останавливался, смотрел на Юрия, насупив брови, мерил его взором... Вот он замедлил шаг... схватился рукой за грудь, точно хотел сдержать бурное дыхание...

Лицо было не мужское, но и не женское; в нем было много рыцарского, мужественного, хотя и напускного; и в то же время оно дышало страстностью и умилением. Последнее воин явно сдерживал, но с большим трудом: сжимал губы, морщил лоб, умерял шаг, как бы опасаясь слишком скоро дойти туда, куда влекло его сердце...

Юрий, вглядываясь в приближавшегося витязя, вдруг отгадал под этой маской мать. Мысль блеснула в его мозгу, как молния, и он устыдился... Но витязь, остановившись на мгновение, также, по-видимому, устыдился: ему стало больно за минуты колебания. Скорым

шагом подошел он к Юрию, молча уставился в него глазами, вскрикнул и схватил в объятия.

Редя узнала сына по большому сходству с мужем.

Потом, не выпуская Юрия, точно желая убедиться, не жертва ли она самообмана, мать открыла ему шею, почти разорвав ворот рубашки, и увидела родинку — гороховое зернышко.

— Маргер! — вскрикнула она, душа его в объятиях.

Юрий не помнил материнских поцелуев... ее страстные ласки пробудили в нем невыразимые словами ощущения.

Люди, бывшие свидетелями встречи, стали собираться вокруг них толпою... Издалека подходили вейдалоты, а вся долина гудела голосами.

Наконец Редя слегка оттолкнула от себя Юрия и стала опять взглядываться в его лицо... в глазах ее светились радость и непонятное волнение, граничившее с отвращением. Хотя Юрий был уже одет в литовскую одежду, в нем все же было что-то чуждое. Иные жесты, не та осанка, искусственная, привитая извне, не такая, какую дает ее природа. В нем чувствовался только переряженный литвином воспитанник крыжаков.

В ответ на первый же вопрос ухо матери уловило в словах сына ненавистные следы немецкой речи. Ее дитя не знало родного языка! Брови матери опять угрюмо сдвинулись, а рука точно протянулась, чтобы оттолкнуть его... Но материнская любовь одержала верх над ненавистью; ее влекло неудержимо к сыну, она опять охватила руками его шею и стала целовать.

Минута сомнений и осмотра длилась только миг. Для Реды не могло быть сомнения, что Юрий ее сын, но не таким она рисовала его в своем воображении. Повернувшись лицом к следовавшему за ней отряду, Редя сделала необходимые распоряжения, поправила на голове шлем, смахнула с лица следы волнения и, приняв обычный гордый вид, пошла навстречу собравшимся вейдалотам.

Не только Конис со своими приспешниками, но даже сам старик-кревуле, опираясь на плечо отрока, вышел навстречу славной вдове кунигаса, дочери Вальгутиса. Имя ее было известно всей Литве и повсюду пользовалось уважением; ибо в те времена ни один мужчина не мог сравняться с нею храбростью, умом, бдительностью и ненавистью к немцам.

Пиллены, давнишняя вотчина семьи, лежала у самой границы; крестonosцы неоднократно порывались завладеть урочищем; только Реда могла удержать их натиск. По ее приказу были возведены сильные укрепления. Она одна умела быть днем и ночью начеку, предупредить неожиданное нападение, не дать ни обойти себя, ни задавить превосходством сил.

Вся Литва была уже в то время под единой державной властью. И опять-таки только одна Реда упиралась и сидела в своем стольном граде, не желая подчиниться. Ей прощали, во внимание к тому, что в обороне границ никто не мог сравниться с нею.

Вдаль и вширь о ней ходила слава, как о женщине неумолимой, жестокой, дерзкой, и все ее боялись. Немцы, похитив ее ребенка, собирались, вероятно, в обмен на сына потребовать Пиллены. Но их расчеты были обмануты бегством Юрия. Реда торжествовала.

У вейдалотов и у крeвов отважная женщина, защищавшая свою страну от немцев, пользовалась, быть может, еще большим почетом, нежели у остальных своих сородичей. И она, со своей стороны, осыпала их милостями и подарками, так как ненавидела чужую веру. Потому ее приезд был очень неприятен Конису. Отнимая у кунигаса нареченную, он не рассчитал, что мать может потребовать ее обратно.

Зачем понадобилась ему Банюта? Он и сам не знал как следует. Красивая девушка произвела на него неотразимое впечатление; ему захотелось иметь ее в хоре вейдалотов, чтобы любоваться ею и не отдать ее другому... После, когда необдуманный шаг был уже сделан, благодаря поблажке слабого крeвуля, Конис понял все легкомыслие своего поступка; но отступить мешал ему ложный стыд... И потом, такая прелестная девушка, с таким почти волшебным прошлым!.. Одно оно могло привлечь в святилище неисчислимые толпы богомольцев!

Теперь же приезд Реды, которой сын мог пожаловаться, сулил непредвиденные затруднения. Тем более, что старый крeвуле так же легко мог подчиниться иной воле, как раньше подчинился воле Кониса.

В душе Конис был очень беспокоен; но когда тревога овладевает человеком его пошиба, стремящегося соблюсти собственное достоинство, не допускающее будто бы уступок, то боязнь за свой авторитет толкает его на выходки, граничащие с дерзостью отчаяния.

Банюта отошла на второй план, а главным стало опасение, как бы вейдалоту не пришлось отступить перед кунигасом.

Кунигасыню Реду встретили с величайшею предупредительностью, а старый кривуле, идя во главе, сам подвел ее к священному огню. Обычай был таков, что женщины княжеского рода, взяв из рук вейдалоток приготовленное топливо, имели право сами бросать его в огонь. Это считалось большим преимуществом и милостью и приносило будто бы удачу и благословение в делах. Подведенные к огню, княгини и княжны обычно к сухим растопкам, которые подносили жрицы, прибавляли какие-нибудь драгоценные дары огню: кусок янтаря или слитки серебра или золота. То, что оставалось в золе жертвенника, поступало в сокровищницу Перкунаса.

За Редой, гордо и задумчиво шествовавшей за кривулем, шел Юрий с поникшей головой. Кунигасова вдова, дойдя до жертвенника, вынула из кошель, висевшего у пояса, горсть серебряной монеты, и когда старшая из вейдалоток подала ей связку щепок, она вместе с ними бросила в огонь со звоном упавшие на раскаленные камни деньги.

Глаза Реды, слышавшей уже в пути от Швентаса кое-что о Банюте, с любопытством искали в толпе вейдалоток, теснившихся у ворот внутренней ограды, ту, о которой рассказывал ей холоп. Она думала узнать Банюту то в той, то в другой из жриц; но Банюты не было. Юрий также напрасно искал ее глазами.

Швентас с большим воодушевлением описывал Редке образ красавицы-литвинки; говорил о мужестве, с которым она перенесла тяжелую дорогу, о безграничном горе Юрия, любившего ту, которую считал своей невестой. Но Редке вся эта история не нравилась. Мать ревновала сына: любовь Юрия к чужой, побывавшей у крыжаков, и этим самым ненавистной девушке, казалась матери чудовищной. Редка мечтала для сына о невесте родовитой; а не о какой-то бесприданнице, дочери заурядного байораса. А потому она была почти довольна, что вейдалоты завладели ею как законною добычей. Привязанность юноши к Банюте была, в глазах матери, просто ребяческой причудой, которой она не хотела потакать. Банюту же она представляла себе по тому, что Швентас рассказывал о доме Гмунды, легкомысленной развратницей. Не о такой жене мечтала она для сына.

Трижды обойдя вокруг жертвенника, Реда склонилась перед кревулем, дала еще горсть мелкой монеты вейдалотам и повелительно, глазами увлекая за собою сына, вышла на поляну в сопровождении вейдалотов, почтительно следовавших за нею до ворот ограды.

Здесь, в долине, для нее и сына уже был разбит шатер и горел огонь, на котором жарилось мясо к ужину. Юрий шел рядом с матерью. Он с любопытством и тревогой разглядывал ее, чутьем угадав в ней волю более сильную, чем его собственная. И она, со своей стороны, присматривалась к сыну, наблюдая, какую печать наложило на него воспитание у крестоносцев. Сын представлялся ей красавцем, сердцем матери она рвалась к нему... но в то же время чуяла в нем какое-то враждебное начало.

Вокруг шатра, в котором наскоро приготовили два сиденья, стояли на почтительном расстоянии люди Реды, хорошо вооруженные, сильные, здоровые, но дикари осанкою и лицами. Они издали улыбались своему будущему повелителю, шептались и показывали пальцами.

Реда, прежде чем приступить к разговору с сыном, долго смотрела на него. Потом, еще раз откинув ворот платья, убедилась в наличии родинки. Юноша, чувствуя в ней приступы сомнения, стал робко рассказывать смутные воспоминания из прошлого. Все подтверждало его происхождение, и Реда несколько раз прерывала рассказ объятиями.

Но ломаный язык, чуждое произношение отталкивали ее, пусть даже в устах собственного дитяти. Из-под литовского наряда глядел немец, и любовь неоднократно боролась в сердце матери с глубокой ненавистью к врагам. Она не могла простить им такой коварной порчи сына...

Юрий часто искал слова... стеснялся выбором... Тогда Реда, вся пылая, торопливо их подсказывала, сердясь и теряя самообладание. Гнев матери еще более расстраивал его и нагонял страх. Радость обретения утраченного сына была отравлена для Реды.

Нескоро Маргер, как мать велела ему называться впредь, решился рассказать ей об обстоятельствах своего бегства и упомянуть Банюту. При первом слове о ней мать отрицательно покачала головой, а губы сложились в презрительную усмешку.

— Хорошо, что ее забрали вейдадоты, — сказала она, — она не жена тебе, а наложницы я не потерплю. Столько лет держали ее немцы, а ты вздумал дать мне ее в дочери? Нет, нет!..

Маргер умоляюще взглянул на мать. Стал расхваливать девушку, ее красоту, отвагу, доброе сердце, но чем больше он старался, тем сильнее негодовала Реда.

Наконец она наложила запрет на дальнейший разговор:

— Столько дней вы жили друг с другом в пути, — сказала она, — да и до того, она много терлась о людей по свету, что какая же она жена для кунигаса, сына Реды?.. Радуйся, что ее приставили к священному огню, по крайней мере не погибнет... А я знать ее не хочу...

Приговор матери, суровый и непреклонный, возмутил Юрия, всю надежду возлагавшего на мать. Он замолчал. Но Реда с одного взгляда убедилась, что сын не покорился.

«Забудет», — сказала она себе.

И, чтобы не допустить дальнейших о том же разговоров, стала с увлечением рассказывать сыну о Пилленах.

— Не время нам думать о сговоре, — воскликнула она, — о свадьбе, о брачном торжестве... Не веселиться приедешь ты в стольный Валгутисов град... Там надо денно и ночью быть настороже... Пиллены не крыжацкий замок, а пограничная вышка, в которой нельзя ни дремать, ни покладать оружие.

Крыжаки издавна косятся на нас, а я, бедная женщина, должна заменять там твоего отца. Теперь настал твой черед, а я вернусь к веретену, хотя едва ли сумею удержать его. Не время тебе жениться, Маргер. Ты знаешь немцев и крыжаков, их хитрости и подходы, ты будешь нас учить. На это и вернули тебя боги родине, на то и хранили тебя в неволе, чтобы ты вынес из нее то, что нам нужно знать, что было для нас тайной. Ведь немцы ничего не скрывали от тебя...

Маргер молчал, погруженный в мысли. Так прошел вечер в бесплодных разговорах. Реда не давала ему даже много говорить, настолько неприятен был ей чуждый оттенок голоса и ударения. И сам Юрий, стыдясь своего неумения, заикался и говорил урывками.

На другое утро кунигасыня назначила выезд назад, в Пиллены. Постель из листьев была постлана для матери в шатре; а для Маргера люди приготовили ложе в наскоро сложенном из веток шалаше. Войдя

в него, юноша присел в задумчивости; сон бежал его. Странная, грозная, хоть и любящая мать, приказаниям которой он должен был повиноваться, рисовалась в его мыслях бок о бок с Банютой, последний крик которой еще звенел в его ушах.

Ему велели отказаться от Банюты? Неужели он послушается?

Не зная, что ждет его в Пилленах, Юрий колебался как быть дальше. Конечно, без Банюты ему жизнь не в жизнь, пусть даже наперекор желанию матери. Ведь он мужчина и должен настоять на своем.

Тоска по девушке, утраченной внезапно, с которой сблизил его превратности пути, не давала Юрию сомкнуть глаза. Он выглянул из шалаша. Кругом в повалку спали люди. Огни погасли. Ночь была темная, но звездная. Месяц восходил поздно. Маргер вышел из-под навеса и присел подышать на свежем воздухе, так как в шалаше было душно. Величественная тишина царила над долиной, и только соловьи без устали заливались среди леса. А за дубом чуть виднелся небольшим кровавым заревом священный огонь, также дремлющий, полупогасший... Где-то там была Банюта, под охраной вейдалоток.

Она так же тосковала по нему, как он по ней. Может быть, надеялась, что он освободит ее.

Ни одному литвину, даже самому отважному, не могло бы прийти в голову похитить от алтаря предназначенную богу жертву. Мужчинам воспрещалось даже подходить к ограде девушек, служительниц огня. Перун карал предерзких смертью.

Но чем мог быть для питомца крестоносцев деревянный чурбан бога и все их языческие святыни?

Всякая страсть слепа. Так и Маргер, горя любовью, потихоньку встал, зашевелился и, крадучись осторожно между спящими, без ясной еще цели стал подходить к ограде. Там наверняка была Банюта в заточении! В голове его не было иной мысли. Она там.

Продираясь левее, через густые заросли, Маргер понемногу дошел до ручейка.

Легко перескочив на другой берег, он добрался до ограды. Ему казалось, что не трудно достигнуть частокола, окружавшего убежища жриц огня, подслушать, что там говорится... Он не знал, зачем и для чего.

Все кругом было погружено в глубокий сон. Заборы, окружавшие внутренний дворик, оказались гладкие, высокие, и перелезть через них было невозможно.

Маргер был не прочь перемахнуть на ту сторону без долгих размышлений, хотя отнюдь не мог быть уверен что найдет там ту, которую искал. Пришлось обойти заборы стороной. Когда он прикладывал к ним ухо, изнутри доносилось до него ровное дыхание, как у спящих. Упорная тоскливая мысль повторяла ему: там Банюта!

Раз и другой обошел он вокруг ограды, руками цепляясь за колья тына, точно желая разнести их в щепки. Вдруг, оглянувшись, он увидел в нескольких шагах позади себя какое-то двигающееся существо, следившее за ним, как тень. Вне себя от сознания беспомощности, первым движением его было броситься на преследователя. Но, когда он уже почти придавил его собой, схватив за плечо, то узнал Рымоса.

Рымос, испугавшись за своего кунигаса, когда заметил его ночное предприятие, пошел за ним следом. Итак, преследователь оказался не врагом, а скорее помощью.

Мысли молнией чередовались в мозгу Маргера. Он подтолкнул Рымоса к забору и вскочил к нему на плечи. В таком положении он мог в промежутки между зубцами частокола бросить взгляд во внутренности двора.

Под открытыми навесами, кругом, на сене и шкурах, лежали вейдалотки. Три сидели, готовые сменить бодрствовавших у огня. Они тихонько перешептывались и позевывали от усталости.

Рыская глазами по всем закоулкам, Маргер под одним навесом заметил девушку, сидевшую на посланной постели и не спавшую по доброй воле. Сердцем он узнал Банюту. Вперив в нее глаза, он стоял на спине Рымоса, порывисто дыша, сам не зная, на какой безумный шаг решится, может быть, через мгновение; но, на его счастье, сидевшие вейдалотки встали, открыли ворота и пошли сменить стоявших у огня.

В распоряжении Маргера был только миг, чтобы осведомить Банюту о своем присутствии раньше, чем вернется смена. Все остальные вейдалотки спали... Он громким шепотом позвал ее по имени...

Банюта быстро вскочила на ноги, осмотрелась, взглянула вверх, не столько узнала, сколько угадала милого и потянулась к нему

головой и руками.

— Банюта! — зашептал он скороговоркой. — Не бойся! Жить не буду, а спасу тебя, только берегись, не дай заманить себя к огню: если только раз бросить на алтарь лучину...

Он не успел окончить. Три старые девы, утомленные бдением у жертвенника, вошли во двор, зевая и подпевая.

По их виду можно было догадаться, что они немного подкрепились из жертвенных бочонков. Одна из них увидела стоявшую у забора Банюту, но не заметила Маргера.

— Эй ты, беспутная коза! — окликнула она Банюту. — На сено! Спать! Чего ты, язва, шляешься по ночи? Не думаешь ли махнуть через тын к любовнику?

И засмеялась.

— Дудки! Теперь ты Перкунасова невеста! Ни один мужчина не смеет тебя тронуть. Нечего даром надрываться, а кунигаса своего выкинь из головы! Бог получше кунигаса. Спать, соплячка!

Перепуганная, Банюта скрылась под навес, бросилась на сено, закрыла лицо передником и зарыдала. Но в сердце у нее вспыхнула искорка надежды, потому что милый обещал освободить ее.

В комнате с гранитным столбом, в Мариенбургском замке, собралось в сумерки многочисленное общество, состоявшее из старейших членов ордена и гостей. Характер сборища показывал, что люди сошлись не для забавы, а для важного дела. Почетнейшие гости из Германии, Англии и Франции сидели на скамьях вдоль стен, прислушиваясь к тому, что говорили члены ордена, но сами почти не принимая участия в военном совещании.

Великий магистр стоял, чутко ловя ухом каждое сказанное слово; временами он одобрял того или другого кивком головы, иногда сам вставлял несколько слов. Но главная роль принадлежала в данном случае не ему, но маршалу в качестве главнокомандующего вооруженными силами ордена...

— Та война, — говорил маршал, обращаясь к графу Намюру, — которую мы здесь ведем с язычниками, совсем не похожа на ваши западные войны. Не похожа даже на войну, которую наш орден вел когда-то на востоке с сарацинами. Не знаю даже, война ли это. Орда, с которой мы здесь боремся, редко может устоять против нашего натиска и прекрасно знает свою слабость. Если их менее чем десять против одного, они уклоняются от битвы... Вся борьба сводится к подсиживанию и выслеживанию врагов, и в этом ее особенность. Мы выжидаем, пока враг не заснет; ищем место, где он меньше всего нас ожидает... А тогда обрушиваемся на него, как лавина, как гроза, выжигаем поселки, забираем скот, истребляем жителей, уничтожаем все огнем и мечом и уходим раньше, чем враг очнется и пошлет в погоню... Частенько бывает, что они нас настигают, и, обремененные добычей, мы должны отбиваться от них среди болот и трясин, как от муравьев... Если их немного, мы переходим в наступление и избиваем их, как комаров; но беда, когда они одолевают численностью: тогда нет предела их жестокости и нашим нет пощады...

— Случается порой, — прибавил старый Зигфрид, — что и они вторгаются в наши пределы и тогда грабят без милосердия.

— Все ведение войны, — продолжал маршал, — сводится к нападению врасплох, к вторжению в незащищенные местности.

— Своего рода охота! — заметил князь Бранденбургский.  
Некоторые усмехнулись.

— Предположенный поход, — перебил Великий магистр, — носит несколько иной характер. Необходимо сломить их сопротивление в совершенно определенном месте пограничной черты. Там построена у них довольно основательная крепостица; большая невидаль у таких диких идолопоклонников. Ее, безусловно, нужно уничтожить.

— Да, — прибавил маршал, — крепость нужно взять во что бы то ни стало и сравнять с землей... Иначе нельзя проникнуть дальше в глубь страны, оставив в тылу такой оплот. В этом логовище постоянно толчется множество людей, все отъявленные дикари, необычайно чуткие.

— До сих пор взятие Пиллен представлялось необычайно трудным, — сказал один из присутствовавших комтуров, — так как они с трех сторон защищены рекою. До них не доберешься.

— Средство отыскалось, — усмехнулся маршал, — мы надеемся, что оно окажется действительным.

— Какое средство? — спросил князь Брауншвейгский.

— Мы велели выстроить огромное судно, — с горделивою улыбкой ответил комтур, — даже более того: не судно, а плавучую крепость. Оно поплывет вниз по течению под самый замок, и мы поведем штурм с реки. Постройка крепкая, людей поместится достаточно, а сражаться на нем так же безопасно, как на твердой земле.

Граф Намюр усмехнулся.

— Прекрасная идея, если только вода сдержит такую исполинскую машину.

— Река глубокая, а наши люди прекрасно знают мели, — возразил маршал, — все предусмотрено. На этот раз замку не уйти от наших рук.

— Дай-то бог! — вздохнул магистр. — Падение Пиллен будет иметь огромное значение для дальнейшего завоевания страны. Пиллены заграждают нам дорогу, как скала среди течения реки.

— К тому же все обстоятельства говорят за то, — прибавил Зигфрид, — что и для нас Пиллены будут со временем надежнейшим оплотом.

С этими словами он обратился к молчаливо стоявшему в тени Бернаруду.

— Неправда ли, Пиллены — вотчина вашего сбежавшего питомца? — спросил он. — Кто знает... Ведь, пожалуй, ему удалось до них добраться?

— Сомневаюсь, — молвил Бернард, — только безумство молодости могло толкнуть его на такой отчаянный шаг. Они либо погибли от голода, либо от когтей хищников.

— Но ведь питомец ваш был не один, — с ударением прибавил комтур Балгский, — он взял с собою пожилого, опытного человека.

— Скотину, полуидиота! — с волнением воскликнул Бернард и вздохнул.

Кто-то из недоброжелателей Бернарда уловил этот вздох и воспользовался им:

— Да вы, пожалуй, втайне не прочь бы и порадоваться спасению отступника; вы, говорят, привязались к делу рук своих.

Бернард, почувствовав удар, угрожающе обернулся к нападавшему.

— И не отпираюсь, — возразил он, — может быть, я виноват, но вина моя от чистой совести. Он был ребенком, а в детях все наше упование. И, если бы не чье-то загаданное влияние, в котором, вероятно, была повинна воспитанница сестры Зигфрида, то из мальчика со временем вырос бы поборник и столп ордена.

— О! — засмеялся Зигфрид. — Пора бы вам уж излечиться от страсти обращать и перевоспитывать язычников! Избивать их надо и резать, брат Бернард: вот единственно разумная политика!

— Кровь сказывается у них даже в десятом поколении, — подтвердили некоторые.

— Однако если он добрался до Пиллен, к матери, — проворчал маршал, — то, хоть и не велика в нем сила, а все же скверно, потому что он знает нас лучше, чем другие.

— А по-моему, наоборот, — возразил Бернард, — он знает нас и наши силы, то есть, иначе говоря, постарается выбить им из головы напрасное сопротивление. В последнем я почти уверен. Упорство язычников, их заносчивость коренятся в незнании той силы, против которой они пытаются бороться.

— О, защищаться они умеют! — перебил со смехом комтур. — Я хорошо их знаю! Они неисправимо храбры в минуты безысходного отчаяния: будут драться так же, как дрались раньше, до последнего человека.

Общий разговор сменился перешептыванием, так как присутствующие разбились на маленькие группы. С одной стороны беседовали гости; комтуры рассуждали о Пилленах; Великий магистр спрашивал о судне.

— Судно почти совсем готово, — ответил комтур, которому была доверена постройка, — надо только осмолить дно и нагрузить корабль припасами: там, на месте, ничего не достать, а осада может затянуться.

— В самом деле? — молвил маршал. — А мне кажется, что при виде такой махины их охватит ужас.

— Если я не ошибаюсь, — перебил комтур, — то она не будет для них новинкой. Хотя мы строили корабль в укромном уголке, но у них есть соглядатаи, которые, несомненно, донесли в Пиллены обо всем. А догадаться, зачем мы его соорудили, совсем не мудрено.

Все снова замолчали.

— Одновременно с нападением водою, — продолжал Великий магистр, — необходимо осадить Пиллены также с суши, для чего потребуется перевезти людей на другой берег. Нужно окружить крепость со всех сторон. А впрочем, Пиллены надо взять, не щадя сил и крови.

— Несомненно, — подтвердил поспешно маршал, — пока Пиллены держатся, шагу нельзя вступить в глубь страны.

— Язычники, несомненно, понимают это, — молвил Зигфрид, — а потому мы должны быть готовы к отчаянному сопротивлению.

— Мы готовы, — раздался голос из темного угла.

Совещание уже близилось к концу, когда в дверях, выходящих в большую залу, появился крестоносец в полном вооружении, прямо из седла: усталый, запыленный, в измятом плаще. Один из контуров узнал вошедшего, вскочил с места и в тревоге пошел ему навстречу.

Лицо прибывшего, Ханса фон Хехтена, было искажено гневом, который он с трудом сдерживал. При виде собравшихся он смешался, так как не хотел каяться в случившемся в присутствии такого множества людей, в особенности посторонних. Он обвел всех глазами и собрался было ретироваться, но было уже поздно: он успел привлечь

всеобщее внимание. Великий магистр, догадавшись, что фон Хехтен прибыл со спешными вестями и надеялся найти его в доме совещаний, обратился к нему без обиняков с вопросом:

— Какие привезли нам вести?

— Зачем оставили свой пост? — прибавил комтур. — Я назначил вас в охрану, кому вы передали полномочия?..

Комтур не успел окончить, как Ханс, взглянув на него из-под нахмуренных бровей, в отчаянии заломил руки.

— Что случилось, что случилось? — накинулись на него все с вопросами.

Ханс молчал. Тогда комтур в нетерпении стал торопить его взглядами и ворчливой бранью.

— Незачем было оставаться, — начал Ханс, — корабль, стоивший стольких денег, труда и времени...

Комтур и прочие невольно вскрикнули.

— Не существует! — окончил Ханс, в ярости грозя кому-то кулаком. — Нет его!

Великий магистр, заметив, что рыцаря со всех сторон закидывают вопросами, на которые он не успевает отвечать, воскликнул повелительно:

— Рассказывайте, что и как случилось! Все до мелочей, не утаивая ни одной подробности. Необходимо найти виновника!

Ханс отер струившийся с лица пот.

— Нет виновника, — перебил он тем же тоном, полным негодования, — не виноваты ни я, ни мои товарищи. Пусть меня судят и казнят. Судно было окончено, мы его грузили, отведя от пристани на самое течение. Плавучесть была хорошая, и мы прекрасно добрались бы под Пиллены. Но был дан приказ взять с собой припасы: их мы и ждали. Тем временем эти головорезы дознались о постройке корабля и смекнули, что им грозит. Ночью мы стояли посреди реки, когда украдкой к нам пристали несколько лодок. Никому и в голову не могло прийти, ни в мыслях не было, чтобы на нас осмелились напасть.

На окрик стражи какой-то молокосос ответил с лодок по-немецки. Потом-то я узнал его: это был отступник Юрий, ваш воспитанник (последние слова были сказаны в сторону Бернарда). В один миг, раньше, чем мы могли опомниться, сидевшие в лодках люди перебросили к нам через борт скрытно привезенный с берега огонь.

Пылающие головни упали на днище судна, где лежала пакля и смола, служившая для конопатки. Вмиг начался пожар. Мы все как есть бросились тушить и спасать судно. Но пришлось защищать собственную жизнь: на лодках и вплавь окружили нас несколько сот литовцев. Корабль пылал, о тушении не могло быть и речи; пришлось спасать собственную шкуру.

Крестоносец тяжело вздохнул.

— Прямо из огня мы бросались в воду, а здесь подстерегала дикая орда с дубинами и ножами. Немного нас спаслось, а судно сгорело дотла.

Все молчали под впечатлением известия, уменьшавшего расчет на успех похода. Бернард стоял, скрестив на груди руки, поникнув головой, как осужденный.

— Такое нападение, — прибавил Ханс, — совершенно не пришло бы в голову литовцам, если бы не тот предатель и беглец. Не услышь мы в первую минуту его немецких слов, мы сразу бы насторожились, и им не удалось бы подпалить нас изнутри. Притом не только питомец брата Бернарда, но еще двое таких же, как он, отступников, ответили: «gut Freund»... Дерзость беспримерная!

Глаза многих обернулись в сторону придавленного новостью Бернарда; он молчал. Чужеземцы, плохо разобравшиеся в рассказе Ханса, обращались направо и налево с просьбами кто перевести, кто разъяснить. Разговоры приняли бурный характер. Слышались угрозы и проклятия. Великий магистр очень хладнокровно обдумывал, казалось, дальнейший план действий. По-видимому, он меньше остальных принял к сердцу людские потери и утрату военных припасов и нравственный ущерб.

— Случившееся, несомненно, крайне тяжело, — сказал он маршалу, — но не непоправимо. Корабль, конечно, был бы очень кстати, но мы сумеем справиться и без него. Однако нельзя терять ни одного мгновения. Если только дикари заметят, что мы оробели, отступились от своей задачи, они станут еще назойливей. Мы должны во всем составе двинуться на Пиллены и уничтожить все это отродье. Сколько человек погибло вместе с судном? — спросил он Хехтена.

Тот ответил, понизив голос. Потеря в людях, принадлежавших к ордену, была ничтожна, а батраки в расчет не принимались.

Маркграф Бранденбургский, слушавший рассказ Хехтена с гневным нетерпением, вдруг вспыхнул:

— Боже милостивый! — закричал он. — Да какая же там может быть у них непреступная твердыня, чтобы нам сомневаться в наших силах? Бревенчатые клетки? Хорошо, если кое-где смазанные глиной! Ну, допустим: с одной стороны у них река; зато с другой — земля: мы там и высадимся! Как они сожгли корабль, так мы спалим их поленицу. Невелико искусство — обмотать копья паклей, облить смолой и запустить на крыши. Возьмем и уничтожим!

— Необходимо, — подтвердил Великий магистр, — притом не теряя времени, чтобы не дать собраться с силами.

— В поход немедленно! — отозвались единогласно комтуры.

Маршал, взглянув на них, сказал:

— Итак, поименные приказы в данном случае не нужны. На сборы достаточно завтрашнего дня.

Все зашевелились и стали выходить из залы. Великий магистр вернулся в свои покои. Иные, громко обсуждая предстоящее, уходили через большую залу. Один Берnard остался, как пригвожденный к месту.

Ханс фон Хехтен, продолжавший отвечать на разнообразные вопросы, собирался оставить залу вместе с прочими, когда Берnard, выйдя из своего угла, стал ему поперек дороги. Они были знакомы, но между молчаливым, таинственным Берnardом, и Хехтеном, почти не сходившим с боевого коня, были очень холодные отношения. Они друг друга недолюбливали.

С предупредительной лаской, которая, видимо, стоила Берnardу больших усилий, он взял Хехтена за руку. Тот дал остановиться себя. Берnard заговорил, умоляюще глядя на Хехтена:

— Прошу вас, не откажите мне в нескольких словах. Наверняка ли вы узнали того негодяя... его... моего питомца?

Хехтен ответил вызывающе, почти грубо:

— Без сомнения. Я-то, быть может, и не узнал бы; нечасто приводилось видеть. Но другие, хорошо знавшие его, в один голос называют вашего питомца. Он командовал. Он же первый бросился на судно.

Берnard стиснул руки.

— Итак... он уцелел! Значит, он в Пилленах! — отозвался Бернард вполголоса. — Непонятно, как он прошел такое расстояние, как избежал погони?..

— Что в этом непонятного? — насмешливо возразил Ханс. — По пути я слышал, что, сбежав, он увел и того, другого вашего прислужника, старого холопа, долго бывшего у вас на шпионёком счету... Только, кажется, он старался не для вас. Ему-то были знакомы все ходы и выходы...

С этими словами Ханс взмахнул рукой, все еще закованной в железную перчатку.

— Воистину, беда, — воскликнул он, — когда орден начинает пускаться на хитрости и козни, вместо того чтобы доверять только мечу! Все эти заигрывания с поляками, поморянами или Литвой против Литвы же ни к чему не приводили. Наше дело — напялить доспехи и драться.

Бернард промолчал, как уличенный преступник.

Ханс ушел, а Бернард остался один со своими мыслями. Когда он уже собрался так же выйти из залы заседаний, вернулся Великий магистр. Увидев Бернарда, он окинул его взглядом и сказал, соболезнуя:

— Зло восторжествовало! Для нас наука, но вы не желали зла и не могли его предвидеть. Идите вознесите свое горе на алтарь Господен!

Со смирением и глубокой благодарностью выслушал Бернард утешения магистра и ушел.

По всему замку успела уже разнестись весть о выступлении.

Каковы бы ни были последствия экспедиций против язычников, все же приготовления ко всякому набегу приветствовались рыцарством как величайший праздник. Все поголовно хотели идти, все ликовали. И господа, и батраки, и челядь всячески старались не попасть в охрану пустовавших замков. На войне было свободнее, представлялись случаи и поразвлечься и зашибить деньгу.

Потому неудивительно, что на другое утро, в день, назначенный для сборов, в Мальборгском замке царило радостное оживление, шум, крик, хохот, как будто в предвкушении еще не одержанной победы. С утра были разсланы всем комтурам приказы немедленно явиться, со всеми свободными от местной службы силами, на заранее условленные сборные пункты. Некоторые из комтуров самолично отправились на свои посты, чтобы, собрав людей, идти на соединение

с главными силами. Нагружали возы, вьючили лошадей, начальство подбирало штаты служащих и оруженосцев.

Бернард, не получивший еще приказаний готовиться в поход, сидел, запершись в своей коморке, полагая, что за вину свою будет осужден на бездействие. К нему, одинокому и погруженному в нерадостные думы, зашел брат-лазарит Сильвестр. Тот с первого взгляда увидел, что Бернард тоскует и, как добрая душа, подошел к нему с улыбкой сострадания:

— Пришел спросить, — сказал он, — не возьмете ли и вы с собой живой воды или какого-нибудь лекарства?

— Но, отче, — возразил Бернард, — вернее всего, что я останусь здесь при вас и при живой воде. Я не значусь в числе участников похода, а сам не хочу напрашиваться. Вижу, что все братья питают ко мне злобу и ставят мне в укор, что я воспитал предателя.

И Бернард взглянул на старичка Сильвестра, который, всегда верный себе, с присущею ему подвижностью, вертелся на месте и подергивал плечами.

— Может быть, они и правы, — прибавил Бернард, обращаясь к Сильвестру, — когда говорят, что языческих детей лучше избивать, чем взращивать! А я... я... — молвил он, колеблясь и глядя на брата-лазарита, — я, дав орденский обет, не совсем перестал быть человеком.

Сильвестр сочувственно посматривал на Бернарда.

— Меня упрекают за привязанность к питомцу? — продолжал тот. — Винюсь... но ведь он был ребенком...

Бернард замолчал.

— Да и я полюбил его и жалел, когда он занемог, — вставил Сильвестр. — Оба мы, брат Бернард, пришли не ко двору у этих железных рыцарей. Счастье, что на мою долю достался лазарет...

— Мне очень жаль бедного, опутанного мальчика, — продолжал Бернард, — он, без сомнения, погибнет. Вероятно, он в Пилленах, у матери, куда идут главные наши силы. Не миновать ему смерти.

Дверь отворилась, и вошел компан маршала.

— Вы также назначены в поход, — сказала он, заглянув в список, который держал в руке.

— Я? — спросил недоверчиво, волнуясь, Бернард. — Я?

— Да, вы, — повторил равнодушно компан тоном человека, исполняющего приказание. — Великий магистр и маршал надеются, что если осада города представит непредвиденные трудности, то вы постараетесь уговорить защитников. Предполагают, что верховодит там тот ваш молокосос...

Компан маршала ушел.

Бернард заторопился, осматриваясь в келье. Давно уже не требовали его на войну. Приходилось подобрать людей, лошадей, прислугу. Времени оставалось мало. Наутро, после молебна, крестоносцы и приезжие рыцари должны были тронуться в поход. Обозы с припасами уже выступали.

Великий магистр оставался в Мариенбурге. Предводительствовали, как обыкновенно, великий маршал и комтур. Начальствующие шли в полном составе.

Давно уже не помнили такого размаха сил со стороны ордена. Предвиделась не битва, на которую никто не рассчитывал, а тяжелая осада, которая могла затянуться надолго.

С большой торжественностью вышел из орденской столицы передовой отряд: с развернутыми знаменами, песнями и возгласами. Все городское население толпилось у ворот, любуясь ратными людьми, выступавшими в полном вооружении, в праздничных одеждах, с рыцарским воодушевлением. За каждым крестоносцем шла его личная охрана: компаны, сержанты, пажи, оруженосцы с копьями и щитами. За каждым четверьмя рыцарями везли следом общий для них шатер. В числе участников было также несколько капланов, отличавшихся от прочих рыцарей более длинными, застегнутыми на все пуговицы, кафтанами и плащами без рукавов с распятиями. Особенное внимание привлекали рыцарские дружины немецких, английских и французских гостей, щеголявшие роскошными и пестрыми нарядами.

Все это войско сплошной массой двинулось в поле за проводниками, указывавшими дорогу. Оно представляло очень внушительную силу и шло, радуясь весне, солнцу, чистому воздуху.

Позади, на некотором расстоянии от прочих, как бы намеренно избегаемый соратниками, ехал Бернард, закрыв лицо опущенным забралом. У него единственного были в руках грубой работы четки, охотно позабытые остальными рыцарями. Зато компаны и челядь вели за ними своры собак и несли соколов.

Поход через собственные земли ордена был не более как веселою прогулкой. По пути численность войск росла, так как из соседних замков прибывали новые отряды.

Чем ближе к границе, тем нетерпеливее становилось войско. Соглядатаи, высланные на разведку, доносили, что все кругом тихо и спокойно и что в Пилленах не видно никаких приготовлений к обороне.

В последний день решили идти форсированным маршем и немедленно по переправе через Неман осадить замок, чтобы не дать времени увеличить гарнизон или принять какие-нибудь меры к защите города. Все было устроено с таким расчетом, чтобы на послезавтра ранним утром тихо и в порядке переправить через реку весь отряд.

Уже в сумерки того же дня передовая рать дошла до берега. И почти одновременно спустившиеся по течению лодки и паромы стали перевозить храбрейших и лучше всего вооруженных воинов.

Все, казалось, шло, как по маслу. Замок наверху холма стоял, как мертвый; ни в нем, нигде вокруг не было заметно ни малейшего движения. Никто не показался на окопах, а на башенке не развивалось ни значка, ни ленточки.

Бревенчатые стены исполинской постройки грозно чернели на светлевшем небе. Над ними подымалась только синеватая струйка дыма.

Через лазутчиков крестоносцы знали, что со стороны твердой земли расположены у крепости предместья, в которых живет часть городской охраны. Потому первая высадившаяся горсточка рыцарей и челяди бросилась к мазанкам и лачугам, в надежде добыть «языка» и пленных. Но все подгородные постройки пустовали и стояли настеж.

Крайне удивило также нападавших, что, грабя по всем закуткам и уголкам, они не обнаружили ни запасов, ни домашней утвари. Население успело не только спастись, но и забрать с собою все, что могло бы пригодиться неприятелю.

Оказалось таким образом, что поход, предполагавшийся внезапным, был издавна учтен пилленцами и они к нему готовились. Челядь тотчас же стала располагаться в мазанках, а крестоносцы во всем составе отправились в объезд вокруг стен, высматривая место, наиболее удобное на случай штурма. Те же, которые в пути издевались

над пресловутою твердыней, должны были сознаться, что она совсем не так слаба, как они думали.

Между тем внутри крепости царствовала все такая же, как раньше, зловещая тишина. Незнакомым с местным бытом могло бы показаться, что крепостца оставлена защитниками на произвол судьбы, как окружавшие ее мазанки. В ней не было ни малейшего признака жизни.

Ратники из холопов, обнаглевшие под впечатлением того, что им казалось слабостью, не ожидая переправы через Неман главных сил, толпою бросились с одной стороны на стену. Их боевые клики никого не вызвали из города. Защитники не помешали им добраться до частоколов и оград. Когда же нападавшие, дойдя до тына, собрались одни перелезть через него, а другие, которые посмелей, подложить под него огонь, то вдруг посыпались стрелы и камни так густо и так метко, что передние ряды стали падать. Неприятель, скрытый за оградой, был невидим и безмолвно, без малейшего крика обдавал нападавших градом метательных снарядов. Несколько человек были убиты, несколько десятков ранены, а маршал, наблюдавший издали картину боя, с гневом приказал дать знак к отступлению. Но и без того весь сбежавшийся сюда из обоза сброд отпрянул далеко назад, дальше, чем был раньше.

Первая попытка овладеть Пилленами показала только, что не следовало относиться свысока к этой «поленнице».

Войско крестоносцев расположилось широким полукольцом в долине, так, чтобы совершенно отрезать сообщение замка с сушей. Среди старых верб стали разбивать палатки, расставлять повозки, намечать расположение отрядов. А орденское знамя, поставленное в загородке перед досчатым помещением для маршала, служило предостережением, что орден выставил свои отборнейшие силы.

В этот день осаждавшие больше ничего не предприняли.

На высоких стенах города вскоре, как тени, стали бродить молчаливые люди. Несколько человек долго стояли, всматриваясь в даль, на башенке. На одном из ее углов, как бы в насмешку над белой с орлом и крестом хоругвью магистра, подняли широкий белый плат с голубыми поперечными столбами. Рыцари приветствовали знамя хохотом.

— Видно, что в замке хороводят бабы, — кричал Зигфрид, — вывесили юбку вместо знамени!

Около полудня маршал пригласил начальство на совет: с чего начать осаду?

Тщательный осмотр всех внешних укреплений города не обнаружил ни входа, ни ворот, ни какой-либо лазейки, по которой можно бы безопасно подкрасться под стены. Замок был, по-видимому, так прочно отрезан от внешнего мира, что забраться в него могли бы разве только птицы; выбраться — кроты.

— Возьмем их измором, — сказал маршал.

— Конечно, — возразил великий комтур, — однако, если они нас ожидали, о чем, по-видимому, говорят опустошенные предместья города, то, несомненно, запаслись всем необходимым. А мы знаем, что они довольствуются очень малым, привычны к голоду; значит, могут продержаться нас здесь так долго, что игра не будет стоить свеч.

Князь Брауншвейгский и граф Намюр, которым хотелось поскорей начать и окончить войну, и слушать не хотели об изморе. По их мнению, следовало, не теряя времени, завладеть окопами, добраться до деревянных срубов, посесть и попать их. Великий маршал хотел на другой же день наготовить смоленых стрел и копий и попытаться забросить их на крыши.

При разбивке лагеря Бернарду досталось место около самого холма в небольшом углублении, похожем на нижнее жильё оставленной землянки. Здесь ему пришлось разделить палатку с двумя другими рыцарями. Несколько крупных камней посреди впадины, казалось, были остатками от очага. Между валунами рос лозняк; здесь же поставили возы и шалаши.

С наступлением темноты после продолжительного угощения, устроенного маршалом для приезжих гостей, все стали расходиться по своим палаткам. Хотя рыцари продолжали относиться очень свысока и к крепости, и к ее защитникам, но на ночь все-таки поставили везде дозоры.

Ночь была тихая и спокойная; люди были утомлены походом и их клонило ко сну после ужина. С часок дозор ходил зевая; потом, кто где и как, присели, а затем уснули. Бернард не мог смежить глаз, хотя оба его соседа давно храпели. Его преследовали невеселые думы.

Во всем лагере он один, может быть, не спал. Вокруг была мертвая тишина. Слышалось только глухое рокотанье волн с реки, разбивавшихся внизу у берега об огромные валуны и скалы.

Вдруг, вплотную у палатки, крестоносцу послышались шаги и шепот. «Вероятно, стража, — подумал Бернард, — кто осмелился бы ночью бродить по лагерю?»

В это мгновение откинули полотнище, закрывавшее вход в палатку, и Бернард увидел темную фигуру, заглядывавшую в глубину шатра. Бернард пошевелился на постели.

Ночная темь не позволяла рассмотреть крадущегося человека. Бернард заметил только короткий меч в его руке, мгновенно вспомнил о тайных недоброжелателях, которых имел среди орденовой братии, и в голове у него мелькнула мысль о грозившей ему чьей-то мести. Бернард схватился за лежавшее рядом с ним оружие и немедля с присущей ему отвагой так стремительно ринулся на ночного гостя, что тот не успел скрыться. При слабом свете весенней ночи Бернард различал черты стоявшего... перед ним был Юрий.

Занесенная к удару рука Бернарда дрогнула... он остановился. Юноша успел сделать шаг назад, узнал Бернарда — и кинжал, направленный в грудь рыцаря, повис в воздухе.

Ни один не крикнул. Бернард, опомнившись, попытался другой рукой схватить Юрия, но тот легко увернулся. Следовало бы позвать стражу и задержать смельчака, отважившегося забраться в лагерь, но чувство неизъяснимой жалости удержало голос Бернарда. Юрий тем временем готовился бежать.

Крестоносец вскоре справился с волнением.

— Безумный! — воскликнул он сдавленным голосом. — Безумный! Ты играешь жизнью!

Кунигас отступил еще на шаг.

— Я даровал вам жизнь, — сказал он шепотом, — не покушайтесь на мою.

С этими словами Юрий в несколько скачков отпрянул в глубь ночного мрака и вдруг упал. Гнавшийся за ним Бернард мгновенно подскочил, надеясь схватить упавшего, но нашел пустое место. Кругом лежали большие валуны, а вдали слышался неясный шум, как бы шарканье от ног приближавшихся людей.

Бернард с минуту простоял в сомнении, что делать. Глубокая жалость наполнила все его существо. Наконец он все же стал звать стражу.

Его громкий крик, раздавшийся в тиши ночного мрака, всполошил весь лагерь. А вдоль черневших стен крепостной ограды промелькнули огоньки.

Из палаток выбегали полуодетые разоспавшиеся перепуганные рыцари; челядь хваталась за оружие; недавно еще дремавшие часовые суетились и бегали вдоль вала. Никто не понял сразу причину охватившего всех ужаса.

Так как переполох поднялся там, где стояла палатка Бернарда и его товарищей, то туда и направились посланцы от маршала, разузнать, в чем дело.

Появление и исчезновение молодого человека произошло при столь странной обстановке, что крестоносец, подумав, сам пошел к маршалу. Он застал его в постели, полуодетого, не совсем еще оправившегося после вина, выпитого на сон грядущий, и крайне раздосадованного на людей, которым что-то примерещилось.

— Надо наказать глупца, затеявшего всю эту историю! — воскликнул он при виде Бернарда.

— Виновник я, — ответил Бернард.

— Вы?.. Не может быть! Каким же образом?

— Совершенно посторонний человек, с мечом в руке, пытался ворваться или, лучше сказать, проскользнуть в мою палатку, — начал Бернард.

— Не померещилось ли вам?

— Я почти поймал его.

Маршал перекрестился.

— Какой-нибудь опившийся холоп! — воскликнул он.

— Нет, литовец. Подскочив к нему, я узнал покрой одежды, а впрочем, и лицо. — При этих словах Бернард несколько замялся. — Я узнал своего бывшего воспитанника, — добавил он.

Маршал вскочил с постели и воскликнул:

— Как мог он пробраться в лагерь?

— Еще удивительнее, как он сумел уйти: исчез на моих глазах, словно в землю провалился, — продолжал Бернард. — Но дело не во мне: оно затрагивает интересы ордена. Здесь что-то кроется, не только

загадочное, но и грозное. Защитники имеют, очевидно, возможность делать неожиданные вылазки. Необходимо хорошенько обследовать всю местность.

Маршал глубоко задумался.

— Но откуда у этих дикарей умение пользоваться тайными подвохами? И что могло быть целью нападения?

— Догадываюсь, что мою палатку приняли за вашу, и готовилось покушение на жизнь полководца. Узнав меня, юноша заколебался; но раньше, чем я успел схватить его, он исчез, не понимаю, как...

Тем временем короткая весенняя ночь близилась к концу; уже светало. Маршалу не хотелось больше спать; вместе с великим комтуром и несколькими крестоносцами он отправился обследовать местность вокруг палатки Бернарда.

Тот точно обозначил им, около какого места исчез Юрий, или, как ему привиделось, упал. Кругом лежали большие, поросшие мхом валуны, и нигде не оказалось признака подземного хода или хотя бы только вскопанной земли. Большая часть присутствовавших высказала предположение, что ловкий юноша ползком добрался до ограды, пролез под частоколом и таким образом вернулся в замок. Однако маршал приказал перекопать лопатами все место. Комтур велел сдвинуть камни, и под одним из них оказалось нечто вроде узкого отверстия, сообщавшегося с подземельем. Так как грунт был песчаный, то стенки колодца были укреплены жердями и дранками.

Крестоносцы изумлялись дерзкой заносчивости осажденных и радовались обнаружению потайного хода. Но никто не отважился спуститься в подземелье. С вышки замка было прекрасно видно все, происходившее внизу, и маршал был вполне уверен, что подземелье будет немедленно засыпано.

Открытие произвело большое впечатление на осаждавших, которые не предполагали, что осажденные умеют прибегать к таким искусным способам защиты.

Немедленно со всех сторон стали ощупывать землю заступами, кольями, но ничего нового не нашли.

Все утро прошло в разных подготовительных работах. Так как стало ясно, что Пиллены могут быть взяты только огнем, из всех окрестных лесов стали свозить хворост, готовить стрелы с пучками

осмоленной пакли, сколачивать козлы и стремянки для влезания на ограды.

Но внутри замка по-прежнему не видно было никаких приготовлений к отпору. Временами только медленно скользили наверху безмолвные фигуры с торчавшими над головами палицами и секирами, в ушастых шапках; вот и все, что удавалось видеть за частоколом стен.

Спокойствие осажденных, лицом к лицу с численным превосходством крестоносцев, внушало последним уважение. В нем чуялась отвага и готовность на все. Ни один холоп или оруженосец не решался на новое нападение; они ограничивались угрозами, разглядыванием стен с приличного расстояния и высказыванием предположений о способах сообщения замка с внешним миром, так как нигде не было ни входов, ни выходов.

Начальствующие пировали почти целый день. Сероплащники, сержанты и вооруженные дружинники произвели небольшой набег в глубь страны и вернулись к вечеру с незначительной добычей, так как им удалось захватить только одну семью на поляне среди леса. Старуху и двух молодых девушек убили на месте, а мужчину пригнали как «языка» в лагерь, на привязи, позади коня.

Это был первый пленник со дня похода, а потому неудивительно, что весь лагерь собрался полюбоваться им.

В крови, покрытый слоем пыли и грязи, коренастый, малорослый, он, несмотря на страшные побои, не стонал и не обнаруживал страдания. С закрытыми глазами, с устами, запекшимися кровью, с истерзанною грудью, он давал себя бросать, бить, истязать, не испустив ни единого звука.

Его хотели заставить говорить, окружили переводчиками, дергали, грозили, топтали — ничего не помогало. Можно было думать, что жизнь его оставила, если бы не кровь, сочившаяся из ран, не теплое тело, не глаза, порой невольно сверкавшие из-под век.

Крестоносцам думалось, что они будут в состоянии дознаться от него о численности гарнизона, о запасах в крепости. Обещали сохранить ему жизнь, но ничто не побудило его говорить. Его, связанного, оставили лежать на земле, обрекая на медленную смерть. Едва дышавшего, нашел здесь несчастного пленного духовник маршала, отец Антоний. Это был один из тех служителей алтаря,

которых загнала на службу к крестоносцам ирония судьбы: человек набожный, милосердный и искренно сокрушавшийся всему, что видел. Аскет в жизни, исхудалый, слабого здоровья, он давно оставил бы орденскую службу и выбрал бы иное поприще, более соответствующее созерцательному настроению, если бы чувство долга не удерживало его здесь. Он втолковал себе, что там, где менее всего руководствовались христианским милосердием, его обязанностью было высоко держать знамя христианства. Не обращая внимания на насмешки, неоднократно сыпавшиеся на него, отец Антоний поступал всегда по влечению сердца, молчаливый, смиренный и покорный.

Увидел умирающего, он пришел к нему как милосердный самаритянин и сел рядом с ним на землю. Не дерзая разорвать оковы, он поднес ковш воды к запекшимся губам, обмыл раны на лице и на груди. Умиравший открыл глаза и метнулся всем телом, точно хотел сбросить руку, коснувшуюся его ран.

Отец Антоний для проповеди христианства выучился языку пруссаков, одинаково понятному всем литовцам. Склонившись над несчастным, он стал шептать слова Божественного утешения. При звуках родного языка умиравший еще раз поднял веки. Вздохнул, вслушиваясь в слова патера, и молвил хриплым, с трудом вырывавшимся из избитой груди, голосом:

— Зачем стараешься продлить мне жизнь? — шептал он. — Пусть скорей умру... если ты правда милосерд, то добей... Воткни кол в сердце, не заставляй страдать...

— Может быть, мне удастся сохранить тебе жизнь... Если не земную, то вечную... Помолился Господу Единому, — молвил патер. — Постигшая тебя беда обратится в вечное блаженство, если примешь веру Христову.

Рот литвина искажился; он с трудом отвернул лицо от патера и замолчал. Отец Антоний влил ему немного вина, которое носил с собой, и угасавшая жизнь вновь затеплилась. Служитель алтаря стал говорить о христианском Боге, о Его Сыне, о Царствии Небесном, которого достаточно только возжелать, чтобы обрести.

Пленник долго молчал. Но наконец сострадание, звучавшее в словах каплана, развязало язык умиравшего, и он прохрипел:

— Не надо мне вашего неба... я не найду на нем своих; никого там нет, кроме врагов...

Но отец Антоний нелегко терял надежду. Он неотступно продолжал сидеть при раненом. В таком положении застал его маршал. Он по-солдатски ударил лежавшего ногой и сделал замечание ксендзу, зачем тот напрасно теряет время и тратит силы для такой скотины.

Ксендз стал просить о жизни несчастного.

— Чтобы он сбежал в лес и мстил? — холодно спросил маршал. — Знаем мы это неблагодарное отродье! Может быть, я бы пощадил его, если бы он стал говорить. Но он дал себя замучить и языком не шевельнул.

Литвин приоткрыл глаза, точно понял сказанное... В них сверкнула ненависть...

— Попробуй попытать его, ты, отче; может быть, тебе больше посчастливится, чем нам, — сказал маршал, — ты знаешь их дьявольский язык, непохожий ни на какой другой.

Отец Антоний подошел к дышавшему еще врагу.

— Сохрани себе жизнь! — сказал он. — Ответь на то, что спрашивают!

— А на что мне жизнь? — засмеялся зловеще пленник хриплым, горьким смехом.

Ксендз притворился, что не слышал и повторил вопрос:

— Говори! Сохрани себе жизнь! Сколько в замке войска? Много ли припасов? Могут ли они оказать сопротивление?

Лоб литовца нахмурился, у рта легли глубокие морщины.

— Сколько их? — закричал он с бешенством. — Не считал никто, и они друг друга не считали! Припасов у них вдоволь. Одно я вам скажу за верное: никого живьем там не возьмете! Никого!.. А если удастся войти в город, то вам достанется только куча углей... Все смертию умрут, но и вас, проклятых, ляжет вдосталь!.. Чтоб вам всем подохнуть до последнего!.. Да разразят вас громы, псы немецкие!

Он захрипел, глаза выкатились на лоб, хлынула горлом кровь... он умер.

## XI

На другое утро после ночи, когда Маргер прокрался к ограде вейдалоток, его мать с рассветом приказала своему отряду готовиться в поход. Едва Маргер успел украдкой вернуться с Рымосом в шалаш, как люди уже стали просыпаться, повели на водопой коней, развели огни, а сама Реда, одевшись, вышла из шатра, чтобы ускорить отъезд. Рымос много раз подряд напоминал своему молодому господину, что пора собираться. Но тот продолжал сидеть, как был, полураздетый. Маргер, по-видимому, не слышал его.

Опустив голову на руку, сдвинув брови, он не двигался. Швентас, привязавшийся к нему сильнее Рымоса, дернул его за платье:

— Кунигасик, — сказал он весело, — пора одеваться. Мать ждет и сюда поглядывает. Эй же!

Маргер не шевельнулся.

Издали посматривавшая из своей палатки и не понимавшая причины страшного упорства сына, Реда подошла поближе и впилась в него глазами. Но он даже не оглянулся, а лицо у него было дикое, неосмысленное.

— Пора! Пора в путь-дорогу! — прикрикнула она.

Но сын молчал, даже не поведя на нее взором. Привыкшая к повиновению, Реда вспыхнула и голос ее принял повелительный, угрожающий оттенок:

— Вставай! Кони вмиг готовы, едем!

Тогда только Маргер медленно повернул голову в сторону матери и сказал голосом, исполненным такой же силы воли, как у матери.

— Я отсюда... ни с места!

На минуту Реда онемела. Она дрожала от ярости, хотя супротивник был ее единственным сыном.

— Что это значит? — крикнула она. — Ты?

Маргер, не двигаясь, молча смотрел в другую сторону. Собравшиеся вокруг обоих люди, свидетели происходившего, стали понемногу расступаться в страхе. Реда медленно наступала на сидевшего, пока не подошла вплотную. Тогда, рванув его за плечо, она опять прикрикнула:

— Слышишь, ты? Я тебе приказываю: вставай!

— Не встану!

Кровь бросилась ей в голову. Рука невольно схватилась за меч. Дерзкие слова, немецкий, чуждый выговор, почти заставили ее забыть, что сидевший перед нею человек — ее сын.

— Говори! — закричала она. — С чего ты вздумал бунтоваться против матери?

Подумав несколько мгновений, Маргер угрюмо, с трудом, но очень внушительно сказал, коверкая слова:

— Я хочу свою невесту. Без нее отсюда ни на шаг. Сделали ее вейдалоткой; пусть же меня сделают вейдалотом.

И зло захохотал.

— Не уйду отсюда; либо с ней вместе в Пиллены, либо... Да хоть бы назад к крыжакам...

Редая стояла гневная и бессильная. Если бы он не был ее сыном, она сумела бы отомстить. На мгновение у нее мелькнула мысль велеть связать его и увезти силой. Но, как бы угадав, Маргер схватил меч, лежавший на земле за его спиной. Все лицо его налилось кровью.

— Велю тебя взять силой! — крикнула мать.

— Не меня, а труп мой! — воскликнул юноша. — Не дам взять себя живым! Ты не мать мне! Если бы ты в самом деле была мне матерью, то не отказала бы сыну в том, о чем он просит тебя впервые в жизни.

— Околдовала его бесстыжая девка! — закричала Редая. — Пусть попалит ее там огонь, к которому она приставлена.

Маргер, не слушая, оправился на своем сиденье, осмотрел меч, оперся спиной о стенку шалаша и приготовился к самозащите.

Гнев и огорчение вызвали на глазах Редая чисто женские слезы.

— Если бы не родинка на шее, — крикнула она, — я бы отреклась от такого сына! Немецкие собаки подменили твое сердце, влили в тебя свою кровь. От тебя пахнет немцем!

— Так брось меня здесь, — молвил Юрий, — не пойду с тобой! Останусь здесь, сгину, а не пойду. Мать не мать, а я не позволю бабе помыкать собой!

— И порываешь с ней ради чужой потаскухи? — перебила Редая, метаясь в ярости и сжимая рукой меч.

— Та мне нечужая! О нет: мы вместе умирали с голоду; я обручился с ней и никому не уступлю, даже вашему Перкунасу!

При этих словах, оскорбительных для бога, алтарь и дуб которого стояли здесь же рядом, люди в страхе бросились ниц на землю, а Реда сделала несколько шагов назад.

Маргер смотрел на них взором исполненным угрозы и негодования. Все, что он когда-то слышал о кумирах и ложных божествах, пришло ему на память. Отыскав глазами видневшееся идолице бога, он сплюнул в его сторону...

Мать окончательно не знала, что делать. К счастью, поблизости не было ни одного жреца. Во время продолжительного наступившего молчания подошел Швентас, так же только наполовину веривший в Перкуна и отвыкший от него. Он протеснился ко все еще сидевшему Юрию, взял его за рукав и зашептал скороговоркой:

— Кунигасик, что с тобой? Пропадешь задаром! И чего ради? Для глупой девки? Есть чего!

Маргер оттолкнул его с грозным взглядом.

— Прочь! — крикнул он. — Матери не слушаюсь, так не тебе, глупому медведю, меня учить!

Холоп сгорбился, согнулся и исчез.

Вдова кунигаса встрепелась и быстро стала ходить взад и вперед. Она взглянула на своих людей.

Когда-то они слепо ей повиновались, пока над ними не было мужской руки. Теперь законным властелином они считали сына. Женщина, не наследовала прав мужа, бывшего ей головой и паном. Да и в замке Реда была хозяйкою не столько, может быть, на правах вдовы кунигаса, сколько как дочь Вальгутиса и его уполномоченная.

Она медленно вернулась к сыну, остывшая от гнева, с надломленною волей, голос ее дрожал.

— Маргер, дитя мое! — начала она. — Неужели ты не пожалеешь мать? Не преклонишь ко мне сердце?

— Сжался первая! — сурово ответил сын.

— Не в моей власти отдать тебе эту девку, — прибавила она. — Ты не знаешь, какая сила у нас вейдалоты. Мы не можем бороться с ними: пальцем тронуть их не можем. А на что они наложили руку, то уж не наше, а собственность богов.

— Знать не хочу ни их, ни ваших обычаев, — воскликнул Маргер, — но без Банюты я отсюда ни на шаг! Отнимите ее силой, выпросите, откупитесь, обменяйте на другую, заплатите на вес золота, а моей она должна быть! А нет, то и жизни мне не надо!

Маргер говорил так решительно, так смело, с такою силой, что Реда замолчала. Она видела, что не пересилить сына. Опустив глаза, она стояла молча, и вдруг, из властелинши обратилась в слабую и несчастную женщину.

Маргер поднял голову и прибавил:

— Банюта еще не блюла огонь на алтаре: не бросила в него ни одной щепки. Она еще не принадлежит им безвозвратно.

Услышав последние слова, Реда взглянула в сторону ограды и пошла к ней, не ответив сыну.

В воротах стояла толпа вейдалоток в белых одеяниях. Они издали следили за столкновением между матерью и сыном, не зная, в чем дело. Красавец Конис, точно предчувствуя беду, стоял в числе первых.

Люди Реды видели, как она быстро подошла к нему, о чем-то с ним заговорила, после чего оба скрылись за оградой. А Маргер остался сидеть, как пришитый к месту.

Пилленская дружина, накануне еще относившаяся к юноше как к молокососу, смотрела на него теперь с подобострастием. Их не касался предмет разлада между матерью и сыном; они видели только, что сын умеет настоять на своем и приказать. Это привлекло к нему сердца людей, которые, будучи подневольными, предпочитают уважать того, кому должны повиноваться.

Они шептались, указывая на Маргера, а тот оправлял свой меч. Потом знаками приказал Рымосу принести воды, а догадливый малец нацедил ему из бочонка меду.

В это время из ограды вышла Реда и рукой стала манить сына. Тот заколебался. Там, где он был, Маргер чувствовал себя в полной безопасности, однако не хотел высказать страха. Взяв меч на плечо, он медленно пошел на зов.

Издали уже мать стала громко кричать ему:

— Нет ее! Ее куда-то отослали!

— Неправда, она здесь! — громовым голосом воскликнул Маргер, останавливаясь. — Я видел ее перед восходом солнца. Они лгут!

Вейдалоты в ответ на обвинение во лжи подняли смятение; казалось, что жрецы вот-вот бросятся на дерзкого. Слуги крестуля хватились за копыя и дубины, а сам перетрусивший старик, не зная еще, в чем дело, велел подвести себя к воротам.

В эту минуту Конис, может быть, сообразил, что суматоха и недоразумение с кунигасами из-за какой-то глупой девки грозит опасностью. Питомец крестоносцев мог не оказать должного уважения святыням и учинить соблазн. Тем более что, на худой конец, выкуп — также вещь хорошая. Конис подошел к Реде и стал шептаться.

Маргер гордо продолжал стоять, ожидая окончания переговоров. Он один остался перед оградой, потому что и мать, и крестуля, и все вейдалоты на данный знак спешно ушли во внутренний двор святыни.

И все, близкие и дальние, рассыпанные по долине люди, знавшие, в чем дело, или лишь догадывавшиеся о нем, стояли в ожидании конца. От костров бежала, запыхавшись, старая Яргала и глазами искала Маргера. Ей уже рассказали, что Маргер требует выдачи ему Банюты.

Из-под дуба долго раздавался глухой рокот голосов. Но Реда не возвращалась.

Но вот на высоком помосте, с которого обычно вещали либо крестуля, либо крестули, увидели развевавшиеся по бокам убрусы вейдалотов. Они всходили на помост и вели под руки старца. Все в светлых одеяниях, с большими венками на головах и с жезлами.

Измученный крестуля появился наконец на верхней площадке помоста. Он постоял немного, опираясь на перила, и старался отдышаться. Весь народ, со всей долины, кинулся к ограде и, теснясь, залил площадку вокруг дуба и помоста.

Водворилась великая, ненарушаемая тишина. Крестуля стал вещать... но долго-долго, никто ничего не слышал, так как у старца сперло в груди дыхание. Он только подымал по очереди то одну, то обе руки, то указывал жезлом на небо.

И вот — странная случайность — во время этой немой сцены над долиной распростерлась одна из тех неуклюжих туч, которые весною набегают иногда во мгновенье ока... Набежала, заслонила солнце, и над лесом пронесся глухой раскат далекого грома...

Некоторые из присутствовавших с криком пали ниц.

Замолкли вейдалоты, вейдалотки подбросили в огонь лучины, и столб дыма взвился высоко над вершинами деревьев... Минута, и опять засияло солнце, и ясный день вернулся, словно чудом...

Конис стал повторять слова крестуля, освобождавшего девицу от службы Перкунасу, так как она раньше отдала сердце другому. Бог же принимает к себе в услужение только девственно-чистые сердца.

Маргер, услышав приговор жреца, поднял вверх обе руки и шапку.

Ворота ограды широко открылись, и в них показалась Реда. А за нею, вся в белом, как обреченная богу жертва, и уже в платье вейдалотки, шла златовласая Банюта. Только вместо дубового венка весталок в волосах у нее был обыкновенный рутовый венок. Она шла, улыбаясь нареченному, который так и порывался бежать ей навстречу.

Но с ним случилось нечто, ставшее ему понятным, только когда он окончательно пришел в себя: вместо того чтобы кинуться навстречу своей возлюбленной, он поспешил к матери и припал к ее ногам...

Она же обняла его за голову...

Это были первые материнские объятия, на которые отозвалось сердце сына. С этого мгновения они почувствовали себя она — матерью, он — сыном.

Банюта, так же стоя на коленях, целовала край одежды Реды и тут же ничком лежала Яргала и губами тянулась к ее ногам. Все плакали и радовались.

Тут Реда, вновь почуввав в себе силу власти, стала подгонять людей: — На конь! В Пиллены! В Пиллены! Каждый день могут прийти немцы и отрезать нас; может быть, уже идут!

Весь народ стал повторять ее слова, садясь на лошадей.

Вскоре долина наполовину опустела; а дружина Реды в боевом порядке, тесным строем, взявши в середину властелиншу, ее сына с нареченной и старую Яргалу, усиленными переходами потянулись к замку.

Что ни день, то посылали разведчиков и выслушивали их доклады. Все говорили в один голос, что крестоносцы в полном составе идут на Пиллены. На полпути к дому Реда и ее спутники узнали, что страшное чудовищное судно, предназначенное для осады города с реки, уже почти готово: его смолят и свозят на него припасы.

При вести об этом сооружении всех обуял страх; даже отважная Реда заколебалась, услышав о плавучей крепости, которая вскоре станет лицом к лицу с ее твердыней.

Боялись не столько крыжацких полчищ, сколько сказочного корабля, о котором сочиняли всяческие ужасы. Реда видела в нем свою гибель; только он, и ничто другое, имел для нее значение роковой угрозы. Соглядатаи распространялись о его исполинских размерах, о толстых бревнах, из которых он был выстроен, о приготовленных на нем колодах, козлах, машинах для метания камней и огня... Однажды вечером, когда лазутчики опять изошрялись в стане Реды в рассказах о корабле-страшилище, Маргер вдруг вскочил, точно осененный внезапным вдохновением.

— Они самонадеянны и беспечны, — воскликнул он, — не ждут беды!.. Надо взять несколько лодок, созвать людей, наготовить смолы и запастись огнем... Сожжем-ка это пугало!

Швентас, услышав возглас Маргера, взялся в одну ночь довести людей до пристани. Но наутро оказалось, что корабль уже спущен на воду. Тем не менее Маргер не отказался от своего намерения.

— Сжечь его надо непременно, — шумел он, — неудача охладит их пыл! А пока они построят новый, мы выиграем время, да и гости их разъедутся.

Реда соглашалась с тем, что надо подпалить корабль; но когда сын вызвался сам вести назначенных в набег людей, она не захотела отпустить его.

Но юноша настаивал.

— Это мой пробный камень, — говорил он, — я предчувствую удачу и возьму с собою Швентаса. Я ничего с ним не боюсь: кто провел меня сюда, сумеет сделать так, чтобы мы вернулись невредимы.

Обрадованный Швентас бил себя в грудь и клялся, что они сожгут корабль и вернутся целы в Пиллены. Рече пришлось уступить настойчивым просьбам сына; да и сама она гордилась его храбростью и ненавистью к немцам. Тем более что до того боялась, как бы страх перед их могуществом не сделал его трусом.

На другое утро Маргер со Швентасом и дружинниками пошел наперерез через леса к тому месту, где, по рассказам, стояло судно.

Перед отъездом, прощаясь с нареченной, он повел ее к матери и передал ей с рук на руки.

— Она мое сокровище, — сказал он, — сбереги ее; для меня жизнь не в жизнь без нее, и ради нее я готов идти на смерть.

Реда прижала девушку к груди, так как дорогою примирилась с ней и полюбила ее. Сердце ее смягчилось. С тех пор как сын почувствовал себя вождем и главою рода, она чем дальше тем больше жаждала утех матери: возвращалась в то положение, для которого была сотворена, но выброшена из колеи жаждой мести за смерть мужа и сына.

Часть дружины Реды направилась напрямик к Пилленам; остальные лесною чащей и непроходимыми для других людей болотами и топями продирались к Неману, ежечасно увеличиваясь по пути новыми отрядами добровольческих дружин. За время этого набега Маргер из подростка и мальчишки возмужал до полководца и мужчины. Сердце его стучало, голова горела, пыл юности сделал его ясновидцем. Люди дивились на него, а Швентас не мог нарадоваться на своего кунигасика, поминутно целуя ему руки.

Долгонько пришлось ждать случая. Кучка смельчаков засела в тростниках и в осоке, припрятав лодки, тут же под боком у немцев. Те их не заметили. Наконец однажды прибежал поспешно Швентас и сказал, что пора идти и жечь, так как людей осталось в корабле немного и они смолят изнутри дно.

Неожиданное нападение удалось. Раньше, чем крестоносцы опомнились и погнались за дерзкими поджигателями, точно свалившимися с неба, их уж и след простыл. На маленьких челночках, вброд, вплавь, они сумели обмануть погоню, издали любуясь на пылающее зарево.

Маргер прямой дорогой поспешил в Пиллены, куда очень торопился. Мать, ни в чем ему больше не переча, обещала сыграть свадьбу. В Пилленах было его родимое гнездо, там стояла его колыбель, там же он собирался княжить.

В голове его роились горделивые мысли. Он мечтал заключить тесный союз с великим кунигасом в Вильне, твердо держать его руку, чтобы иметь в нем опору. Все, чему Маргер насмотрелся у крестоносцев, он жаждал ввести и иметь в своем княжестве: железные

доспехи, стальные мечи, дальнобойные метательные орудия, кованые щиты...

В Пилленах Банюта каждый день взбиралась на вышку и смотрела вниз, по реке, вдоль долины, в лесную чащу, не увидит ли желанных путников. Как-то в ночь прибежала стража с вестью, что вдали рдеет зарево пожара. Реда догадалась, что горит исполинское судно, сооруженное на погибель Пилленам. В городе царила великая радость. А Банюта опять взобралась на вышку, чтобы насытить очи зрелищем пламени. Наутро она ждала жениха и, встав, целый день стояла на башне и смотрела вдаль.

Под вечер же вся река пламенела в лучах солнца, как огненный поток, а на золотой ее глади мелькали не то черные букашки, не то лодки, не то рыбы, не то водяные птицы. Банюта всплеснула руками:

— Они!

Сама побежала вниз к матери, а на вышку взобрались служилые люди и глядели и, смеясь, говорили, что нет никого!

Но Банюта уже стояла у ворот, чуяла, что едет Маргер. Сердце говорило ей, что он близко; сердцем она измерила дали; сердцем слышала, как челны причалили к берегу и как люди вышли на землю.

А вот затрубил рог, и стража выбежала навстречу своему властелину, чтобы ввести его в замок.

Вальгутис остался один на постели... Все его бросили, забыли о старце, так давно не подававшем признаков жизни. Но теперь в нем что-то выиграло. Кровь?.. Повеяло весною и молодостью... но его ли? Он вскрикнул в отчаянии... Один!..

Встревоженные, прибежали со всех сторон слуги. Старец, лежавший без языка, спавший столько лет, как байбак, вдруг надумал встать! Все над ним смеялись.

Он протягивал исхудалые руки, обнажил костлявые ноги, стучал твердым, как камень, кулаком и приказывал вести себя навстречу...

Пришлось повиноваться.

Ему накинули на голые плечи медвежью шкуру, и он пошел, шатаясь на слабых ногах. Тяжело дыша, он толкал своих провожатых к воротам, велел нести себя на руках, барахтался... Его мертвенно-бледное, как у трупа, лицо оживилось; не мог только закрыть вечно открытого рта... И, как пришелец из постороннего мира, Вальгутис

появился на пороге как раз в ту минуту, когда Маргер с открытыми объятиями бежал к Реде и к нареченной невесте.

Из груди старца вырвался нечленораздельный, но мощный крик: им он подзывал к себе Маргера. Он протянул худощавые волосистые руки, обхватил ими внука за шею, положил на плечо ему голову... и скончался.

Последний вздох старца, всю жизнь боровшегося с врагами и столько лет умиравшего в глубокой к ним ненависти, перешел в душу внука.

Когда Реда оглянулась на страшную группу, слуги уже успели подхватить тело Вальгутиса, окоченевшее и холодное.

И те, которые думали вернуться в замок с радостными кликами, затаили теперь песнь печали и слез, старинную отходную песнь, которую издревле провожали почивших на погребальный костер. Все пошло следом за останками в дом, и великое ликование обратилось в слезы и горе.

Останки старца положили на его обычной постели, которая теперь стала смертным одром, «пыталас», как его называли литовцы. В горницу вкатили бочку алуса (пива) и настезь открыли входные двери, чтобы все могли в последний раз поклониться покойнику.

Пожилые женщины начали обмывать тело; одели в длинный, издавна заготовленный саван; обули на ноги вижосы (босовики) и посадили на лавку, в переднем углу избы, подперев палицами, когда-то служившими ему в битвах.

Народ толпился вокруг, черпал из бочки, пил за здоровье покойника и приветствовал его нараспев, каждый по-своему. Но смысл и конечный припев были у всех одинаковы.

— Пьем твою здравицу, милый наш барин. Зачем ты помер, оставил нас сиротами?

— Разве нечего было пить и есть? Не было в доме достатка? Некому было служить тебе? Зачем же ты умер? К чему оставил нас в сиротстве?

— Было ли у тебя мало средств или утвари? Не было ли полных засек и закровов? Или в доме была недохватка? Зачем же ты умер? Зачем покинул нас, сирых?

— Детей ли возлюбленных не было или жены? Слуг ли мало или друзей, или братьев, любивших тебя? Зачем же ты помер? Зачем

покинул нас сиротами?

Маргер, впервые в жизни видевший литовские похороны, присматривался ко всему с удивлением, взволнованный до глубины души. Ему вспоминались черные гробы и христианские надгробные песни. Там с покойниками прощались, предавая их суду Божию, здесь провожали как отходящих в отчизну и к праотцам.

Светлица стояла открытой весь день, всю ночь и еще целые сутки. В ней пили и ели, входили и выходили; люди останавливались посмотреть на покойника и поплакать у его тела.

Тем временем все было готово к тризне. А так как, что ни час, ожидали нападения крестonosцев, то костер сложили здесь же рядом, на холмике.

С утра опять пришли женщины, вторично обмыли тело и одели его во все белое. Подпоясали меч, за пояс заткнули секиру, а на шее завязали узлом полотенце, засунув в него грош на дорогу. А потом стали с плачем осушать прощальные чаши.

К самым дверям подвели похоронный возок; на него посадили покойника, а толпа провожатых стала криком и метанием копий отгонять злых духов.

Заголосили плакальщицы, стали рвать распущенные по плечам волосы.

Недалеко пришлось ехать останкам. Тут же, почти рядом, стоял наготове погребальный костер. Но у костра не было толпы жрецов, а только два бедно одетых тилуссона из соседнего поселения должны были служить за всех и петь погребальные песнопения в честь Вальгутиса.

Маргер, который должен был играть на похоронах деда первую роль, не сумел бы воздать ему последние почести. Все было для него ново, чуждо, странно и непонятно. Когда Вальгутиса подняли на верхушку сруба и посадили там, как на троне, Маргер должен был, пока пламя еще не охватило костер, подняться наверх и отдать покойнику последнее целование. Тогда только тилуссоны подожгли с четырех углов сложенные костром дрова.

Реда, растравившая в себе горе и тоску по отцу почти до безумия, наполняла воздух криком и стоном, рвала волосы, металась, пела, билась о землю и задавала тон плакальщицам.

Когда пламя взвилось вверх над костром, слуги стали сносить все, что должно было сгореть вместе с покойником. Приносили корзины с оружием, одежду, утварь, драгоценные сосуды, военную добычу. Все наперерыв хватани и бросали в разъяренный огонь эти сокровища, чтобы дух Вальгутиса взял их с собой на высокий Анафиель.

На четвертый день, когда еще пепелище костра не успело остыть, а кости покойника были уже собраны и погребены в каменном склепе замка, пришли вести, что крестоносное войско идет на Пиллены.

Реда, утомленная погребальным обрядом, лежала больная, бессильная. Маргер стал главою семьи и вождем. Мать первая, с трудом сойдя с ложа, поклонилась ему до колен.

— Вчера я была мать и владычица, сегодня — раба! Приказывай! Она собрала старшин.

— Вот вам господин! — сказала она, указывая на сына; сама же вернулась на ложе, заливаясь слезами. А Банюта села у ее ног, также предаваясь печали.

Маргер, внезапно ставший вождем и властелином, ощутил трепет в душе. Все смотрели на него и ждали приказаний, а он не знал, что сказать.

Приходилось стряхнуть с себя и любовь к девушке, на которой он собирался жениться, и горе, и страх. На все это не было времени: надо было защищать свою родину.

С головой, полной обаяния власти, он взошел на высшую точку замка, на башенку, чтобы с высоты обозреть свою вотчину, окинуть взором Пиллены. Они точно срослись с холмом: сильные, грозные, хорошо укрепленные; а людей, копошившихся у его ног, и числом, и силой, и отвагой было, казалось, достаточно для обороны.

Но тут ему вспомнился Мариенбург; широкое кольцо его валов, каменные стены, оборонительные вышки, башни, в толще которых могли бы поместиться хоромы... и деревянные Пиллены сократились в его глазах до размеров большой бревенчатой хаты на распутье дорог...

Он вспомнил отборные отряды крестоносцев, вооруженные полчища холопов, их доспехи и оружие, полевые и осадные орудия, воинскую выправку и силу... и затрепетал. Будущее, как наяву, встало перед его духовными очами: кровопролитная борьба и неизбежная богатырская смерть... или отступление, бегство, чтобы спасти жизнь

людей и свою собственную, основать где-нибудь в непроходимой чаще домашний очаг и уют.

Маргер раздумывал. В воображении его рисовалась Банюта, счастье, уют и покой, усадьба в глубине леса, домашний очаг...

И вот, пока он стоял, погруженный в мысли, Реда, которую он оставил в постели, в слезах, с покрасневшим лицом и распущенными волосами, вдруг, как была, в разодранном платье, поднялась к нему на вышку. С минуту она простояла незамеченной, издали следя за сыном... Потом, как бы нечто прочтя в сумрачном взоре сына, рванула его за плечо.

— Ты здесь главный теперь, — молвила она, — что ты будешь делать?

И глаза впились в него.

— Немец силен, — ответил Маргер, — мы все сгорим здесь, как Вальгутис на костре.

Реда молчала и ждала.

— Нам не уцелеть, — прибавил кунигас.

— Молчи! — перебила мать. — Понятно, что не уцелеем, а погибнем! Конечно, погибнем!.. Но мы должны защищаться до последней капли крови!.. Дух деда и отца встал бы из гроба и проклял тебя... да и я сама бы тебя прокляла... если бы ты со страху бежал из родного гнезда!.. Я лежала, и меня внезапно охватил страх: у матери и сына одна душа, и в ней отозвались твои мысли... Ты любишь и жаждешь счастья... готов похитить возлюбленную и бежать с ней? И отдать врагам, не пролив капли крови, могилы дедов? Ты?!

Маргер вздрогнул и побледнел; его грудь исполнилась рыцарской гордости и духа предков.

— Нет! — воскликнул он. — Увидишь! Мы не устоим, но сумеем умереть!

И он захохотал не так, как смеются питомцы крестоносцев, а как дикарь.

Реда взглянула ему в глаза.

— Ты сын мне! — шепнула она.

И, не оглядываясь, стала скорым шагом спускаться с лестницы, оставив Маргера одного со своими мыслями.

А тот в душе вынес сам себе смертный приговор.

— День счастья, потом... смерть!!!

На полуспуске с башни сидел, прикорнув Швентас и загородил ему дорогу.

— Кунигасик, — сказал он, — твой замок ничего себе... недурен... но все-таки он куча хвороста, на котором нас поджарят крыжаки. Жаль себя... Жаль людей... Что скажешь, кунигасик?

— Пошел вон! — крикнул Маргер.

Он вышел на середину двора, где уже стояли бояре и начальники ратей, угрюмо поджидая своего властелина. Увидев Маргера, они обнажили головы.

— Крестоносцы идут на нас войной, — начал юноша, подражая осанкой опытным воинам. — Пиллены будут защищаться. Говорите: есть у вас отвага? Кто не чувствует в себе достаточно мужества, пусть уходит, кто останется, должен готовиться к смерти.

Старый Вижунас окинул взором своих присных и ответил спокойно:

— Только раз умирает человек!

Ни один из дружинников не шелохнулся; никто не попросил отпустить его, никто не вздрогнул.

Вместе с ними Маргер обошел окопы. Люди радостно встречали его и повторяли:

— Только раз умирает человек!

Все весело готовились к смерти, хотя знали, что им не дожидаться ни погребения, ни костра, ни похоронных песен.

Послали в пригороды звать тех, которые пожелают скрыться в замке, а остальным велеть уйти в леса.

Маргер сам осмотрел все входы и выходы, и тайники, и вышки на стенах. Все было готово, хоть сейчас в бой. Весь вечер прошел в досмотре, в совещаниях, в размещении дозоров и опросе людей.

Вижунас принял на себя заведывание обороной под начальством Маргера. Он был старик, несокрушимый, как железо, неразговорчивый, не знавший сна, строгий до жестокости.

Целую ночь точили топоры, оправляли древка секир. Все бодрствовали.

Когда поздно в ночь Маргер возвращался в большую светлицу, до него уже издалека долетели песни. Светло и весело горел огонь.

Распахнув дверь, он увидел нежданную картину: посредине Реду, одетую по-праздничному, рядом с ней Банюту, в девичьем венке и

брачном платье, а вокруг хор девушек, певших песни, какие обычно пелись в девичнике.

Мать вышла на порог.

— Приоденься к свадьбе, — сказала она. — Вчера тризна, сегодня — брачный пир; завтра, быть может, смерть. Тебе нетерпелось: владей же ею.

Маргер взглянул на Банюту. Она сидела, как на троне, на опрокинутой кади, с распущенными косами, в венке. Девушки притворно плакали и, смеясь, заплетали и расплетали ее волосы. Она, в разрезе с обычаем, не притворялась скучной, а напротив, все сияла, радостная, с торжествующей улыбкой на устах. Взоры ее летели навстречу Маргеру.

Тот приветствовал ее только глазами. Непристойно было ему, в истасканном платье, войти в горницу, и он исчез.

По обычаю пелись жалостные песни. Весело горел на очаге огонь. Реда хлопотала со слезами на глазах и с радостной улыбкой. Сердце ее было полно горечи, время не располагало к свадьбе. Но крестоносцев еще не было. Всю ночь провели в песнях; а которые не пришли послушать и выпить за здоровье молодых, те сидели по застенкам и точили топоры.

Наутро оказалось, что нет свальгона, чтобы благословить молодоженов: Вижунас облачился в белое одеяние, а на седую голову надел венок.

Банюта опять сидела на кади, на коленях держала кружку пива и белый хлеб; дружки продели ее золотистые косы через четыре позолоченных кольца и с плачем обрезали волосы. Банюта встала и, пригубив пиво, вылила остальное на порог. Маргер поджидал ее у стола. Три раза обвели молодую вокруг огня, раньше, чем посадить рядом с мужем. Она весело взглянула на него. Он сидел грустный.

— Сударик мой, — шепнула она, — разгладь морщины, ведь сегодня наша свадьба. Мне надо бы плакать, тебе радоваться. Я стыжусь, что не могу грустить.

— А я, что не умею быть веселым.

— Почему же? — спросила Банюта.

— Слушай, — вздохнул Маргер, — если бы не песни, мы услышали бы, может быть, топот ног крыжацких коней.

— Он бы вторил нашей песне, — сказала Банюта и взглянула в лицо Маргеру. — Сударик мой! О чем грустишь? Знаю, знаю: война жалует к нам на свадьбу.

С тихим вздохом ответил ей суженый:

— Война бы ничего...

Последние слова он не договорил. Банюта же озарила его улыбкой.

— Сударик мой! — сказала она. — Таков обычай, что суженый дает молодой за венок подарок. И я хочу получить от тебя подарок, великий дар, но ты должен поклясться, что не откажешь.

— Все дам, чего только пожелаешь, — поспешно ответил Маргер.

— Поклянись! — повторила Банюта.

— Чем я буду клясться? — грустно ответил молодой. — Клясться именем чужого Бога непристойно, а свои меня не знают.

— Клянись солнцем и луною, — перебила девушка, — клянись, чем хочешь, но я требую клятвы!

Маргер положил руку к сердцу.

— Что ты хочешь от меня? — спросил он. — Все отдам...

Глаза Банюты засверкали, вспыхнули огнем; она снова стала тою девушкой, дух которой закалился и окреп среди тяжелых испытаний, перенесенных в немецкой неволе. Такою была Банюта, когда пела литовские песни в саду Гмунды.

— Помни же, — шепнула она, — я знаю, я вижу: крестоносцы возьмут наш город. Вы, счастливые, падете на его защите. А я? Я не сумею наложить на себя руки. Господин мой! Когда придет последний час, прежде нежели отдать им свою жизнь, возьми мою!

Маргер побледнел.

— Ты поклялся мне солнцем и луною, — говорила она, сжимая его руки, — мы вместе переселимся в светлый лучший мир! А там!.. Там будет радость вечная, как здесь было непрестанное мученье! Ведь боги, если они существуют, должны быть справедливы!

Громкая песнь заглушила их слова.

Старый Швентас, нарядившись веселым скоморохом Келевежей, вбежал на четвереньках в комнату.

— Хей, хей! — кричал он. — То ли не веселье! Гостей съехалось без счету. Пойдемте, поглядимте, хватит ли пива им на угощенье! Гости со всех сторон строем стоят; железными кафтанами

поблескивают, золочеными шапками посвечивают; ржут их кони, в доспехах одетые...

Возгласы и крики из-за вала говорили о приходе крестоносцев.

## XII

В ту же свадебную ночь Маргер вскочил с постели, поцеловал спавшую Банюту и остановился, погруженный в думы. Потом вышел.

Старый Вижунас сидел на пороге, подперев голову ладонью. Оба прошли во двор.

— Надо поугагать этих собак, — сказал Маргер. — Ты видел с вышки, где шатер их воеводы?

Вижунас показал рукой.

— Не правда ли? Ведь это там, где наш подземный выход, заваленный камнем?

Старик кивнул головой.

— На что он нам?

— А вот, когда они заснут, — молвил Маргер, — они и их дозорцы, будет легко пробраться ночью в стан...

И он схватился за висевший сбоку меч.

— Надо убить вождя!

Вижунас недоверчиво взглянул на Маргера. В глазах у него был вопрос:

— А кто возьмется?

Прошло мгновение, и Маргер зашептал:

— Я знаю их повадки, говорю по-ихнему... Пойду сам.

— Ты?

— Да, я, — подтвердил юноша, выпрямляясь, — кто знает, может быть, их охватит страх... отступят...

Старец думал, поникнув головой.

— Жаль вас, — сказал он, — а если вы погибнете, кто защитит замок?

— Ты! — кратко ответил Маргер, положив ему руку на плечо. — Никому ни слова! Молчи...

Он огляделся, была ночь... Прислушался: стан крыжаков поголовно спал; ничто в нем не шевелилось.

Маргер взял меч и пальцем провел по острию, бросил взгляд в сторону брачного покоя. Хотел было пойти проститься... А что... если, войдя, не хватит решимости расстаться?

— Идем, Вижунас, — приказал он.

Старик покорно довел его до ямы, закрытой сверху дверцами. Здесь он бросился к ногам своего властелина и застонал.

Маргер исчез во мраке, а Вижунас остался стоять на страже. Если бы прожитые годы не иссушили его слез, он бы заплакал... но не мог. Минуты тишины, казалось, длились целые века. И конца не было безмолвию.

Но вдруг он услышал страшный крик и упал на землю у выхода. Тысячею голосов откликнулись на зов в немецком стане; из недр молчания разразилась ужасающая буря, как будто бы земля разверзлась под ногами немцев. Ржали кони, звякало оружие, беглым шагом подходили воинские части, все гремело и стучало.

Вижунас лежал, приложив ухо к земле. В яме ничего не было слышно. Но вот что-то зашуршало, кто-то, как змея, соскользнул вниз к старику... Тот, опасаясь немцев, схватился за нож... Но тут же узнал Маргера. Все лицо его было обсыпано песком; он тяжело дышал и, наконец, измученный бросился на землю рядом с Вижунасом.

Когда старик привел его в себя и стал расспрашивать, Маргер ничего не сумел объяснить. Показал только на меч, не обагранный кровью, и вздохнул. Он никого не убил...

Наутро выкатили бочки для защитников Пиллен и справили для них свадебную пирушку. Однако не было позволено горланить песни. По очереди одни стояли на страже за стенами, другие сидели вокруг чаш и ведер, черпали и пили.

И в то же время пели:

— Только раз к человеку приходит смерть!

Маргер то захаживал к жене и садился рядом с ней на лавку, то взбирался на окопы и всматривался в лагерь крестоносцев. Он знал всех и каждого из рыцарей мог бы назвать по имени. Он узнавал их по доспехам и по походке, по коням и по челяди. Много было среди них людей добрых. Он же против всех должен теперь пылать злобой.

Маргер горько упрекал себя, зачем не убил Бернарда, но чувствовал, что если бы опять встретился с ним, с глазу на глаз, вооруженный, то снова дрогнула бы у него рука. Сидя у жены, он в мыслях избивал их всех и каждого, а глядя на них издали, слабел духом.

Крестоносцы, точно преднамеренно, откладывали штурм, несколько дней стояли под стенами, ничего не делая. Одни распевали веселые, другие набожные песни. А люди на валах рвались в бой.

— Хотят нас взять измором, — говорил Вижунас, — надо беречь припасы. Ведь может же великий кунигас собраться к нам на помощь и ударить на них с тылу?

А немцы свозили хворост и смолили стрелы.

Однажды все они столпились вокруг распятия, поставленного среди поля. Посредине виден был алтарь. Отец Антоний служил мессу. Маргер, стоявший на вышке, невольным движением схватился за шапку и хотел было, по внедрившейся привычке, обнажить голову... но злобно опять нахлобучил ее глубже... Раздалось пение... Он хорошо знал и напев и слова; сам нередко вторил им в костеле... А снизу, от подножия башенки, задорно неслась вверх песенка Банюты...

Обе они сливались и путались у него в голове и в сердце... Маргер заткнул уши и сбежал вниз...

— Люди, на валы! — окрикнул он своих.

Маргер не ошибся. Крестоносцы шли на штурм.

Они со всех сторон, как живую цепью, охватили город. Шли и пели. Холопы и оруженосцы несли, одни вязанки хвороста, другие пылающие факелы, третьи блестящие топоры.

Все кто мог собрались под ограды. Женщины тащили в бадьях воду, мужчины волочили камни.

Вижунас велел всем хранить молчание и не начинать бой, пока немцы сами не ударят... Слышно было, как они валили в кучу под частоколы дрова и хворост; дым от факелов доходил до осажденных. За ворохами нагроможденного валежника не было видно немцев... И вот со стен посыпался на них дождь стрел; градом полетели камни; а на вспыхнувший сухой валежник хлынула вода. На мгновение немцы дрогнули и заколебались. Несколько с криком покатилося по земле... Но в задних рядах раздались новые призывы к штурму, и массы осаждавших снова кинулись на стены.

Это был первый день борьбы. Но начался он с обоюдным и равным ожесточением.

Маршал, следивший за битвою с пригорка, покачал головой и сказал стоявшему с ним рядом маркграфу Бранденбургскому:

— Не легко нам будет одолеть их.

Огнеметатели стояли по той стороне окопов, где, как им казалось, было ближе всего от стен и крыш. Они орудовали машинами и зажигательными стрелами. Каждый зажигал стрелу о факел и пускал в город. Пылая, летели они со свистом в воздухе, капая горящею смолой. Одни гасли на полпути, другие несли огонь на крыши.

Рассчитывали на пожар, но напрасно. Огненный дождь метательных снарядов лишь скользил по крепким стенам, пламя гасло либо замирало где-то в глубине городища.

Но и литовская стрельба была настолько же бесплодна. Немцы были закованы в железо, покрыты им со всех сторон. Камни отскакивали от доспехов, стрелы ломались о стальные шлемы либо бессильно вязли в проволочных кольчугах. Редкая стрела, случайно попав в промежуток или шов между железными пластинами и разорвав исподнее платье, напивалась немецкой крови. Но и огонь не занимался в частоколах, обмазанных глиной и смоченных водой. Хворост сгорал, не принося вреда и только мешая нападавшим.

Так продолжалось до полудня. Солнце жгло... люди толпами стали спускаться вниз, к реке, чтобы напиться... Начальство разошлось по своим палаткам... Вооруженные холопы отошли на выстрел и растянулись на земле.

Обе стороны бездействовали.

В шатре маршала сидели почетные гости. Одних разбирал смех, другие сердились.

— Нет сомнения, — сказал комтур Балгский, — что в конце концов мы возьмем этот деревянный сарай и растрясем его в пух и в прах. Однако осада может так затянуться, что игра не будет стоить свеч.

— Как так? — возразил маршал. — Разве вы не знаете, что Пиллены ключ всей страны, что отсюда они предпринимают против нас набеги, что занятие их нагонит страх?

— Дайте же совет, как ускорить осаду! — вмешался старый Зигфрид. — Наступят дожди, тогда уж огнем их не возьмешь, а штурмовать, значит, нести большие потери.

Граф Намюр высказал мнение, что у осажденных плохое оружие, а доспехи и того хуже, а потому бояться их нечего. Численность их также не должна никого беспокоить, потому что городок небольшой и не может вместить много войска.

Бернард, сидевший с краю, молчал.

— Брат Бернард, — обратился к нему маршал, — тот ваш беспутный питомец если, быть может, и не коноводит в Пилленах, то, во всяком случае засел в них. Ему бы следовало быть разумней прочих. Вызовите-ка его для переговоров; обещаем им жизнь, пусть сдадутся.

Зигфрид усмехнулся.

— Вот кого бы я первым повесил, — сказал он. — Впрочем, невелика беда — пообещать им жизнь: слово, данное язычникам, ни к чему не обязывает. А так как он был крещен, то отец Антоний его исповедает, а потом и вздернем... Душу спасем, а это важнее всего.

Бернард привстал с пня, но ничего не сказал.

— Брат Бернард, — повторил маршал, — попытайтесь вступить в переговоры. Побережем свою кровь.

— Попробовать можно, — ответил Бернард, — но едва ли они согласятся; а главное, переговоры будут напрасны.

Бернард вышел с белым знаменем и зеленою ветвью; а глашатай маршала подступил под самые стены, трубя в рог и выкликая по-литовски:

— Выходите на мирное слово!

Сам же Бернард стоял вдалеке и ждал.

Долго не было из замка ответа. Глашатай мерным шагом объезжал вокруг стен, а Бернард следовал за ним не спеша. Высоко над оградой, на вышке, показался наконец Маргер, с мечом в руке.

Глашатай и Бернард остановились против вышки; а Маргер обменялся продолжительным взглядом со своим бывшим воспитателем. Маргер молчал.

— Ты знаешь наше могущество, — сказал крестоносец, подняв голову, — видишь сам, что ваш городок не устоит против нас. Мне жаль вас; непоздно еще спасти свои животы и жизнь семей. Оборона бесцельна: сдавайтесь.

Маргер презрительно повел плечами.

— Я пришел погибнуть вместе со своим народом, а не спастись за его спиной, — ответил он гордо.

— Христианин, а поднимаешь оружие против Христова воинства, — добавил Бернард.

— Нет, я уже не христианин! — закричал Маргер.

Последнее восклицание на мгновение отняло у Бернарда охоту говорить. Однако он пригрозил:

— И тебя и всех вас ждет смерть.

— Мы на это готовы, — угрюмо ответил Маргер, — но погибнем не от вашей руки. Кто уйдет цел из битвы, сгорит на развалинах замка, как на погребальном костре.

— Маршал дарует вам жизнь! — крикнул Бернард.

Маргер усмехнулся.

— Прощайте, Бернард! — закричал он. — Плохо бы вы меня воспитали, если бы теперь, лицом к лицу со смертью, я струсил и продал братьев за бrenную жизнь. Прощайте!

За спиной Маргера уже слышался досадливый ропот людей, возмущенных его немецкою речью. А издали долетали крики:

— Зачем слушать их твяканье? Надо биться насмерть!

Были и такие, которые хотели стрелять в крестоносца:

— Ничего от них не желаем! Будем драться и ляжем костью!

Маргер невозмутимо сошел с башни. Он дал знак рукою, чтобы люди встали к оградам. Начало битвы вызвало необычайный подъем духа, приступы ярости и безумной отваги. Чем меньше было надежды спастись, тем отчаянней становились припадки дикого бешенства. Слабея, люди поддерживали свой пыл обильными возлияниями из открытых бочек.

— Драться насмерть! — кричали они нараспев.

Безумие овладело всеми: детьми, женщинами, стариками. Все хватались кто за что и стремились на бой с врагами. Городок, до того молчаливый, наполнился криком и шумом.

Когда Бернард вернулся, военный совет, знавший вперед, что он вернется ни с чем, уже решил участь города.

Так как войск было больше, чем нужно для осады такого местечка, то великий комтур предложил осаждавшим чередоваться, чтобы не давать осажденным ни минуты покоя: штурмовать день и ночь, поджигать, рубить частоколы, ни на мгновение не прекращать битву, напирая со всех сторон.

Немецкие силы, разбившись на два отряда, опять с громким криком приступили к стенам. Не принимавшие участия в битве должны были готовить тараны и козлы, чтобы громить частоколы, не поддававшиеся действию огня.

Когда свежие немецкие силы подошли к частоколам, литовцы, выждав их приближения, осыпали осаждавших градом камней и кольев. Но крыжаки и шедшие следом за ними холопы, за которыми зорко глядело начальство и отдохавшие воины, не отступили, как в первый раз.

Многие пали, ни один не бежал. Они вскакивали друг другу на плечи, чтобы сверху поражать метательным оружием прятавшихся за частоколом литовцев. Разгорелся яростный, дикий, беспощадный бой.

Немцы думали, что засевших в городе ратников не хватит на все протяжение стен, а потому оцепили крепость со всех сторон. Однако повсюду они наткнулись на густые толпы защитников.

Ужасная битва, начавшись в полдень, длилась до ночи. Наконец истомленные крестоносцы уступили место второй очереди, ринувшейся в бой с равным ожесточением. Раненые отправились на перевязку; трупы убрали; надвинулась ночь. В долине зажгли костры. Бой продолжался. Вижунас предводительствовал с одной, Маргер — с другой стороны.

Старик был ранен двумя стрелами в грудь; он вырвал их с мясом и остановил кровь глиной. У Маргера были царапины на голове и плечах. Банюта стояла с ним рядом, держа наготове повязку для ран. Бледная, невозмутимая, с плотно стиснутыми губами, она вдруг вскипала бессильной яростью и бросала попадавшие под руку камни.

Реда, стоя во дворе, поила людей и гнала их назад на валы. Она и сама пошла бы в кровавую сечу, если бы только могла протесниться. Но вдоль оград так густо стояли люди, что даже убитым было негде упасть.

Никто не заметил, как пропели петухи; некогда было взглянуть на звезды, а на востоке уже засветилась утренняя заря.

Затрубили трубы на новую смену. Первая очередь крестоносцев и гостей вернулась в бой.

Начальствующие, вчера еще державшиеся вдали от сражавшихся, теперь, не ожидая приказа свыше, сами шли вместе с другими, чтобы вкушать радости битвы.

Но усилия с обеих сторон остались пока бесплодными. Наступил день. Но и он не принес ничего нового: только росло взаимное раздражение, и накапливалась злоба и жажда крови.

Вижунас, стоявший на вышке, беспокойным взглядом следил вокруг, бледнел и начинал беспокоиться. Живая стена все держалась, но заборы и тыны трещали, грозя разрушением.

Во многих местах они уступили топорам батраков; кое-где поотвалилась обмазка из глины, и огонь стал лизать сухие расщепленные колья. Частоколы шатались, и целые стены грозили падением. Старик предвидел уже наступление минуты, когда крестоносцы вторгнутся вовнутрь ограда. Правда, за первой стояла вторая, еще более крепкая, мощная... О дальнейшей защите первой нечего было и думать.

Под вечер, когда опять подошла новая смена, заборы с треском рухнули под напором свежих людей, и нападавшие вместе с ними упали под ноги литовцам. В мгновение ока осажденные бросились на барахтавшихся врагов, рубя им головы, раздробляя камнями плечи. Но только миг длился дикий восторг торжества: уже Вижунас подал заранее условленный знак: все бойцы бросились под защиту второй стены. Второй, и последней. Взять ее было гораздо труднее.

Крестоносцы, не ожидавшие, что первый ряд частоколов так скоро и внезапно обрушится, упали вместе с ними; и, раньше чем успели опомниться и встать, многие пали мертвыми, а еще больше осталось лежать с тяжелыми ранами, потеряв навсегда способность к бою. Предводители с запасными войсками опоздали прийти на помощь. Все литовцы успели укрыться за второй стеной заграждений.

Потери немцев были очень значительны; во всяком случае, пало их больше, нежели они когда-либо думали.

Понесенный урон сильно ожесточил их против врага, защищавшегося с таким непреодолимым упорством.

Маршал, не обращая внимания на что бы то ни было, кричал и настаивал на немедленном возобновлении штурма, чтобы не дать язычникам собраться с духом.

Тем временем наступила ночь.

Внутренность городка представляла картину, полную ужасающего трагизма. Всеми овладело настроение, редко наблюдаемое у людей. Одни пели сквозь слезы, другие смеялись. Всех охватило безумие. Лица сияли, силы удвоились, голоса звучали не по-людски.

Раненые вскакивали и вновь рвались в бой. Окроваченные, они как будто не сознавали, что жизнь их медленно уходит с кровью.

Мужчины, женщины, дети — все стали воинами. Ими овладели радость и беснование боя. Отцы равнодушно смотрели на трупы сыновей, матери забывали о детях.

Посреди толпы, весь залитый кровью, с высоко поднятой головой и обнаженным мечом, стоял Маргер. За ним мать, такая же, как в былое время: одетая по-мужски, вооруженная, в шлеме. Рядом Банюта, в новом женском повойнике, в белой рубашке, на которой пятнами запеклась черная кровь, с порванным янтарным ожерельем на шее. Грудь ее высоко подымалась, и вся она напоминала молодую волчицу, на которую в логовище напали охотники.

Вижунас одной рукой удерживал кровь, другою указывал на частоколы. Люди бросились к ним врассыпную, обгоняя друг друга, с криком и воплями.

Маргер дал знак рукой, чтобы попридержаться их пыл.

— День, много два, — закричал он, — крестоносцы, овладеют и этой последней опорой!

Ему отвечали криком.

— Но никого не возьмут живьем! Не возьмут и добычи! — продолжал он все громче и рукой указал на двор: — Костер! Пусть здесь будет сложен костер! Сожжем все до последней нитки, а живые перережем друг друга! Пусть достанутся им одни трупы и остатки пожарища!

Громким криком, как бы из единой груди, ответили воины на призыв вождя.

Вижунас просиял, он высоко поднял руку.

— На немцев! — рявкнул он. — Бабы и дети — к костру!

Банюта с гордостью взглянула на Маргера и, схватив, целовала его окровавленную руку, хотела бежать вслед за воинами, но Реда удержала ее за рубашку.

— Место наше здесь! — сказала она. — Носить воду и обвязывать раны! Дай ему кубок вина, он еще не пил и не ел. Но в шуме и грохоте битвы потонул голос Реды.

За стеной раздавалась песнь крестоносцев; внутри с диким воем гремели литовские песни.

Немцы добрались уже до самого верха ограды и падали вниз под тяжестью валившихся сверху бревен, колод и камней. Бой вновь закипел на всю ночь.

Тем временем посреди двора, точно волшебною силой, выросал исполинский костер. Женщины и подростки отдирали обшивку потолков и стен, разбирали крыши, тащили бревна и все валили на смертное ложе.

У самых слабых проснулись сверхчеловеческие силы. Женские руки волокли огромные бревна, исхудалые плечи не гнулись под бременем чудовищных нош, детские ручки хватались за увесистые толстые чурки. Самое дерево, казалось, оживало, двигалось и, послушное воле людей, всползло на верх костра. Он рос, точно чудом, и вершиной почти достигал уже вышки.

Теперь стали сносить на него все свое достояние: одежду, оружие, припасы, слитки металлов, янтарь, шубы — все валилось в одну общую кучу. С радостным смехом смотрели осажденные на богатства, обреченные в жертву огню, чтобы не достались врагам. Вокруг прыгали дети, а старые женщины предусмотрительно сбрасывали с себя все, что поценнее, боясь, как бы оно не уцелело после их смерти.

Банюта исчезла. Она живо побежала к своему жилью, целый угол которого стоял еще нетронутым. Укрыться было уже негде; осталась только притолка да косяки от дверей в подвалы; но обе половинки были уже сорваны. Она присела на ступеньках, облокотилась и стала думать.

— Он поклялся солнцем и луною: значит сдержит слово. О, он не допустит, чтобы я досталась в руки этим извергам на позор. Но меч его притупился.

Она вздрогнула, выбежала из подвала и бросилась в жилые помещения, стены которых по бревнам разбирали для костра. Она увидела меч Вальгутиса, стоявший в углу комнаты. Старый клинок погнулся набок и лежал среди мусора. Она с радостью схватила его, прижала к губам и запела: ибо великое горе поет так же, как поет радость.

— Не правда ли, меч мой любимый, ты облегчишь мне смерть от его руки? Рассечешь пополам мое сердце и выпустишь на волю душу...

Она присмотрелась к мечу поближе и покачала головой: клинок был подернут не то ржавчиной, не то засохшей кровью. Взявшись обеими руками, Банюта качала его, как ребенка.

За пазухой был у нее оселок. Она опять присела на порог.

— Старичок ты мой, — тянула она нараспев, нагнувшись над мечом, — люди о тебе забыли. Никто тебя не вытирал, не обмывал, лезвие твое ступилось. Подожди-ка!

И она стала точить его оселком... Старый меч начал блестеть и лосниться, как в былые времена.

Нагнувшись Банюта увидела на очищенной поверхности слабое отражение своего лица. Из глубины металла смотрела на нее пара голубых глаз.

— Глядишь на меня, старина! Так... хорошо... гляди!.. И полюби меня и облегчи смерть от его руки.

Она поцеловала клинок и невольно вновь стала причитать:

— Ой, умирать ли мне, молодке, умирать! А чего же мне еще не доставало? Что еще могла бы дать мне жизнь? Приумножить разве слезы на глазах? Сиротскую ли долю мне сулить или полон от вражьих рук? Ведь познала я уж радости любви, сжимала милого в объятиях любви, и сам он последует за мной, и наша кровь сольется...

Слеза капнула на меч, Банюта смахнула каплю, поставила клинок и убежала. Вдали шел Маргер во главе людей. Банюта зачерпнула в один кубок воды, в другой меду и пошла за мужем.

Крестоносцы, разъяренные, всеми силами напирали на вторую линию частоколов и шли вперед с пеньем похоронных песен. Литовцы отражали нападавших с воем; а когда валились, от их натиска, закованные в железо рыцари, торжествующие возгласы сливались в дикий рев.

И снова немцы стали пускать огненные стрелы. Они падали среди строений, но никто не обращал на них внимания.

Несколько стрел, пущенных особенно метко, увязли в стенах вышки; и, не успели Вижунас и Маргер оглянуться, как стены запылали. Сначала робко скользили вдоль них одинокие огоньки и, казалось, гасли, забираясь в щели, потом вспыхивали ярче...

Ночь бледнела, наступал день, и вместо пламени виднелся только дым. Вышка стояла так же, как накануне, но внутри ее шипело, искрилось и трещало пламя.

Крестоносцы штурмовали.

Вторая изгородь была и выше, и крепче, но и она уже дрожала от ударов топоров и начинала разгораться. Литовцы лили воду везде, где слышали шипение огня; забрасывали осаждавших последними

запасами выдранных из-под построек камней. Скидывали на головы нападавших тела убитых, когда уже больше было нечего бросать.

Боевые клики, вместо того чтобы ослабевать, росли и ширились, свирепея с каждой минутой. Временами, прислушиваясь к ним, маршал содрогался: столько было в них угрозы и смертельного, пронизывающего до костей ужаса. Люди, певшие такую песнь, не могли ни сдаться, ни быть взяты живьем. У немцев, карабкавшихся на заборы, переставало иной раз биться сердце: от этих криков веяло на них отчаянием и тревогой. Но стыдно было отступить; место отбитых занимали свежие войска.

Целый день не прекращался бой.

Вышка вся стояла в пламени, до самой крыши. Огонь набросил на нее пурпуровую мантию, и она долго стояла, нерушимая, сверкающая, страшная, потом сразу рухнула с ужасным грохотом. Заклубился дым, и во все стороны посыпались фонтаны искр.

Осажденные приветствовали ее падение немолчным криком...

Вижунас оглянулся.

— Не будет недостатка в головнях, чтобы поджечь костер, — сказал он.

Вижунас не заметил, что от искр костер сам собой уже начал загораться.

Маргер бился. И пот, и кровь текли по его лицу, сбегая струйками по белой груди. Он зорко приглядывался ко всему с высокого обрубка, на который взгромоздился, и думал:

— Не пора ли прекратить борьбу и начать взаимно-истребление?

С высоты небес с любопытством смотрели на битву звезды. Там также царило возбуждение: послов ли слали вниз на землю к людям боги Литвы? Или, быть может, метали огненные стрелы? Но с темного свода то и дело срывались звезды, чертя по небу искристые пути...

Вижунас прошептал:

— Души отцов нисходят на землю за нами! Пора нам к ним!

Начало светать...

Вторая ограда готова была рухнуть. Люди выбивались из сил, грудами лежали трупы... Женщины, в ожидании смерти, сидели вокруг костра и пели погребальную песнь. А костер, точно послушный воле богов, стал медленно гореть.

Утренняя звезда, как алмаз, засветилась на небе... Вижунас и Маргер переглянулись.

Рубившиеся, по знаку, отошли от стен и спокойно приблизились к костру. Впереди их шел Вижунас, последним Маргер. А женщины продолжали петь.

Началось то, чего не видел свет и никогда, быть может, не увидит вновь...

Братья обнимались и целовались, потом один обнажал грудь, другой пронизывал ее мечом... Отцы, плача, избивали детей и бросали трупы их в огонь. Мужья убивали жен, отвечавших им объятиями на предсмертное лобзание... И не было ни стопа, ни крика, ни рыданий...

Трупы широкой полосой устлали землю вокруг костра. Маргер, с мечом в руке, стоял и ждал. Глазами он искал Банюту.

Она сидела на пороге подвального жилья и целовала меч, а из глаз ее струились слезы. Она ждала.

— Он клялся солнцем и луною и сдержит клятву...

Вижунас прислушивался к шуму за оградой.

— Торопитесь, — закричал он, — торопитесь, если не хотите погибнуть от их мечей!.. Заборы подаются... они скоро ворвутся к нам: пусть не найдут живой души...

Все, еще державшиеся на ногах, бросали в пламя свое имущество, останки близких, подставляя под мечи кто грудь, кто спину... Безумие охватывало переживших. Окровавленные, они сами бросались грудью на мечи и умирали...

Редда поцеловала сына в лоб: некому было нанести ей последний удар...

У Вижунаса дрогнула рука...

— Не могу, — сказал он.

Тогда Редда надвинула на лоб белую повязку и смело вошла в огонь... Пламя охватило ее, она села на пылающие угли, и раскаленные обломки рухнули под ее тяжестью...

А сзади все громче и громче раздавалась песнь крестonosцев... В живых остались только Маргер и Вижунас... Вокруг костра стояла огромная лужа крови, медленно просачивавшейся в песок.

Старик поклонился своему господину в пояс: пришел его черед. Кунигас должен был пережить всех и сам наложить на себя руки. Но у Маргера дрогнула рука, и он не дерзнул коснуться седины...

Тогда Вижунас воткнул меч в землю, оперся грудью о клинок и упал вперед всей тяжестью тела...

А где была Банюта?

Вот она привсталала, и ее белая сорочка блеснула в темноте подвала.

Она протянула руки Маргеру.

— Нас только двое, — воскликнула она, — приди ко мне!

Маргер оглянулся на ограду... как-будто ему было жаль расстаться с жизнью, хотелось продлить ее хотя бы на миг.

Он шел через кровь и трупы, ноги его тонули в ней и ступали по телам, застывшим в немом оцепенении.

— Банюта, — воскликнул он дрожащим голосом, — их еще нет!

Он приблизился. Она обняла его обеими руками и опустила ему голову на грудь.

— Смотри, — сказала, — вот я наточила меч... Ты клялся!

Маргер слушал.

Костер горел, треща и завывая, а за стеной ревели немцы, карабкаясь на тыны, приставляя лестницы...

Было еще время на одно объятие, но для разговоров было уже слишком поздно...

Глаза Маргера неотступно смотрели в сторону, откуда можно было ждать крыжаков... С грохотом упали огромные ворота, и на двор ворвались белые плащи, и впереди всех брат Берnard... Кто знает, не мечтал ли он спасти питомца?

Банюта, повисшая на шее Маргера, обнажила белую грудь...

— Любимый мой, пора!..

Еще минута, и добровольная жертва должна была свершиться...

Маргер уже занес свой меч, когда вдруг в тылу крыжаков раздался небывалый вопль: зазвучали боевые сурмы, грозные, голосистые сурмы литовских полчищ, и высоко взвились к небу боевые клики: «Смерть крыжакам!»

В одно мгновение убрались со двора белые плащи, а стальные шлемы исчезли с частоколов и заборов... Самонадеянные крестonosцы, застигнутые врасплох, потеряли голову и в переполохе валились вместе с лестницами. Торопливо собирались они на зов вождей посреди полянки, между Пилленами и лесом, на которую, как муравьи, сыпались со всех сторон несметные толпы грозных полчищ.

Закипела битва, недолгая, кровопролитная. Еще раз смешалась кровь крыжацкая с литовской, окрасив темною струею воды Немана. Как подсеченные сосны, падали один за другим вожди и рыцари. Некоторые, спасаясь бегством, тонули в пучинах Немана или погибали от меча Маргера, который, выбежав из замка, с дикой яростью набросился на крестоносцев.

И вот теми же воротами, через которые недавно вторглись орденские рыцари, теперь входили литовские дружины.

Навстречу им клубился дым жертвенного костра, а поперек пути лежали груды трупов отважных защитников твердыни.

На пепелище они застали только одну живую душу: Банюту!.. Протягивая руки, бежала она, с блестящими глазами, навстречу победителям и мужу...

Пиллены, хотя в развалинах, в крови, безлюдные, все же уцелели благодаря нежданной помощи со стороны Гедимина.

Юный кунигас с отважною Банютой, созвав окрестный люд, живо взялся за работу. И не прошло месяца, как над берегами Немана опять высилась литовская твердыня, такая же неприступная, как раньше, так же грозно стоявшая на страже земли Литовской против подавляющей мощи крестоносных полчищ.

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

**1**

Подचाший — придворная должность, королевский виночерпий.

2

Недоля (*устар.*) — несчастливая судьба.

**3**

Старый парень (*ирон.*) — старый холостяк.

4

Многое для нас сокровенно (*лат.*).

5

Влоск (*прост.*) — совсем.

Свальгоны и вуршайты — непосвященные помощники древнелитовского жреческого класса вейдалотов; нищенствовавшие паразиты, занимавшиеся ворожбой, гаданьем и знахарством.

Пултоны и вейоны (вейдауты) — кудесники, волхвы.

Канну-раугицы или раганы — литовицы, ведьмы, слетавшиеся на гору Шатри в Иванову ночь.

9

Ведун, ведьмак, знахарь.

Анафиелас — гора вечности, на которую должны взбираться души умерших, для чего им необходимо иметь острые ногти, когти, животных, оружие, слуг и пр.

Ловитва (*устар.*) — ловля.

Правый рукав Вислы, впадающий в Фришгаф.

Подколенник с перильцами для облачивания, называемый французами «*prie-dieu*».

Компан (*устар.*) — товарищ в делах, помощник.

Новина — здесь: еще не паханная земля, новь.

Доезжачий — старший псарь на охоте.

Венецианским.

Подчасок — тот, кто назначен, чтобы в случае необходимости сменить часового в карауле.

«Гладкая доска» — с которой стерто все, написанное раньше («стереть с лица земли»).

Согрешил.

Род короткой серяги или поддевки, очень распространенной в Литве.

Перкун — Перун, бог.

Перкунас — литовская форма от Перкун, Перун.

**24**

Месяц.

Литовской землей.

Солнце.

Юбка.